

Мих. Зощенко

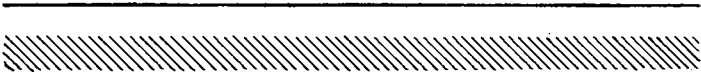
Мих. Зощенко

Мих. Зощенко

*рассказы,
фельетоны,
повести*

*Государственное Издательство
Художественной Литературы
Москва / 1958*

Рассказы
и
фельетоны



1922 - 1929

ИГРА ПРИРОДЫ

Конечно, не всем жить в столицах. Некоторые, например, людишки запросто живут на станции Рыбацкий поселок.

Удобств на этой станции, конечно, меньше будет, чем в столице. Там, скажем, проспектов нету. А вышел со станции — и шагай по шпалам. А не хочешь по шпалам — сиди всю жизнь на вокзале.

Один наш знакомый, коренной житель Рыбацкого поселка, не выдержал однажды и пошел прогуляться. А дело было еще весной.

Так вышел он с вокзала и идет по шпалам. Весной было дело. В апреле. Перед самой пасхой.

Идет он по шпалам. А дорога сами знаете какая — шпалы. А тут еще весенняя слякоть, лужи. В сторону сойти, прямо скажем, нехорошо — утонуть можно. Потому весна. Природа тает. Распускается.

Так вот, идет наш знакомый вдоль линии. Идет и о чем-то размечтался. А дело, я говорю, весной было. В апреле. Птички порхают. Чирикание такое раздается. Воздух этаким сумасшедший.

Вот идет, знаете, наш знакомый и думает: дескать, птичкам-то хорошо сверху чирикать, а пусти птичку по шпалам, небось загложнет.

Так вот он подумал и в эту минуту оступился в сторону. А дело, надо сказать, еще весной было. На пасху. Мокро.

Оступился он в сторону и попал ногой в яму. И окунулся по колено в воду.

Вынул ногу наш знакомый. Побледнел.

«Хорошо еще, — думает, — что я без барышни иду. А нуте, пусти меня с барышней — срамота. Нога мокрая. Капает. Подштанники развязались. Штрипки висят. Сапоги второй год не чищены. Морда жуткая. Срамота».

Очень рассердился наш знакомый.

«Ах, так! — думает. — Колдобины с водой? На путях государственного строительства. Пушай, значит, шпалы гниют? И народ пускай окунается? Так и запишем».

Пришел наш знакомый домой. Разулся. И, разувшись, стал писать.

И написал небольшую обличительную заметку. И послал ее в «Красную газету». Дескать, проходя и так далее, окунулся на путях строительства, и, может быть, гниют шпалы...

Эта заметка была напечатана в конце апреля.

Вот тут-то и развернулись главные события со всей ужасной быстротой.

Пока заметку эту читали, да пока в канцеляриях обсуждали, да пока комиссию снаряжали — прошло четырнадцать лет. Оно, конечно, прошло меньше. Всего около двух месяцев. Но и за это время природа успела учинить некоторую игру.

Одним словом, в начале июня особая комиссия выехала на станцию Рыбацкий поселок обследовать пути.

Приехали. Видят — явная ложь. Никакой воды. И сухо, как в Сахаре.

Горько так комиссия про себя усмехнулась — дескать, до чего складно врут люди, и отбыла.

В начале июля появилось в газете опровержение. Дескать, наврал корреспондент, дескать, никакой воды на станции не оказалось. Даже в графине.

Некоторые и сейчас думают, что наш знакомый наврал.

А тому — обидно. И комиссии неприятно. И нам огорчительно — укорять и тех и других. А укорять приходится. Нельзя же так медлить. Тем более с печатью.

Природа, как говорится, не ждет. Она сушит лужи. И меняет панорамы.

СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА

В селе Усачи на днях состоялись перевыборы председателя.

Городской товарищ Ведерников, посланный ячейкой в подшефное село, стоял на свежеструганных бревнах и говорил собранию:

— Международное положение, граждане, яснее ясного. Задерживаться на этом не приходится. Перейдем поэтому к текущему моменту дня, к выбору председателя заместо Костылева Ивана. Этот паразит не может быть облечен всей полнотой государственной власти, а потому сменяется...

Представитель сельской бедноты, мужик Бобров, Михайло Васильевич, стоял на бревнах, подле городского товарища, и, крайне беспокоясь, что городские слова мало доступны пониманию крестьян, тут же, по доброй своей охоте, разъяснял неясный смысл речи.

— Одним словом, — сказал Бобров, — этот паразит — корова его забодай — Костылев Иван Максимыч не может быть облегчен и потому сменяется...

— И заместо указанного Ивана Костылева, — продолжал городской оратор, — предлагается избрать человека, потому как нам спекулянтов не надобно.

— И заместо паразита, — пояснил Бобров, — и этого, язви его душу, самогонщика, хоша он мне и родственник со стороне жене, предлагается изменить и наметить.

— Предлагается, — сказал городской товарищ, — выставить кандидатуру лиц.

Михайло Бобров скинул с себя от полноты чувств шапку и сделал широкий жест, приглашая немедленно выставить кандидатуру лиц.

Общество молчало.

— Разве Быкина, что ли? Или Еремея Ивановича Секина, а? — несмело спросил кто-то.

— Так, — сказал городской товарищ, — Быкина... Запишем.

— Чичас запишем, — пояснил Бобров.

Толпа, молчавшая до сего момента, принялась страшным образом галдеть и выкрикивать имена, требуя немедленно возводить своих кандидатов в должность председателя.

— Быкина Васю! Еремея Ивановича Секина! Николаева!..

Городской товарищ Ведерников записывал эти имена на своем мандате.

— Братцы! — закричал кто-то. — Это не выбор — Секин и Николаев... Надоть передовых товарищей выбирать... Которые настоящие в полной мере... Которые, может, в городе поднаторели — вот каких надоть... Чтoб все насквозь знали...

— Верно! — закричали в толпе. — Передовых надоть... Кругом так выбирают.

— Тенденция правильная, — сказал городской товарищ. — Намечайте имена.

В обществе произошла заминка.

— Разве Коновалова Лешку? — несмело сказал кто-то. — Он и есть только один приехавши с городу. Он — столичная штучка.

— Лешку! — закричали в толпе. — Выходи, Леша. Говори обществу.

Лешка Коновалов протискался через толпу, вышел к бревнам и, польщенный всеобщим вниманием, поклонился по-городскому, прижимая руку к сердцу.

— Говори, Лешка! — закричали в толпе.

— Что ж, — несколько конфузясь, сказал Лешка. — Меня выбирать можно. Секин или там Николаев — разве это выбор? Это же деревня, гольтепа. А я, может, два года в городе терся. Меня можно выбирать...

— Говори, Лешка! Докладай обществу! — снова закричала толпа.

— Говорить можно, — сказал Лешка. — Отчего не поговорить, когда я все знаю. Супротив вас я человек культурный. За два года отряхнул с себя деревенскую серость. Во-вторых, язык у меня хорошо подвешен — речи могу произносить. Нынче это не фунт дыма.

— Правильно, Леша, — сказали в толпе. — Без языка человек что баран. Только язык выводит в люди.

— Вот именно, — подтвердил Леша. — Только язык ведет к фортуне. Язык плюс знания. А знать надо — кодекс, статьи, декреты. Все это я знаю. Два года, может, терся.... Бывало, сижу в камере, а к тебе бегут. Разьясни, дескать, Леша, какое это примечание к декрету.

— Какая камера-то? — спросили в толпе. — Ты про какую камеру лепишь?

— Камера-то? — сказал Лешка. — Да четырнадцатая камера. В Крестах мы сидели...

— Ну! — удивилось общество. — За что ж ты, парень, в тюрьмах-то сидел?

Лешка смутился и растерянно взглянул в толпу.

— Самая малость, — неопределенно сказал Лешка.

— Политика или что слямзил?

Лешка Коновалов, понимая, что он завалил свою кандидатуру, снова сказал хорошо подвешенным языком:

— Да нет, ничего особенного у меня не было. Недохватка в кассе случилась. Ну так нельзя быть у воды и не замочиться.

Лешка махнул рукой и торопливо смылся в толпу.

Городской товарищ Ведерников, поговорив о новых тенденциях избирать поднаторевших в городе товарищей, предложил голосовать за Еремея Секина. А про Лешку сказал: «Таких надо гнать под лозунгом — худая трава с поля вон!»

Михайло Бобров, представитель бедняцкого элемента, разъяснил смысл этих слов, и Еремей Секин был единогласно избран при одном воздержавшемся.

Воздержавшийся был Лешка Коновалов. Ему не по душе была деревенская гольтепа.

1922

ИСПОВЕДЬ

На страстной неделе бабка Фекла сильно разорилась — купила за двугривенный свечку и поставила ее перед угодником.

Фекла долго и старательно прилаживала свечку поближе к образу. А когда приладила, отошла несколько поодаль и, любуясь на дело своих рук, принялась молиться и просить себе всяких льгот и милостей взамен истраченного двугривенного.

Фекла долго молилась, бормоча себе под нос всякие свои мелкие просьбишки, потом, стукнув лбом о грязный каменный пол, вздыхая и крихтя, пошла к исповеди.

Исповедь происходила у алтаря за ширмой.

Бабка Фекла встала в очередь за какой-то древней старушкой и снова принялась мелко креститься и бормотать. За ширмой долго не задерживали.

Исповедники входили туда и через минуту, вздыхая и тихонько откашливаясь, выходили, кланяясь угодникам.

«Торопится поп, — подумала Фекла. — И чего торопиться? Не на пожар ведь. Неблаголепно ведет исповедь».

Фекла вошла за ширму, низко поклонилась попу и припала к ручке.

— Как звать-то? — спросил поп, благословляя.

— Феклой зовут.

— Ну, рассказывай, Фекла, — сказал поп, — какие грехи? В чем прешна? Не злословишь ли по-пустому? Не редко ли к богу прибегаешь?

— Грешна, батюшка, конечно, — сказала Фекла, кланяясь.

— Бог простит, — сказал поп, покрывая Феклу епитрахилью. — В бога-то веруешь ли? Не сомневаешься ли?

— В бога-то верую, — сказала Фекла. — Сын-то, конечно, приходит, например, выражается, осуждает, одним словом... А я-то верую.

— Это хорошо, matka, — сказал поп. — Не поддавайся легкому соблазну. А чего, скажи, сын-то говорит? Как осуждает?

— Осуждает, — сказала Фекла. — Это, говорит, пустяки — ихняя вера. Нету, говорит, не существует бога, хоть все небо и облака обыщи...

— Бог есть, — строго сказал поп. — Не поддавайся на это... А чего, вспомни, сын-то еще говорил?

— Да разное говорил.

— Разное! — сердито сказал поп. — А откуда все сие окружающее? Откуда планеты, звезды и луна, если бога нет? Сын-то ничего такого не говорил — откуда, дескать, все сие окружающее? Не химия ли это? Припомни — не говорил он об этом? Дескать, все это химия, а?

— Не говорил, — сказала Фекла, моргая глазами.

— А может, и химия, — задумчиво сказал поп. — Может, matka, конечно, и бога нету — химия все...

Бабка Фекла испуганно посмотрела на попа. Но тот положил ей на голову епитрахиль и стал бормотать слова молитвы.

— Ну, иди, иди, — уныло сказал поп. — Не задерживай верующих.

Фекла еще раз испуганно оглянулась на попа и вышла, вздыхая и смиренно покашливая. Потом подошла к своему угодничку, посмотрела на свечку, поправила обгоревший фитиль и вышла из церкви.

1923

НЕ НАДО ИМЕТЬ РОДСТВЕННИКОВ

Два дня Тимофей Васильевич разыскивал своего племянника, Серегу Власова. А на третий день, перед самым отъездом, нашел. В трамвае встретил.

Сел Тимофей Васильевич в трамвай, вынул гривенник, хотел подать кондуктору, только глядит — что такое? Личность кондуктора будто очень знакомая. Посмотрел Тимофей Васильевич — да! Так и есть — Серега Власов собственной персоной в трамвайных кондукторах.

— Ну! — закричал Тимофей Васильевич. — Серега! Ты ли это, друг ситный?

Кондуктор сконфузился, поправил, без всякой видимой нужды, катушки с билетиками и сказал:

— Сейчас, дядя... билеты додам только.

— Ладно! Можно, — радостно сказал дядя. — Я обожду.

Тимофей Васильевич засмеялся и стал объяснять пассажирам:

— Это он мне родной родственник, Серега Власов. Брата Петра сын... Я его семь лет не видел... курицынова сына...

Тимофей Васильевич с радостью посмотрел на племянника и закричал ему:

— А я тебя, Серега, друг ситный, два дня ищу. По городу роюсь. А ты вон где! Кондуктором... А я и по адресу ходил. На Разночинную улицу. «Нету», отвечают. Мол, выбыл с адреса. «Куда, отвечаю, выбыл, ответьте, говорю, мне. Я его родной дядя». — «Не знаем», говорят... А ты вон где — кондуктором, что ли?

— Кондуктором, — тихо ответил племянник.

Пассажиры стали с любопытством рассматривать родственника. Дядя счастливо смеялся и с любовью смотрел

на племянника, а племянник явно конфузился и, чувствуя себя при исполнении служебных обязанностей, не знал, что ему говорить и как вести себя с дядей.

— Так, — снова сказал дядя, — кондуктором, значит. На трамвайной линии?

— Кондуктором...

— Скажи, какой случай! А я, Серега, друг ситный, сел в трамвай, гляжу — что такое? Обличность будто у кондуктора чересчур знакомая. А это ты. Ах, твою семь-восемь!.. Ну, я же рад... Ну, я же доволен...

Кондуктор потоптался на месте и вдруг сказал:

— Платить, дядя, нужно. Билет взять... Далеко ли вам?

Дядя счастливо засмеялся и хлопнул по кондукторской сумке.

— Заплатил бы! Ей-богу! Сядь я на другой номер или, может быть, вагон пропусти — и баста — заплатил бы. Плакали бы мои денежки. Ах, твою семь-восемь!.. А я еду, Серега, друг ситный, до вокзала.

— Две станции, — уныло сказал кондуктор, глядя в сторону.

— Нет, ты это что? — удивился Тимофей Васильевич. — Ты это чего? Ты правду?

— Платить, дядя, надо, — тихо сказал кондуктор. — Две станции... Потому как нельзя дарма, без билетов, ехать...

Тимофей Васильевич обиженно сжал губы и сурово посмотрел на племянника.

— Ты это что же — с родного дядю? Дядю грабишь?

Кондуктор тоскливо посмотрел в окно.

— Мародерствуешь, — сердито сказал дядя. — Я тебя, сукинова сына, семь лет не видел, а ты чего это? Деньги требуешь за проезд. С родного дядю? Ты не махай на меня руками. Хотя ты мне и родной родственник, но я твоих рук не испужался. Не махай, не делай ветру перед пассажирами.

Тимофей Васильевич повертел гривенник в руке и сунул его в карман.

— Что же это, братцы, такое? — обратился Тимофей Васильевич к публике. — С родного дядю требует. Две, говорит, станции... А?

— Платить надо, — чуть не плача, сказал племянник. — Вы, товарищ дядя, не сердитесь. Потому как не мой здесь трамвай. А государственный трамвай. Народный.

— Народный, — сказал дядя, — меня это не касается. Мог бы ты родного дядю уважить. Мол, спрячьте, дядя, ваш трудовой гривенник. Езжайте на здоровье. И не развалится от того трамвай. Я в поезде давеча ехал... Не родной кондуктор, а и тот говорит: «Пожалуйста, говорит, Тимофей Васильевич, что за счеты... Так садитесь...» И довез... не родной... Только земляк знакомый. А ты это что — родного дядю... Не будет тебе денег.

Кондуктор вытер лоб руками и вдруг позвонил.

— Сойдите, товарищ дядя, — официально сказал племянник.

Видя, что дело принимает серьезный оборот, Тимофей Васильевич всплеснул руками, снова вынул гривенник, потом опять спрятал.

— Нет, — сказал, — не могу! Не могу тебе, сопляку, заплатить. Лучше пушай сойду.

Тимофей Васильевич торжественно и возмущенно встал и направился к выходу. Потом обернулся.

— Дядю... родного дядю гонишь, — с яростью сказал Тимофей Васильевич. — Да я тебя, сопляка... Я тебя расстрелять за это могу.

Тимофей Васильевич уничтожающе посмотрел на племянника и сошел с трамвая.

1923

НА ЖИВЦА

В трамвае я всегда езжу в прицепном вагоне. Народ там более добродушный подбирается.

В переднем вагоне скучно и хмуро и на ногу никому не наступи. А в прицепке, не говоря уже о ногах, много привольней и веселей.

Иногда там пассажиры разговаривают между собой на отвлеченные философские темы — о честности, например, или о заработной плате. Иногда же случаются и приключения,

На днях ехал я в четвертом номере.

Вот два гражданина против меня. Один с пилой. Другой с пивной бутылкой. Бутылка пустая. Держит человек бутылку в руках и пальцами по ней щелкает. А то к глазу поднесет и глядит на пассажиров через зеленое стекло.

Рядом со мною — гражданка в теплом платке. Сидит она вроде сильно уставшая или больная. И даже глаза по времени закрывает. А рядом с гражданкой — пакет. Этак в газету завернут и бечевкой перевязан.

И лежит этот пакет не совсем рядом с гражданкой, а несколько поодаль. Гражданка иногда косо на него поглядывает.

— Мамаша! — говорю я гражданке. — Гляди, пакет унесут. Убери хотя бы на колени.

Гражданка сердито посмотрела на меня, сделала таинственный знак рукой и, приложив палец к своим губам, снова закрыла глаза.

Потом опять с сильным неудовольствием посмотрела на меня и сказала:

— Сбил ты меня с плану, черт такой...

Я хотел было обидеться, но гражданка язвительно добавила:

— А может, я нарочно пакет этот отложила. Что тогда? Может, я и не сплю, а все как есть вижу и нарочно глаза прикрываю?

— То есть как? — удивился я.

— Как, как... — передразнила гражданка. — Может, я вора на этот пакет хочу поймать...

Пассажиры стали прислушиваться к нашему разговору.

— А чего в пакете-то? — деловито спросил человек с бутылкой.

— Да я же и говорю, — сказала гражданка. — Может, я нарочно туда костей-тряпок напихала... Потому — вор не разбирается, чего в нем. А берет, что под руку попадет... Знаю я, не спорьте. Я, может, с неделю так езжу...

— И что же — попадают? — с любопытством спросил кто-то.

— А то как же, — воодушевилась гражданка. — Обязательно попадают... Давеча дамочка вкапалась... Молоденькая такая, хорошенькая из себя. Черненькая брунеточка... Гляжу я — вертится эта дамочка. После цоп пакет и идет... «А-а-а, говорю, вкапалась, подлюга...»

— С трамвая их, воров-то, скидывать надоть, — сказал сердито человек с пилой.

— Это ни к чему, с трамвая, — вмешался кто-то. — В милицию надо доставлять.

— Конечно, в милицию, — сказала гражданка. — Обязательно в милицию... А то еще другой вкапался... Мужчина, славный такой, добродушный... Тоже вкапался. Взял прежде пакет и держит. Привыкает. Будто свой. А я молчу. И в сторону будто гляжу. А он после встает себе и идет тихонько... «А-а, говорю, товарищ, вкапался, гадюка...»

— На живца, значит, ловишь-то? — усмехнулся человек с бутылкой. — И многие попадают?

— Да я же и говорю, — сказала гражданка, — попадают.

Она заморгала глазами, глянула в окно, засуетилась и пошла к выходу.

И, уходя из вагона, она сердито посмотрела на меня и снова сказала:

— Сбил ты меня с плану, черт такой! Начал каркать на весь вагон. Теперь ясно, никто на пакет не позарится. Вот и схожу раньше времени.

Тут кто-то с удивлением произнес, когда она ушла:

— А на что это ей, братцы мои? Или она хочет воровство искоренить?

Другой пассажир, усмехнувшись, ответил:

— Нет, ей охота, чтоб все вокруг воровали.

Человек с пилой сердито сказал:

— Вот какие бывают дьявольские старухи, воспитанные прежним режимом.

1923

АРИСТОКРАТКА

Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать:

— Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у нее на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.

А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме.

А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый.

— Откуда, — говорю, — ты, гражданка? Из какого номера.

— Я, — говорит, — из седьмого.

— Пожалуйста, — говорю, — живите.

И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует?

— Да, — отвечает, — действует.

И сама кутается в байковый платок и ни мур-мур больше. Только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц — привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.

Дальше — больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И чего сказать — не знаю, и перед народом совестно.

Ну, а раз она мне и говорит:

— Что вы, — говорит, — меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы, — говорит, — как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.

— Можно, — говорю.

И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.

На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой — внизу сидеть, а который Васькин — аж на самой галерейке.

Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я на Васькин. Сижу на верхотурье и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо.

Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу — антракт. А она в антракте ходит.

— Здравствуйте, — говорю.

— Здравствуйте.

— Интересно, — говорю, — действует ли тут водопровод?

— Не знаю, — говорит.

И сама в буфет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.

А я таким гусем, таким буржуем нерезанным, вьюсь вокруг нее и предлагаю:

— Ежели, — говорю, — вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.

— Мерси, — говорит.

И вдруг подходит развратной походкой к блюду, и цоп с кремом, и жрет.

А денег у меня — кот наплакал. Самое большое что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег с гулькин нос.

Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крикнул. И молчу. Взяла меня такая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.

Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.

Я говорю:

— Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.

А она говорит:

— Нет.

И берет третье.

Я говорю:

— Натощак — не много ли? Может вытошнить.

А она:

— Нет, — говорит, — мы привыкшие.

И берет четвертое.

Тут ударила мне кровь в голову.

— Ложи, — говорю, — взад!

А она испужалась. Открыла рот, а во рте зуб блестит.

А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять.

— Ложи, — говорю, — к чертовой матери!

Положила она назад. А я говорю хозяину:

— Сколько с нас за скушанные три пирожные?

А хозяин держится индифферентно — ваську валяет.

— С вас, — говорит, — за скушанные четыре штуки столько-то.

— Как, — говорю, — за четыре? Когда четвертое в блюде находится.

— Нету, — отвечает, — хотя оно и в блюде находится, но надкус на нем сделан и пальцем смято.

— Как, — говорю, — надкус, помилуйте. Это ваши смешные фантазии.

А хозяин держится индифферентно — перед рожей руками крутит.

Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты. Одни говорят: надкус сделан, другие — нету.

А я вывернул карманы — всякое, конечно, барахло на пол вывалилось, — народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю.

Сосчитал деньги — в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.

Заплатил. Обращаюсь к даме:

— Докушивайте, — говорю. — Заплачено.

А дама не двигается. И конфузится докушивать. А тут какой-то дядя ввязался.

— Давай, — говорит, — я докушаю.

И докушал, сволочь. За мои деньги.

Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой.

А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном:

— Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег — не ездят с дамами.

А я говорю:

— Не в деньгах счастье. Извините за указание.

Так мы с ней и разошлись.

Не нравятся мне аристократки.

1923

НЕ ВРИ

Это было в городе Сарапуле. Я так, конечно, думаю, что в Сарапуле. Потому что это событие описано в сарапульской газете «Красное Прикамье». И надо полагать, что газета описывает свои собственные уездные происшествия и делишки, а не наши, ленинградские.

Так вот, в городе Сарапуле произошла однажды крупная лотерея с разрешения начальства.

Были указаны разные заманчивые выигрыши. И среди них был объявлен самый главный, знаменитый выигрыш — живая лошадь с упряжкой. А которые не захотят лошадь, тем пятьсот монет чистоганом. Так было в афише указано.

И вот выпало счастье одному рабочему. Взял он всего один билет и выиграл эту самую лошадь.

Ну, ясное дело, обрадовался.

«Лошаденка, — думает, — мне, конечно, не требуется. Я на ней ездить не приучен. А дай, — думает, — вместо этой лошаденки приму деньги».

Начал он требовать свои пречистые пятьсот рублей — не дают.

— Так что, — говорят, — извиняемся, денег мы не дадим, а лошадь в крайнем случае, если хотите, берите. Только, — говорят, — приплатите нам сто восемь рублей за ее харчи.

Конечное дело, выигравший расстроился.

— За что же, — говорит, — помилуйте, сто восемь рублей?

— То есть, — говорят, — как за что? Лошадь-то мы кормили, ай нет?

— Ну, — говорит, — кормили.

— А раз, — говорят, — кормили, то, — говорят, — деньги тратили. И, значит, платите сто восемь рублей и уносите скорее своего коня, а то он стоит не жравши с момента выигрыша.

Счастливый рабочий говорит:

— Братцы, да, может, вся ваша лошадь вместе со своим хвостом стоит дешевле. Как же так? Я же выиграл, я же еще и докладывать должен? Войдите, — говорит, — в положение выигравшего человека.

Ему говорят:

— Ты, — говорят, — выиграл, а не мы. Ты, — говорят, — и разбирайся в этих вопросах. А только ты нас должен крайне благодарить, что мы своевременно кормили твоего коня. Нуте, вообрази — мы бы его не кормили! Он бы взял и подох или стоял бы при смерти. Чего бы ты тогда выиграл? Ну разве тебе приятно мертвое лошадиное тело выигрывать?

— Да, — говорит, — действительно, неприятно.

— А раз, — говорят, — так, то о чем речь?

Ну, тут, конечно, они еще поторговались и сошлись на пятидесяти рублях.

Счастливый рабочий заплатил деньги и увел своего коня.

Что он теперь с ним делает — неизвестно.

А конь, говорят, уже нажрал рублей на двести.

Бывают в жизни огорчения!

Между прочим, главное огорчение выпало заведующему товарищу Гришину. Его пришили к делу — зачем за коня посулил деньги и не отдал.

И правильно. Не ври. Работай начистоту.

А то, думает, лотерея, игра, несерьезное дело. Стало быть, можно идти на всякие штучки-мучки.

Ан нет, и тут полная честность требуется.

Серьезные времена наступают, братцы мои.

А конь все жрет и жрет и ничем больше не интересуется.

1924

БАНЯ

Бани у нас неплохие. Мыться можно. Но только у нас в банях с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню — дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой.

А голому человеку куда номерки деть? Прямо сказать — некуда. Карманов нету. Кругом — живот да ноги. Грех один с номерками. К бороде не привяжешь.

Ну, привязал я к ногам по номерку, чтоб не враз потерять. Вошел в баню.

Номерки теперича по ногам хлопают. Ходить скучно. А ходить надо. Потому шайку надо. Без шайки какое же мытье? Грех один.

Ищу шайку. Гляжу, один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит, а третью шайку левой рукой придерживает, чтобы ее не унесли.

Потянул я третью шайку, хотел, между прочим, ее себе взять, а гражданин не выпускает.

— Ты что ж это, — говорит, — чужие шайки воруюшь? Как ляпну, — говорит, — тебя шайкой между глаз — не зарадуешься.

Я говорю:

— Не царский, — говорю, — режим шайками ляпать. Эгоизм, — говорю, — какой. Надо же, — говорю, — и другим помываться. Не в театре, — говорю.

А он задом повернулся и моется.

«Не стоять же, — думаю, — над его душой. Теперича, — думаю, — он нарочно три дня будет мыться».

Пошел дальше.

Через час гляжу, какой-то дядя зазевался, выпустил из рук шайку. За мылом нагнулся или замечтался — не знаю. А только туую шайку я взял себе.

Теперича и шайка есть, а сесть негде. А стоя мыться — какое же мытье? Грех один.

Хорошо. Стою стоя, держу шайку в руке, моюсь.

А кругом-то, батюшки-светы, стирка самосильно идет. Один штаны моет, другой подштанники трет, третий еще что-то крутит. Только, скажем, вымылся — опять грязный. Брызжут, дьяволы. И шум такой стоит от стирки — мыться неохота. Не слышишь, куда мыло трешь. Грех один.

«Ну их, — думаю, — в болото. Дома домоюсь».

Иду в предбанник. Выдают на номер белье. Гляжу — все мое, штаны не мои.

— Граждане, — говорю. — На моих тут дырка была. А на этих эвон где.

А банщик говорит:

— Мы, — говорит, — за дырками не приставлены. Не в театре, — говорит.

Хорошо. Надеваю эти штаны, иду за пальто. Пальто не выдают — номерок требуют. А номерок на ноге забытый. Раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок — нету номерка. Веревка тут, на ноге, а бумажки нет. Смылась бумажка.

Подаю банщику веревку — не хочет.

— По веревке, — говорит, — не выдаю. Это, — говорит, — каждый гражданин настрижет веревок — полть не напасешься. Обожди, — говорит, — когда публика разойдется — выдам какое останется.

Я говорю:

— Братишка, а вдруг да дрянь останется? Не в театре же, — говорю. — Выдай, — говорю, — по приметам. Один, — говорю, — карман рваный, другого нету. Что касается пуговиц, то, — говорю, — верхняя есть, нижних же не предвидится.

Все-таки выдал. И веревки не взял.

Оделся я, вышел на улицу. Вдруг вспомнил: мыло забыл.

Вернулся снова. В пальто не впускают.

— Разденьтесь, — говорят.

Я говорю:

— Я, граждане, не могу в третий раз раздеваться. Не в театре, — говорю. — Выдайте тогда мне хоть стоимость мыла.

Не дают.

Не дают — не надо. Пошел без мыла.

Конечно, читатель, привыкший к формальностям, может, полюбопытствует: какая, дескать, это баня? Где она? Адрес?

Какая баня? Обыкновенная. Которая за вход берет гривенник.

1924

НЕРВНЫЕ ЛЮДИ

Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а цельный бой. На углу Глазовой и Боровой.

Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю ногу чуть не оторвали. И увечье нанесли.

Главная причина — народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. Горячится. И через это дерется грубо, как в тумане.

Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так, но только инвалид Гаврилов от этой идеологии скорее не поправится.

А приходит, например, одна жиличка, Марья Васильевна Щипцова, в девять часов вечера на кухню и разжи-

гает примус. Она всегда, знаете, об это время разжигает примус. Чай пьет и компрессы ставит.

Так, приходит она на кухню. Ставит примус перед собой и разжигает. А он, провалился совсем, не разжигается.

Она думает:

«С чего бы он, дьявол, не разжигается? Не закоптел ли, провалился совсем!»

И берет она в левую руку ежик и хочет чистить.

Хочет она чистить, берет в левую руку ежик, а другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, чей ежик, посмотрела, чего взято, и отвечает:

— Ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, промежду прочим, назад положьте. Это мой ежик.

Щипцова, конечно, вспыхнула от этих слов и отвечает:

— Пожалуйста, — отвечает, — подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком. Мне, — говорит, — до вашего ежика дотронуться противно, не то что его в руку взять.

Тут, конечно, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна Кобылина.

Стали они между собой разговаривать. Шум у них поднялся, грохот, треск.

Муж, Иван Степанович Кобылин, чей ежик, на шум является. Здоровый такой мужчина, пузатый даже, но в свою очередь нервный.

Так, является этот Иван Степаныч и говорит:

— Я, — говорит, — ну ровно слон работаю за тридцать два рубля с копейками в кооперации. Улыбаюсь, — говорит, — покупателям и колбасу им отвешиваю. И на эти трудовые гроши ежики себе покупаю. И нипочем, то есть, не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками пользоваться.

Тут снова шум и дискуссия поднялась вокруг ежика. Все жильцы, конечно, поналезли в кухню. Хлопочут. Инвалид Гаврилыч тоже является.

— Что, — говорит, — за шум, а драки нету?

Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось.

А кухонька, знаете, узкая. Драться неспособно. Кругом кастрюли и примуса. Повернуться негде. А тут двенадцать человек все-таки. Тесно. На все натыкаешься, падаешь. Не то что, знаете, безногому инвалиду — с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности.

А инвалид, чертова перечница, несмотря на это, в самую гущу втерся. Иван Степаныч, чей ежик, кричит ему: — Уходи, Гаврилыч, от греха. Гляди, последнюю ногу оборвут.

Гаврилыч говорит:

— Пушай, — говорит, — нога пропадает! А только, — говорит, — не могу я теперича уйти до окончания драки.

Ну, и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу.

Инвалид — брык на пол и лежит. Скучает.

Тут кто-то за милицией кинулся.

Является мильтон. Кричит:

— Запасайтесь, дьяволы, гробами, сейчас стрелять буду!

Только после этих роковых слов народ маленько очухался. Бросился по своим комнатам.

«Вот те, — думает, — клюква: с чего ж это мы, уважаемые граждане, разодрались?»

Бросился народ по своим комнатам, один только инвалид Гаврилыч не бросился. Лежит, знаете, на полу скучный. И кровь вокруг.

Через две недели после этого факта суд состоялся.

А нарсудья — тоже нервный такой мужчина попался — сказал тем, которые дрались:

— Вы, — говорит, — не советские люди, а обломки рухнувшей империи. Но, — говорит, — революционная законность не позволит вам справлять свой дебош на развалинах прежней жизни.

И с этими словами нарсудья оштрафовал каждого участника драки. А тому, который Гаврилыча изувечил, дал шесть месяцев.

Это справедливо, братцы мои. Нервы нервами, а драться не полагается.

1924

ПАЦИЕНТКА

В сельскую больницу Анисья приехала за тридцать верст.

Выехала на рассвете и в полдень остановилась у белого одноэтажного дома.

— Хирург-то принимает? — спросила она мужика, сидящего на крыльце.

— Хирург-то? — с интересом спросил мужик. — А ты не больна ли будешь?

— Больна, — ответила Анисья.

— Я, милая, тоже больной, — сказал мужик. — Пшеном объелся... Седьмым записан.

Анисья привязала лошадь к плетню и вошла в больницу.

Больных принимал фельдшер Иван Кузьмич. Был он маленький, старенький и ужасно знаменитый. Все вокруг знали его, хвалили и называли без причины хирургом.

Анисья вошла к нему в комнату, низко поклонилась и присела на край стула.

— Больна, что ли? — спросил Иван Кузьмич.

— Больна я, — сказала Анисья. — То есть вся насквозь больная. Каждая косточка ноет и трясется. Сердце гниет заживо.

— С чего бы это? — равнодушно спросил фельдшер. — С каких пор?

— С осени, Иван Кузьмич. С самой осени. Осенью я заболела. Как, знаете ли, супруг Дмитрий Наумыч приехал из города, так я и заболела. Я стою, например, возле стола и лепешки в муке валяю. Дмитрий Наумыч любил эти самые лепешки. Где-то, думаю, он теперь, Дмитрий Наумыч-то? В городе он советский депутат...

— Позволь, бабонька, — сказал фельдшер, — ври, да не завирайся. Чем больна-то?

— Да я ж и говорю, — сказала Анисья, — стою возле стола, кручу лепешки... Вдруг тетка Агафья, что баран, прибегает и рукой машет. «Иди, — кричит, — Анисьюшка, иди поскорей. Твой-то никак приехал из города и идет, будто, по улице с мешком и с палкой». Зашлось у меня сердце. Подкосились ноги. Стою дурой и лепешку мну... Бросила после лепешки, выбежала во двор. А во дворе солнце играет, играет. Воздух легкий. А налево, этак у хлева, желтый теленок стоит и хвостиком мух пугает. Взглянула я на теленка — слезы каплют. Вот, думаю, Дмитрий Наумыч-то обрадуется этому самому желтому теленку.

— Позволь, — хмуро сказал фельдшер, — ты дело говори.

— Я ж и говорю, батюшка Иван Кузьмич. Не сердись только. Дело я говорю... Выбежала я за ворота. Гляжу этак, знаете ли, налево церковь, коза ходит, петух ножкой ворошит, а направо, по самой середине, гляжу — Дмитрий Наумыч идет.

Глянула я на него. Сердце закатилось, икота подступает. Ой, думаю, мать честная, пресвятая богородица! Ой, думаю, тошнехонько! А он-то идет серьезным, мелким шагом. Борода по воздуху треплется. И платье городское на нем. И в штиблетах.

Как увидела штиблеты, будто что оторвалось у меня внутри. Ой, думаю, куда ж я такая-то, необразованная, гожусь ему в пару, если он, может, первый человек и депутат советский.

Встала я душой у плетня и ногами не могу идти. Перебираю пальцами плетень и стою.

А он-то, Дмитрий Наумыч, депутат советский, доходит до меня мелким ходом и здоровается.

«Здравствуйте, — говорит, — Анисья Васильевна. Сколько, — говорит, — лет, сколько зим не виделись с вами...»

Мне бы, дуре, мешок у Дмитрия Наумыча схватить, а я гляжу на штиблеты и не двигаюсь.

Ой, думаю, отвык от меня мужик. Штиблеты носит. С городскими, может, с комсомолками разговаривает.

А Дмитрий Наумыч отвечает басом:

«Ох, — говорит, — какая ты есть! Темная, — говорит, — ты у меня, Анисья Васильевна. Про что, — говорит, — я с тобой теперь разговаривать буду? Я, — говорит, — человек просвещенный и депутат советский. Я, — говорит, — может, четыре правила арифметики знаю. Дробь, — говорит, — умею... А ты, — говорит, — вон какая! Небось, — говорит, — и фамилии не можешь подписывать на бумаге? Другой бы очень просто бросил бы тебя за темноту и необразованность».

А я стою у плетня и лепечу слова: дескать, конечно, Дмитрий Наумыч, бросьте меня такую-то, что вам стоит.

А он берет меня за ручку и отвечает:

«Я шутку пошутил, Анисья Васильевна. Оставьте думать. Я, — говорит, — это так. Что вы...»

Снова закатилось у меня сердце, икота подступает.

«Я, — говорю, — Дмитрий Наумыч, будьте спокойны, тоже, конечно, могу дробь узнать и четыре правила. Или фамилию на бумаге подписывать. Я, — говорю, — не осрамлю вас, образованного...»

Фельдшер Иван Кузьмич встал со стула и прошелся по комнате.

— Ну, ну, — сказал он, — хватит, завралась... Чем болешь-то?

— Болею-то? Да теперь ничего, Иван Кузьмич. Полегче будто стало теперь. На здоровье не могу пожаловаться... А он-то, Дмитрий Наумыч, говорит: «Пошутил, говорит, я». Вроде как, значит, шутку он выразил.

— Ну да, пошутил, — сказал фельдшер. — Конечно, пошутил... Порошков, может, тебе дать?

— А не надо, — сказала Анисья. — Спасибо тебе, Иван Кузьмич, за советы. Мне, конечно, теперь сильно полегчало. Чувствительно спасибо. До свиданьице.

И Анисья, оставив на столе кулек с зерном, пошла к двери. Потом вернулась.

— Дробь-то мне, Иван Кузьмич... Где мне про эту самую дробь-то теперь узнать? К учителю, что ли, мне ехать?

— К учителю, — сказал фельдшер, вздыхая, — конечно, к учителю. Медицины это не касается.

Анисья низко поклонилась и вышла на улицу.

1925

БЕДНОСТЬ

Нынче, братцы мои, какое самое модное слово, а?

Нынче самое что ни на есть модное слово, конечно, электрификация.

Дело это, не спорю, громадной важности — Советскую Россию светом осветить. Но и в этом есть пока что свои теневые стороны. Я не говорю, товарищи, что платить дорого. Платить недорого. Не дороже денег. Я не об этом говорю.

А вот про что.

Жил я, товарищи, в громадном доме. Дом весь шел под керосином. У кого коптилка, у кого небольшая лампочка, у кого и нет ничего — поповской свечкой светится. Беда прямо!

А тут проводить свет стали. Вскоре после революции.

Первым провел уполномоченный. Ну, провел и провел. Мужчина он тихий, вида не показывает. Но ходит все-таки странно и все время задумчиво сморкается.

Но вида еще не показывает.

А тут дорогая наша хозяйюшка Елизавета Игнатьевна Прохорова однажды заявляет нам, что и она хочет провести свет в нашу полутемную квартиру.

— Все, — говорит, — проводят. И сам, — говорит, — уполномоченный провел. Зачем нам от людей отставать? Тем более, — говорит, — это экономично — дешевле выйдет, чем керосин.

Что ж! Стали и мы проводить.

Провели, осветили — батюшки мои! Кругом гниль и гнусь.

То, бывало, утром на работу уйдешь, вечером явишься, чай попьешь и спать. И ничего такого при керосине не видно было. А тепереча зажгли, смотрим, тут туфля чья-то рваная валяется, тут обойки отодраны и клочком торчат, тут клоп рысью бежит — от света спасается, тут тряпица неизвестно какая, тут плевок, тут окурок, тут блоха резвится.

Батюшки-светы! Хоть караул кричи. Смотреть на такое зрелище грустно.

Канапе, например, такое в нашей комнате стояло. Я думал, ничего себе канапе — хорошее канапе. Сидел часто на нем по вечерам. А тепереча зажег электричество — батюшки-светы! Ну и ну! Ну и канапе! Все торчит, все висит, все изнутри лезет. Не могу сесть на такое канапе — душа протестует.

Ну, думаю, не богато я живу. Хоть из дому беги. Противно на все глядеть. Работа из рук падает.

Вижу, и хозяйюшка Елизавета Игнатьевна ходит грустная, шуршит у себя на кухне, прибирается.

— Чего, — спрашиваю, — возитесь, хозяйюшка?

А она рукой машет.

— Я, — говорит, — милый человек, и не думала, что так некрасиво живу.

Взглянул я на хозяйкино барахлишко — действительно не густо: мебель у нее жуткая. А кругом беспорядок, развал, сор, мусор. И все это светлым светом залито и в глаза бросается.

Стал я приходить домой вроде как скучный.

Приду, свет зажгу, полюбуюсь на лампочку и ткнусь в койку.

После раздумал, получку получил, купил мелу и приступил к работе. Обойки отодрал, клопов выбил, паутинки смел, канаве починил, выкрасил, раздраконил — душа поет и радуется.

В общем, получилось хорошо и даже превосходно.

А хозяйшка наша Елизавета Игнатьевна поступила несколько иначе. Она отрезала провода в своей комнате.

— Я, — говорит, — милый человек, не желаю при свете жить. Не желаю, — говорит, — такую свою скромную обстановку освещать клопам на смех.

Я уж и просил и доводы приводил — никак. Твердит свое:

— Не желаю, — говорит, — со светом жить. Нет у меня денег ремонты ремонтировать.

Я говорю ей:

— Да я вам почти даром ремонт произведу!

Не хочет.

— При твоём, — говорит, — ярком свете придется мне с утра до ночи чисткой и уборкой заниматься. Обойдусь, — говорит, — без света, как обходилась прежде.

Уполномоченный тоже уговаривал ее. И даже побранился с ней. Назвал ее размагниченной мешанкой. Не сдалась. Отказалась.

Ну и пусть ее как хочет. Лично я при электрической лампочке живу и этим бесконечно доволен.

Свет, я так думаю, соскребет весь наш сор и мусор.

1925

ЛИМОНАД

Я, конечно, человек непьющий. Ежели другой раз и выпью, то мало — так, приличия ради или славную компанию поддержать.

Больше как две бутылки мне враз нипочем не употребить. Здоровье не позволяет. Один раз, помню, в день своего бывшего ангела я четверть выкушал.

Но это было в молодые, крепкие годы, когда сердце отчаянно в груди билось и в голове мелькали разные мысли.

А теперь старею.

Знакомый ветеринарный фельдшер, товарищ Птицын, давеча осматривал меня и даже, знаете, испугался.

— У вас, — говорит, — полная девальвация. Где, — говорит, — печень, где, — говорит, — почки, где, — говорит, — ваш пузырь для содержания всякой жидкости — распознать нет никакой возможности. Очень, — говорит, — вы сносились с точки зрения медицины.

Хотел я этого фельдшера побить, но после остыл к нему.

«Дай, — думаю, — сперва к хорошему врачу схожу, удостоверюсь».

Врач никакой девальвации не нашел.

— Органы, — говорит, — у вас довольно в аккуратном виде. И пузырь, — говорит, — вполне порядочный и не протекает. Что касается сердца, то оно очень еще отличное, даже, — говорит, — на два пальца шире, чем надо. Но, — говорит, — пить вы перестаньте, иначе очень просто смерть может приключиться.

А помирать, конечно, мне неохота. Я жить люблю. Я человек еще молодой. Мне только-только в начале нэпа сорок три года стукнуло. Можно сказать, в полном расцвете сил и здоровья. И сердце в груди широкое. И пузырь, главное, не протекает. С таким пузырем жить да радоваться.

«Надо, — думаю, — в самом деле пить бросить».

Взял и бросил.

Не пью и не пью. Час не пью, два часа не пью. В пять часов вечера пошел обедать в столовую.

Покушал суп. Начал вареное мясо кушать — охота выпить. «Заместо, — думаю, — острых напитков попрошу чего-нибудь помягче — нарзану или же лимонаду».

Зову.

— Эй, — говорю, — который тут мне порции подавал, неси мне, куриная твоя голова, лимонаду.

Приносят, конечно, мне лимонаду на интеллигентном подносе. В графине. Наливаю в стопку.

Пью я эту стопку, чувствую: кажись, водка. Налил еще. Ей-богу, водка. Что за черт! Налил остатки — самая настоящая водка.

— Неси, — кричу, — еще!

«Вот, — думаю, — поперло-то».

Приносит еще.

Попробовал еще. Никакого сомнения не осталось — самая натуральная водка.

После, когда деньги платил, замечание все-таки сделал.

— Я, — говорю, — лимонаду просил, а ты чего носишь, куриная твоя голова?

Тот говорит:

— Так что это у нас завсегда лимонадом зовется. Вполне законное слово. Еще с прежних времен... А натурального лимонаду, извиняюсь, не держим — потребителя нету.

— Неси, — говорю, — еще последнюю.

Так и не бросил. А желание было горячее. Только вот обстоятельства помешали. Как говорится — жизнь диктует свои законы. Надо подчиняться.

Да только как-то обидно словам подчиняться. А?

1925

ЧЕЛОВЕКА ОБИДЕЛИ

На праздники я обыкновенно в Лугу езжу. Там, говорят, воздух превосходный — сосновый и еловый. Против бронхита хорошо помогает. Врачи так говорят. Я не знаю. Не думаю.

Главное, что в Лугу ездить — сущее наказание. Народу больно много. Пихаются. На колени садятся без разрешения. Корзинки и тючки на головы ставят. Не только бронхит — душевную болезнь заполучить нетрудно.

Прошлый раз по пути из Луги на какой-то станции, несмотря на форменное переполнение, в вагон еще какой-то тип влазит. Не старый еще. С усиками. Довольно франтовато одетый. В русских сапогах. И с ним — старуха. Такая обыкновенная старуха с двумя тюками и с корзинкой.

Собственно, сначала эта старуха в вагон влезла со своим багажом. А за ней уж этот тип со своими усиками.

Старуха, значит, впереди идет — пробивается сквозь публику, а он за ней небрежной походкой. И все командует ей:

— Неси, — кричит, — ровней корзинку-то. Просыпешь продукты... Становь теперича ее под лавку! Засупонивай, я говорю, ее под лавку. Ах, чертова голова! Узел-то не клади гражданам на колени. Клади временно на головы... Обожди, сейчас я подниму его на верхнюю полку. Фу ты, я говорю, бестолочь какая!

Только видят пассажиры: действия гражданина не настоящие — форменное нарушение уголовного кодекса труда. Одним словом, пассажиры видят: нарушена норма в отношении старослужащего человека.

Некоторые начали вслух выражать свое неудовольствие — дескать, не пора ли одернуть, если он зарвался, и кричит, и командует своей прислугой. Где ж это возможно одной старухе такие узлы поднимать? Это же форменная эксплуатация трудящихся. Вдобавок, нельзя так кричать и командовать на глазах у публики — это унижает ее старушечье достоинство.

Вдруг один гражданин, который более всех горячился, подходит до этого, который с усиками, и берет его прямо за локотки.

— Это, — говорит, — невозможно — допускать такие действия. Это издевательство над несвободной личностью. Это форменная гримаса нэпа.

То есть, когда этого нового взяли за локотки, он побледнел и откинулся. И только потом начал возражать.

— Позвольте, — говорит, — может быть, никакой гримасы нету? Может быть, это я с моей мамашей в город Ленинград еду? Довольно, — говорит, — оскорбительно слушать подобные слова в нарушение кодекса.

Тут среди публики некоторое замешательство произошло. Некоторый конфуз: дескать, вмешались не в свои семейные дела. Прямо неловко. Оказывается, это всего-навсего мамаша, а не домработница.

Наиболее горячий человек не сразу, конечно, сдался.

— А пес, — говорит, — ее разберет! На ней афиши не наклеено — мамаша она или папаша. Тогда объявлять надо при входе.

Но после сел у своего окна и говорит:

— Извиняюсь все-таки. Мы не знали, что это ваша преподобная мамаша. Мы подумали как раз, знаете, дру-

гое. Мол, это, подумали, домашняя прислуга. Тогда извиняемся.

Но тут другой пассажир, кушая французскую булку, сказал тому, у которого мамаша и усики:

— Мамашу надо еще более пламенно уважать, чем домработницу. Недопустимо нагружать ее узлами и корзинками. И при этом грубо орать на нее.

У которого усики говорит:

— Попрошу не указывать, на кого мне орать и на кого узлы класть. Я от доктора имею удостоверение, что я нервный.

До самого Ленинграда который с усиками оскорблялся задним числом за нанесенные ему обиды.

— Это, — говорит, — проехаться не дадут — сразу берут за локотки. Затрагивают, у которых, может быть, билеты есть... Положите, мамаша, ногу на узел — унести могут... Какие такие нашлись особенные... А может быть, я сам с семнадцатого года живу в Ленинграде. И никому не дозволю оскорблять меня в нарушении кодекса.

Наиболее горячий пассажир безмолвно сидел у окна и даже избегал взгляда этого обиженного человека.

Да и другие пассажиры теперь молчали, не желая, должно быть, связываться с этим типом.

1926

КАЛОША

Конечно, потерять калошу в трамвае нетрудно. Особенно, если сбоку поднажмут да сзади какой-нибудь архаровец на задник наступит — вот вам и нет калоши.

Калошу потерять — прямо пустяки.

С меня калошу сняли в два счета. Можно сказать, ахнуть не успел.

В трамвай вошел — обе калоши стояли на месте, как сейчас помню.

А вышел из трамвая — гляжу: одна калоша здесь, а другой нету. Сапог — здесь. И носок, гляжу, здесь. И подштанники на месте. А калоши нету. Отсутствует одна калоша.

А за трамваем, конечно, не побежишь...

Снял калошу, которая осталась, завернул в газету и пошел так. «После работы, — думаю, — пущусь на розыски. Не пропадать же товару. Где-нибудь да раскопаю».

После работы пошел искать. Первым делом — посоветовался с одним знакомым вагоновожатым.

Тот прямо вот как меня обнадежил.

— Скажи, — говорит, — спасибо, что в трамвае потерял. Это тебе очень повезло, что ты именно в трамвае потерял. В другом общественном месте — не ручаюсь, а в трамвае потерять — святое дело. Такая у нас существует камера для потерянных вещей. Приходи и бери. Святое дело!

— Ну, — говорю, — спасибо. Прямо гора с плеч. Главное, калоша почти что новенькая. Всего третий сезон ношу.

На другой день иду в камеру.

— Нельзя ли, — говорю, — братцы, калошу заполнить обратно? В трамвае сняли.

— Можно, — говорят. — Какая калоша?

— Калоша, — говорю, — обыкновенно какая. Размер — двенадцатый номер.

— У нас, — говорят, — двенадцатого номера, может, двенадцать тысяч. Расскажи приметы.

— Приметы, — говорю, — обыкновенно какие: задник, конечно, обтрепан, внутри байки нету — сносились байка.

— У нас, — говорят, — таких калош, может, больше тыщи. Нет ли специальных признаков?

— Специальные, — говорю, — признаки имеются. Носок вроде бы начисто оторван, еле держится. И каблука, — говорю, — почти что нету. Сносился каблук. А бока, — говорю, — еще ничего, пока что удержались.

— Посиди, — говорят, — тут. Сейчас посмотрим.

Вдруг выносят мою калошу.

То есть ужасно обрадовался. Прямо умилился.

«Вот, — думаю, — славно аппарат работает. И какие, — думаю, — идейные люди, сколько хлопот на себя приняли из-за одной калоши».

Я им говорю:

— Спасибо, — говорю, — друзья, по гроб жизни. Давайте поскорей ее сюда. Сейчас я надену. Благодарю вас.

— Нету, — говорят, — уважаемый товарищ, не можем дать. Мы, — говорят, — не знаем: может, это не вы потеряли.

— Да я же, — говорю, — потерял. Могу дать честное слово.

Они говорят:

— Верим и вполне сочувствуем, и очень вероятно, что это вы потеряли именно эту калошу. Но отдать не можем. Принеси удостоверение, что ты действительно потерял калошу. Пушай домоуправление заверит этот факт, и тогда без излишней волокиты мы тебе выдадим то, что ты законно потерял.

— Братцы, — говорю, — святые товарищи, да в доме не знают про этот факт. Может, они не дадут такой бумаги.

— Дадут, — говорят, — это ихнее дело — дать. На что они у вас существуют?

Поглядел я еще раз на калошу и вышел.

На другой день пошел к председателю нашего дома.

— Давай, — говорю, — бумагу. Калоша гибнет.

— А верно, — говорит, — потерял? Или закручиваешь? Может, хочешь схватить лишний предмет ширпотреба?

— Ей-богу, — говорю, — потерял.

Он говорит:

— Конечно, на слова я не могу положиться. Вот если б ты мне удостоверение достал с трамвайного парка, что калошу потерял, — тогда бы я тебе выдал бумагу. А так не могу.

Я говорю:

— Так они же меня к вам посылают.

Он говорит:

— Ну тогда пиши мне заявление.

Я говорю:

— А что там написать?

Он говорит:

— Пиши: «Сего числа пропала калоша...» И так далее. Даю, дескать, расписку о невыезде впредь до выяснения.

Написал заявление. На другой день форменное удостоверение получил.

Пошел с этим удостоверением в камеру. И там мне, представьте себе, без хлопот и без волокиты выдают мою калошу.

Только когда надел калошу на ногу, почувствовал полное умиление. «Вот, — думаю, — люди работают! Да в каком-нибудь другом месте разве стали бы возиться с моей калошей столько времени? Да выкинули бы ее с трамвая — только и делов. А тут неделю не хлопотал — выдают обратно».

Одно досадно, за эту неделю во время хлопот первую калошу потерял. Все время носил ее под мышкой в пакете — и не помню, в каком месте ее оставил. Главное, что не в трамвае. Это гиблое дело, что не в трамвае. Ну где ее искать?

Но зато другая калоша у меня. Я ее на комод поставил. Другой раз станет скучно — взглянешь на калошу, и как-то легко и безобидно на душе становится. Вот, думаю, славно канцелярия работает.

Сохраню эту калошу на память. Пущай потомки любуются.

1926

СВЯТОЧНАЯ ИСТОРИЯ

Нынче святочных рассказов никто не пишет. Главная причина — ничего такого святочного в жизни не осталось.

Всякая рождественская чертовщина, покойники и чудеса отошли, как говорится, в область предания.

Покойники, впрочем, остались. Про одного покойника могу вам, граждане, рассказать.

Эта истинная быль случилась перед рождеством. В сентябре месяце.

Поведал мне об этой истории один врач по внутренним и детским болезням.

Был этот врач довольно старенький и весь седой. Через этот факт он поседел или вообще поседел — неизвестно. Только действительно был он седой, и голос у него был сиплый и надломленный.

То же и насчет голоса. Неизвестно, на чем голос он пропил. На факте или вообще.

Но дело не в этом.

А сидит раз этот врач в своем кабинете и думает:

«Пациент-то, — думает, — нынче нестоящий пошел. То есть каждый норовит по страхкарточке лечиться. И нет того, чтобы к частному врачу зайти. Прямо хоть закрывай лавочку».

И вдруг звонок.

Входит гражданин средних лет и жалуется врачу на недомогание. И сердце, дескать, у него все время остана-вливается, и вообще чувствует он, что помрет вскоре после этого визита.

Осмотрел врач больного — ничего такого. Совершенно как бык здоровый, розовый, и усы кверху закручены. И все на месте. Никакого умирания в организме не чувствуется.

Прописал врач больному нашатырно-анисовых капель, принял за визит семь гривен, покачал головой. На том они и расстались.

На другой день в это же время приходит к врачу старушонка в черном платке. Поминутно сморкается и плачет. Говорит:

— Давеча, — говорит, — приходил к вам мой любимый племянник Василий Леденцов. Так он, видите ли, в ночь на сегодня скончался от разрыва сердца. Нельзя ли ему после этого выдать свидетельство о смерти.

Врач говорит:

— Очень, — говорит, — удивительно, что он скончался. От анисовых капель редко кончаются. Тем не менее, — говорит, — свидетельство о смерти выдать не могу — надо мне увидеть покойника.

Старушка, божий цветочек, говорит:

— Очень великолепно. Идемте тогда за мной. Тут недалече.

Взял врач с собой инструмент, надел, заметьте, калоши и вышел со старушкой.

И вот поднимаются они в пятый этаж. Входят в квартиру. Действительно, ладаном пахнет. Покойник на столе расположен. Свечки горят вокруг. И старушка жалобно хрюкает.

И так врачу стало на душе скучно, противно.

«Экий я, — думает, — старый хрен, каково смертельно ошибся в пациенте. Какая канитель за семь гривен».

Присаживается он к столу и быстро пишет удостоверение. Написал, подал старушке и, не попрощавшись, поскорее вышел.

Вышел. Дошел до ворот. И вдруг вспомнил — мать честная, калоши позабыл!

«Экая, — думает, — неперка за те же семь гривен. Придется опять наверх ползти».

Поднимается он вновь по лестнице. Входит в квартиру. Дверь, конечно, открыта. И вдруг видит: сидит покойник Василий Леденцов на столе и сапог зашнуровывает. Зашнуровывает он сапог и со старушкой о чем-то препирается. А старушка, божий одуванчик, ходит вокруг стола и пальцем свечки гасит. Послюнит палец и гасит.

Очень удивился этому врач, хотел с испугу вскрикнуть, однако сдержался и, как был без калош, — кинулся прочь.

Прибежал домой, упал на кушетку и со страху зубами лязгает. После выпил нашатырно-анисовых капель, успокоился и позвонил в милицию.

А на другой день милиция выяснила всю эту историю.

Оказалось: агент по сбору объявлений, Василий Митрофанович Леденцов, присвоил три тысячи казенных денег. С этими деньгами он хотел начисто смыться и начать новую великолепную жизнь.

Однако не пришлось.

Калоши врачу вернули месяца через три после всяких длинных процедур, заявлений, просьб и хождений.

В общем, врач отделался сравнительно благополучно и, кроме расстройства нервов по поводу долгой невыдачи калош, других неприятностей не имел.

И, рассказав мне эту историю, врач, вздохнувши, добавил:

— Имея три тысячи, этот фрукт хотел за семь гривен смыться из этого мира, но медицина не допустила. Вот до чего доводит людей жадность к деньгам.

1926

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ

Как в других городах проходит режим экономии, я, товарищи, не знаю.

А вот в городе Борисове этот режим очень выгодно обернулся.

За одну короткую зиму в одном только нашем учреждении семь сажен еловых дров сэкономлено.

Худо ли?!

Десять лет такой экономии — это семьдесят сажен все-таки. А за сто лет очень свободно три барки сэкономить можно. Через тысячу лет вообще дровами торговать можно будет.

И об чем только народ раньше думал? Отчего такой выгодный режим раньше в обиход не вводил? Вот обидно-то!

А начался у нас этот самый режим еще с осени.

Заведующий у нас — свой парень. Про все с нами советуется и говорит как с родными. Папироски даже у нас стреляет.

Так, приходит как-то этот заведующий и объявляет:

— Ну вот, ребяташки, началось... Подтянитесь. Экономьте чего-нибудь там такое...

А как и чего экономить — неизвестно. Толком ему не разъяснили, а сам он сразу не сообразил и, значит, к нам обратился.

Стали мы разговаривать, чего экономить. Бухгалтеру, что ли, черту седому, не заплатить, или еще как.

Заведующий говорит:

— Бухгалтеру, ребяташки, не заплатишь — так он, черт седой, живо в охрану труда смотается. Этого нельзя будет. Надо еще что-нибудь придумать.

Тут, спасибо, наша уборщица Нюша женский вопрос на рассмотрение вносит.

— Раз, — говорит, — такое положение, то, — говорит, — можно, для примеру, уборную не отапливать. Чего там зря поленья перегонять? Не в гостиной!

— Верно, — говорим, — нехай уборная в холоде постоит. Сажен семь сэкономим, может быть. А что прохладно будет, так это отнюдь не худо. По морозцу-то публика задерживаться не будет. От этого даже производительность может актуально повыситься.

Так и сделали. Бросили отапливать уборную и душевую. Стали экономию подсчитывать.

Действительно, семь сажен сэкономили. Стали восьмую экономить, да тут весна ударила.

Вот обидно-то!

Если б, думаем, не чертова весна, еще полкуба сэкономили бы.

Подкузьмила весна. Ну, да и семь сажен, спасибо, на полу не валяются.

А что труба там какая-то от морозу оказалась лопнувши, так эта труба, выяснилось, еще при царском режиме была поставлена. Такие трубы вообще с корнем выдергивать надо.

Да оно до осени очень свободно без трубы обойдемся. А осенью какую-нибудь дешевенькую можно будет поставить. Не в гостиной.

Правда, знакомый водопроводчик говорит:

— То есть, — говорит, — самая дешевенькая труба обойдется вам много дороже, чем сэкономленные дрова.

Вот это худо, если он не врет.

Нет, этот режим экономии требует, кажется, особого раздумья. Иначе он боком оборачивается.

1926

ЦАРСКИЕ САПОГИ

В этом году в Зимнем дворце разное царское барахлишко продавалось. Музейный фонд, что ли, этим торговал. Я не знаю кто.

Я с Катериной Федоровной Коленкоровой ходил туда. Ей самовар нужен был на десять персон.

Самовара, между прочим, там не оказалось. Или царь пил из чайника, или ему носили из кухни в каком-нибудь граненом стакане, я не знаю, — только самовары в продажу не поступили.

Зато других вещей было множество. И вещи действительно все очень великолепные. Разные царские портьеры, бордюры, разные рюмочки, плевательницы, сорочки и другие разные царские штучки. Ну, прямо глаза разбегаются, не знаешь, за что схватиться и какую вещь приобрести.

Тогда Катерина Федоровна на свободные деньги купила вместо самовара четыре сорочки из тончайшего мадаполама. Очень роскошные. Царские.

Я же вдруг увидел в описи сапоги. Русское голенище, восемнадцать целковых.

Я сразу спросил у артельщика, который торговал;

— Какие это сапоги, любезный приятель?

Он говорит:

— Обыкновенно какие — царские.

— А какая, — говорю, — мне гарантия, что это царские? Может, — говорю, — какой-нибудь капельдинер трепал, а вы их вместо царских выдаете. Это, — говорю, — нехорошо, неприлично.

Артельщик говорит:

— Тут кругом все имущество царской фамилии. Мы, — говорит, — дермом не торгуем.

— Покажи, — говорю, — товар.

Поглядел я сапоги. Очень мне ужасно понравились, и размер подходящий. И такие они не широкие, узенькие, опрятные. Тут носок, тут каблук. Ну, прямо цельные сапоги. И вообще мало ношенные. Может, только три дня царь их носил. Подметка еще не облупилась.

— Господи, — говорю, — Катерина Федоровна, да разве, — говорю, — раньше можно было мечтать насчет царской обуви? Или, например, в царских сапогах по улице пройти? Господи, — говорю, — как история меняется, Катерина Федоровна!

Восемнадцать целковых отдал за них, не горюя. И, конечно, за царские сапоги эта цена очень и очень небольшая.

Выложил восемнадцать целковых и понес эти царские сапоги домой.

Действительно, обувать их было трудно. Не говоря про портянку, на простой носок, и то еле лезут. «Все-таки, — думаю, — разношу».

Три дня разношивал. На четвертый день подметка отлипла. И не то чтобы одна подметка, а так полностью вместе с каблуком весь нижний этаж отвалился. Даже нога наружу вышла.

А случилось это поганое дело на улице, на бульваре Союзов, не доходя Дворца Труда. Так и попер домой на Васильевский остров без подметки.

Главное, денег было очень жалко. Все-таки восемнадцать целковых. И пожаловаться некуда. Ну, будь эти сапоги фабрики «Скорород» или какой-нибудь другой фабрики — другой вопрос. Можно было бы дело возбудить или директора с места погнать за такую техническую слабость. А тут, извольте, царские сапоги.

Конечно, на другой день сходил в музейный фонд. А там уже и торговать кончили — закрыто.

Хотел в Эрмитаж смотаться или еще куда-нибудь, но после рукой махнул. Главное, Катерина Федоровна меня остановила.

— Это, — говорит, — не только царский, любой королевский сапог может за столько лет прогнить. Все-таки, как хотите, со дня революции десять лет прошло. Нитки, конечно, сопреть могли за это время. Это понимать надо.

А действительно, братцы мои, десять лет протекло. Шутка ли! Товар, и тот распадаться начал.

И хотя Катерина Федоровна меня успокоила, но когда, между прочим, после первой стирки у нее эти самые царские дамские сорочки полезли в разные стороны, то она очень ужасно крыла царский режим.

А вообще, конечно, десять лет прошло — смешно обижаться.

Время-то как быстро идет, братцы мои! Все прежнее в прах распадается.

1927

МОНТЕР

Я, братцы мои, зря спорить не буду, кто важней в театре — актер, режиссер или, может быть, театральный плотник. Факты покажут. Факты всегда сами за себя говорят.

Дело это произошло в Саратове или в Симбирске, одним словом — где-то недалеко от Туркестана. В городском театре.

Играли в этом городском театре оперу. Кроме выдающейся игры артистов, был в этом театре, между прочим, монтер — Иван Кузьмич Мякишев.

На общей группе, когда весь театр в двадцать третьем году снимали на карточку, монтера этого пихнули куда-то сбоку: мол, технический персонал. А в центр, на стул со спинкой, посадили тенора.

Монтер Иван Кузьмич Мякишев ничего на это хамство не сказал, но затаил в душе некоторую грубость. Тем более что на карточку засняли его вдобавок мутно, не в фокусе.

А тут такое подошло. Сегодня, для примера, играют «Руслан и Людмила». Музыка Глинки. Дирижер — маэстро Кацман. А без четверти минут восемь являются до этого монтера две знакомые ему барышни. Или он их раньше пригласил, или они сами явились — неизвестно. Так являются эти две знакомые барышни, отчаянно флиртуют и вообще просят их посадить в общую залу — посмотреть на спектакль.

Монтер говорит:

— Да ради бога, медам. Сейчас я вам пару билетов устрою. Посидите тут, у будки.

И сам, конечно, к управляющему.

Управляющий говорит:

— Сегодня выходной день. Народу пропасть. Каждый стул на учете. Не могу.

Монтер говорит:

— Ах, так, — говорит. — Ну так я играть отказываюсь. Отказываюсь, одним словом, освещать ваше производство. Играйте без меня. Посмотрим тогда, кто из нас важней и кого сбоку сымать, а кого в центр сажать.

И сам обратно в будку. Выключил по всему театру свет к чертовой бабушке, замкнул на все ключи будку и сидит — флиртует со своими знакомыми девицами.

Тут произошла, конечно, форменная неразбериха. Управляющий бегаёт. Публика орёт. Кассир визжит, пугается, как бы у него деньги в потемках не унесли. А бродяга, главный оперный тенор, привыкший сыматься в центре, заявляется до дирекции и говорит своим тенором:

— Я в темноте петь тенором отказываюсь. Раз, — говорит, — темно — я ухожу. Мне, — говорит, — голос себе дороже. Пушай сам монтер поет.

Монтер говорит:

— Пушай не поет. Наплевать на него. Раз он в центре сымается, то и пушай одной рукой поет, другой свет зажигает. Думает — тенор, так ему и свети все время. Теноров ныне нету!

Тут, конечно, монтер схлестнулся с тенором.

Вдруг управляющий является, говорит:

— Где эти чертовы две девицы? Через них наблюдается полная гибель. Сейчас я их куда-нибудь посажу, дьявол их забодай!

Монтер говорит:

— Вот они, чертовы девицы! Только не через их гибель, а гибель через меня. Сейчас, — говорит, — я свет дам. Мне энергии принципиально не жалко.

Дал он сию минуту свет.

— Начинайте, — говорит.

Сажают тогда его девиц на выдающиеся места и начинают спектакль.

Теперь и разбирайтесь сами, кто важнее в этом сложном театральном механизме.

Конечно, если без горячности разбираться, то тенор для театра крупная ценность. Иная опера не может без него пойти. Но и без монтера нет жизни на театральных подмостках. Так что они оба два представляют собой одинаковую ценность.

И незачем тут задаваться: дескать, я — тенор. Незачем избегать дружеских отношений и снимать на карточку мутно, не в фокусе.

1927

ПУШКИН

Девяносто лет назад убили на дуэли Александра Сергеевича Пушкина.

Вся Россия, можно сказать, горюет и слезы льет в эту прискорбную годовщину. Но, между прочим, больше всех горюет и убивается Иван Федорович Головкин.

Этот милый человек при одном только слове — Пушкин — ужасно вздрагивает и глядит в пространство.

И как же ему, братцы, не глядеть в пространство, если обнаружилась такая, можно сказать, печальная, теневая сторона жизни гениального поэта.

Мы, конечно, начнем нашу повесть издалека, чтобы не оскорбить память знаменитого гения. Начнем, примерно, с 1921 года. Тогда будет все наглядней.

В 1921 году, в декабре месяце, приехал из армии в родной свой городок Иван Федорович Головкин.

А тут как раз нэп начался. Оживление. Булки стали выпекать. Торговлишка завязалась. Жизнь, одним словом, ключом забила.

А наш приятель Головкин, несмотря на это, ходит по городу безуспешно. Помещения не имеет. И спит у знакомых. На собачьей подстилке. В передней комнате.

Ну и, конечно, через это настроен скептически.

— Нэп, — говорит, — это форменная утопия. Полгода, — говорит, — не могу помещения отыскать.

В 1923 году Головкин все-таки словчился и нашел помещение. Или он въездные заплатил, или вообще фортуна к нему обернулась, но только нашел.

Комната маленькая. Два окна. Пол, конечно. Потолок. Это все есть. Ничего против не скажешь.

А очень любовно устроился там Головкин. На шпалеры разорился — оклеил. Гвозди куда надо приколотил, чтоб уютней выглядело. И живет, как падишах.

А время, конечно, идет. Вот уже восемьдесят седьмая годовщина ударяет со дня смерти нашего дорогого поэта Пушкина. Потом восемьдесят восьмая.

На восемьдесят девятой годовщине разговоры, конечно, поднялись в квартире. Пушкин, дескать. Писатель. Жил, дескать, в свое время в этом помещении. Осчастливил, дескать, жилплощадь своим нестерпимым гением. Не худо бы в силу этого какую ни на есть досточку приклепать с полным обозначением и в назидание потомству.

Иван Федорович Головкин тоже сдуру участие принял в этой дощечке на свою голову.

Только вдруг в квартире ропот происходит. Дамы мечутся. Кастрюльки чистят. Углы подметают.

Комиссия приходит из пяти человек. Помещение осматривает.

Увидела комиссия разную домашнюю требуху в квартире — кастрюли и пиджаки — и горько так вздохнула.

— Тут, — говорит, — когда-то Александр Сергеевич Пушкин жил. Две недели гостил у своего приятеля. И что же мы здесь видим спустя столетие? Мы видим, что в данной квартире форменное безобразие наблюдается. Вон метла стоит. Вон брюки висят — подтяжки по стенам развешаются. Ведь это же прямо оскорбительно для памяти гения!

Ну, одним словом, через три недели выселили всех жильцов из этого помещения.

Головкин, это верно, очень ругался. Крыл суровую пушкинскую эпоху и в особенности Николая Первого. Однако и своим от Головкина крепко досталось — зачем, дескать, нет квартир и жить негде.

Иван Федорович Головкин выражал это свое особое мнение открыто, не боясь никаких последствий.

— Что ж, — говорит, — это такое? Ну, пушай он гений. Ну, пушай стишки сочинил: «Птичка прыгает на ветке». Но зачем же средних людей выселять? Тогда предоставьте им жилплощадь или выездные.

Хотел Головкин в Пушкинский заповедник поехать — ругаться, но после занялся подыскиванием помещения.

Он и сейчас еще ищет. Осунулся, поседел. Требовательный такой стал. Все расспрашивает, кто да кто раньше жил в этом помещении. И не жил ли здесь, оборони создатель, Демьян Бедный или Качалов. А если жил, то он, Головкин, и даром не возьмет такого помещения.

А это верно: как это некоторые крупные гении легкомысленно поступают — мотаются с квартиры на квартиру, переезжают. А после такие печальные результаты.

Да вот недалеко ходить: в наше время один наш знакомый поэт за последний год не менее семи комнат сменил. Все, знаете, никак не может ужиться. За неплатеж.

А ведь, может, он, черт его знает, гений!

Ох, и обложат же его лет через пятьдесят за эти семь комнат.

Единственно — может быть, жилищный кризис несколько ослабнет к тому времени. Одна надежда.

1927

БАРЕТКИ

Трофимыч с нашей коммунальной квартиры пошел своей дочке полсапожки купить. Дочка у него, Нюшка, небольшой такой переросток. Семи лет.

Так вот, пошел Трофимыч с этой своей Нюшкой сапоги приобретать. Потому как дело к осени, а сапоженок, конечно, нету.

Вот Трофимыч поскрипел зубами — мол, такой расход, — взял, например, свою Нюшку за лапку и пошел ей покупку производить.

Зашел он со своим ребенком в один коммерческий магазин. Велел показать товар. Велел примерить. Все вполне хорошо — и товар хорош, и мерка аккуратная.

Одно, знаете, никак не годится — цена не годится. Цена, прямо скажем, двенадцать целковых!

А Трофимыч, конечно, хотел подешевле купить эти детские недомерки — рубля за полтора-два.

Пошел тогда Трофимыч, несмотря на отчаянный Ньюшкин рев, в другой магазин. В другом магазине спросили червонец. В третьем магазине опять червонец. Одним словом, куда ни придут — та же история: и нога по сапогу, и товар годится, а с ценой форменные ножницы — расхождение, и вообще Ньюшкин рев.

В пятом магазине Ньюшка примерила сапоги, — хороши. Спросили цену: девять целковых, и никакой скидки. Начал Трофимыч упрашивать, чтоб ему скостили рубля три-четыре, а в это время Ньюшка в новых сапожках подошла к двери и, не будь дура, вышла на улицу.

Кинулся было Трофимыч за этим своим ребенком, но его заведующий удержал:

— Прежде, — говорит, — заплатить надо, товарищ, а потом бежать по своим делам.

Начал Трофимыч упрашивать, чтоб обождали.

— Сейчас, — говорит, — ребенок, может быть, явится. Может, ребенок пошел промяться в этих новых сапожках. Может быть, он хочет выяснить — не давят ли они.

Заведующий говорит:

— Это меня не касается. Я товара не вижу. Платите за товар деньги. Или с магазина не выходите.

Трофимыч отвечает:

— Я лучше с магазина не выйду. Я обожду, когда ребенок явится.

Но только Ньюшка не вернулась.

Она вышла из магазина в новеньких баретках и домой пошла.

«А то, — думает, — папаня, как пить дать, обратно не купит по причине все той же дороговизны».

Так и не вернулась.

Нечего делать — заплатил Трофимыч сколько спросили, поскрипел зубами и пошел домой.

А Ньюшка была уже дома и щеголяла в своих новых баретках.

Хотя Трофимыч ее слегка потрепал, но, между прочим, баретки так при ней и остались.

Теперь, после этого факта, может быть, вы заметили: в государственных магазинах начали отпускать на примерку по одному левому сапогу.

А правый сапог теперь прячется куда-нибудь, или сам заведующий зажимает его в коленях и не допускает трогать.

А детишки, конечно, довольно самостоятельные пошли. Поколение, я говорю, довольно свободное.

1927

ВСТРЕЧА

Скажу вам откровенно: я очень люблю людей.

Другие, знаете ли, на собак растрчивают свои симпатии. Купают их и на цепочках водят. А мне как-то человек милее.

Однако не могу соврать: при всей своей горячей любви не видел бескорыстных людей.

Один было парнишка светлой личностью промелькнул в моей жизни. Да и то сейчас насчет него нахожусь в раздумье. Не могу решить, чего он тогда думал. Кто его знает — какие у него были мысли, когда он делал свое бескорыстное дело.

А шел я, знаете, из Ялты в Алупку. Пешком. По шоссе. Я в этом году в Крыму был. В доме отдыха.

Так иду я пешком. Любуюсь крымской природой. Красота, можно сказать, неземная.

Одно худо — невозможно жарко. Через эту жару даже красота на ум не идет. Отворачиваешься от панорамы.

И пыль на зубах скрипит.

Семь верст прошел и утомился до крайности.

А до Алупки еще далеко. Может, верст десять. Прямо не рад, что выбрал такой маршрут.

Прошел еще версту. Запарился. Присел на дорогу. Сажу. Отдыхаю. И вижу — позади меня человек идет. Шагов, может, за пятьсот.

А кругом, конечно, пустынно. Ни души. Орлы летают.

Худого я тогда ничего не подумал. Но все-таки при всей своей любви к людям не люблю с ними встречаться в пустынном месте.

Встал и пошел. Немного прошел, обернулся — идет человек за мной.

Тогда я пошел быстрее, — он тоже поднажал.

Иду, на крымскую природу не гляжу. Только бы, думаю, живьем до Алупки дойти.

Оборачиваюсь. Гляжу — он рукой мне машет. Я ему тоже махнул рукой. Дескать, отстань, сделай милость.

Слышу, он мне что-то кричит.

Вот, думаю, черт привязался!

Ходко пошел вперед. Слышу, он опять кричит. И теперь бежит сзади меня.

Несмотря на усталость, я тоже побежал.

Пробежал немного — задыхаюсь.

Слышу, кричит:

— Стой! Стой! Товарищ!

Прислонился я к скале. Стою.

Подбежал до меня небогато одетый человек. В сандалиях. И вместо рубашки — сетка.

— Чего вам, — говорю, — надо?

— Ничего, — говорит, — не надо. А вижу — не туда идете. Вы в Алупку?

— В Алупку.

— Тогда, — говорит, — вам по шоссе не надо. По шоссе громадный крюк даете. Туристы тут завсегда путаются. А тут вам по тропке надо идти. Версты четыре выгоды. И тени много.

— Да нет, — говорю, — мерси, спасибо. Я уж по шоссе пойду.

— Ну, — говорит, — как хотите. А я по тропинке.

Повернулся и пошел назад. После окликает меня:

— Нет ли папироски, товарищ? Курить охота.

Дал я ему папироску. И сразу как-то мы с ним познакомились и подружились. И пошли вместе по тропинке.

Очень симпатичный человек оказался. Пищевик. Всю дорогу он надо мной смеялся.

— Прямо, — говорит, — тяжело было на вас глядеть. Идет не туда. Дай, думаю, скажу. А вы бежите. Зачем же вы побежали?

— Да, — говорю, — чего не пробежать.

Незаметно, по тенистой тропинке, пришли мы в Алупку и здесь распрощались.

Весь вечер я думал насчет этого пищевода.

Человек бежал, задышался, сандалии трепал. И для чего? Чтобы сказать, куда мне надо идти. Это было очень благородно с его стороны.

А теперь, вернувшись в Ленинград, я думаю: кто его знает, а может, ему курить сильно захотелось? Может, он хотел папироску у меня стрелнуть. Вот и бежал. Или, может, идти ему было скучно — попутчика искал.

Так и не знаю в точности. Однако сердце подсказывает мне, что бежал он бескорыстно. Это был простодушный человек. А такие способны совершать то, чего от других не дождешься.

1928

ПИСЬМО

Жили себе в Ленинграде муж и жена.

Муж был ответственный советский работник. Он был нестарый человек, крепкий, развитой и вообще, знаете ли, энергичный, преданный делу социализма и так далее.

И хотя он был человек простой, из деревни, и никакого такого в свое время высшего образования не получил, но за годы пребывания в городе он поднаторел во всем, много чего знал и мог в любой аудитории речи произносить. И даже вполне мог вступать в споры с учеными разных специальностей — от физиологов до электриков включительно.

А жена его, Пелагея, между тем была женщина неграмотная. И хотя она приехала из деревни вместе с ним, но ничему такому не научилась, осталась неграмотной, и даже свою фамилию она не могла подписывать.

А муж Пелагеи, видя такую ситуацию, ужасно огорчался, страдал и не понимал, как ему выйти из беды. Тем более, он сам был чересчур занят и не имел свободного времени на переподготовку своей супруги.

Он ей не раз говорил:

— Ты бы, Пелагеюшка, как-нибудь научилась читать или хотя бы фамилию подписывать. Наша страна, — говорит, — постепенно выходит из вековой темноты и некультурности. Мы кругом ликвидируем серость и неграмотность. А тут вдруг супруга директора хлебозавода не может ни читать, ни писать, ни понимать, что написано! И я от этого терплю невозможные страдания.

А Пелагея на это, бывало, рукой махнет и так отвечает:

— Ах, — отвечает, — Иван Николаевич, об чем вы хлопотете! Мне этим не к чему заниматься. В свое время я за это не взялась, а теперь мои годы постепенно проходят, и моя молодость исчезает, и мои руки специально не гнутся, чтобы, например, карандаш держать. На что мне учиться и буквы выводить? Пущай лучше этим молодые пионеры занимаются, а я и так до старости лет доживу.

А муж Пелагеи, конечно, вздыхает с огорчением и говорит:

— Эх, эх, Пелагея Максимовна, как это политически неправильно ты выражаешься.

И вот однажды Иван Николаевич принес домой учебник.

— Ну, — говорит, — Поля, вот тебе новейший букварь-самоучитель, составленный по последним данным науки. Я, — говорит, — сам тебе буду показывать. И просьба — мне не противоречить.

А Пелагея усмехнулась тихо, взяла букварь в руки, повертела его и в комод спрятала: пущай, дескать, лежит, может быть в дальнейшем потомкам пригодится.

Но вот однажды днем присела Пелагея за работу. Пиджак Ивану Николаевичу надо было починить, рукав протерся.

И села Пелагея за стол. Взяла иголку. Сунула руку под пиджак — шуршит что-то.

«Не деньги ли?» — подумала Пелагея.

Посмотрела — письмо. Чистый такой, аккуратный конверт, тоненькие букочки на нем, и бумага вроде как духами или одеколоном пахнет.

Екнуло у Пелагеи сердце.

«Неужели же, — думает, — Иван Николаевич меня зря обманывает? Неужели же он сердечную переписку ведет с порядочными дамами и надо мной же, неграмотной душой, насмехается?»

Поглядела Пелагея на конверт, вынула письмо, развернула, а разобрать его по неграмотности не может.

Первый раз в жизни пожалела Пелагея, что читать сна не умеет.

«Хоть, — думает, — и чужое письмо, а должна я знать, чего в нем пишут, Может, от этого вся моя жизнь пе-

ременится, и мне лучше в деревню ехать, на мужицкие работы».

И у самой в груди закипело от обиды и досады. И сердце перевернулось от огорчения.

«Должно быть, — думает, — я Ивана Николаевича очень люблю, если через это письмо я настолько страдаю, мучаюсь и ревную. Ах, как обидно, — думает, — что я этого письма прочесть не могу! Я бы сразу узнала, в чем тут дело».

И вот она заплакала. Стала вспоминать разные мелочи про Ивана Николаевича. Да, он действительно как будто переменялся в последнее время. Стал об усиках своих заботиться — причесывает их. И руки часто моет. И надевает новую кепку. И сапоги чистит до блеска.

Сидит Пелагея, думает эти мысли, смотрит на письмо и ревет белугой. А прочесть письма не может. Поскольку даже не понимает буквы. А чужому человеку ей показать, конечно, совестно, неудобно. Может быть, там такие слова, которые не следует знать посторонним.

После она, поплакав, спрятала письмо в комод, дошила пиджак и стала поджидать Ивана Николаевича.

И когда пришел он, Пелагея и виду не показала. Напротив того: она ровным и спокойным тоном разговаривала с мужем и даже намекнула ему, что она не прочь бы поучиться и что ей чересчур надоело быть неграмотной бабой.

Очень этому обрадовался Иван Николаевич.

— Ну и отлично! — сказал он. — Я тебе сам буду показывать.

— Что ж, показывай! — сказала Пелагея.

И сама в упор посмотрела на ровные, подстриженные усики Ивана Николаевича. И снова сердце жглось у нее в груди и перевернулось от досады и огорчения.

Два месяца подряд Пелагея изо дня в день училась читать. Она терпеливо по складам составляла слова, выводила буквы и заучивала фразы. И каждый вечер вынимала из комода заветное письмо и пыталась разгадать его таинственный смысл.

Однако это было очень нелегко.

Только на третий месяц Пелагея одолела науку.

Утром, когда Иван Николаевич ушел на работу, Пелагея вынула из комода письмо и принялась читать его.

Она с трудом разбирала тонкий почерк. И только еле уловимый запах духов от бумаги подбадривал ее.

Письмо было адресовано Ивану Николаевичу. Пелагея читала:

«Уважаемый товарищ Кучкин.

Посылаю вам обещанный букварь. Я думаю, что ваша жена в два-три месяца вполне может одолеть премудрость. Заставьте, голубчик, ее это сделать. Внушите ей, объясните, как в сущности отвратительно быть неграмотной бабой.

Сейчас, к этой годовщине, мы ликвидируем неграмотность по всей республике, а о своих близких почему-то забываем.

Обещайте, Иван Николаевич, это сделать.

С комприветом *Мария Блохина*».

Пелагея два раза прочитала это письмо и, чувствуя какую-то новую обиду, заплакала.

Но потом, подумав об Иване Николаевиче и о том, что в ее супружеской жизни все в порядке, успокоилась и спрятала в комод букварь и злополучное письмо.

Так в короткое время, подгоняемая любовью и ревностью, наша Пелагея научилась читать и писать и стала грамотной.

1928

ПОЖАР

А очень, братцы мои, любопытный факт произошел в наши дни.

Газета «Гудок» отметила это выдающееся событие на своих славных страницах. Но мы еще желаем слегка подбавить пару. Уж очень невозможно получилось.

Однако, не желая конфузить перед судом серых героев этого события, не будем указывать в своем художественном произведении точного ихнего местопребывания. Скажем только, что произошло это на Сызрано-Вяземской железной дороге.

А станцию, я говорю, указывать не стоит. А то еще поезда начнут подолгу задерживаться в этом пункте. Ведь

всем охота поглядеть, что там за люди-человеки. Так вот. Сейчас увидите.

Была-находилась недалеко от станции лавка гражданина Федора Балужева. Мелочная торговля. Ну, одним словом, — частное предприятие. Частник, одним словом, в этом населенном месте раскинул свои сети и заманивал туда покупателей. Наживался на мелочах. Богател.

И вот раз однажды, в субботу вечером,— возьми и загорись этот частник.

Говорят, от оброненной папироски у него товар вспыхнул. Небрежность какая! Докидался, темная личность.

Значит, вспыхнул пожар. Произошла тревога. Дым столбом. Крики.

В набат не звонили — потому церковь была на сносе. Электрической сигнализации тоже здесь не было. Не в Ленинграде. А просто один гражданин-любитель побежал на своих ногах до этой пожарной команды.

Добежал до этой команды. Кричит:

— Эй, черти! Пожар горит! Выезжайте.

Тогда выходит на этот крик ихний брандмейстер на крылечко. Яблоко жует. После котлет закусывает.

— Чего, — говорит, — орешь, балда?

— Так что, — говорит, — пожар горит. Можно выезжать.

Ихний брандмейстер говорит:

— Видим. Не слепые!

А видеть действительно можно было. Пламя довольно высоко к небу поднялось. Искры, конечно, сыплются. И дым глаза ест.

Ихний брандмейстер говорит:

— Довольно вам странно, гражданин, орать и требовать нашего выезда.

— А что?

— А то! Кто горит? Балужев горит? А кто есть Балужев? Кооперация? Балужев есть частник. Ну и пушай его горит. Чище воздух будет. А вы, — говорит, — товарищ, не нарушайте тут классовой линии своими криками. Не то, знаете, до чего докричитесь!

Гражданин-любитель, конечно, сконфузился за свою отсталую идеологию и поскорее смылся.

Особенного переполоха среди населения не было. На этот раз массы довольно сознательно отнеслись к по-

жару. Тем более что лавка стояла несколько в стороне от селения. И ветру в ту пору не было.

Однако к концу пожара небольшой ветер все-таки поднялся. И даже ветерок этот рванулся в сторону селения.

Но и в эти тревожные минуты ихний брандмейстер не потерял присутствия духа. Он сказал своей бравой команде:

— Удержимся от выезда! Не станем гасить Федора Балуюева. А то потом нам кинут обвинение, что мы спасали из пламени частный капитал.

Но тут неожиданно ветер снова утих, и грозная опасность для поселка совершенно миновала.

Так что особого беспокойства, я говорю, не произошло. Хотя народу довольно много собралось поглядеть на это зрелище. Глядели серьезно. Без улыбок.

Сам частник сидел на камушках напротив пожара и особенно в огонь за имуществом не кидался. Он обиженно бормотал:

— Нехай горит! Мое имущество застраховано. Не тушите.

Вскоре, значит, пожар догорел, и народ разошелся по своим халупам.

А частник пошел ночевать к своим родственникам.

Вскоре, говорят, над пожарниками состоится показательный суд за ихний, так сказать, ошибочный подход к тушению пожаров.

Тоже ведь сразу не угадаешь, чего требуется. А требуется в сущности не так уж много. Требуется: гасить любые пожары, чтобы самому не погореть вместе со своей пожарной каланчой.

Вот этот нехитрый афоризм так и зарубите себе на носу.

1928

СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Очень удивительную денежную историю я слышал про одного нэпмана. История наглядно рисует капиталистов со всех ихних сторон. Так что наш данный рассказ есть до некоторой степени сатира, обернутая против нэпманов,

а также против всяких людей, которые деньги обожают больше жизни.

А жил в Ленинграде такой П. Я. Сисяев. Такой довольно арапистый человек. Он в начале нэпа парикмахерскую держал. Только, кроме стрижки и брижки, он еще иностранной валютой торговал и вообще разные темные делишки обстрипывал. Ну и, конечно, засыпался.

Он засыпался в двадцать шестом году летом. Маленько посидел где следует. И вскоре его, голубчика, выселили из Ленинграда куда-то подальше. Ему чего-то, одним словом, дали — минус семь или плюс семь, черт его разберет. Я в этих делах пока что слабо понимаю. Одним словом, его, как плута и спекулянта, выслали в Нарымский край.

И, значит, он, хочешь не хочешь, поехал.

А надо сказать, он своего ареста ожидал. У него сердце было беспокойно. Он еще за неделю сказал своим компаньонам, дескать, как бы не угадать куда-нибудь.

И, конечно, на всякий случай он взял старую кожаную тужурку, подпорол ей бортник и зашил туда десять царских золотых монет и один золотой квадратик. Может быть, помните — государство в двадцать четвертом году выпустило такие золотые квадратики для технических надобностей.

Вот он, значит, на всякий пожарный случай и подшил свое добро в тужурку, и прямо из этой тужурки он больше не вылезал. Да еще в брюки он тоже зашил разные бумажные деньги. И стал поджидать.

Только он не долго ждал. Вскоре после того его взяли вместе с тужуркой. И осенью он поехал куда следует.

Только неизвестно, как он там жил. Может быть, скорей всего он не очень худо жил. Тем более, бумажных денег у него было вдоволь припасено. Он знай себе подпарывал брюки и вынимал что-то из бумажника. А до золота он, между прочим, не дотрагивался.

Только живет он так больше года. И вдруг хворает. Он хворает воспалением легких. Он там простудился. Его там просквозило на работе. И он там захворал.

Конечно, кашель поднялся, насморк, хрипы, температура минус сорок градусов. В боку колет. Аппетита нету.

И вообще человек чувствует приближение собственной кончины.

А при наличии таких денег не хотелось ему расставаться с этим миром. Не хотелось, чтобы его монеты и квадратiki достались другим.

Как тут быть? Как горю пособить?

И тогда ночью сымает он с себя кожаную куртку и вновь подпарывает ей бортик.

Он подпарывает ей бортик, кладет на язык золотые монетки и глотает их в порядке живой очереди.

Только, может, он проглотил их пять или шесть штук, как вдруг замечает эти преступные действия один из его приятелей. Их там по семи человек вместе жило.

Заметил это приятель, поднял тарарам и не допустил глотать остальные деньги.

И хотя тот за того хватался и умолял, но этот говорит:

— Мне, — говорит, — не так золота жалко. Я себе золота не возьму. Но я, — говорит, — не могу допустить проглатывать. Тем более, воспаление легких иногда проходит. А тут и денег не будет, и вообще засорение желудка.

Короче говоря, вскоре больной поправился. Грудь ему освободило. Дыхание вернулось. Но является новая беда — в желудке колет, кушать неохота, и слюни не идут.

И спасибо, что больной не все монеты заглотал. А то бы совсем невозможно получилось.

Конечно, можно было больному схлопотать в Томск поехать, на операцию лечь. Но только он сам не захотел. Ему здоровье не позволяло. Да и он пугался, что во время хлороформа он не досмотрит, и хирурги разворуют его монеты.

Он только допустил разные внутренние средства и дозволил себя массировать. Разные сильные средства, конечно, выгнали монеты наружу, но по подсчету их оказалось меньше, чем следует.

Тут вообще дело темное. Или украли во время тарарама несколько монет, или они в желудке остались.

Так что, ежели считать, что в желудке ничего нету, то недостает трех монет и одного квадратика. Тогда, значит, действительно кража. И тогда, значит, надо прекратить массаж и лечение.

Но зачем на людей тень наводить? Может быть, монеты лежат себе в желудке. Тем более, для здоровья это не играет роли. Золото не имеет права давать ржавчину, так что оно может лежать до бесконечности.

Конечно, жалко, что валюта лежит без движения. Но, может, она и в движении у других граждан.

1928

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

У моих знакомых, у Гусевых, немец из Берлина жил. Комнату снимал. Почти два месяца прожил.

Гусевы очень гордились своим квартирантом и восторженно рассказывали знакомым — какие у этого иностранца костюмы и какие заграничные вещи изумительного качества.

А когда уезжал этот немец, то он много чего оставил хозяевам. Цельный ворох заграничного добра. Разные пузырьки, воротнички, коробочки. Кроме того, две пары кальсон. И свитер почти не рваный. А мелочей разных и не счесть — и для мужского и для дамского обихода.

Все это в кучу было свалено в углу, у рукомойника.

Хозяйка, мадам Гусева, дама честная, ничего про нее такого не скажешь, намекнула немчику перед самым отъездом: дескать, битте-дритте, не впопыхах ли изволили заграничную продукцию оставить.

Немчик головой мотнул: дескать, битте-дритте, пожадуйста заберите, об чем разговор, жалко, что ли.

Тут хозяева налегли на оставленную продукцию. Сам Гусев даже подробный список вещам составил. И уж, конечно дело, сразу свитер на себя напялил и кальсоны взял.

После две недели ходил с кальсонами в руках. Всем показывал, невозможно как гордился и хвалил немецкое качество.

А вещи действительно были хотя и ношенные и, вообще говоря, чуть держались, однако, слов нет, — настоящий заграничный товар, глядеть приятно.

Между прочим, среди оставленных вещей была такая фляга не фляга, но вообще такая довольно плоская банка с порошком. Порошок вообще розовый, мелкий.

И душок довольно симпатичный — не то лориган, не то роза.

После первых дней радости и ликования начали Гусевы гадать, что за порошок. Нюхали, и зубами жевали, и на огонь сыпали, но угадать не могли.

Носили по всему дому, показывали всем жильцам, но толку не добились.

Многие говорили, будто это пудра, а некоторые заявляли, будто это мелкий немецкий тальк для подсыпки только что родившихся ребят.

Гусев говорит:

— Мелкий немецкий тальк мне ни к чему. Только что родившихся ребят у меня нету. Пущай это будет пудра. Пущай я буду после каждого бритья физию себе подсыпать. Надо же культурно пожить хоть раз в жизни.

Начал он бриться и пудриться. После каждого бритья ходит розовый, цветущий и прямо благоухает.

Кругом, конечно, зависть и вопросы.

Тут Гусев действительно поддержал немецкое производство. Много и горячо нахваливал заграничный товар.

— Сколько, — говорит, — лет уродовал свою личность разными нашими отбросами и вот, наконец, дождался. И когда, — говорит, — эта пудра кончится, то прямо и не знаю, как быть. Придется выписать еще баночку. Очень уж чудный товар.

Через месяц, когда пудра подходила к концу, пришел в гости к Гусеву один знакомый интеллигент. За вечерним чаем он и прочитал банку. Оказалось, это было немецкое средство против разведения блох.

Конечно, другой менее жизнерадостный человек был бы сильно пришиблен этим обстоятельством. И даже, может быть, у менее жизнерадостного человека кожа покрылась бы прыщами и угрями от излишней мнительности. Но не таков был Гусев.

— Вот это я понимаю, — сказал он. — Вот это качество продукции! Вот это достижение. Это действительно не переплунешь товар. Хочешь — морду пудри, хочешь — блох посыпай! На все годится. А у нас что?

Тут Гусев, похвалив еще раз немецкое производство, сказал:

— То-то я и гляжу — что такое? Целый месяц пудрюсь, и хоть бы одна блоха меня укусила. Жену, мадам

Гусеву, кусают. Сыновья тоже цельные дни отчаянно чешутся. Собака Нинка тоже скребется. А я, знаете, хожу, и хоть бы что. Даром что насекомые, но чувствуют, шельмы, настоящую продукцию.

Сейчас порошок у Гусева кончился. Должно быть, снова его кусают блохи.

Знают, шельмы, кого кусать.

1928

ШАПКА

Только теперь вполне чувствуешь и понимаешь, насколько мы за десять лет шагнули вперед!

Ну, взять любую сторону нашей жизни — то есть во всем полное развитие и счастливый успех.

А я, братцы мои, как бывший работник транспорта, очень наглядно вижу, чего, например, достигнуто и на этом довольно-таки важном фронте.

Поезда ходят взад и вперед. Гнилые шпалы сняты. Семафоры восстановлены. Свистки свистят правильно. Ну прямо приятно ехать.

А раньше! Да, бывало, в том же восемнадцатом году. Бывало, едешь, едешь — вдруг полная остановка. Машинист, значит, кричит с головы состава: дескать, сюда, братцы.

Ну, соберутся пассажиры.

Машинист им говорит:

— Так и так. Не могу, робя, дальше идти по причине топлива. И если, — говорит, — кому есть интерес дальше ехать — вытряхайся с вагонов и айда в лес за дровами.

Ну, пассажиры побранятся, поскрипят, мол, какие нововведения, но все-таки идут до лесу пилить и колоть!

Напилят полсажени дров и далее двигаются. А дрова, ясное дело, сырые, чертовски шипят и едут плохо.

А то, значит, вспоминается случай — в том же девятнадцатом году. Едем мы таким скромным образом до Ленинграду. Вдруг резкая остановка на полпути. Засим — задний ход и опять остановка.

Значит, пассажиры спрашивают:

— Что случилось? Зачем в лесу остановка, к чему это все время задний ход? Или, боже мой, опять идти за дро-

вами, — машинист разыскивает березовую рощу? Или, может быть, оберкондуктор пошел бруснику к чаю собирать?

Ведь в то время на транспорте были и такие факты — насчет ягод.

Помощник машиниста говорит:

— Нет, случилось не то, что вы думаете. На этот раз произошло несчастье. Машинисту шапку сдуло, и он теперича пошел ее разыскивать.

Сошли пассажиры с состава, расположились на насыпи.

Вдруг видят, машинист из лесу идет. Грустный такой. Бледный. Плечами пожимает.

— Нету, — говорит, — не нашел. Пес ее знает, куда ее сдуло.

Поддали состав еще на пятьсот шагов назад. Все пассажиры разбились на группы — ищут.

Минут через двадцать один какой-то мешочник кричит: — Эй, черти, сюда! Эвон где она.

Видим, действительно машинистова шапка, зацепившись, на кустах висит.

Машинист надел свою шапку, привязал ее к пуговице шпагатом, чтоб обратно не сдуло, и стал разводить пары.

И через полчаса благополучно тронулись.

Вот я и говорю. Раньше было полное расстройство транспорта.

А теперь не только шапку — пассажира сдует, и то остановка не более одной минуты.

Потому — время дорого. Надо ехать. Темпы не позволяют бруснику к чаю собирать.

1928

РАСПИСКА

Недавно произошло одно очень любопытное дело.

Оно тем более интересно, что это факт. Тут нету такой, что ли, выдумки или чистой фантастики. Наоборот, все взято, так сказать, с источника жизни.

И оно тем более интересно, что дело имеет любовную подкладку. В силу этого многим забавно будет погля-

деть, как и чего в данную минуту бывает на этом довольно важном и актуальном фронте.

Так вот, два года тому назад в городе Саратове произошло такое событие. Один довольно-таки безыдейный молодой человек, Сережа Хренов, а именно служащий, или, вернее, браковщик-приемщик с одного учреждения, начал ухаживать за одной барышней, за одной, скажем, работницей. Или она за ним начала ухаживать. Сейчас, за давностью времени, нету возможности в этом разобраться. Только известно, что стали их вместе замечать на саратовских улицах.

Начали они вместе гулять и выходить. Начали даже под ручку прохаживаться. Начали разные всякие любовные слова произносить. И так далее. И тому подобное. И прочее.

А этот молодой франтоватый браковщик однажды так замечает своей даме:

— Вот, — говорит, — что, гражданка Анна Лыткина. Сейчас, — говорит, — мы гуляем с вами, и вместе ходим, и безусловно, — говорит, — не можем предвидеть, что от этого будет и получится. И, — говорит, — будьте любезны, дайте мне расписку: мол, в случае чего и если произойдет ребенок, то никаких претензий вы к означенному лицу не имеете. А я, — говорит, — находясь с такой распиской, буду, — говорит, — более с вами любезен. В противном же случае я, — говорит, — скорее всего отвернусь от нашей с вами любви, чем я буду впоследствии беспокоиться за свои действия и платить деньги за содержание потомства.

Или она была в него сильно влюблена, или этот франтик заморочил ей голову в своем болоте безыдейности, но только она не стала с ним понапрасну много спорить, а взяла и подписала ему бумажку. Мол, и так далее и в случае чего я никаких претензий к нему не имею и с него денег требовать не буду.

Она подписала ему такую бумажку, но, конечно, при этом сказала кой-какие слова.

— Это, — говорит, — довольно странно с вашей стороны. Я раньше никогда таких расписок никому не давала. И даже мне, — говорит, — чересчур обидно, что ваша любовь принимает такие причудливые формы.

Но, — говорит, — раз вы настаиваете, то я, конечно, могу подписать вашу бумажку.

Браковщик говорит:

— Да уж будьте любезны. Я, — говорит, — десять лет присматриваюсь к нашей стране и знаю, что за это бывает.

Одним словом, она подписала бумажку. А он, не будь дурак, засвидетельствовал подпись ее прелестной руки в домоуправлении и спрятал этот драгоценный документ поближе к сердцу.

Короче говоря, через полтора года они, как миленькие, стояли перед лицом народного судьи и докладывали ему о своем прежнем погасшем чувстве.

Она стояла в белом своем трикотажном платочке и покачивала малютку.

— Да, — говорит, — действительно, я по глупости подписалась, но вот родился ребенок как таковой, и пушай отец ребенка тоже несет свою долю. Тем более, я не имею сейчас работы.

А он, то есть бывший молодой отец, стоит таким огурчиком и усмежается в свои усики.

Мол, об чем тут речь? Чего такое тут происходит, ась? Чего делается — я не пойму. Когда и так все ясно и наглядно, и при нем, будьте любезны, имеется документ.

Он торжественно распахивает свой пиджак, недолго в нем роется и достает свою заветную бумажку.

Он достает заветную бумажку и, тихонько смеясь, кладет ее на судейский стол.

Народный судья поглядел на эту расписку, посмотрел на подпись и на печать, усмехнулся и так говорит:

— Безусловно, документ правильный!..

Браковщик говорит:

— Да уж совершенно, так сказать, я извиняюсь, правильный! И вообще не остается никакого сомнения. Все, — говорит, — соблюдено, и все не нарушено.

Народный судья говорит:

— Документ, безусловно, правильный. Но только является такое соображение: советский закон стоит на стороне ребенка и защищает как раз его интересы. И в данном случае по закону ребенок не должен отвечать или страдать, если у него отец случайно попался довольно-

таки хитрый сукин сын. И в силу, — говорит, — вышеизложенного ваша расписка не имеет никакой цены, и она только дорога как память. Вот, — говорит, — возьмите ее обратно и спрячьте ее поскорее себе на грудку.

Короче говоря, вот уже полгода, как бывший отец платит деньги.

1929

1930 - 1939

ИМЕНИННИЦА

Однажды я поехал в деревню Борки. Мне туда надо было по делу.

От станции до этой деревни было не так много. Может быть, километра три. Но пешком я идти не рискнул. Весенняя грязь буквально доходила до колена.

Возле самой станции, у кооператива, стояла крестьянская подвода. Немолодой мужик в зимней шапке возился около лошади.

— А что, дядя, — спросил я, — не подвезешь ли меня до Борок?

— Подвезти можно, — сказал мужик, — только даром мне нет расчёту тебя подвозить. Рублишко надо мне с тебя взять, милый человек. Дюже дорога трудная. Воды много.

Я сел в телегу, и мы тронулись.

Дорога действительно была аховая. Жидкая грязь покрывала почти полное колесо.

— Грязь-то какая, — сказал я.

— Воды, конечно, много, — равнодушно ответил мужик.

Он сидел на передке, свесив вниз ноги, и непрестанно цокал на лошадь языком. И, когда переставал цокать хоть на минуту, лошадь поводила назад ушами и добродушно останавливалась.

Мы отъехали шагов сто, как вдруг позади нас, у кооператива, раздался истошный бабий крик.

Какая-то баба в сером платке, сильно размахивая руками и ругаясь на чем свет стоит, торопливо

шла за телегой, с трудом передвигая ноги в жидкой грязи.

— Ты что ж это, бродяга! — кричала баба, доходя в некоторых словах до полного визгу. — Ты кого ж посадил-то, черт рваный? Обсрмот, горе твое луковое!

Мой мужик оглянулся назад и усмехнулся в бороде.

— Ах, паразит-баба, — сказал он с улыбкой, — кроет-то как!

— А что она? — спросил я.

— А пес ее знает, — сказал мужик, сморкаясь. — Не иначе, как тоже в телегу ладит. Неохота ей, должно статься, по грязи хлюпать.

— Так пусть сядет, — сказал я.

— Трех не можно увезти, — ответил мужик, — дюже дорога трудная.

Баба, подобрав юбки выше колен, нажимала все быстрее, однако по такой грязи догнать нас было трудно.

— А ты что, с ней уговорился, что ли? — спросил я.

— Зачем уговорился? — ответил мужик. — Жена это мне. Что мне с ней зря уговариваться?

— Да что ты?! Жена? — удивился я. — Зачем же ты ее взял-то?

— Да увязалась баба. Именинница она, видишь, у меня сегодня. За покупками мы выехали. В кооператив... Эвон, гляди, как нажимает. Ай, ей-богу, смеюхота...

Мне, городскому человеку, ужасно стало неловко ехать в телеге, тем более что именинница крыла теперь все громче и громче и меня, и моих родных, и своего полупочтенного супруга.

Я подал мужику рубль, прыгнул с телеги и сказал:

— Пусть баба сядет. Я пройду.

Мужик взял рубль и, не снимая с головы шапки, засунул его куда-то под волосы.

Однако свою именинницу он не стал ждать. Он снова зацокал языком и двинул дальше.

Я мужественно шагал рядом, держась за телегу рукой, потом спросил:

— Ну, что ж не сажаешь-то?

Мужик тяжело вздохнул:

— Дорога дюже тяжелая. Не можно сажать сейчас... Да ничего ей, бабе-то. Она у меня — дьявол, двужильная.

Я снова на ходу влез в телегу и доехал до самой деревни, стараясь теперь не глядеть ни на моего извозчика, ни на именинницу.

По дороге мужик сказал:

— Я, видишь ли, собственно лошадь жалею. Тем более, мы не в колхозе. А мы — единоличники. А то я бабу обязательно бы посадил. На казенную лошадь. Ну да ничто ей. Она у меня может много ходить. По самым худым дорогам.

Я говорю мужику:

— Все-таки она именинница. Надо было бы ее уважить.

— Дома я ее непременно уважу, — сказал мужик. — Но тут дорога тяжелая, и ты еще влез.

Через полчаса мы приехали.

Мужик сказал:

— Дорога дюже тяжелая, вот что я скажу. За такую дорогу надо тройк брать с вас, городских. Кажется, видел — я бабу не посадил, — до чего тяжелый путь.

Я говорю:

— Против цены не спорю.

И стал с ним расплачиваться.

А когда расплатился, вдруг подошла именинница. Пот катил с нее градом. Она одернула свои юбки и, не глядя на супруга, сказала:

— Выгружать, что ли?

— Конечно, выгружать, — сказал мужик, — не до лету лежать товару.

Именинница подошла к телеге и стала выгружать покупки, унося их в дом.

Я подарил имениннице пять целковых и с расстроенной душой пошел по своим делам.

А когда возвращался обратно в город, то думал о деревенской жизни.

И как это, правда, хорошо, что теперешняя перемена в деревне ударит, я так думаю, по таким полупочтенным мужьям. Не дозволит им теперь колхозное общество обижать своих именинниц.

СЛАБАЯ ТАРА

Нынче взяток не берут. Это раньше шагу нельзя было шагнуть без того, чтобы не дать или не взять.

А нынче характер у людей сильно изменился к лучшему.

Взяток действительно не берут.

Давеча мы отправляли с товарной станции груз.

Вот стоим на вокзале и видим такую картину, в духе Рафаэля:

Будка для приема груза. Очередь, конечно. Десятичные метрические весы. Весовщик за ними. Весовщик, такой в высшей степени благородный служащий, быстро говорит цифры, записывает, прикладывает гирьки, клеит ярлыки и дает разъяснения.

Только и слышен его симпатичный голос:

— Сорок. Сто двадцать. Пятьдесят. Сымайте. Берите. Отойдите... Не станови сюда, балда, станови на эту сторону.

Такая приятная картина труда и быстрых темпов.

Только вдруг мы замечаем, что при всей красоте работы весовщик очень уж требовательный законник. Очень он соблюдает интересы граждан и государства. Ну, не каждому, но через два-три человека он обязательно отказывает груз принимать. Чуть расхлябанная тара — он ее не берет. Хотя видать, что сочувствует.

Которые с расхлябанной тарой, те, конечно, охают, ахают и страдают.

Весовщик говорит:

— Вместо страданий укрепите вашу тару. Тут где-то шляется человек с гвоздями. Пушай он вам укрепит. Пушай туда-сюда пару гвоздей вобьет и пушай проволокой подтянет. И тогда подходите без очереди, — я приму.

Действительно, верно: стоит человек за будкой. В руках у него гвозди и молоток. Он работает в поте лица и укрепляет желающим слабую тару. И которым отказали — те смотрят на него с мольбой и предлагают ему свою дружбу и деньги за это самое.

Но вот доходит очередь до одного гражданина. Он такой белокурый, в очках. Он не интеллигент, но близорукий. У него, видать, трахома на глазах. Вот он надел очки, чтоб его было хуже видать. А может быть, он служит на оптическом заводе и там даром раздают очки.

Вот он ставит свои шесть ящиков на метрические десятичные веса.

Весовщик осматривает его шесть ящиков и говорит:

— Слабая тара, не пойдет. Сымай обратно.

Который в очках, услышав эти слова, совершенно упадет духом. А перед тем как упасть духом, до того набрасывается на весовщика, что дело почти доходит до зубочистки.

Который в очках кричит:

— Да что ты со мной делаешь! Я, — говорит, — не свои ящики отправляю. Я, — говорит, — отправляю государственные ящики с оптического завода. Куда я теперь с ящиками сунусь? Где я найду подводу? Откуда я возьму сто рублей, чтобы вести назад? Отвечай, или я из тебя котлету сделаю!

Весовщик говорит:

— А я почему знаю? — И при этом делает рукой в сторону.

Тот, по близорукости своего зрения и по причине запотевших стекол, принимает этот жест за что-то другое. Он вспыхивает, чего-то вспоминает, давно позабытое, роется в своих карманах и выгребает оттуда рублей пять денег, все рублями. И хочет их подать весовщику.

Тогда весовщик багровеет от этого зрелища денег.

Он кричит:

— Это как понимать? Не хочешь ли ты мне, очкастая лошадь, взятку дать?!

Который в очках сразу, конечно, понимает весь позор своего положения.

— Нет, — говорит, — я деньги вынул просто так. Хотел, чтоб вы их подержали, покуда я сыму ящики с весов.

Он совершенно теряется, несет сущий вздор, принимается извиняться и даже, видать, согласен, чтобы его морально уничтожили словами.

Весовщик говорит:

— Стыдно! Здесь взятки не берут. Сымайте свои шесть ящиков с весов, — они мне буквально холодят душу. Но, поскольку это государственные ящики, обратитесь вот до того рабочего, он вам укрепит слабую тару. А что касается денег, то благодарите судьбу, что у меня мало времени возжаться с вами.

Тем не менее он зовет еще одного служащего и говорит ему голосом человека, только что перенесшего оскорбление:

— Знаете, сейчас мне хотели взятку дать. Понимаете, какой абсурд. Я жалею, что поторопился и для виду не взял деньги, а то теперь трудно доказывать.

Другой служащий отвечает:

— Да, это жалко. Надо было развернуть историю. Пушай не могут думать, что у нас по-прежнему рыльце в пуху.

Который в очках, совершенно созревший, возится со своими ящиками. Их ему укрепляют, приводят в христианский вид и снова волокут на весы.

Тогда мне начинает казаться, что у меня тоже слабая тара.

И покуда до меня не дошла очередь, я подхожу к рабочему и прошу его на всякий случай укрепить мою сомнительную тару. Он спрашивает с меня восемь рублей.

Я говорю:

— Что вы, — говорю, — обалдели, восемь рублей брать за три гвоздя.

Он мне говорит интимным голосом:

— Это верно, я бы вам и за трояк сделал, но, — говорит, — войдите в мое пиковое положение — мне же надо делиться вот с этим крокодиллом.

Тут я начинаю понимать всю механику.

— Стало быть, — я говорю, — вы делитесь с весовщиком?

Тут он несколько смущается, что проговорился, несет разный вздор и небылицы, бормочет о мелком жалованьишке, о дороговизне, делает мне крупную скидку и приступает к работе.

Вот приходит моя очередь.

Я становлю свой ящик на весы и люблюсь крепкой тарой.

Весовщик говорит:

— Тара слабовата. Не пойдет.

Я говорю:

— Разве? Мне сейчас только ее укрепляли. Вот тот, с клещами, укреплял.

Весовщик отвечает:

— Ах, пардон, пардон! Извиняюсь. Сейчас ваша тара крепкая, но она была слабая. Мне это завсегда в глаза бросается. Что пардон, то пардон.

Принимает он мой ящик и пишет накладную.

Я читаю накладную, а там сказано: «Тара слабая».

— Да что ж вы, — говорю, — делаете, арапы? Мне же, — говорю, — с такой надписью обязательно весь ящик в пути разворуют. И надпись не позволит требовать убытки. Теперь, — говорю, — я вижу ваши арапские комбинации.

Весовщик говорит:

— Что пардон, то пардон, извиняюсь.

Он вычеркивает надпись, — и я уйду домой, рассуждая по дороге о сложной душевной организации своих сограждан, о перестройке характеров, о хитрости и о той неохоте, с какой мои уважаемые сограждане сдают свои насиженные позиции.

Что пардон то пардон.

1930

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Во время знаменитого крымского землетрясения жил в Ялте некто такой Снопков.

Он сапожник. Кустарь. Он держал в Ялте мастерскую. Не мастерскую, а такую каменную будку имел, такую небольшую халупку.

Он работал со своим приятелем на пару. Они оба два приезжие были. Производили починку обуви как местному населению, так и курсовым гражданам.

И они жили определенно не худо. Зимой, безусловно, голодовали, но летом работы чересчур хватало. Другой раз даже выпить было некогда. Ну, выпить-то, наверное, времени хватало. Чего-чего другого...

Так и тут. Перед самым, значит, землетрясением, а именно в пятницу одиннадцатого сентября, сапожник Иван Яковлевич Снопков, не дождавшись субботы, выкушал полторы бутылки русской горькой.

Тем более, он кончил работу. Кроме того, у него было две бутылки запасено. Так что он не считал нужным еще

чего-нибудь ожидать. Он взял и выкушал. Тем более, он еще не знал, что вскоре будет землетрясение.

И вот выпил человек полторы бутылки горькой, немножко, конечно, поколбасился на улице, спел чего-то там такое и назад к дому вернулся.

Он вернулся к дому назад, лег во дворе и заснул, не дождавшись землетрясения.

А он, выпивши, обязательно во дворе ложился. Он под крышей не любил в пьяном виде спать. Ему нехорошо было под потолком. Душно. Его мучило. И он всегда чистое небо себе требовал.

Так и тут. Одиннадцатого сентября, в аккурат перед самым землетрясением, Иван Яковлевич Снопков набрался горькой, сильно захмелел и заснул под самым кипарисом во дворе.

Вот он спит, видит разные интересные сны, а тут параллельно с этим происходит знаменитое крымское землетрясение. Домишки колышутся, земля гудит и трясется, а Снопков спит себе без задних ног и знать ничего не хочет.

А что до его приятеля, так его приятель с первого удара дал, как говорится, тигалья и расположился в городском саду, боясь, чтоб его камнем не убило.

Только рано утром, часов, может, около шести, продрал свои очи наш Снопков. Проснулся наш Снопков под кипарисом и, значит, свой родной двор нипочем не узнает. Тем более, ихнюю каменную будку свалило. Не целиком свалило, а стена расползлась, и забор набок рухнул. Только что кипарис тот же, а все остальное признать довольно затруднительно.

Продрал свои очи наш Снопков и думает:

«Мать честная, куда ж это меня занесло? Неужели, — думает, — я в пьяном виде вчера еще куда-нибудь зашел? Ишь ты, кругом какое разрозненное хозяйство! Только не понять — чье. Нет, — думает, — нехорошо так в дым напиваться. Алкоголь, — думает, — чересчур вредный напиток, ни черта в памяти не остается».

И так ему на душе неловко стало, неинтересно.

«Эва, — думает, — забрел куда. Еще спасибо, — думает, — во дворе прилег, а нуте на улице: мотор может меня раздавить, или собака может чего-нибудь такое

отгрызть. Надо, — думает, — полегче пить или вовсе бросить».

Стало ему нехорошо от этих мыслей, загорюнился он, вынул из кармана остальные полбутылки и тут же от полного огорчения выкушал.

Выкушал Снопков жидкость и обратно захмелел. Тем более, он не жрал давно, и тем более, голова была ослабши с похмельюги.

Вот захмелел наш Снопков, встал на свои ножки и пошел себе на улицу.

Идет он по улице и с пьяных глаз нипочем улицу не узнает. Тем более, после землетрясения народ стаями ходит. И все на улице, никого дома. И все не в своем виде, полуодетые, с перинами и матрацами.

Вот Снопков ходит себе по улице, и душа у него холодеет.

«Господи, — думает, — куда же это я, в какую дыру зашел? Или, — думает, — я в Батум на пароходе приехал? Или, может, меня в Турцию занесло? Эвон народ ходит раздевшись, все равно как в тропиках».

Идет пьяный и прямо чуть не рыдает.

Вышел на шоссе и пошел себе, ничего не признавая.

Шел, шел и от переутомления и от сильного алкоголя свалился у шоссе и заснул как убитый.

Только просыпается — темно, вечер. Над головой звезды сверкают. И прохладно. А почему прохладно — он лежит при дороге раздетый и разутый. Только в одних подштанниках.

Лежит он при дороге совершенно обобранный и думает:

«Господи, — думает, — семь-восемь, где же это я обратно лежу?»

Тут действительно испугался Снопков, вскочил на свои босые ножки и пошел по дороге.

Только прошел он сгоряча верст, может, десять и присел на камушек.

Он присел на камушек и загорюнился. Местности он не узнает, и мыслей он никаких подвести не может. И душа и тело у него холодеют. И жрать чрезвычайно хочется.

Только под утро Иван Яковлевич Снопков узнал, как и чего. Он у прохожего спросил.

Прохожий ему говорит:

— А ты чего тут, для примеру, в кальсонах ходишь?

Снопков говорит:

— Прямо и сам не понимаю. Скажите, будьте любезны, где я нахожусь?

Ну, разговорились. Прохожий говорит:

— Так что до Ялты верст, может, тридцать будет. Эва куда ты зашел!

Ну, рассказал ему прохожий насчет землетрясения, и чего где разрушило, и где еще разрушается.

Очень Снопков огорчился, что землетрясение идет, и заспешил в Ялту.

Так через всю Ялту и прошел он в своих кальсонах. Хотя, впрочем, никто не удивился по случаю землетрясения. Да, впрочем, и так никто бы не поразился.

После подсчитал Снопков свои убытки: украли у него порядочно. Наличные деньги — шестьдесят целковых, пиджак, штаны и сандалии почти что новенькие. Так что набежало рублей до ста, не считая пострадавшей будки.

Теперь Снопков собирается ехать в Харьков. Он хочет полечиться от алкоголя. А то выходит себе дороже.

Чего хочет автор сказать этим художественным произведением?

Этим произведением автор энергично выступает против пьянства. Жало этой художественной сатиры направлено в аккурат против выпивки и алкоголя.

Автор хочет сказать, что выпивающие люди не только другие более нежные вещи — землетрясение, и то могут проморгать.

Или как в одном плакате сказано: «Не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять своего классового врага!»

И очень даже просто, товарищи.

1930

НЕ НАДО СПЕКУЛИРОВАТЬ

Пока мы тут с вами решаем разные ответственные вопросы насчет колхозов и промфинплана — жизнь идет своим чередом. Люди устраивают свою судьбу, женятся, выходят замуж, заботятся о своем личном счастьешке, а некоторые даже жулят и спекулируют.

Конечно, в настоящее время спекулировать довольно затруднительно. Но вместе с тем находятся граждане, которые придумывают чего-то такое свеженькое в этой области.

Вот об одной такой спекуляции я и хочу вам рассказать. Тем более факт довольно забавный. И тем более это — истинное происшествие. Один мой родственник пришел из провинции и поделился со мной этой новостью.

Одна симферопольская жительница, зубной врач О., вдова по происхождению, решила выйти замуж.

Ну, а замуж в настоящее время выйти не так-то просто. Тем более, если дама интеллигентная и ей охота видеть возле себя тоже интеллигентного, созвучного с ней субъекта.

В нашей пролетарской стране вопрос об интеллигентах — вопрос пока довольно острый. Проблема кадров еще не разрешена в положительном смысле, а тут, я извиняюсь, — женихи. Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче не много. То есть есть, конечно, но все они какие-то такие — или уже женатые, или уже имеют две-три семьи, или вообще лишенцы, что, конечно, тоже не сахар в супружеской жизни.

И вот при такой ситуации живет в Симферополе вдова, которая в прошлом году потеряла мужа. Он у ней умер от туберкулеза.

Вот, значит, помер у ней муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. «А-а, — думает, — ерунда». А после видит — нет, далеко не ерунда, — женихи по свету не бегают пачками. И, конечно, загоревала.

И вот, значит, горюет она около года и рассказывает о своем горе молочнице. К ней ходила молочница, молоко приносила. Поскольку муж у ней помер от туберкулеза, так вот она начала заботиться о себе — усиленно питалась.

Вот она пьет молоко около года, поправляется и между прочим имеет дамский обывательский разговор со своей молочницей.

Неизвестно, с чего у них началось. Наверное, она пришла на кухню и разговорилась. Вот, мол, продукты дорожают. Молоко, дескать, жидковатое, и вообще женихов нету.

Молочница говорит:

— Да, мол, безусловно, чего-чего, а этого мало.

Зубной врач говорит:

— Зарабатываю подходяще. Все у меня есть — квартира, обстановка, деньжата. И сама, — говорит, — я не такое уж мурло. А вот, подите ж, вторично замуж выйти буквально не в состоянии. Прямо хоть в газете печатай объявление.

Молочница говорит:

— Ну, — говорит, — газета — это не разговор. А чего-нибудь такое надо, конечно, придумать.

Зубной врач отвечает:

— В крайнем случае я бы, — говорит, — и денег не пожалела. Дала бы денег той, которая меня познакомит в смысле брака.

Молочница спрашивает:

— А много ли вы дадите?

— Да, — говорит врачиха, — смотря какой человек отыщется. Если, конечно, он интеллигент и женится, то, — говорит, — червонца три я бы дала, не сморгнув глазом.

Молочница говорит:

— Три, — говорит, — мало. Давайте пять червонцев, тогда я вам подыму это дело. У меня, — говорит, — есть на примете подходящий человек.

— Да, может, он не интеллигентный, — говорит врачиха, — может, он крючник?

— Нет, — говорит, — зачем крючник. Он очень интеллигентный. Он — монтер. Он полностью закончил семилетку.

Врачиха говорит:

— Тогда вы меня с ним познакомьте. Вот вам пока червонец за труды.

И вот на этом они расстаются.

А, надо сказать, у молочницы ничего такого не было на примете, кроме собственного ее супруга.

Но крупная сумма ее взволновала, и она начала прикидывать в своем мозгу, как бы ей попроще выбить деньги из рук этой врачихи.

И вот приходит она домой и говорит своему супругу:

— Вот, мол, Николаша, чего получается. Можно, — говорит, — рублей пятьдесят схватить так себе, здорово живешь, без особых хлопот.

И, значит, рассказывает ему всю суть дела. Мол, чего, если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей

врачихой, а та сдуру возьмет, да и отсыплет ей пять червонцев.

— И, — говорит, — в крайнем случае, если она будет настаивать, можно и записаться. В настоящее время это не составляет труда. Сегодня ты запишешься, а завтра или там послезавтра — обратный ход.

А муж этой молочницы, этаким довольно красивый, но жуликоватый тип с усиками, так ей говорит:

— Очень отлично. Пожалуйста! Я, — говорит, — всегда определенно рад пятьдесят рублей взять за ни за что. Другие ради такой суммы месяц работают, а тут такие пустяки — записаться.

И вот, значит, через пару дней молочница знакомит своего мужа с зубным врачом.

Зубной врач сердечно радуется и без лишних слов и причитаний уплачивает молочнице деньги.

Теперь складывается такая ситуация.

Муж молочницы срочно записывается с врачихой, переходит временно в ее апартаменты и пока что живет там.

Там он живет пять дней, потом неделю, потом десять дней.

Тогда приходит молочница.

— Так что, — говорит, — в чем же дело?

Монтер говорит:

— Да нет, я раздумал вернуться. Я, — говорит, — с этим врачом жить останусь. Мне тут интересней получается.

Тут, правда, он схлопотал по физиономии за такое свое безобразное поведение, но мнения своего не изменил. Так и остался жить у врачихи. А врачиха, узнав про все, очень хохотала и сказала, что поскольку нет насилия, а есть свободный выбор, то инцидент исчерпан.

Правда, молочница еще пару раз заходила на квартиру и дико скандалила, требуя возврата своего супруга, однако ничего хорошего из этого не вышло. Больше того — ей отказали от места, не велели больше носить молока во избежание дальнейших скандалов и драм.

Так за пять червонцев скупая и корыстная молочница потеряла своего красивого интеллигентного супруга.

НЯНЯ

На днях произошло одно возмутительное дело у нас в Ленинграде.

Тут такие супруги Фарфоровы имели няню. Они взяли ее для своего ребенка. Они сами не могли своему ребенку обеспечить уход и ласку. Они оба два служили на производстве.

Сам Серега Фарфоров служил. И она служила. Он прилично зарабатывал. И она порядочно получала.

И вот при таком их служебном интересе у них происходит рождение ребенка.

Родился у них ребенок как таковой, и, конечно, пришлось до него взять няню. А то бы, конечно, они не взяли. У них такой привычки не было — брать себе нянек. Они не понимали такого барства.

Но тут им выгодней было иметь няню, чем самой мадам Фарфоровой покинуть место службы и удалиться с производства.

И вот, конечно, определилась к ним няня.

Не очень такая старая и не очень такая молодая. Одним словом, пожилая и довольно-таки на вид страховая.

Но они нарочно взяли себе такую некрасивую, чтоб она не шлялась, и чтобы не имела личного счастья, и чтоб только смотрела на ихнего младенца.

Они ее взяли по рекомендации. И там им сказали, что это вполне непьющая пожилая некрасивая старуха. И, дескать, она любит детей и прямо с рук их не спускает. И даром, что это старуха, но это такая старуха, которая вполне достойна войти в новое бесклассовое общество.

Это им так сказали. Но они еще не имели своего мнения.

И вот они берут себе эту няню и видят: действительно золото, а не няня. Тем более, она сразу полюбила ребенка. Все время с ним ходит, с рук не спускает и прямо гуляет с ним до ночи.

А Фарфоровы, являясь передовыми людьми, не перечили в этом. Они понимали, что воздух и гулянье вполне укрепляют организм ихнему младенцу. И думают: «Пожалуйста. Пушай гуляет. Тем более, мы будем реже видеть ее столь неприятную внешность».

И вот происходит такая вопиющая история.

Утром родители уходят на производство, а ихняя няня берет младенца, берет пузырек с коровьим молоком и идет гулять по улицам Ленинграда. И гуляет с ним прямо до глубокой ночи.

Только раз однажды идет по улице член правления Цаплин. Он — с домкома. Он — одна из главных фигур в правлении.

Вот он идет по улице, думает, может, там про свои интимные дела или там кого бы из вверенных ему жильцов на черную доску занести как злостного неплательщика. И вдруг — смотрит — что такое? Стоит на углу потрепанная старуха. Держит она на своих руках младенца. И под этого младенца просит.

Некоторые прохожие при виде этого зрелища отворачиваются, а некоторые, сочувствуя чужой беде, подают ей монетку или две на пропитание. А та им кланяется. И показывает младенца: дескать, не для себя прошу, а вот для этого.

Семен Михайлович Цаплин давать ей не хотел, он просто так поглядел на нее. И видит — личность знакомая, да, действительно это суть няня с фарфоровским ребенком.

Член правления Цаплин ничего ей на это не сказал и вообще ничего не подал, но повернулся и пошел обратно домой.

Неизвестно, как он дожил до вечера, но вечером говорит самому Фарфорову:

— Я, — говорит, — чересчур удивляюсь, уважаемый товарищ, по, — говорит, — или вы своей домработнице денег не платите, или, — говорит, — я не пойму, что с ней. Но если, — говорит, — вы ее нарочно засылаете под ребенка просить, то вы, — говорит, — есть определенно чуждая прослойка в нашем пролетарском доме.

Фарфоров, конечно, говорит:

— Я извиняюсь, об чем речь? Про что вы говорите — я не пойму.

Тогда член правления рассказывает о том, что видел, и о том, что переживал, наблюдая подобное уличное зрелище.

Тут происходят разные сцены. Происходят крики и улыбки. И все выясняется.

Тогда зовут няню. Ей говорят:

— Как же так можно? Вы что — обалдели? Или у вас в голове не все дома?

Няня говорит:

— В этом пороку нет: так ли я стою, или мне сердобольные прохожие в руку дают. Я, — говорит, — прямо не пойму ваши обиды. Ребенок через это не страдает. И, может, ему даже забавно видеть такое вращение людей вокруг себя.

Фарфоров говорит:

— Да, но я не хочу своему ребенку присваивать такие взгляды с детских лет. Я не позволю вам с моим ребенком побираться. Мы вам прилично платим, у вас все есть, и вы вполне сыты и обуты.

Нянька говорит:

— Да, но мне хотелось еще маленько подработать.

Мадам Фарфорова, прижимая своего ребенка к груди, восклицает:

— Нам это в высшей степени оскорбительно! Мы вас выгоняем со своего места.

Цаплин говорит:

— А я как член правления скажу: вы всецело правы выгнать эту бешеную няньку. Не вы, а она есть чуждая прослойка в нашем доме.

Старуха говорит:

— Ах, подумаешь, до чего испугали! Нянь нынче не очень много — меня, может, с руками оторвут. А я под вашего щенка едва трешку зарабатывала — а уж упреков не оберешься. Я от вас сама уйду, поскольку вы какие-то бесчувственные подлецы, а не хозяева.

После этих слов Фарфоров, рассердившись, накричал на нее и даже хотел из ее слабого тела вытряхнуть старческую душонку, но член правления ему не разрешил и даже произнес краткую речь. Он так сказал Фарфорову и его супруге:

— Эта ваша нянька всеми своими корнями уходит в далекое прошлое, где уживались господа и подневольные рабы. Она свыклась с той жизнью и не видит ничего позорного в нищете и в подаяниях. Вот поэтому она и пошла на такое паскудство, которое вас законно оскорбило. Однако физически вы ее не троньте, а просто прогоните ее со своего места.

Супруги Фарфоровы так и поступили — они с позором прогнали свою няньку.

Та ушла и рекомендации не взяла, и неизвестно, куда поступила. Но, наверное, она снова где-нибудь нянчит младенца и под него подходяще зарабатывает.

1931

ПРОИСШЕСТВИЕ

Конечно, об чем может быть речь — дети нам крайне необходимы.

Государство без них не может так гладко существовать. Они нам — наша смена. Мы на них надеемся и расчеты на них строим.

Тем более, взрослые не так легко могут расстаться со своими мещанскими привычками. А детишки подрастут и определенно выравнивают нашу некультурность.

Так что в этом отношении детей мы прямо на руках должны носить, и пыль с них сдувать, и носики им сморкать. Невзирая на то — это наш ребенок или ребенок чужой и нам посторонний.

А только этого как раз мало наблюдается в нашей жизни.

Нам вспоминается одно довольно оригинальное событие, которое развернулось на наших глазах в поезде, не доезжая Новороссийска.

Которые были в этом вагоне, те почти все в Новороссийск ехали.

И едет, между прочим, в этом вагоне среди других такая вообще бабешечка. Такая молодая женщина с ребенком.

У нее ребенок на руках. Вот она с ним и едет.

Она едет с ним в Новороссийск. У нее муж там служит на заводе. Вот она к нему и едет.

И вот она едет к мужу. Все как полагается: на руках у ней малютка, на лавке узелок и корзинка. И вот она едет в таком виде в Новороссийск.

Едет она к мужу в Новороссийск. А у нее малютка на руках очень такой звонкий. И орет и орет, все равно как оглашенный. Он, видать, хворает. Его, как оказалось, в пути желудочная болезнь настигла. Или он покушал

сырых продуктов, или чего-нибудь выпил, только его в пути схватило. Вот он и орет.

Одним словом — малютка. Он не понимает, что к чему и зачем у него желудочек страдает. Ему сколько лет? Ему, может быть, три года или там два. Не наблюдая детей в частной жизни, затруднительно определить, сколько этому предмету лет. Только он, видать, октябренок. У него такой красный нагрудничек повязан.

И вот едет эта малютка со своей мамашей в Новоросийск. Они едут, конечно, в Новороссийск, и как назло в пути с ним случается болезнь.

И по случаю болезни он каждую минуту вякает, хворает и требует до себя внимания. И, конечно, не дает своей мамаше ни отдыха, ни сроку. Она с рук его два дня не спускает. И спать не может. И чаю не может попить.

И тогда перед станцией Лихны она, конечно, обращается до пассажиров:

— Я, — говорит, — очень извиняюсь, — поглядите за моим крошкой. Я побегу на станцию Лихны, хотя бы супу скушаю. У меня, — говорит, — язык к глотке прилипает. Я, — говорит, — ну прямо не предвижу конца. Я, — говорит, — в Новороссийск еду до своего мужа.

Пассажиры, конечное дело, стараются не глядеть, откуда это говорится, отворачиваются: дескать, еще чего, — то орет и вякает, а то еще и возись с ним! Еще, думают, подкинет. Смотря какая мамаша. Другая мамаша очень свободно на это решится.

И хотя в дальнейшем этого не случилось и любящая мать осталась при своем ребенке, однако пассажиры не знали всей этой дальнейшей ситуации и в силу этого отнеслись к просьбе сдержанно — одним словом, отказали.

И, значит, не берутся.

А едет в вагоне, между прочим, один такой гражданин. Он, видать, городской житель. В кепочке и в таком международном прорезиненном макинтоше. И, конечно, в сандалиях. Он так обращается к публике:

— То есть, — говорит, — мне тошно на вас глядеть. То есть, — говорит, — что вы за люди — я прямо дивуюсь! Нельзя, — говорит, — граждане, иметь такой слишком равнодушный подход. Может, на наших глазах мать поку-

шать затрудняется, ее малютка чересчур сковывает, а тут каждый от этих общественных дел отворачивается. Это ну прямо ведет к отказу от социализма.

Другие говорят:

— Вот ты и погляди за крошкой! Какой нашелся фрукт — передовые речи в спальном вагоне произносит!

Он говорит:

— И хотя я человек холостой, и мне чертовски спать хочется, и вообще не мое мужское дело за это самое браться, но я не имею бесчувствия в детском вопросе.

И берет он малютку на руки, качает его и пальцем его забавляет.

Конечно, молодая женщина очень горячо его благодарит и на станцию Лихны сходит.

Уходит она на эту станцию в буфет и долго не является. Поезд стоит десять минут. Эти десять минут проходят. И уже дается сигнал. И дежурный машет красной шапкой. А ее нет и нету.

И уже дергается состав, и поезд бежит по рельсам, а молодой матери так и не видно.

Тут происходят разные сцены в вагоне. Которые открыто хохочут, которые хватаются за тормоза и хотят состав остановить.

А сам, который в сандалиях, сидит побледневший. И спать больше не хочет. И речей больше не хочет произносить.

Он держит малютку на своих коленях и разные советы слушает.

Ну, одни, конечно, советуют телеграмму за свои деньги дать. Другие, напротив того, говорят: «Довезите до Новороссийска и сдайте в ГПУ. А если там малютку не примут, то усыновите в крайнем случае».

А малютка между тем вякает, хворает и с рук нипочем не уходит.

И вот проходят отчаянных два часа, и поезд, конечно, останавливается на большой станции. Который в сандалиях берет свою малютку за ножки и хочет пойти на платформу в ГПУ. Только вдруг молодая мамаша в вагон входит. Она входит в вагон и так защищается:

— Я, — говорит, — извиняюсь! Я как горячего супу покушала, так меня сразу и разморило, и я нарочно зашла в тот соседний вагон и маленько там подзаснула. Я, —

говорит, — два дни не спавши. А если бы в этот вагон я зашла — навряд ли бы выпалась.

И берет она своего крошку и снова его нянчит.

Который в сандалиях говорит:

— Довольно неаккуратно поступаете, гражданка! Но раз вы поспали, то я вхожу в ваше положение. Дети нам — наша смена, — я не против за ними поглядеть.

Тут в вагоне происходит веселый смех, дающий здоровую зарядку. И все кончается к общему благополучию.

1932

СТРАДАНИЕ ВЕРТЕРА

Я ехал однажды на велосипеде.

У меня довольно хороший велосипед. Приличный велосипед, на котором я иногда совершаю прогулки для успокоения нервов и для душевного равновесия.

И вот, стало быть, еду однажды на велосипеде.

Каменноостровский проспект. Бульвар. Сворачиваю на боковую аллею вдоль бульвара и еду себе.

Осенняя природа разворачивается передо мной. Пожелтевшая трава. Грядки с увядшими цветочками. Желтые листья на дороге. Белесое небо надо мной.

Птички щебечут. Ворона клюет мусор. Серенькая собачка лает у ворот.

Я гляжу на эту осеннюю картинку, и вдруг сердце у меня смягчается, и мне неохота думать о плохом. Рисуеться замечательная жизнь. Милые, понимающие люди. Уважение к личности. Мягкость нравов. Любовь к близким. Отсутствие брани и грубости.

И вдруг от таких мыслей мне захотелось всех обнять, захотелось сказать что-нибудь хорошее. Захотелось крикнуть: «Братцы, главные трудности позади. Скоро мы заживем как фон-бароны».

Но вдруг раздается свисток.

«Кто-нибудь проштрафился, — говорю я сам себе, — кто-нибудь, наверное, не так улицу перешел. В дальнейшем, вероятно, этого не будет. Не будем так часто слышать этих резких свистков, напоминающих о проступках, штрафах и правонарушениях».

Снова недалеко от меня раздается тревожный свисток и какие-то окрики и грубая брань.

«Так грубо, вероятно, и кричать не будут. Ну, кричать-то, может быть, будут, но не будет этой тяжелой, оскорбительной брани».

Кто-то, слышу, бежит позади меня. И кричит осипшим голосом:

— Ты чего ж это, сука, удираешь, черт твою двадцать! Остановись сию минуту.

«За кем-то гонятся», — говорю я сам себе и тихо, но бодро еду.

— Лешка, — кричит кто-то, — забегай, сволочь, слева. Не выпускай его из виду!

Вижу — слева бежит парнишка. Он машет палкой и грозит кулаком. Но я еще не вижу, к кому относятся его угрозы.

Я оборачиваюсь назад. Седоватый почтенный сторож бежит по дороге и орет что есть мочи:

— Хватай его, братцы, держи! Лешка, не выпускай из виду!

Лешка прицеливается в меня, и палка его ударяет в колесо велосипеда.

Тогда я начинаю понимать, что дело касается меня. Я соскакиваю с велосипеда и стою в ожидании.

Вот подбегает сторож. Хрип раздается из его груди. Дыханье с шумом вырывается наружу.

— Держите его! — кричит он.

Человек десять доброхотов подбегают ко мне и начинают хватать меня за руки.

Я говорю:

— Братцы, да что вы, обалдели! Что вы, с ума спятили совместно с этим постаревшим болваном?

Сторож говорит:

— Как я тебе ахну по зубам, — будешь оскорблять при исполнении служебных обязанностей... Держите его крепче... Не выпускайте его...

Собирается толпа. Кто-то спрашивает:

— А что он сделал?

Сторож говорит:

— Мне пятьдесят три года, — он, сука, прямо загнал меня. Он едет не по той дороге... Он едет по дорожке, по которой на велосипедах проезду нет... И висит, между про-

чим, вывеска. А он, как ненормальный, едет... Я ему свищу. А он ногами кружит... Хорошо, мой помощник успел остановить его.

Лешка протискивается сквозь толпу, впивается своей клешней в мою руку и говорит:

— Я ему, гадюке, хотел руку перебить, чтоб он не мог ехать.

— Братцы, — говорю я, — я не знал, что здесь нельзя ехать. Я не хотел удирать.

Сторож, задыхаясь, восклицает:

— Он не хотел удирать! Вы видели наглые речи. Ведите его в милицию. Держите его крепче. Такие у меня всегда убегают.

Я говорю:

— Братцы, я штраф заплачу. Я не отказываюсь. Не вертите мне руки.

Кто-то говорит:

— Пушай предъявит документы, и возьмите с него штраф. Чего его зря волочить в милицию? Провинность у него не так крупная.

Сторожу и нескольким добровольцам охота волочить меня в милицию, но под давлением остальной публики сторож, страшно ругаясь, берет с меня штраф и с видимым сожалением отпускает меня восвояси.

Я иду со своим велосипедом, покачиваюсь. У меня шумит в голове, и в глазах мелькают круги и точки. Я бреду с развороченной душой.

Я по дороге сгоряча произношу фразу: «Боже мой». Я массирую себе руки и говорю в пространство: «Фу!»

Я выхожу на набережную и снова сажусь на свою машину, говоря:

— Ну, ладно, чего там. Подумаешь — нашелся фонбарон — руки ему не верти.

Я тихо еду по набережной. Я позабываю грубоватую сцену. Мне рисуются прелестные сценки из недалекого будущего.

Вот я, предположим, еду на велосипеде. Вот я сворачиваю на эту злосчастную аллею. Чей-то смех раздается. Я вижу — сторож идет: в мягкой шляпе, в суконных брюках. В руках у него цветочек — незабудка или там осенний тюльпан. Он вертит цветочком и, смеясь, говорит:

— Ну куда ты заехал, дружок? Чего это ты сдуру не туда сунулся? Экий ты, милочка, ротозей. А ну, валяй обратно, а то я тебя оштрафую — не дам цветка.

Тут, тихо смеясь, он подает мне незабудку. И мы, полюбовавшись друг другом, расстаемся.

Эта тихая сценка улаживает мое страдание. Я бодро еду на велосипеде. Я верчу ногами. Я говорю себе: «Ничего. Душа не разорвется. Я молод. Я согласен ждать».

Снова радость и любовь к людям заполняют мое сердце. Снова хочется сказать что-нибудь хорошее или крикнуть: «Товарищи, мы строим новую жизнь, мы победили, мы перешагнули через громадные трудности, — давайте уважать друг друга!»

1933

ВОДЯНАЯ ФЕЕРИЯ

Техника у нас шагнула на очень большую высоту.

Технические достижения уже перестали публику удивлять.

Однако случаются некоторые факты, которые поражают своим величием. Они поражают своей неожиданностью.

Короче говоря, вот что недавно произошло.

Один московский работник кинематографии прибыл в Ленинград по делам службы.

Он остановился в гостинице «Европа».

Прекрасный, уютный номер. Две постели. Ванна. Ковры. Картинки. Все это, так сказать, располагало нашего приезжего видеть людей и приятно проводить время.

В общем, к нему стали приходиться друзья и приятели.

И, как это всегда бывает, некоторые из его приятелей, приходя, принимали ванну. Ведь многие живут в квартирах, где нет ванн. А в баню ходить не все любят, да и вообще забывают об этой бытовой процедуре. А тут такой удобный случай: зашел к приятелю, поболтал, пофилософствовал и тут же помылся. Тем более тут горячая вода. Казенная простынка.

И многие поэтому одобряют, когда у них есть приезжие друзья.

Короче говоря, дней через пять наш приезжий москвич несколько даже утомился от подобной неуклонной линии своих друзей.

Но, конечно, крепился до самого последнего момента катастрофы.

А к нему как-то вечером пришли почти что сразу шесть знакомых.

Тары да бары, и тут же среди гостей образовалась до этой ванны небольшая очередь.

Трое быстро помылись и, попив чайку, ушли.

Но четвертая была старая дама. Родственница приезжего. Та мылась исключительно долго. И даже, кажется, что-то стирала из своего гардероба.

И до того она там долго возилась, что москвич и ожидавшиеся просто захандрили. Она час с четвертью не выходила из ванны.

Но поскольку она была родная тетка нашего москвича, то он и не разрешил своим друзьям никаких эксцессов по ее адресу.

Короче говоря, когда она вышла, было уже далеко за полночь.

Один из приятелей не стал больше ждать и ушел. А другой, удивительно настойчивый и нахальный, все-таки во что бы то ни стало пожелал непременно сегодня помыться, чтоб ему для чего-то завтра быть чистым.

И вот он дождался теткиного выхода. Вымыл ванну. Пустил горячую воду. И сам прилег на кушетку, стал дожидаться, когда ванна наполнится.

Но тут как-то случилось, что от сильного утомления он заснул. И москвич вдобавок задремал на диване.

А вода, наполнив ванну, вышла наружу и в короткое время затопила номер и даже протекла в другой этаж. Но поскольку в нижнем этаже была гостиная и там никого не было, то катастрофу не сразу заметили.

Короче говоря, наши два приятеля проснулись от сильного тепла и пара. Причем москвичу, как он после рассказывал, снился сон, что он в Гаграх.

Но когда он проснулся, то увидел, что весь номер в воде и поверх плавают туфли, газеты и разные деревянные изделия.

Горячая вода не позволила, конечно, сразу прекратить наводнение, поскольку они не решались добежать до

ванны, чтоб закрыть кран. Они, сидя на диванах, не могли рискнуть спустить свои ноги в воду, от которой шел пар.

Но потом, кое-как передвигая стулья и перепрыгивая с одного стула на другой, перетрусивший приятель москвича добрался до ванны и закрыл кран.

И только они закрыли кран и вода стала куда-то утекать, как в номер вбегают администрация с побледневшими лицами.

Осмотрев ванну и нижний этаж, администрация совместно с прибывшим инженером стала о чем-то совещаться.

А у наших друзей завязался тяжелый спор: кто виноват и кому платить убытки.

Приятель москвича, еле дыша от страха, сказал, что рублей сорок он как-нибудь покроет, но все, что свыше, пусть оплачивает владелец номера, который легкомысленно допускал мыться посторонних.

Тут между ними завязался спор, который мог бы кончиться печально, если б рядом не было администрации.

Москвич дрожащим голосом спросил администрацию:

— А скажите, на какую сумму могут быть убытки?

Директор гостиницы уклончиво ответил:

— Видите, внизу в гостиной размыло лепные украшения: одну крупную античную фигуру и трех херувимов. Так что это сильно увеличит расходы.

Услышав о лепных украшениях и херувимах, приятель москвича буквально задрожал.

Москвич, с тоской взирая на администрацию, прошептал:

— А на какую сумму размыло этих херувимов?

Инженер говорит:

— Тысчонок, мы так полагаем, восемь будет стоить этот ремонт.

Сумма эта совершенно подкосила москвича, и он прилег на диван, мало чего соображая.

А приятель его выказал себя с нехорошей стороны. Он поступил как подлец, пытаясь удрать, скрыться. Однако был задержан слабой, но честной рукой приезжего.

Приезжий москвич, еле ворочая языком, попросил директора:

— Тысчонки бы за две нельзя? В крайнем случае надо мне ставить этих херувимов. Не такое сейчас время, чтоб это было в гостиных.

Директор говорит:

— Да вы напрасно горячитесь и торгуетесь. Мы, кажется, с вас убытков не требуем.

Услышав эти слова, приятель москвича закрыл глаза, думая, что это сон.

Но тут директор добавляет:

— На вас мы не возлагаем никакой вины. Тут наш технический недосмотр. Мы плохо рассчитали утечку воды, и это наша техническая слабость.

Инженер тут же дает научное пояснение. Он говорит, показывая на ванну:

— Видите, тут наверху ванны имеется дырка, в которую вода должна утекать по мере наполнения ванны. И при научно правильном расчете вода не должна выйти за пределы краев. Но тут мы выказали некоторую техническую слабость, и дырка, как вы могли видеть, не успела поглотить текущую жидкость. Так что мы просим у вас извинения за причиненное беспокойство. В дальнейшем этого не будет. Мы исправим. Это технические неполадки, которым не место в нашей славной современности.

Услышав эти слова, приятель москвича хотел упасть на колени, чтоб возблагодарить администрацию и технический прогресс, но приезжий не разрешил ему это сделать.

Он сказал инженеру:

— Конечно, иначе не могло быть. Но скажите, кто мне возместит убытки: у меня испортились новые туфли, и чемодан подмок, и, может быть, там что-нибудь тоже испортилось благодаря вашей технической слабости.

Администрация говорит:

— Подайте заявление, мы возместим убытки.

На другой день москвич получил сорок шесть рублей за подмокший чемодан.

Приятель москвича тоже хотел воспользоваться случаем, чтоб содрать небольшую сумму за счет техники, но это ему сделать не удалось, так как он не имел права ночью находиться в чужом номере.

По этой причине приятель москвича на собственные средства отутюжил свой подмокший костюм.

В этом отутюженном костюме он на другой день опять пришел в гостиницу и там принял ванну, несмотря на то, что москвич был этим крайне недоволен и даже рассердился.

1935

РОМАНТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Один молодой поэт, довольно интересной волевой наружности, автор книги «Навстречу жизни», влюбился на курорте в одну недурненькую особу.

Она не была поэтесса, но она имела все время склонность к поэзии, и от этого наш поэт совершенно от нее растаял.

Кроме того, она вдобавок понравилась ему как тип. То есть ее наружность соответствовала его идеалам.

Она была из блондинок, в то время как там у них, на юге, преобладали все больше черноватые, которые не вызвали у него поэтических эмоций. Тем более что он был лирик и, как он говорил, певец революционных будней. В результате чего он и влюбился в эту особу до потери сознания.

Ну, вообще — поэт. Мировоззрение. Пылкая, забывчивая натура. Стихи пишет. Любитель цветов и хорошо покушать. И ему всякая красота доступна. И он психологию понимает. Знает дам. И верит в их назначение.

Он встретил ее на южном побережье, куда он прибыл в сентябре месяце по путевке. И она тоже со своей путевкой прибыла туда же в сентябре.

Там они имели неожиданное счастье встретиться. Они там познакомились. И у него возникло чувство к ней. И она тоже им исключительно увлеклась.

И у них там целый месяц прошел как в угаре.

С одной стороны — море, природа, беззаботная жизнь на готовом питании, с другой стороны — понимание с полуслова, поэзия, переживания, красота.

То есть как во сне промелькнули все дни, которые были один другого лучше.

И вот ударило время разлуки. Наступило время расставанья.

Она вернулась к себе в Ленинград и приступила к завершению курса каких-то там исключительных наук. А он прибыл к себе в Ростов. И там продолжал свою поэзию.

Но там он продолжать ее не мог, поскольку ему вспоминалась его особа. Он там тосковал по ней. И, будучи лириком, грустил.

И вот, просидев пару недель в своем южном городе, он вдруг сложился и, никому ничего не сказав, поехал к своей особе в далекий Ленинград.

Он только в последний момент сказал своей супруге:

— Возникло чувство к другой. Расстаемся. Деньги буду посылать почтой.

И с этими словами махнул в Ленинград. Тем более, она его туда усиленно звала. Она ему говорила:

«Приезжай скорей. Я живу там совершенно одиноко. Совсем одна. Кончаю курс науки. Ни от кого не завишу. И мы там будем продолжать наше чувство».

И теперь, перебирая в своей памяти эти нежные слова, полные глубокого значения, наш поэт лихорадочно спешил поскорей с ней встретиться.

И он даже удивлялся, как это он не сообразил сразу выехать к ней, раз имелись такие великолепные предпосылки.

Короче говоря, он прибыл к ней и вскоре держал ее в своих объятиях.

И они оба были так довольны, что и сказать нельзя.

Она его спросила: «Надолго ли?», и он ей поэтически ответил: «Навсегда!»

И они опять были очень довольны.

Но он у ней остановиться не мог, поскольку она жила не одна в общежитии.

Не без некоторого волнения он вдруг увидел в ее уютной комнате четыре постели, при виде которых сердце оборвалось в его груди.

Она сказала:

— Живу с тремя подругами по образованию.

Он сказал:

— Я это вижу и недоумеваю. Вы мне говорили о своем одиночестве, через это я и имел смелость приехать. Вы, кажется, мне прихвастнули.

Она ответила:

— Я сказала: «живу одиноко» не в смысле комнаты, а в смысле чувства и брака.

Он сказал:

— Ах, вон что. В таком случае это недоразумение.

После чего они снова обнялись и долго не могли друг на друга налюбоваться.

Он сказал:

— Ну, ничего. Я пока буду жить в гостинице. А там мы посмотрим. Может быть, вы кончите образование или, может быть, я напишу какие-нибудь ценные стишки.

И она сказала:

— Вот и хорошо.

Он переехал в гостиницу «Гермес» и там стал жить, платя за номер двадцать рублей в сутки.

Но он порядочно уже постратился и недоумевал, что же, собственно, будет дальше. К тому же, на его несчастье, вскоре после его приезда она была именинница. И наш поэт, желая блеснуть, подарил ей кондитерский крендель и янтарные бусы. Каково же было его удивление, когда она, получив бусы, вдобавок сказала:

— Сегодня по случаю моего дня рождения я бы хотела в этих бусах пройтись с вами в какой-нибудь ресторан.

И при этом она сказала ему еще что-то про Блока, который в свое время тоже любил бывать в ресторанах и в кондитерских.

И хотя он ей ответил уклончиво: «То Блок...», но все-таки пообещал вечером пойти с ней в ресторан. Однако при этом сердце его тревожно сжалось от предчувствия непомерных расходов.

Нет, он не был скуп, наш поэт, но он, так сказать, совершенно вытряхнулся. И к тому же, имея мелкобуржуазную сущность, он ей не решился сказать о своем крайнем положении. Хотя намекал, что в гостиницах ему беспокойно. Но она, подумав о его нервности, сказала:

— Надо взять себя в руки.

Он пытался взять себя в руки. И в день ее рождения попробовал было оседлать свою поэтическую музу, чтоб настроичить хотя бы несколько мелких стихотворений на предмет, так сказать, продажи в какой-нибудь журнал.

Но не тут-то было. Муза ему долго не давалась, а когда далась, то поэт просто удивился от того, что у него с ней получилось. Во всяком случае по прочтении продукции ему стало ясно, что не может быть и речи о гонораре. Получилось нечто неслыханное, что поэт приписал отчасти своей торопливости и беспокойствию духа.

Тогда наш молодой поэт, подумав о превратностях судьбы и о том, что поэзия — дело в сущности темное, не способствующее ведению легкой жизни, продал на рынке свое пальто.

И налегке побывал со своей барышней там, где она того хотела.

После чего он рассчитывал недельку прожить легко, в полное свое удовольствие. И только уже после этого он решил обдумать свое положение. И как-нибудь извернуться. В крайнем случае он надумал признаться некоторую сумму у своей особы.

Конечно, ему очень не хотелось пойти на это, и поэтому он решил еще раз поймать на пушку свою поэтическую музу. Но та вовсе отказала что-либо путное ему присочинить. И поэт до того упал духом, что дал себе обещание, в случае, если он выпутается благополучно из создавшегося положения, непременно найти службу, чтоб не полагаться в дальнейшем на чистое искусство.

Мечты же занять у своей подруги оказались тоже нереальны. К его удивлению, в тот самый момент, когда он было решился ей сказать об этом, она сама ему сказала о том же, но только про себя, а не про него. Так что поэт не сразу даже и осознал всю остроту момента. Она сказала, что ей до получения пособия осталась ровно неделя и что, если он сможет, то пусть ей кое-что одолжит.

Он сказал: «Непременно».

И после ее ухода решил ликвидировать свой коверковый костюм.

Он продал на рынке костюм, отчасти устроился со своими делами и в одной майке и спортивных брючках вдруг в один прекрасный день явился к нам в ленинградский Литфонд, где и рассказал нам эту свою историю.

И мы ему дали сто рублей на билет, с тем чтобы он ехал к себе на родину.

И он нам сказал:

— Этой суммы мне хватит, чтобы уехать. А я бы желал прожить еще тут неделю. Мне бы этого очень хотелось.

Но мы ему сказали:

— Уезжайте теперь. И лучше всего устройтесь там у себя на работу. И параллельно с этим пишите иногда хорошие стихи. Вот это будет правильный для вас выход.

Он сказал:

— Да, я так, пожалуй, и сделаю. Я согласен, что молодые авторы должны, кроме своей поэзии, опираться еще на что-нибудь другое. А то вон что получается. И это правильно, что за это велась кампания.

Поблагодарив нас, он удалился. И мы, литфондовцы, подумали словами поэта:

О, как божественно соединенье,
Извечно созданное друг для друга,
Но люди, созданные друг для друга,
Соединяются, увы, так редко.

На этом закончилась история с начинающим поэтом.

1935

ПОРИЦАНИЕ КРЫМУ

Как только ударяет лето, так многие хлопочут на юг попасть. Они думают, что приедут на юг, искупаются в Черном море — и они снова молоды и прекрасны. И все болезни и ненормальности у них ушли.

А которые молодые, те, я даже не знаю, о чем они думают. Многие, я так думаю, из озорства на юг едут. Хотят поглядеть, как и чего там бывает. А через это они затрудняют курорты. Стесняют движение. Суетню разводят. И чахоточным через это трудней на юг попадать.

Главное, все больше едут молодые, здоровые, горластые. Чуть что — они в Крым собираются. И в кармане у них три копейки, а они как-то такое едут. Прямо удивительно глядеть, как у людей преломляется энергия.

Многим вообще нравится Крым. И некоторые особенно одобряют художественный путь от Севастополя до Ялты.

И я не отрицаю: путь этот имеет свои прелести. С одной стороны над вами возвышаются горы. И они, так сказать, вызывают чувство удивления и гордости, что у нас

бывают такие горы, недоступные многим низменным и в художественном отношении отсталым странам.

А с другой стороны внизу лежит море. И оно тоже отчасти заставляет гордиться, что вообще бывают такие моря и так они оригинально лежат: как-то такое внизу, а над этим прямо в небо упирается почти два километра суши. И автобус едет между тем и этим. И это тоже у них довольно художественно получается.

Это многих тоже восхищает. Многие горят желанием почаще там бывать.

Да, я не отрицаю, что крымские курорты иногда забавно видеть. Только я не поклонник там на автобусах ездить. Вот автобусы у них действительно что-то особенное в смысле неприятности.

Конечно, говорят, что ученые начали проектировать крымскую электричку. И там будут ездить поезда по южному побережью. И только ученые, кажется, еще не окончательно убедились, где им пускать поезда — внизу или наверху.

Но уверяю вас: где бы они ни пустили, все будет в высшей степени хорошо. Пускайте эти поезда, только не допускайте меня на крымских автобусах ездить.

Главное, стоит у вокзала, представьте себе, маленькая, мизерная машина. И со стороны, пока в нее не сядешь, думаешь, что в эту машину, ну, человек шесть может сесть.

Каково же берет удивление, когда начинается посадка. Тогда выясняется, что только на одну скамейку шесть человек садится. А там скамеек бесчисленное множество. И даже у них как-то такое бывает, что, например, все сидящие в одном московском вагоне — все умещаются в этом автобусе.

После этого начинается художественная поездка по южному побережью.

Вдобавок, у многих дети на руках. Один непременно с козой едет. Он ее на руках держит. И она со страха всех бодает на поворотах. Но ему об этом сказать нельзя, поскольку он, может быть, выполняет сельскохозяйственный план.

А некоторые заместо коз и детей держат на коленях узелки и корзинки. И все это подпрыгивает во время художественного пути. Но это подпрыгивают мелкие вещи. А багаж где-то отдельно подпрыгивает.

А для нервного человека такое отдельное путешествие от вещей тоже как-то морально тяжело переносить. Все время думаешь: а где же, собственно говоря, вещи. И не то что ты боишься, что их сопрут, но думаешь: наверно, твою корзинку в Мисхор завезли, и после разных формальностей ее тебе выдадут в конце лета.

Через это путешествие утомляет. И художественная красота пути не так, что ли, в достаточной мере заинтересовывает. Вдобавок, мало чего видать. Тем более, автобусы у них крытые. А с боков сидишь сжатый пассажирами.

А которые словчились сесть у края, то это еще ничего не говорит. И счастье этих всегда омрачается слабостью остальных. Из тридцати пассажиров всегда находится шесть слабогрудых дам, которых закачивает в пути.

И тогда все сидящие не с боков с восторгом восклицают: «Да пустите же ее, наконец, сбоку сесть, видите, дамочка побледнела и затрудняется дальше ехать».

И тогда захворавшая со всем нахальством, присущим указанным людям, сама садится с краю и едет. И там ее охлаждают зефиры, и там она, не стесняя пассажиров, может склонять свою головку куда ей вздумается.

А вы тем временем садитесь на ее место — между козой и стрелком, у которого в руках мелкокалиберная винтовка. И страх, что эта винтовка может от сотрясения выпалить, тоже помрачает красоту пути.

И вот тем временем в рассуждении всех этих вещей и пассажиров незаметно проходит часть пути. Но зато вторая часть пути, наиболее интересная, проходит с ослабленной психикой. И даже едешь в некотором равнодушии. Даже, что ли, с какой-то бесчувственностью во взоре. И даже по временам восклицаешь: «Крым, Крым — подумай!»

Короче говоря, подобные мысли и воспоминания пришли нам в голову в тот день, когда мы раздумали поехать в Крым. Раздумали потому, что не захотелось нам пять часов трястись в таком автобусе.

Нечто глубоко несовременное мы видим в таком унылом передвижении.

СКАЗКА ЖИЗНИ

В настоящее время рассказывать сказки как-то даже глупо. Мы бы даже так сказали: как-то нетактично перед современностью.

Кругом, можно сказать, в техническом смысле происходят разные там наивысшие исключительные достижения, разные там чудеса в решете. Одно радио чего стоит! Телефон опять-таки. Фотоаппараты. И вообще смотрим то, чего вблизи не видать. И слышим разные вещи на расстоянии. Так что любая сказка, мы бы так сказали, теряется в сравнении со сказочной действительностью.

Давеча раскрываем газету: еще, видим, один подарок преподнесен нашей современности. Бесшумный трамвай.

Не знаю, как в Москве, но в Ленинграде уже выпустили для пробы бесшумный моторный вагон.

Конечно, мы еще в точности не знаем, что это такое и с чем это, как говорится, кушают, но в газетах отмечено: бесшумный трамвай. А это, как хотите, здорово.

Главное, представьте себе: прет такая машина по рельсам, и, то есть, никакого шума она не дает. Плавно себе скользит, как воздушная фея, как ветерок, зефир.

Только изнутри, наверно, этакий гул идет, некоторый треск и грохот. Этакий шум. Поскольку в вагоне разговоры, крики, пятое-десятое. В обыкновенном вагоне это, конечно, прошло бы незаметно, а тут оно тихо себе катится и шумит.

Но это, так сказать, минусы самой природы. Техника уж тут ни при чем. Это публика сама от себя допускает звучание: разговоры, споры, крики и так далее. Тут даже, если заглянуть исключительно далеко, так сказать в века, — и то навряд ли что-нибудь изобретут против этого шума.

Конечно, если трамвайная администрация окончательно захочет избавиться от шума и если она захочет, чтоб техника плюс природа не давали бы звучания, то тогда, конечно, придется пассажирам вместе с билетами чего-нибудь выдавать. Некоторым, может быть, леденцы, чтоб рты заткнуть. Более передовым элементам можно также давать какие-нибудь там проволочные фокусы и умственные занимательные игры, чтоб отвлечь внимание.

Тогда возможно, что в самой середине нашего вагона воцарится полная тишина.

Нет, не думаем, чтобы такой трамвай особенно много давил людей.

Конечно, отчасти все-таки, как ни говорите, вынырнет такая штука без всякого шума — так тоже, как говорится, благодарю-спасибо. Но тут нас то утешает, что он уж не настолько будет бесшумный, как, наверно, подумали некоторые идеалисты. Некоторые уж, наверно, подумали невесть что, в то время как, наверно, мы так думаем, ничего особенного. Тоже, наверно, как попрет по рельсам, так я те дам. Не то чтоб от него сильный грохот будет идти, но тоже, наверно, не без того. Поскольку все-таки колеса, рельсы, мотор, и в моторе что-то все время вертится. Ясно, что уж совсем без шуму им не обойтись. Ну, да оно, собственно, и к лучшему.

Но все же тем не менее борьба с шумом — это очень хорошее начинание. И уж если научная мысль пошла по этой линии, то хотелось бы еще какого-нибудь улучшения на этом шумовом фронте.

Тут в первую очередь хочется все-таки отметить радио.

По силе звуков радио стоит на первом месте. И только, может быть, выстрелы дают более сильный звук. И то, как говорится, против выстрелов имеется своя наука — баллистика. А против радио научная мысль ходит как слепая.

Главное, досадно, что борьба с шумом началась не с этого открытия. Научная мысль почему-то в первую очередь пошла по трамвайному пути.

Но бесшумный трамвай — это в конце концов техника плюс, может быть, простая резина или там, говоря научным языком, гуттаперча.

Но что может сделать та же резина против радио — вот это еще не выясненный вопрос.

Слов нет, радио — гениальное открытие. Но зато, когда оно у соседей стоит и перегородка не так уж особенно капитальная, то тоже, как говорится, спасибо вам за это открытие.

Главное, самой музыки не слышно, а только бу-бу-бу, бу-бу-бу. Прямо, так сказать, сил нет. И прекратить нельзя. Только что перерыв бывает с часу ночи и до семи. Но это не каждому хватает для сна. Хоть бы какой-нибудь глушитель изобрели против этого шума.

В общем, желательно, чтоб ученые физики и пиротехники извернулись и чего-нибудь извлекли из своих последних достижений.

Но не будем забегать вперед и подсказывать то, до чего еще не дошла пытливая научная мысль.

Пламенный привет изобретателям и научно-техническим кадрам!

1935

НОЧЬ В ДЕРЕВНЕ

В прошлом году, осенью, я был в одной деревне. Я туда ездил по делу. В сельсовет.

Сразу в один день я не управился. И мне пришлось там заночевать.

И вот я остановился у одного крестьянина. Он единственный.

Он меня очень любезно принял. И хотя было поздно, но он все же раскинул приличный ужин. И даже угостил домашним пивом.

Но когда дело зашло, где мне лечь на ночевку, хозяин проявил некоторое замешательство.

Он говорит своей супруге:

— А где же мы, Маруся, положим нашего дорогого гостя?

Я говорю:

— Да вы не тревожьтесь. Я на лавке прилягу.

— Ну, нет, — говорит он, — как гостю, на лавке я вам не позволю лечь. Конечно, мы с супругой не привыкли отдавать свою постель посторонним... Но вы не сомневайтесь, мы вас куда-нибудь положим соответствующим образом.

И он оглянул свою избу.

Керосиновая лампочка тускло освещала небольшое помещение. За ситцевой занавеской стояла пышная хозяйская постель. На русской печке лежал старик. А за печкой в углу стояло какое-то подобие кровати. И там, оказывается, спала мамаша хозяйки.

Я снова говорю:

— Я лягу на лавке. Не беспокойтесь.

— На лавке дюже неудобно, — любезно отвечает хозяин, — узко и мало интересно спать... А мы вас,

уважаемый, положим в более приличной позе — на кровати.

И он показал на старухину постель. И при этом твердо заявил:

— Тут, представьте себе, пока что спит мамаша моей супруги. Но для вас мы ее оттуда сымем. Мы пришли к решению положить вас туда. Поскольку мы имеем законное уважение к гостям. Мы привыкли уважать гостей больше, чем самих себя.

Жена хозяина сказала:

— Моя мамаша завсегда страдает бессонницей. Так что ей это как бы ничего.

— Это ей не будет лишение, — добавил хозяин. — Она у нас в другой раз цельную ночь ходит по помещению, и сон ее нипочем не берет. С чего бы это, уважаемый, вы не знаете?

Я говорю:

— По виду никак не скажешь, что ваша родственница страдает бессонницей. Ишь как она сладко похрапывает. Очень прошу вас — не трогайте ее. Пусть она спит.

Но гостеприимный хозяин уже начал окликать и шевелить старуху.

— Встаньте, мама, — сказал он, — мы тут до вашей кровати пассажира имеем.

Он сильно тряс старуху за плечо, но та мычала в ответ и не просыпалась.

Я снова стал упрашивать не будить ее.

Хозяин сердито сказал:

— В другой раз всю ночь не берется спать, а как надо, так ее багром с кровати не сымешь. Какая удивительная старуха! Сама не понимает, что ей надо.

Престарелый папаша хозяина, свесившись с печки, тоже энергично вмешался в дело.

Он стал свистеть, говоря, что старуха не любит, когда свистят, и что под свист она всегда поднимается.

Однако на этот раз свист ее тоже не брал.

Тогда хозяин, набрав в рот воды, неожиданно опрыскал спящую старуху. И та, как ошалелая вскочив с постели, принялась зевать и креститься. Потом стала ходить из угла в угол, видимо еще не понимая, что с ней случилось.

Хозяин громогласно хохотал. На печке от смеха захлебывался его папаша. Хозяйка тихонько вторила им.

Из-за ситцевой занавески выскочила тройка хозяйских ребят. Два малыша бессмысленно улыбались. А третий, старший парнишка, сразу же принялся хохотать вместе со взрослыми. И сквозь смех сказал, показывая рукой на свою бабушку:

— Глядите — ходит-то как! И по рылу вода текеть...

Меня возмутила эта сцена. Я хотел было взять старуху под свою защиту, но тут хозяин обратился к ней с таким ласковым добродушием, что моя защита оказалась бы излишней. Умильным тоном хозяин сказал старухе:

— Ну, маманя, дюже крепко на этот раз спали.

— Маленько, кажется, вздремнула, — заметила старуха.

И тут, вытирая свое лицо головным платком, она сказала хозяину, вовсе не сердясь на него:

— Опять облил меня, рыжий дьявол! Эвон — кругом мокрая...

Снова в избе поднялся смех. И на этот раз вместе со всеми смеялась и старуха.

Но вот смех прекратился, и тогда снова поднялся вопрос о ночлеге. Несмотря на мои просьбы и даже мольбу, хозяин опять стал настаивать, чтобы я лег на освободившуюся постель.

Я продолжал энергично отказываться, но старуха добродушно и приветливо мне сказала:

— Да ты, батюшка, ложись. Не стесняйся! Я не привыкла много спать. Я бессонницей хвораю.

Тогда я лег на ее постель и, страшно утомленный, сразу же заснул.

И вот — утро. Яркое солнце освещает избу. Я просыпаюсь. Потягиваюсь. И вдруг прямо с ужасом смотрю на мою постель. Нет, просто трудно описать, на чем я лежал.

Можно сказать, что я лежал среди праха. Какие-то желтые грязные тряпки были подо мной. Самого ужасного вида серая запятнанная подушка нежно покоилась около моей щеки.

Яркое солнце освещало теперь весь этот жалкий прах. И это было так непривлекательно, что я, как мячик, вскочил с постели на пол.

Все в избе еще спали.

И на лавке, у окна, сладко храпела страдавшая бессонницей владелица моей постели.

Я вышел в сени и вымылся.

Потом посидел на крыльце со своими грустными мыслями.

«Как странно, — подумал я, — хозяин зажиточный. Кругом у него как будто полное довольство. И вдруг такой чертовский быт. И такая, можно сказать, вековая грязь и грубость. Да, конечно, они шутили над старухой беззлобно, но все же это слишком».

И вот я снова вошел в избу. Все уже встали. И только старуха дремала на лавке.

В избе как угорелые носились хозяйские дети. Интересно, где же они спали?

Оказывается, двое спали на хозяйской постели, в ногах. А третий, постарше, спал под кроватью на какой-то подстилке.

За чаем я спросил хозяина, почему он единоличник, а не в колхозе, — там новый быт, и там сейчас небезвыгодно во всех отношениях.

— Построили бы домишко в три комнаты. Прикоснулись бы, — говорю, — к более культурной жизни.

Хозяин ответил:

— Еще поспеется. Запишусь в дальнейшем. Над нами не каплет.

Я сказал ему:

— А по-моему, сильно каплет, мой друг.

Он, кажется, не понял моей аллегории и перевел разговор на другие темы.

1935

ОБЛАКА

Давеча еду в трамвае. И стою, конечно, на площадке, поскольку я не любитель внутри ехать.

Стою на площадке и люблюсь окружающей панорамой.

А едем через Троицкий мост. И очень вокруг поразительно красиво. Петропавловская крепость с золотым шпилем. Нева со своим державным течением. Тут же солнце закатывается. Одним словом, очень, как говорится, божеественно.

И вот стою на площадке, и душа у меня очень восторженно воспринимает каждую краску, каждый шорох, каждый отдельный момент.

Разные возвышенные мысли приходят. Разные гуманные фразы теснятся в голове. Разные стихотворения на ум приходят. Из Пушкина что-то такое выплывает в память: «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца...»

И вдруг кондукторша разбивает мое возвышенное настроение, поскольку она начинает спорить с одним пассажиром.

И тут я, как говорится, с высоты заоблачных вершин спускаюсь в надземный мир с его узкими интересами и мелкими страстями.

Молодая, интересная собой кондукторша ядовито говорит пассажиру:

— Что ж, вы думаете, я даром вас повезу? Платите, короче говоря, деньги или сойдите с моего вагона.

И слова, которые она произносит, относятся к скромно одетому человеку. И стоит этот человек со своим постным лицом и, одним словом, не платит за проезд. Он отвиливает платить. И то роется в карманах и ничего там не находит, то говорит уклончиво:

— Такая славненькая кондукторша, и такие хорошенькие у нее губки, и так она сильно ерепенится, и этим портит свою наружность... Ну нет у меня денег... Сейчас сойду, только одну остановку проеду...

— То есть никакой остановки я тебе даром не дам проехать, — говорит кондукторша. — А если у тебя денег нет, так зачем же ты в трамвай вперся? Вот чего я никак не пойму.

Пассажир говорит:

— Тоже — пешком идти, — может быть, у меня пузыри на ногах? Какие нечувствительные люди в настоящее время. Совершенно не входят в положение человека. Только за все — деньги и деньги.

Гуманные чувства заполняют мое сердце. Мне становится жалко человека, у которого нет даже нескольких грошей на проезд в трамвае.

Я вынимаю деньги и говорю кондукторше:

— Примите за того, который с постным лицом. Я заплачу за него.

Кондукторша говорит:

— Никакой уплаты со стороны я не разрешаю.

— То есть,— говорю,— как же вы можете не разрешить? Вот тебе здравствуйте!

— А так,— говорит,— и не разрешу. И если у него нету денег, то и пушай он пешком шкандыбает. А на своем участке работы я не дозволю поощрять то, с чем мы бо-ремся.

— Позвольте,— говорю,— это негуманно. К человеку надо гуманно относиться, когда ему плохо, а не наоборот. Вдобавок, это, может быть, мой родственник и я его желаю поддержать на основе родственных чувств.

— А вот я вашего родственника сейчас отправлю в одно местечко,— говорит кондукторша и, свесившись с трамвая, начинает трещать в свой свисток.

Пассажир с постным лицом говорит, вздохнувши:

— Какая попалась на этот раз ядовитая бабенка. А ну, брось свистеть и поезжай дальше: я сейчас заплачу.

Он вынимает из кармана три червонца и со вздохом говорит:

— Крупная купюра, и через это в трамвае мне ее не хотелось зря менять. Но поскольку эта особа с ума сходит и не позволяет пассажирам производить поддержку, то вот примите, если, конечно, найдется сдачи, что вряд ли.

Кондукторша говорит:

— Чего вы суете мне в нос такие крупные деньги? У меня нету сдачи. Нет ли у кого разменять?

Я было хотел разменять, но, увидя суровый взгляд пассажира, отложил свои намерения.

— Вот то-то и оно,— сказал пассажир.— Через это я и не давал купюру, поскольку знаю, что это безрезультатно и в трамвае не могут ее разменять.

— Какая канитель с этим человеком,— говорит кондукторша.— Тогда я трамвай сейчас остановлю и его к черту ссажу. Он мне тормозит мою работу.

И она берется за звонок и хочет звонить.

Пассажир, вздохнувши, говорит:

— Эта кондукторша — что-нибудь особенное. То есть я в первый раз вижу такое поведение. А ну, погоди звонить: я сейчас заплачу.

Он роется в кармане и достает двугривенный.

Кондукторша говорит:

— Что ж ты, дармоед, раньше-то не давал? Небось хотел на пушку проехать?

Пассажир говорит:

— Всем давать — потрохов не хватит. Прими деньги и заткни фонтан своего красноречия... Через такие мелочи трещит своим языком в течение часа. Прямо надоело.

— И хотя это мелочи, — сказала кондукторша, обращаясь к публике, — но они затрудняют плавный ход движения государственного аппарата. И я через это пропустила целую массу безбилетных пассажиров.

Через две остановки злополучный пассажир со своей мелкой, склочной душой сошел с трамвая. Да еще, сходя, грубо и нецензурно выругался.

И тогда кондукторша сказала:

— Какие бывают отпетые люди!

Тут кто-то из пассажиров, вздохнувши, заметил:

— Да, людишки бывают мелкие, дрянные. Если б не это — все было бы расчудесно и безоблачно.

Тут мне на память пришли стихи — в соответствии с этим моментом:

Чем свод небес прозрачней и ясней,
Тем кажутся нам безобразней тучи,
Летающие по синеве его...

Но вот мы снова въехали на какой-то мост, и я опять увлекся картинами природы, позабыв о мелочах жизни.

1936

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

К одному жильцу с нашей коммунальной квартиры прибыл из деревни его отец.

Конечно, он прибыл по случаю болезни своего сына. Без этого он, наверное, до конца своих дней не увидел бы Ленинграда. Но поскольку захворал его сын, вот он и прибыл.

А сын его был наш жилец. И он служил в одном ресторане официантом. Он там порции подавал и был на хорошем счету.

106

И, может быть, стараясь еще больше, он однажды, разгорячившись своим ночным трудом, выскочил на улицу, с тем чтобы пойти домой, и, конечно, через это простудился на своем, так сказать, кулинарном посту. Он захворал сначала насморком и семь дней чихал. Но потом простуда перешла к нему на грудь, и температура вдруг поднялась до плюс сорока градусов выше нуля.

Вдобавок, еще до этого, желая в свободный день культурно провести время, он поехал в Павловск осмотреть дворцы, и там он немного надорвался, помогая своей супруге войти в вагон.

Так что все это, вместе взятое, дало печальную картину заболевания человека в полном расцвете его сил.

И, будучи от природы мнительным, наш бедный официант был уверен, что он уже не поправится и уже, как говорится, не приступит больше к исполнению своих прямых обязанностей.

И вот через это он и пригласил своего папу приехать в Ленинград, чтобы сказать ему последнее «прости».

Не то чтобы он горячо любил своего папеньку и вот теперь, на закате своей жизни, он во что бы то ни стало захотел его увидеть, напротив — он в течение сорока лет о нем не справлялся и совершенно как бы безучастно относился к факту его существования. Но его супруга, увидя у своего мужа такую невозможно высокую температуру, скорее из самолюбия — мол, все как у людей — дала папе телеграмму: дескать, приезжайте в Ленинград, ваш сын захворал.

И когда сын уже начал поправляться, в Ленинград, всем на удивление, прибыл из весьма далеких мест его папáнька в лаптях, с мешком за спиной и с палкой. Правда, потом оказалось, что у старика в мешке были сапоги, но он их принципиально не носил, говоря об этом: «Богатый бережет рожу, а бедный — одежду».

Конечно, все, и в том числе сын, рассчитывали, что приедет скромный, отчасти даже религиозный старец лет семидесяти и будет тут произносить постные речи и всего пугаться. Но оказалось совершенно, как говорится, напротив.

Оказалось, что старикан был на редкость задиристый, немного скандалист, грубиян и брехун. И вдобавок, он был не то чтобы контрреволюционер, но он отли-

чался исключительной отсталостью в политическом смысле.

Он моментально во дворе дома схлестнулся с дворником и отодрал за уши одного подростка, пришедшего в гости к своему дяде, живущему тут двенадцать лет.

Потом он у нас в жакете резко беседовал с председателем, так что тот удивился, какие бывают взгляды на современность, и даже хотел об этом сообщить по месту его жительства.

В довершение всего приезжий отец напугал своего сына тем, что с места в карьер навел в конторе справку, не может ли он тут получить площадь для постоянного проживания в Ленинграде.

Конечно, сам по себе старик был сравнительно хороший, но тут с первого дня его приезда почти все жильцы оказались не на высоте в смысле культуры. Они все начали над ним подтрунивать, шутили над ним, как над дураком, смеялись насчет его провинциальных, деревенских манер. И каждый старался сказать ему какую-нибудь чушь, вроде того, как ему при встрече всякий раз говорил дворник петушиным голосом: «С какого именно колхоза прибыли, молодой человек?»

Да и сын его, официант Гаврилов, тоже, конечно, не отставал от общего настроения и в другой раз, давась от смеха, говорил старику, нарочно глядя в газету:

— Сегодня, папаня, не ходите на улицу — ожидается обвала на седых и рыжих.

Конечно, все это делалось довольно любовно и без злобы, но все-таки, как говорится, это, наверное, не было чем-нибудь приятным для приезжего старика, который прожил семьдесят два года и был, наверное, умнее их всех, вместе взятых. А они думали, что это — простофиля, дурак и серый мужик, и вот что с ним делали.

И это, конечно, имело отрицательную реакцию на его поведение.

И сколько дней он тут прожил — столько скандалов имело место. Были крики, сцены, грубости и так далее.

В довершение всего на седьмой день своего пребывания он в пивной надрызгался и стал там буяннить. И даже его хотели представить в милицию. Но он от всех скрылся и пошел шляться по улицам.

И вот он идет по улице и песни играет. А сам старенький, седенький и одетый по-деревенски, в высшей степени незатейливо.

И вот он идет по улицам и вдруг видит, что заблудился.

Конечно, это абсурд — тут заблудиться. Тем более, он адрес знает. Но с пьяных глаз он испугался и даже протрезвел.

И спросил прохожего, куда ему идти. Но прохожий не знал и велел ему обратиться к органам милиции.

Конечно, наш старик оробел сразу подойти к стоящему на посту милиционеру и от волнения прошел еще два-три квартала. Но потом подошел к постовому с опаской, думая, что тот засвистит и закричит на него.

Но тот, согласно внутренней инструкции, отдал честь подошедшему, приложив к козырьку свою руку в белой перчатке.

Приготовившись к скандалу и привыкши к этому, старик от неожиданности немного растерялся и залепетал разные слова, не идущие к делу.

А постовой, спросив у него, какая ему нужна улица, показал, куда идти, и, снова отдав честь, занялся своим делом.

Но этот маленький жест почтения и вежливости, рассчитанный в свое время на генералов и баронов, произвел исключительное впечатление на нашего приезжего старика. Старик аж задрожал, когда ему постовой отдал честь вторично и, стало быть, тем самым показал, что тут ошибки не было, а было то, что ему полагалось.

И тогда старик, как потом выяснилось, снова еще раз подошел уже к другому милиционеру и снова получил приветствие, которое с еще большей силой запало в его слабую душу.

Конечно, я не знаю, может ли быть, чтоб это сразу отразилось на характере, но все заметили, что старикан вернулся домой в высшей степени сдержанный и, проходя мимо дворника, не вступил с ним в обычные пререкания, а молча отдал ему честь и проследовал к себе.

Не знаю, может ли быть, что такая мелочь и такой в сущности пустяк могли сыграть известную роль в смысле перековки характера, но все заметили, что с папашей Гавриловым что-то произошло другое и в высшей степени оригинальное.

Кое-кто видел, как он на углу около своего дома пару раз подходил к милиционеру и с ним вежливо беседовал.

И многие, грубоватые в своем уме, увидев перемену, приписали ее страху, который старик испытал, когда его хотели волочить в милицию. Но некоторые поняли по-другому.

И один интеллигент с нашей квартиры, страдающий сахарной болезнью, сказал про этот случай:

— Я всегда отстаивал ту точку зрения, что уважение к личности, похвала и почтение приносят исключительные результаты. И многие характеры от этого раскрываются буквально как розы на рассвете.

Большинство с ним не согласилось, и даже у нас в квартире произошла безрезультатная дискуссия.

А дня через три папаша Гаврилов заявил своему сыну, что срочные дела требуют его отбытия в деревню.

Некоторые из нашей квартиры, желая загладить перед стариком свои неуклюжие шутки, пошли его провожать на вокзал.

И когда поезд тронулся, папа, стоя на площадке, отдал всем провожающим честь. И все засмеялись, и папа засмеялся и уехал к себе на родину.

И там он, наверное, внесет теперь некоторую любезность в свои отношения к людям. И от этого ему в жизни станет еще более светло и приятно.

1936

ОБ УВАЖЕНИИ К ЛЮДЯМ

Вот какой случай произошел в Ленинграде.

Вернее, даже не в Ленинграде, а за городом. На полустанке Воздухоплавательный парк.

Наверно, там, судя по названию, аэропланы летают, летчики ходят, пропеллеры жужжат. Наверно, с чувством большого морального удовлетворения сходят пассажиры на этой платформе.

Но это удовлетворение вскоре как дым рассеивается. Поскольку там сразу, как сойдешь, — идти некуда. Поле и болото. Летом-то еще ничего, но весной, можете себе представить, чего там бывает.

110

Так что пассажиры приобрели там дурную привычку ходить по полотну. А за это их, конечно, штрафуют. Но они не сдаются и ходят.

Тогда на борьбу с этим злом кинули двух работников. Сторожа и делопроизводителя.

Делопроизводитель сидит в будке и отрывает квитанции. А сторож, как нанятый, ходит вокруг будки и, чуть что, замечает. То есть он берет тех, кто прошел по путям. И ведет в будку. А в будке берут штраф. По рублю с носу. И выдают квитанцию. Все, так сказать, превосходно, по закону, и так и надо. Если не вдаваться в тонкости на счет болота.

Но только вот беда — у делопроизводителя квитанции более крупные, чем это требуется для штрафа.

Он штрафует по рублю, а квитки у него по три целковых. Вот как хочешь, так и поступай.

Но они там со сторожем не особенно горюют. У них выход найден. Они там в будке накапливают по три пассажира. И сразу это звено целиком штрафуют. И получается у них арифметически верно. Берут с каждого по рублю и дают им общую квитанцию, объединяя, так сказать, сердца трех на почве общего несчастья.

Получается очень мило и славно. Тем более, весна. Солнышко, может быть, сияет. Природа распускается. Болотце зеленеет. Любовь к людям, так сказать, загорается в сердцах. Уважение к человеческому достоинству наполняет грудь.

А квитки, конечно, ничего не поделаешь, по три целковых. Наверно, они остались от трамвайных прыжков. И их как-то надо использовать.

Конечно, такие квитки отчасти усложняют операцию. Например, двое подлежащих штрафу собрались, а третьего нет. Конечно, он следующим поездом будет. Но все-таки ожидание.

А главное, надо, чтоб общее число взятых пассажиров было кратное трем. Тогда еще ничего. Тогда у них цифры сходятся. А если этого нету — тогда простите за арифметику.

И вот однажды число взятых пассажиров не оказалось кратное трем. Оно не делилось на три.

У них там в будке с утра заколодило. Два пассажира сидят, ожидают, — третьего нет. Третий подошел, а с ним

четвертый прется. Четвертый сидит, ожидает. А двоих нету. Идет один. Потом опять пара. И так целый день. Даже эти работники приуныли и стали немного нервничать. Но знамя своего производства не опускали до самого вечера.

И вот сошли с поезда двое. Оба работают на «Электросиле». Один агроном Т. заводского совхоза. И служащая А.

Вот они идут по пути, ничего не подозревая о несчастьях этого дня. И, значит, напарываются на сторожа. И он их ведет в будку.

В будке им очень радуются. Поскольку там ожидают двое. И эти двое сразу выбирают себе агронома. И у них получается нужный треугольник. И тогда делопроизводитель говорит:

— Вот теперь я вас понимаю, теперь идите.

Служащая говорит:

— А как же я?

— А вы, — говорит, — немножко обождите. Как двое еще подойдут, так я вас отпущу. Иваныч, — говорит, — выйди поскорей на пути, похлопочи, чтоб что-нибудь было. Чтоб нам барышню не задерживать.

Но как ни бился сторож, у него ничего на этот раз не получилось.

Потом он все-таки одного заблудившегося привел. Итого накопилось двое. А третьего нет. А уже, может быть, наступают сумерки.

Тогда сторож, в предчувствии арифметики, впал в небольшую панику. Выбежал на полотно, но опять никого не застал.

Тогда делопроизводитель, недовольный сторожем, сам вышел до ветру и заодно посмотреть, нет ли там каких-нибудь идущих по пути.

Но в этот день, мы повторяем, у них как заколодило. И третьего, как они ни бились, не могли достать.

Тогда делопроизводитель Сумароков, вздохнувши, говорит:

— Придется написать два протокола. Платите вы двое по рублю и предъявите свои паспорта.

Вот двое стали подписывать протоколы. А агроном, который еще не ушел, а ожидал сослуживицу, говорит ей:

— Напишите в протоколе насчет факга с трехрублевой квитанцией.

Сослуживица так и сделала.

Но это почему-то обидело делопроизводителя. Затронуло какие-то его чувствительные струны. И он сказал:

— Никакой лишней пропаганды и никаких фокусов я не допущу на железной дороге.

И с этими словами он закрыл будку и стал по телефону звонить в милицию. И попросил, чтоб прислали ему милиционера.

Но так как тот долго не шел, то делопроизводитель сам повел этих людей под конвоем сторожа на станцию.

На станции эти люди запротестовали. И тогда он, составив новый протокол, отпустил их.

Через некоторое время агроном получает повестку из Детского Села от милиции. Ему предлагают туда явиться. Но агроном, будучи сильно занятым, является с опозданием против назначенного часа. И участкового инспектора не застаёт.

Тогда инспектор пишет уже более энергично.

«Если, — пишет, — не явитесь такого-то числа, то доставлю приводом».

Агроном же, как назло, явиться не мог — его послали в Гдовские Сланцы на посевную. И теперь ему оттуда прямо грустно возвращаться на неизвестное.

И действительно, как-то оно получается у них невесело. Как-то с двух сторон грубо и оскорбительно.

А главное, надо поскорей упразднить, что ли, эти трехрублевые квитанции, хотя бы из уважения к человеческому достоинству.

Это уж никуда не годится — такое слепое подчинение бумажке. Набирать людей на нужную сумму! Обычно бывает наоборот. А это прямо как-то даже озадачивает.

А что касается двух работников, кинутых на борьбу с хождением по путям, то они вместо трудностей бумажного администрирования могли бы тем временем смело на болоте дорожку проложить. И это отчасти удовлетворило бы душевные потребности как пассажиров, так и их самих.

И не было бы таких криков, слез, обид и огорчений.

БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В НЕБЕСАХ

Сегодня хотелось бы рассказать вам, дорогие друзья, что-нибудь весьма интересное, достойное вашего внимания, что-нибудь смешное и вместе с тем мужественное, что-нибудь такое, отчего забилось бы ваше сердце более усиленно, чем обычно.

Вот извольте прослушать небольшую, но славную историйку про одного молодого летчика.

Он сам рассказал мне эту историйку с просьбой огласить ее в печати.

Вот что он мне рассказал.

В летную школу он поступил благодаря жажде знаний и горячему стремлению принести пользу своей стране.

А перед тем как поступить в школу, он съездил на два дня в свою деревню — поговорить со своей матерью и с ней посоветоваться.

И вот он приезжает в свои родные места. И докладывает своей матери: дескать, вот на что он решился — хочет быть летчиком.

Его мама говорит ему:

— Вот и хорошо.

А там, в деревне, проживала одна милая девушка по имени Варя, с которой он был довольно хорошо знаком.

И такая (как он мне сказал) бытовая мелкая подробность — эта девушка ему нравилась, он был в нее влюблен, и он решил на ней жениться.

И она тоже мечтала за него выйти замуж.

И вот он повидался с ней и тоже доложил ей о своих дальнейших летных перспективах.

Она обрадовалась, что он будет летчиком. Но немножко заплакала. Она, молоденькая девчонка, подумала, что, наверное, очень жутко летать. Она, по неопытности в летном деле, испугалась за него и за свое, еще несостоявшееся, счастье.

Но он ей сказал:

— Это непременно будет, как я решил.

И Варя ответила ему:

— Я согласна.

И они решили записаться в тот день, когда он на праздники приедет в отпуск.

Он вернулся по месту назначения в свою летную школу и стал там изучать то, что ему преподавали.

И вот незаметно проходит время, и вскоре приближаются праздники.

Наш молодой будущий летчик является к начальнику школы и просит отпустить его на один день пораньше, поскольку он хотел бы записаться со своей знакомой.

Начальник школы говорит:

— Хорошо, я вас отпущу. Но вот я смотрю список ваших зачетов и с грустью вижу, что у вас нет прыжка с высоты семисот метров. А мне непременно надо, чтоб этот прыжок вы совершили до своего отъезда.

Наш летчик, замаявшись, говорит:

— Тогда завтра утром пораньше я это исполню, поскольку в обед идет мой поезд.

Начальник говорит:

— Вот и хорошо.

А надо сказать, что у нашего молодого летчика настроение тогда было не в пользу прыжка.

Последние три дня он непрестанно думал о своей знакомой. Мечтал о встрече. Сделал ей даже надпись в стихах на своей фотокарточке.

И при таком лирическом настроении прыгать ему не так уж исключительно хотелось. Такое все-таки тихое, земное дело — женитьба, и вдруг, извольте — прыгайте с такой безумной вышины.

Это, конечно, не совпадало с его умозрительным настроением. А так-то он был не против прыжка.

Но все-таки наш молодой летчик решил исполнить задание. И для этой цели он встал утром чуть свет и стал ожидать, когда его возьмут на самолет.

Но тут он видит, что с этим делом начальство не особенно торопится. Начальник школы, как нарочно, вызвал к себе пилота, с которым наш прыгун должен лететь, и долго с ним беседовал. А время идет. И до поезда остается не так-то много времени.

Но вот, наконец, все готово. И пилот поднимается с нашим молодым летчиком на высоту тысяча пятьсот метров.

Наш молодой прыгун ожидает снижения и знака прыгать, но летчик между тем не снижается и никаких знаков не подает.

И вот они летят уже минут сорок. И наш прыгун глядит на летчика с недоумением и великой досадой.

Вдруг летчик делает знак рукой — приготовиться к прыжку.

Наш молодой прыгун выходит на крыло самолета и по данному знаку бросается вниз.

Несколько секунд он летит, как камень в пространство. Потом парашют раскрывается над ним, и наш юный летчик плавно спускается на землю.

Он спускается вниз и с огорчением глядит на землю. И видит, что он спускается вблизи какой-то деревни. Какие-то маленькие домики все ближе и ближе. Какие-то люди бегут, показывая на него руками.

Тут он приземляется. И видит, что он лежит на каком-то огороде. И к нему со всех сторон бегут люди.

Наш молодой летчик встает, отцепляет парашют и собирается отвечать на все вопросы, которые сейчас ему будет задавать сельское население.

Вот народ собирается вокруг него кольцом.

Он обводит всех глазами. И что за удивительная странность! Он видит все знакомые лица. Вот тетушка Дарья собственной персоной. Вот их сосед Иван Кузьмич. Вот председатель колхоза...

Летчик протирает свои глаза, чтобы удостовериться — не снится ли ему все это. Но нет. Он видит своих односельчан. И среди них он видит свою знакомую Варю.

Та узнает его и восклицает: «Ах!» И делает по направлению к нему несколько шагов.

И тогда ему вдруг становится все ясным. Тогда он понимает, что начальник школы нарочно приказал летчику доставить его к месту назначения, с тем чтобы заодно, не теряя напрасно драгоценного времени, исполнить обязательство.

И вот он стоит на огороде. И от волнения и радости снимает свой кожаный шлем.

Тут все односельчане моментально узнают его. Некоторые ему аплодируют. Другие кричат «ура». И его знакомая Варя целует его в щеку своим прелестным ртом.

Тут начинается полный восторг среди всех присутствующих. Все смеются и говорят:

— Эвон, глядите, женихов уж начали с неба подавать.

Тут происходит смех, улыбки. Некоторые бросают шапки в воздух и поют.

И вот наш жених, взяв Варю за руку, идет к своему дому.

Его старая мама выходит на крыльцо. И от удивления всплескивает руками.

Тут же появляется престарелый Варин папа, Антон Михайлов.

И такая радость происходит среди всех, что и передать вам нет никакой возможности.

В тот же день празднуется свадьба.

За ужином молодой летчик встает из-за стола, поднимает стакан и говорит:

— Мой первый тост я произношу за нашу молодую прекрасную страну и за ее руководителей, ведущих нас от победы к победе.

И второй тост наш молодой летчик произносит за Варю и родных.

И тогда Варя несмело встает со своего места и тихими словами произносит добавочный тост за начальника школы, который дал такой удачный небесный маршрут ее молодому мужу.

Тут снова все смеются, аплодируют и пьют за славного начальника школы.

1936

ПОМИНКИ

Не так давно скончался один милый человек.

Конечно, он был незаметный работник. Но когда он, как говорится, закончил свой земной путь, о нем многие заговорили, поскольку это был очень славный человек и чудный работник своего дела.

Его все заметили после кончины.

Все обратили внимание, как он чистенько и культурно одевался. И в каком порядке он держал свой станок: он пыль с него сдувал и каждый винтик ваткой обтирал.

И, вдобавок, он всегда держался на принципиальной высоте.

Этим летом он, например, захворал. Ему худо стало на огороде. Он в выходной день пришел на свой огород и там что-то делал. Ухаживал за растениями и плодами. И вдруг ему приключилось худо. У него закружилась голова, и он упал.

Другой бы на его месте закричал: «Накапайте мне валерьянки!» или «Позовите мне профессора!» А он о своем здоровье не тревожился. И, упавши, сказал: «Ах, кажется, я на грядку упал и каротельку помял».

Тут хотели за врачом побегать, но он не разрешил отнимать от дела рабочие руки.

Но все-таки его отнесли домой, и там он под присмотром лучших врачей хворал в течение двух месяцев.

Конечно, ему чудные похороны закатили. Музыка играла траурные вальсы. Много сослуживцев пошло его провожать на кладбище.

Очень торжественные речи произносились. Хвалили его и удивлялись, какие бывают на земле люди.

И под конец один из его близких друзей, находясь около его вдовы, сказал:

— Которые хотят почтить память своего друга и товарища, тех вдова просит зайти к ней на квартиру, где будет подан чай.

А среди провожающих был один из его сослуживцев, некто М. Конечно, этот М. особенно хорошо не знал усопшего. Но пару раз на работе его видел.

И теперь, когда вдова пригласила зайти, он взял и тоже пошел. И пошел, как говорится, от чистого сердца. У него не было там каких-нибудь побочных мыслей. И на поминки он пошел не для того, чтобы заправиться. Тем более, сейчас никого едой не удивишь. А он пошел просто идейно. «Вот, — подумал, — такой славный человек, дай, — думает, — найду, послушаю воспоминания его родственников и в тепле посижу».

И вот, значит, вместе с одной группой он и пошел.

Вот приходят все на квартиру. Стол, конечно, накрыт. Еда. Пятое-десятое.

Все разделись. И наш М. тоже снял с себя шапочку и пальто. И ходит между горящих родственников, прислушивается к воспоминаниям.

Вдруг к нему в столовой подходят трое:

— Тут, — говорят, — собравшись близкие родственники. И среди них вы будете чужой. И вдова расценивает ваше появление в ее квартире как нахальство. Наденьте на себя ваше пальто и освободите помещение от вашего присутствия.

Тому, конечно, неприятно становится от этих слов, и он начинает им объяснять: дескать, он пришел сюда не для чего-нибудь другого, а по зову своего сердца.

Один из них говорит:

— Знаем ваше сердце — вы зашли сюда пожрать, и тем самым вы оскорбили усопшего. Выскакивайте пулей из помещения, а то вы в такой момент снижаете настроение у друзей и родственников.

И с этими словами он берет его пальто и накидывает на его плечи.

А другой знакомый хватает его фуражку и двумя руками напяливает ее на голову так, что уши у того мнутся.

Нет, они, конечно, его не трогали, и никто из них на него даже не замахнулся. Так что в этом смысле все обошлось до некоторой степени культурно. Но они взяли его за руки и вывели в переднюю. А в передней родственники со стороны вдовы немного на него поднажали, и даже один из них слегка поддал его коленкой. И это было тому скорее морально тяжело, чем физически.

В общем, он, мало что соображая, выскочил на лестницу с обидой и досадой в душе.

И он три дня не находил себе покоя.

И вот вчера вечером он пришел ко мне.

Он был расстроен, и у него от обиды подбородок дрожал и из глаз слезы капали.

Он рассказал мне эту историю и спросил, что я насчет этого думаю.

И я, подумавши, сказал моему молодому собеседнику:

— Что касается тебя, милый друг, то ты совершил маленькую ошибку. Ты зашел туда по зову своего сердца. И в этом я тебе верю. Но вдова имела в виду только близких и знавших ее супруга хорошо. Вот если бы тебя завод пригласил на вечер его памяти и оттуда тебя бы выкурили и назвали чужим — вот это было бы удивительно. И в этих тонкостях следует всегда разбираться. Но что

касается их, то они с тобой поступили грубо, нетактично и, я бы сказал, некультурно. А что один из них напялил на тебя фуражку, то он попросту свинья, и ну его к черту, дурака!

Тут сидевший у меня М. немного даже просиял. Он сказал:

— Теперь я понимаю, в каком смысле они меня называли чужим. И все остальное меня теперь не волнует.

Тут я пожал ему руку. Подарил ему книгу. И мы расстались лучшими друзьями.

И когда он ушел, я подумал о том, что те же самые люди, которые так грубо выгнали его, наверно, весьма нежно обращаются со своими машинами. Наверно, берегут их и лелеют. И уж во всяком случае не вышвырнут их на лестницу, а на ящике при переноске напишут: «Не бросать!» или «Осторожно!»

Засим я подумал, что не худо бы и на человечке что-нибудь мелом выводить. Какое-нибудь там петушиное слово: «Фарфор!», «Легче!» Поскольку человек — это человек, а машина его обслуживает. И, значит, он ничуть не хуже ее.

И, подумавши об их делах, я решил для поучения написать этот фельетон. И вот он перед вами.

1937

ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА

Почему-то некоторые люди не умеют отдыхать.

Одни весь свой отпуск проводят в расстройстве чувств: как бы, например, нянька в их отсутствие не грохнула ребенка с рук.

Другие, приехав на курорт, ходят две недели как ошумелые: не могут привыкнуть к чуждой природе или там к общежитию.

Третьи вообще не умеют без работы находиться. А как без дела остаются, так прямо теряют почву под ногами: худеют, кашляют и впадают в пессимизм.

Четвертые пугаются, как бы их землетрясение не закачало.

Пятые полны предчувствия, что во время отпуска их кто-нибудь «подсидит» на службе.

Ну, этих последних еще можно понять, поскольку это действительно бывает. Другой человек годами сидит на месте, и с ним ничего не случается. А уехал в отпуск — и что-нибудь такое непременно будет.

Через это многие не любят трогаться с места и предпочитают отдыхать безвыездно.

Но не только эти категории людей, а если вообще на всех поглядеть, то можно увидеть, что большинство не умеет отдыхать.

Недавно нам случилось быть на черноморском побережье.

И мы из Севастополя выехали в Ялту на автобусе.

Дорога там, как известно, исключительно красивая. Некоторые новички даже ахают, когда в первый раз едут. И действительно, очень кругом художественно. Внизу Черное море. Слева горы. Южное солнце с синего неба припекает. Природа отчасти дикая, но вместе с тем такая, которая заставляет желать все время тут находиться.

И вот, значит, едем мы по этой художественной дороге в автобусе. И вдруг — шина лопнула.

Тут начались ахи и охи. Пассажиры вышли из машины, чертыхаются, ругают шофера, зачем он поехал на такой дрянной шине.

Особенно сильно одна немолодая особа расстраивалась. И даже у нее с шофером целая баталия произошла.

Она визгливо говорит шоферу:

— Я, — говорит, — на вас жалобу напишу. Мы едем отдыхать. И нам каждый час дорог. А вы нас заставляете бесцельно ожидать. Вы, — говорит, — наверно, пропиваете новые шины, а нас на старых возите. Еще, — говорит, — спасибо, что с такой кручи нас не опрокинули со своей дрянной шиной. Вот был бы у меня хорошенький отпуск.

Шофер ей говорит:

— Знаете что: отвяжитесь! А то я плохо произведу ремонт, и мы снова будем иметь аварию. А если хотите знать, шина у меня была довольно хорошая, когда мы поехали. Но вас в машину столько понасело с мешками и с тючками, что даже совершенно новую шину может к черту разорвать... Отойдите; вы мне свет затемняете.

Особа совершенно зашлась от этих слов шофера. И даже стала заикаться. Но тут другие пассажиры морально поддержали ее и стали шоферу делать выговор.

Вдруг один довольно полный пассажир говорит:

— Слушайте: вот я гляжу на всех вас и как стопроцентный советский гражданин душевно за всех страдаю. Но особенно заставляет меня удивляться эта визгливая немолодая особа.

Та уж приготовилась ему ответить, но он ей так сказал:

— Слушайте, мадам: вот вы едете на отдых. И я так понимаю, что хотите подновить свои нервы и прибавить пару килограммов веса. Так вот и начинайте отдыхать... Вот произошла, так сказать, вынужденная посадка. Вот вы и пользуйтесь моментом. Кругом такая дивная красота. Природа. Вон, глядите, никак лиса по горе пробежала. Допустим даже, что это не лиса, а собака, — все равно интересно. Пройдитесь для моциона к этой горе. Уединитесь временно от общества, поскольку у вас, видать, нервная система не в порядке и вы чуть на людей не бросаетесь. Все это вам будет исключительно полезно. А вместо этого что мы видим, — вы, извините, орете, портите свою драгоценную кровь и через это, наверно, уже потеряли килограмм со своего мизерного веса.

Шофер говорит:

— Она килограмм, да я через нее килограмма три потерял. Вот и сосчитайте.

Полный пассажир говорит:

— Или я гляжу на других пассажиров. Все ахают, недовольны: зачем остановка? Торопятся, как на пожар. А среди них некоторые, видать, чахоточные, другие нервно хворают, третьи, может быть, перенесли операцию. И им всем полезно полежать под целебными лучами солнца, полезно походить, посбирать цветки или просто посидеть на камушке и полюбоваться дикой природой... Или поглядите на меня. Разве я бранюсь с шофером или недоволен, что шина треснула? Напротив, я еще более повеселел. И очень рад, что могу часок-другой побеседовать с природой. Вот как я понимаю отдых. И вот как надо всем поступать.

Немолодая особа горела как на огне: до того ей, видать, хотелось схлестнуться с этим полным добродушным

пассажиром. Но, видя, что он говорит разумные вещи, отошла в сторонку и стала собирать одуванчики, чтобы по приезде поставить их на ночной столик.

Другие пассажиры тоже отошли от шофера. Некоторые направились к горе. А некоторые бели у дороги и стали любоваться панорамой. А одна барышня стала строчить письмо.

И тут мир и тишина воцарились вокруг.

Я подошел к этому полному пассажиру и говорю ему:

— Позвольте пожать вашу руку. Из всех нас вы отличаетесь наибольшей мудростью. Вы, — говорю, — философски подходите к вопросам отдыха. И я, — говорю, — рад с вами поближе познакомиться.

Тут мы с ним приятно побеседовали, и я, желая с ним еще более подружиться, спросил, куда он едет отдыхать.

Он говорит:

— Да нет, я не из отдыхающих. А я тут работаю на побережье. И в такую жару еду, представьте себе, на какую-то там комиссию, черт бы ее побрал!

Я говорю:

— То-то, — говорю, — вы и не торопитесь.

Тут он немножко засмеялся и говорит:

— Нет, я тороплюсь, но поскольку произошла вынужденная посадка, то отчего бы мне не посидеть вблизи с природой? А они там меня подождут. Раз такое дело — авария.

Я говорю:

— То-то вы и агитируете за отдых и разводите философию на мелком месте.

Он говорит:

— Нет, агитирую я чистосердечно, поскольку я и сам этому, откровенно скажу, обрадовался. А то сейчас приеду, как начнут смолить цифры, суммы, расходы — душа вянет. А тут такая божественная красота, такая южная симфония.

В этот момент шофер закончил свой ремонт и дал гудок. Пассажиры бросились к машине, и вскоре мы поехали в Ялту, в эту жемчужину Крыма.

В ПУШКИНСКИЕ ДНИ

Первая речь о Пушкине

С чувством гордости хочется отметить, что в эти дни наш дом не плетется в хвосте событий.

Нами, во-первых, приобретен за шесть рублей пятьдесят копеек одностомник Пушкина для всеобщего пользования. Во-вторых, — гипсовый бюст великого поэта установлен в конторе жакта, что в свою очередь пусть напоминает неаккуратным плательщикам о невзносе квартплаты.

Кроме того, под воротами дома нами вывешен художественный портрет Пушкина, увитый елочками.

И, наконец, данное собрание само за себя говорит.

Конечно, может быть, это мало, но, откровенно говоря, наш жакт не ожидал, что будет такая шумиха. Мы думали, ну, как обыкновенно, отметят в печати: дескать, гениальный поэт, жил в суровую николаевскую эпоху. Ну, там, на эстраде, начнется всякое художественное чтение отрывков или там споют что-нибудь из «Евгения Онегина».

Но то, что происходит в наши дни, — это, откровенно говоря, заставляет наш жакт насторожиться и пересмотреть свои позиции в области художественной литературы, чтоб нам потом не бросили обвинение в недооценке стихотворений и так далее.

Еще, знаете, хорошо, что в смысле поэтов наш дом, как говорится, бог миловал. Правда, у нас есть один квартирант, Цаплин, пишущий стихи, но он, помимо того, бухгалтер и вдобавок такой нахал, что я прямо даже и не знаю, как я о нем буду говорить в пушкинские дни. Приходит позавчера в жакт, угрожает: «Я, — кричит, — тебя, длинновязый черт, в гроб загоню, если ты мне до пушкинских дней печку не переложешь. Я, — говорит, — через нее угораю и не могу стихов писать». Я говорю: «При всем чутком отношении к поэтам я тебе в данное время не могу печку переложить, поскольку наш печник загулял». Так ведь кричит. За мной погнался.

Еще спасибо, что среди наличного состава жильцов у нас нет разных, знаете, писательских кадров и так далее. А то бы тоже, наверно, в печенку въелись, как этот Цаплин.

Ну, мало ли, что он может стихи писать. Тогда я, извиняюсь, и мой семилетний Колюнька может в жакт претензии предъявлять: он тоже у меня пишет. И у него есть недурненькие стихотворения:

Мы, дети, любим тое время, когда птичка в клетке.
Мы не любим тех людей, кто враг пятилетке.

Шпингалету семь лет, а вот он как бойко пишет! Но это еще не значит, что я его хочу равнять с Пушкиным. Одно дело — Пушкин, а другое дело — угоревший жилец Цаплин. Прохвост такой! Главное, навстречу жена идет, а он за мной как погонится. «Я, — кричит, — тебя в мою печку с головой сейчас суну». Ну что это такое?! Сейчас пушкинские дни происходят, а он меня так нервирует.

Пушкин пишет так, что его каждая строчка — верх совершенства. Такому гениальному жильцу мы бы еще осенью переложили печку. А что ему будем перекладывать, Цаплину, — это я прямо поражаюсь.

Сто лет проходит, и стихи Пушкина вызывают удивление. А, я извиняюсь, что таксе Цаплин через сто лет? Нахал какой!.. Или живи тот же Цаплин сто лет назад. Воображаю, что бы там с него было и в каком бы виде он до наших дней дошел!

Откровенно говоря, я бы на месте Дантеса этого Цаплина, ну, прямо, изрешетил. Секундант бы сказал: «Один раз в него стрельните», — а я бы в него все пять пуль выпустил, потому что я не люблю нахалов.

Великие и гениальные поэты безвременно умирают, а этот нахал Цаплин остается, и он нам еще жилы повытянет.

Однако печку ему придется переложить, чтоб нам через сто лет не кинули обвинения в недопонимании поэзии.

Вторая речь о Пушкине

Конечно, я, дорогие товарищи, не историк литературы. Я позволю себе подойти к великой дате просто, как говорится, по-человечески.

Такой чистосердечный подход, я полагаю, еще более приблизит к нам образ великого поэта.

Итак, сто лет отделяют нас от него! Время действительно бежит неслыханно быстро!

Германская война, как известно, началась двадцать три года назад. То есть когда она началась, то до Пушкина было не сто лет, а всего семьдесят семь.

А я родился, представьте себе, в 1879 году. Стало быть, был еще ближе к великому поэту. Не то чтобы я мог его видеть, но, как говорится, нас отделяло всего около сорока лет.

Моя же бабушка, еще того чище, родилась в 1836 году. То есть Пушкин мог ее видеть и даже брать на руки. Он мог ее нянчить, и она могла, чего доброго, плакать на руках, не предполагая, кто ее взял на ручки.

Конечно, вряд ли Пушкин мог ее нянчить, тем более что она жила в Калуге, а Пушкин, кажется, там не бывал, но все-таки можно допустить эту волнующую возможность, тем более что он мог бы, кажется, заехать в Калугу повидать своих знакомых.

Мой отец, опять-таки, родился в 1850 году. Но Пушкина тогда уже, к сожалению, не было, а то он, может быть, даже и моего отца мог бы нянчить.

Но мою прабабушку он наверняка мог уже брать на ручки. Она, представьте себе, родилась в 1763 году, так что великий поэт мог запросто приходить к ее родителям и требовать, чтобы они дали ему ее подержать и понянчить... Хотя, впрочем, в 1837 году ей было, пожалуй, лет этак шестьдесят с хвостиком, так что, откровенно говоря, я даже и не знаю, как это у них там было и как они там с этим устроивались... Может быть, даже и она его нянчила... Но то, что для нас покрыто мраком неизвестности, то для них, вероятно, не составляло никакого труда, и они прекрасно разбирались, кого нянчить и кому кого качать. И если старухе действительно было к тому времени лет под шестьдесят, то, конечно, смешно даже и подумать, чтобы ее кто-нибудь там нянчил. Значит, это уж она сама кого-нибудь там нянчила.

И, может быть, качая и напевая ему лирические песенки, она, сама того не зная, пробудила в нем поэтические чувства и, может быть, вместе с его пресловутой нянькой Ариной Родионовной вдохновила его на сочинение некоторых отдельных стихотворений.

Что же касается Гоголя и Тургенева, то их могли нянчить почти все мои родственники, поскольку еще меньше времени отделяло тех от других. Вообще я так скажу:

дети — украшение нашей жизни, и счастливое детство — это, как говорится, очень и очень немаловажная проблема, разрешенная в наши дни. Детские ясли, очаги, комнаты матери и ребенка на вокзалах — все это суть достойные признаки одного и того же дела... Да, так про что же это я? Ах, да — про Пушкина. Вот я и говорю — Пушкин... Столетняя дата. А там, глядишь, вскоре ударят и другие славные юбилеи — Тургенев, Лермонтов, Толстой, Майков и так далее и так далее. И пойдет чесать. И это справедливо, если заслужено.

Конечно, не будем останавливаться на биографических данных поэта: это всем известно. Не является секретом, что у поэта была квартира в семь комнат, экипаж, лакей, две домработницы. Кроме того, ему за строчку стихов платили по червонцу. Да еще постоянно переиздавали. И Николай Первый, видя все это, мучился и завидовал.

Это усложняло придворную жизнь поэта, тем более что, между нами говоря, Тамара ему, конечно, изменяла... Нет, кажется, у Пушкина была Наталья, а не Тамара... Ну да, Наталья. Это у Лермонтова — Тамара... А я их, знаете, обыкновенно путаю... Пушкин и Лермонтов — это для меня как бы одно целое. Я в этом не делаю различия — что у кого. Тем более что они оба гениальные поэты. И оба в наши дни пользуются одинаковым вниманием общественности.

Вообще, между нами говоря, в другой раз даже как-то удивляешься, почему к поэтам бывает такое исключительное отношение. К певцам, например, я не скажу, чтоб у нас плохо относились, но уж настолько с ними не носятся, как с этими. А тоже, как говорится, таланты. И за душу хватают. И затрагивают эмоциональность. И пятое-десятое...

Кроме того, некоторые наши певцы бесплатно выступают в шефских концертах. И тем самым, как говорится, вносят посильную лепту в дело развития искусства, влияние которого на общество огромно и неоспоримо...

Да, так о чем же я?.. Ах, да — про Пушкина. Так вот я и говорю: влияние Пушкина на нас огромно и неоспоримо. Это был гениальный, великий поэт. И приходится пожалеть, что он не живет сейчас вместе с нами. Мы бы его на руках носили и устроили бы поэту сказочную жизнь, если бы, конечно, знали, что из него получится

Пушкин. А то бывает, что современники надеются на своих, устраивают им приличную жизнь, дают автомобили и квартиры, а потом оказывается, что это не то и не то. А, как говорится, взятки гладки... Вообще темная профессия, ну ее к богу в рай. Певцы как-то даже больше радуют. Залопют, и сразу видно, какой голос.

Итак, заканчивая свой доклад о гениальном поэте, я хочу отметить, что после торжественной части будет художественный концерт.

(Шумные аплодисменты. Все встают и идут в буфет.)

1937

ЛЮДОЕД

В этом году у нас в доме состоялся товарищеский суд. Судили одного квартиранта Ф. за его хулиганский поступок.

Дело в том, что у нас огромный дом, с населением свыше тысячи жильцов. И наш дом имеет свою стенную газету под названием «За жабры».

Так вот этот квартирант Ф., прочитав там однажды стихи про себя, пришел в бешенство и с криком: «Всех перестреляю!» сорвал эту газету.

Кроме того, он дернул за волосы двенадцатилетнего парнишку — сына редактора газеты. И вдобавок с воплем: «Я тебе голову сорву!» погнался за поэтом, автором этих стихов.

Факт, конечно, печальный, недостойный нашей современности.

А надо сказать, что наша газета раньше не пользовалась успехом среди жильцов. На нее мало обращали внимания. Более того — кроме редактора, никто не затруднял себя чтением этого печатного органа.

Но потом решено было повысить уровень этой газеты. И было решено привлечь к работе одного квартиранта, умеющего писать стихи.

Тот долго отказывался, но потом сказал:

— Я за деньгами не гонюсь. Но я люблю работать «на интерес». Это меня стимулирует. Положите мне за строчку хотя бы по гривеннику, и тогда я не только подыму вам газету, но прямо из нее устрою кипящий котел,

в котором, не жалея себя, буду варить всех ваших жильцов, так что они, как говорится, света божьего не взвидят. И тогда я ручаюсь за успех: толпа будет стоять около вашей стенной газеты.

Сначала этот поэт-сатирик описывал убожество лестниц и недочеты помойной ямы, но когда ему повысили гонорар до тридцати копеек за строчку, он перешел на людей и в короткое время отхлестал своими стихами почти всех жильцов, включая дам и детей.

После этого он, не встречая сопротивления, пошел, как говорится, делать второй круг по тем же людям, с каждым разом заостряя свою сатиру все больше и круче.

Наконец он поместил стихи против квартиранта Ф., который, как мы говорили, пришел в бешенство, натворил черт знает что и теперь предстал перед судом.

Разорванная стенная газета была склеена. И стихи были оглашены на суде. Вот эти стихи:

Квартплату в срок не вносит,
Говорит, что денег нет.
А замшевую кепку носит
Сей обнаглевший наш брюнет
И барышень в такси катает, —
На это у него хватает.

* *
*

Дрова он колет на полу,
Топор вонзается в паркет.
Ударим мы его по лбу,
Чтоб сей зазнавшийся брюнет
Не мог вредить у нас в дому.

Вот эти стихи и вызвали припадок бешенства жильца Ф.

На суде квартирант Ф. сказал:

— В этом стихотворении имеется только одна строчка правды, в которой говорится, что я ношу замшевую кепку. Все остальное — суть наглая ложь. Квартплату я вношу аккуратно и только один месяц просрочил по случаю беременности моей жены. Что касается такси, то это я вез мою жену на консультацию в родильный дом. Начет же того, что я дрова колю на полу, — это есть чистая

выдумка. Пол действительно у меня порублен, но это в голодные годы прежний жилец колол тут дрова. А сейчас у нас есть дворник, который и может подтвердить, что все дрова он мне колет во дворе. Все это вместе взятое вызвало у меня затемнение рассудка, и я совершил поступки, недостойные советского гражданина.

Председатель товарищеского суда говорит:

— Как это, право, нехорошо у вас получилось. Вы бы, вместо того чтобы рвать печатный орган, взяли бы и заявили в редакцию: дескать, вот какой на вас поклеп. А вы вместо этого даете волю своим рукам: рвете газету и дерете за вихры ни в чем неповинного мальчика двенадцати лет, сына редактора газеты. Как это некультурно у вас получилось. Мне прямо совестно за вас.

Квартирант Ф. говорит:

— За этот мой последний поступок я согласен покраснеть. Но видите, в чем дело. Когда я пришел к редактору и стал просить его поместить опровержение, он мне так сказал: «Я теперь сам вижу, что про тебя стишки неверные. Но ты как-нибудь эту обиду переживи в своей душе. Я опровержение печатать не буду, поскольку это уронит авторитет моей газеты. Вот, скажут, враньем занимаются, а потом дают обратный ход. Ты есть частное лицо, а мы общественный орган. Мы важней, чем ты. Проглоти обиду и не подымай шуму». И тогда я ни с чем уйду от этого редактора, а тут его мальчишка еще мне вслед кричит: «Барышень в такси катает, на это у него хватает». Тут маленько я и потрепал его за вихры. Очень извиняюсь.

Председатель говорит редактору:

— Как это, право, нехорошо с вашей стороны не поместить опровержения. Смотрите, до чего вы довели этого квартиранта своей сатирой. Смотрите: он до сих пор весь дрожит.

Редактор говорит:

— Теперь я сам вижу, что я не доглядел за своим сатириком-людоедом. С тех пор как мы увеличили ему гонорар, он как с ума сошел. Я обещаю снова сбавить ему гонорар до десяти копеек за строчку, а то он тут весь дом по ветру пустит.

Председатель говорит:

— Сбавлять не надо, а вы должны с позором выгнать его из газеты, поскольку в газете должны работать только исключительно кристально честные люди. Мы теперь наглядно видим, что один мелкий арал может не только расстроить всех жильцов: он может всех перессорить и всех обозлить. Еще бы: у него нет элементарной честности, и в погоне за рублем он может утопить в луже любого квартиранта. Нет, такого дельца мало выгнать, его надо под суд отдать, что я непременно и сделаю. А что касается квартиранта Ф., то его поступок в высшей степени неправильный. Он должен был обжаловать клевету, но он пустился на свою расправу, за что мы приносим ему общественное порицание и условно к шести месяцам общественных работ.

На этом заседание суда кончилось.

Через две недели вышла новая газета с опровержением и с указанием, что поэт-сатирик освобожден от работы.

1938

ДОМА И ЛЮДИ

Решил я написать небольшой фельетончик о тех зданиях, которые нынче возводятся для нашего жилья.

Все-таки большую часть жизни люди торчат дома. И хотя бы по этой причине допустимо заострить общественное внимание к столь немаловажной проблеме.

Кратко расскажу о том доме, в котором я, как говорится, имею счастье проживать.

* * *

*

Дом, в котором я сейчас живу, — очень солидный, современный дом недавней постройки.

В архитектурном отношении — это очень интересное здание. Оно очень любовно и не без души сделано.

Каждая квартира имеет балкон. Окна широкие. И солнце могучим потоком, без затруднения, проникает в крошечные уютные квартирки. Всюду ванны, мусорные ящики. Лестница вполне симпатичная, но немножко, к сожалению, узкая. Так что роаяли пришлось подавать

в окна, что, конечно, в свою очередь до некоторой степени снижало музыкальную культуру.

Один наш композитор, взявший квартиру в пятом этаже, невыразимо страдал, когда тянули на канате предмет его творчества.

И действительно, это было как-то неестественно. Тем более что очень уж много было крику, когда его музыкальный инструмент стали подавать на блоке. Особенно стон стоял, когда с воздуха его стали протискивать в окно. Это был прямо музыкальный момент.

Но процедура закончилась успешно, что все-таки делает честь архитектору, который подсознательно учел, что маленькие окна окончательно зарезали бы композиторов.

Так или иначе, это пианино благополучно водворили в помещение. И композитор сразу стал на нем брэнчать, так что жильцы из четвертого этажа рысью побежали жаловаться управдому, поскольку слышимость оказалась уж очень что-то удивительная.

Нет, немзыкальные люди эти жильцы четвертого этажа. Подумаешь — звуки рояля их потревожили. Музыка они слышали! Да я, например, явственно слышу, как в соседней квартире кошка чихает. И то куда не бегу жаловаться на эти звуки. Поскольку отлично понимаю, отчего она чихает. Еще бы: рамы у нас косые, двери кривые, из всех щелей паркетного пола дует. Вот и простудилось животное, чихает.

К весне потеплеет, и оно перестанет чихать.

Но все это мелочи, вздор. Не на эти квартирные пустилки было направлено главное внимание архитектора. Основной задачей его, надо полагать, было — покрасивей оформить здание.

Что ж, в художественном отношении наш дом тоже дивно оформлен. Имеются разные лепные украшения: гирлянды, кружочки. И это как-то ласкает взор.

Под гирляндами вылеплены лошадиные головки. И на них тоже иной раз интересно глядеть.

Вдобавок, начиная с третьего этажа и выше, почему-то две колонны стоят и, как говорится, кушать не просят.

Собственно говоря, эти две колонны как бы даже ни к чему. Потому что все-таки назначение колонны — что-нибудь там поддерживать. А эти колонны вроде как бы даже ничего не поддерживают. А уж если на то пошло,

их до некоторой степени дом поддерживает. Но и то хорошо, что их дом поддерживает. Все-таки античное искусство не падает.

А тоже упадет такая кирпичная машина, так благодарю вас за греческую архитектуру.

Но вот уже третий год все идет благополучно, и это лишний раз доказывает, как стойко держится у нас эллинское искусство.

Очень оригинально у нас дворик устроен. Тоже, если хотите, на античный лад. Но уже нечто римское чувствуется. Отчасти он напоминает летние римские бани или внутренние небольшие помпейские дворики для хозяйственных нужд.

Небольшой размер дворика не остановил все-таки архитектора в его стремлении дать что-нибудь исключительное. По середине двора устроен большой фонтан. Такой бассейн, и в центре лепная женская фигура с кувшином. И на это довольно забавно смотреть, когда вечером идешь через двор слегка под мухой.

Нет, в художественном отношении наш архитектор максимально мобилизовал свои силы. Даже можно было немного меньше стараться. Ежели думать, что дома украшают люди, которые въезжают туда со своим новым бытом.

Вообще если говорить об архитектуре, то это большой минус, что, выводя современные постройки, архитекторы наши почему-то задумываются о древней Греции. Еще спасибо — не об Египте!

Нет, повторяю, я не против колонн, которые что-нибудь там поддерживают. Но мне как-то противно, когда бывает наоборот.

1938

РОЗА-МАРИЯ

Задумал один житель села Ф., некто товарищ Лебедев, окрестить своего младенца.

Так-то он шел до сих пор против религии. Он церкви не посещал. Ничего такого церковного не делал. И даже наоборот — имея передовые взгляды, состоял одно время в кружке безбожников.

Но у него в этом сезоне родилась девочка. И вот ее-то он и задумал окрестить.

Вернее, его жена, эта малодушная мать, подбила его это сделать. И не так даже жена, как ее недальновидные родители дали тон всему делу. Поскольку они начали вякать: ах, дескать, некрасиво, если не крестить, дескать, вдруг она вырастет или, наоборот, умрет и будет некрещеная, что тогда.

Ну, несерьезные разговоры политически отсталых людей.

А Лебедев удивительно не хотел крестить свою девочку. Тем не менее душа у него дрогнула, когда на него напали. И он, имея внутренние противоречия, дал свое согласие. Он им так сказал:

— Ладно. Крестите ее. Только мне бы не хотелось, чтобы вокруг этого вопроса шум стоял. Безусловно, я волен распоряжаться своим мировоззрением. Хочу — крещу, хочу, наоборот, — не крещу. Но все-таки разговоры начнутся, пятое-десятое; дескать, крестил все-таки, собачий нос, обратился, дескать, к услугам церкви: дескать, недаром, скажут, дядя его в мирное время у домовладельца служил старшим дворником.

На это жена ему сказала, что если он сам не надерется по случаю крещения дочери, то никакого шума не будет стоять около этого вопроса.

И вот родители договорились со священником, чтобы тот им окрестил девочку. И тот за пятерку взялся это сделать и назначил им день и час.

А тем временем родители зарегистрировали своего младенца в загсе под именем Роза, получили там мануфактуру и в определенный день явились в церковь для совершения крещения.

А в тот день там крестили еще одного младенца. И наши, ожидая своей очереди, стояли и глядели, как это происходит.

И сам Лебедев, будучи все-таки настроен против религии и имея, так сказать, критический взгляд на все церковное, не мог, безусловно, стоять молча. Он не мог инертно стоять. И он все время задира л батюшку своими колкими замечаниями.

И чего батюшка ни сделает, Лебедев на это ехидно улыбается, а то и просто ему что-нибудь под руку гово-

рит. «Ну, загнусил», — говорит... Или там: «Ну, еще чего придумал...» Или, глядя на рыжеватую растительность батюшки, вдруг говорит: «Ни одного рыжего среди святых не было... А этот рыжий».

Это последнее замечание вызвало смех среди родственников. Так что батюшка даже на минуту прервал крещение и на всех сердито поглядел.

А когда он взялся за лебедевского младенца, то Лебедев отчасти потерял чувство меры и уже начал открыто долбить батюшку своими ехидными замечаниями.

И даже, шутливо правда, сказал:

— Ну, гляди, борода, чтобы ребенок мой не простыл благодаря твоему крещению. А то я тебе прямо храм спалю.

У батюшки даже руки затряслись, когда он это услышал.

Он так сказал Лебедеву:

— Слушайте, я вас не понимаю; если вы пришли сюда меня поддевать, то я на вас удивляюсь. Вы отдаете себе отчет, что получается? В тот момент, когда я держу вашу девочку в руках, вместо очистительной молитвы у меня в душе разгорается против вас злоба и сквернословие, и вот какую путевку в жизнь я даю мысленно вашей девочке. Да, может, теперь ее всю жизнь будет лихорадить, или, наоборот, она станет глухонемая.

Лебедев говорит:

— Ну, если ты мне младенца испортишь, то я тебе все кудри вырву, имей это в виду.

Батюшка говорит:

— Знаешь что. Лучше заверни своего щенка в одеяло и выкатывайся из храма. А я тебе верну пятерку, и мы разойдемся по-хорошему, чем я буду все время такое нахальство слышать.

Тут родственники начали одергивать Лебедева: дескать, заткни, действительно, глотку-то; дескать, обожди, вот выйдешь из храма и тогда отводи душу; дескать, не задергивай попа, а то он нам, чего доброго, девочку на пол опрокинет. Гляди, у него руки трясутся и колени подгибаются.

И хотя Лебедева раздирали внутренние противоречия, но он сдержался и ничего такого не ответил священнику. Только он ему сказал:

— Ну, ладно, ладно, не буду больше. Веди благородней крещение, длинногривый.

Вот батюшка начал произносить церковные слова. Потом, обратившись к Лебедеву, говорит:

— Какое имя мне произносить? Как вы назвали свою девочку?

Лебедев говорит:

— Мы ее назвали — Роза.

Батюшка говорит:

— То есть, сколько хлопот вы мне доставили своим посещением. Мало того, что вы меня поддевали, так теперь выясняется, что вы не то имя дали младенцу. Роза — суть еврейское имя, и под этим именем я ее крестить отказываюсь. Заверните ее в одеяло и идите себе из храма.

Лебедев, растерявшись, говорит:

— Еще того чище. То он на ребенка лихорадку нагоняет, то он вообще отказывается его крестить. А это имя есть от слова «роза», то есть это есть растение, цветок. А другое дело, например, Розалия Семеновна — кассирша из кооператива. Там я не спорю: есть еврейское имя. А тут вы не можете отказываться ее так крестить.

Батюшка говорит:

— Заверните своего ребенка в одеяло. Я его вообще не буду крестить. У меня в святцах нет такого имени.

Родственники говорят священнику:

— Слушайте, мы же его в загсе под этим именем записали. Что вы, ей-богу, горячку разводите.

Лебедев говорит:

— Я же вам говорил. Вот какой это поп. Он против загса идет. И сейчас всем видать, какое у него нахальное политическое мировоззрение.

Поп, видя, что родные не уходят и ребенка не уносят, стал разоблачаться. Он снял свою парчовую ризу. И тут все увидели, что он теперь ходит в штанах и высоких сапогах.

И он в таком богохульном виде подходит к образам и гасит свечи. И хочет выплеснуть воду из купели.

А в храме, между прочим, находилось одно приезжее лицо. Оно прибыло сюда по делам, для проверки кооператива. И теперь оно нарочно, просто так, от нечего делать, зашло в церковь, чтобы посмотреть, что там и как там сейчас бывает.

И теперь это лицо взяло слово и говорит:

— Я хотя стою против обрядов и даже удивляюсь на темноту местных жителей, но раз ребенка уже развернули и родители горят желанием его окрестить, то это надо исполнить во что бы то ни стало. И чтобы выйти из создавшегося положения, я предлагаю вашего ребенка назвать двойным именем. Например: у вас оно Роза, а тут, например, оно пускай Мария. И вместе это дает Роза-Мария. И даже есть такая оперетка, которая нам сигнализирует, что это в Европе бывает.

Поп говорит:

— Двойных имен у меня в святцах нету. И я даже удивляюсь, что вы меня этим собираетесь сбить. Если хотите, я ее Марией назову. Но Роза — я даже мысленно произносить не буду.

Лебедев говорит:

— Ну, пес с ним. Пушай он тогда ее Марией назовет. А после мы разберемся.

Батюшка снова надел свою ризу и быстро, в течение пяти минут, произвел всю церковную операцию.

Лебедев беседовал с приезжим лицом и благодаря этому никаких своих замечаний по поводу действий попа не вставлял. Так что все прошло вполне благополучно.

Но надежды Лебедева — чтобы не было шуму вокруг этого вопроса — не оправдались. Как видите, сия история попала даже в печать. И не напрасно. Не ходи по церквям, если твое мировоззрение не позволяет. А уж ежели пришел в храм — веди себя прилично и не задерживай батюшку глупыми замечаниями.

1938

ИСТОРИЯ МОЕЙ БОЛЕЗНИ

Весной тридцать восьмого года журнал «Крокодил» предложил мне написать фельетон о некоторых дефектах в наших областных больницах.

В качестве материала мне предоставили десятка два читательских писем, полученных журналом и редакциями московских газет.

Задачу написать такой фельетон можно было решить двояко: либо написать обычную газетную статью с указа-

нием адресов и фамилий провинившихся администраторов, либо — комический фельетон.

Я взял второе решение. Перед читателем — воображаемая районная больница, где в плане шаржа перечислены подлинные дефекты, указанные в читательских письмах.

Такое решение задачи достигает цели не в меньшей степени, чем конкретное указание адресов и фамилий. Дальнейшая проверка показала, что многие дефекты, зарисованные в нашем комическом фельетоне, были срочно исправлены.

Однако некоторые больничные недочеты и по сей время остались.

* * *

*

Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома.

Конечно, слов нет, в больнице, может быть, светлей и культурней. И калорийность пищи, может быть, у них более предусмотрена. Но, как говорится, дома и солома едома.

А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали этим облегчить мои невероятные страдания.

Но только этим они не достигли цели, поскольку мне попала какая-то особенная больница, где мне не все понравилось.

Все-таки больного привезли, записывают его в книге, и вдруг он читает на стене плакат: «Выдача трупов от 3-х до 4-х».

Не знаю, как другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочел это воззвание. Главное — у меня высокая температура, и вообще жизнь, может быть, еле теплится в моем организме, может быть, она на волоске висит — и вдруг приходится читать такие слова.

Я сказал мужчине, который меня записывал:

— Что вы, — говорю, — товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вывешиваете? Все-таки, — говорю, — больным не доставляет интереса это читать.

Фельдшер, или как там его — лекпом, удивился, что я ему так сказал, и говорит:

— Глядите: больной, и еле он ходит, и чуть у него пар изо рта не идет от жара, а тоже, — говорит, — наводит на все самокритику. Если, — говорит, — вы поправи-

тес, что вряд ли, тогда и критикуйте, а не то мы действительно от трех до четырех выдадим вас в виде того, что тут написано, вот тогда будете знать.

Хотел я с этим фельдшером схлестнуться, но поскольку у меня была высокая температура, тридцать девять и восемь, то я с ним спорить не стал. Я только ему сказал:

— Вот погоди, клистирная трубка, я поправлюсь, так ты мне ответишь за свое нахальство. Разве, — говорю, — можно больным такие речи слушать? Это, — говорю, — морально подкашивает их силы.

Лекпом удивился, что тяжело больной так свободно с ним объясняется, и сразу замял разговор. И тут сестричка подскочила.

— Пойдемте, — говорит, — больной, на обмывочный пункт.

Но от этих слов меня тоже передернуло.

— Лучше бы, — говорю, — называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, — говорю, — красивей и возвышает больного. И я, — говорю, — не лошадь, чтоб меня обмывать.

Медсестра говорит:

— Даром что больной, а тоже, — говорит, — замечает всякие тонкости. Наверно, — говорит, — вы не выздореваете, что во все нос суετε.

Тут она привела меня в ванну и велела раздеваться.

И вот я стал раздеваться и вдруг вижу, что в ванне над водой уже торчит какая-то голова. И вдруг вижу, что это как будто старуха в ванне сидит, — наверно, из больных.

Я говорю сестре:

— Куда же вы меня, собаки, привели — в дамскую ванну? Тут, — говорю, — уже кто-то купается.

Сестра говорит:

— Да это тут одна больная старуха сидит. Вы на нее не обращайтесь внимания. У нее высокая температура, и она ни на что не реагирует. Так что вы раздевайтесь без смущения. А тем временем мы старуху из ванны вынем и набуровим вам свежей воды.

Я говорю:

— Старуха не реагирует, но я, может быть, еще реагирую. И мне определенно неприятно видеть то, что там у вас плавает в ванне.

Вдруг снова приходит лекпом.

— Я, — говорит, — первый раз вижу такого привередливого больного. И то ему не нравится, и это ему нехорошо. Умиравшая старуха купается, и то он претензию выражает. А у нее, может быть, около сорока температуры, и она ничего в расчет не принимает и все видит, как сквозь сито. И уж во всяком случае ваш вид не задержит ее в этом мире лишних пять минут. Нет, — говорит, — я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере тогда им все по вкусу, всем они довольны, и они не вступают с нами в научные пререкания.

Тут купающаяся старуха подает голос:

— Вынимайте, — говорит, — меня из воды, или, — говорит, — я сама сейчас выйду и всех тут вас распатрону.

Тут они занялись старухой и мне велели раздеваться.

И пока я раздевался, они моментально напустили горячей воды и велели мне туда сесть.

И, зная мой характер, они уже не стали спорить со мной и старались во всем поддакивать. Только после купанья они дали мне огромное, не по моему росту, белье. Я думал, что они нарочно подбросили мне такой комплект не по мерке, но потом я увидел, что у них это нормальное явление. У них маленькие больные, как правило, были в больших рубахах, а большие — в маленьких.

И даже мой комплект оказался лучше, чем другие. На моей рубахе больничное клеймо стояло на рукаве и не портило общего вида, а на других больных клейма стояли у кого на спине, а у кого на груди, и это морально унижало человеческое достоинство.

Но поскольку у меня температура все больше повышалась, то я и не стал об этих предметах спорить.

А положили меня в небольшую палату, где лежало около тридцати разного сорта больных. Некоторые, видать, были тяжелобольные. А некоторые, наоборот, поправлялись. Некоторые свистели. Другие играли в пешки. Третьи ходили по палатам и по складам читали то, что написано над изголовьем.

Я поднял крик, чтоб пришел главный врач, но вместо него вдруг пришел этот самый лекпом. А я был в ослабленном состоянии. И при виде его я окончательно потерял свое сознание.

Только очнулся я, наверно, так, думаю, дня через три. Сестричка говорит мне:

— Ну, — говорит, — у вас прямо двужильный организм. Вы, — говорит, — сквозь все испытания прошли. И даже мы вас случайно положили около открытого окна, и то вы неожиданно стали поправляться. И теперь, — говорит, — если вы не заразитесь от своих соседних больных; то, — говорит, — вас можно будет чистосердечно поздравить с выздоровлением.

Однако организм мой не поддался другим болезням, и только я единственно перед самым выходом захворал детским заболеванием — коклюшем.

Сестричка говорит:

— Это вы подхватили заразу из соседнего флигеля. Там у нас детское отделение. И вы, наверное, неосторожно покушали из прибора, на котором ел коклюшный ребенок. Вот через это вы и прихворнули.

В общем, организм взял свое, и я снова стал поправляться.

Вскоре я поправился. Через месяц выписался. И теперь хвораю дома.

1938

ВЕСЕЛАЯ ИГРА

Давеча я кушал в ресторане и после того заглянул в бильярдную. Хотелось посмотреть, как там, как говорится, шарики катают.

Слов нет — игра интересная. Она занятная и отвлекает человека от всевозможных страданий. Некоторые даже находят, что бильярдная игра развивает мужество, глазомер и натиск. А врачи утверждают, что эта игра для неуравновешенных мужчин крайне полезна.

Не знаю. Не думаю. Другой неуравновешенный мужчина, играя на бильярде, до того нальется пивом, что после игры еле домой ползет. Так что я сомневаюсь, чтобы это для нервных и расстроенных было полезно.

А что это глазомер усиливает, то как сказать. Тут одному с нашего дома партнер, прицеливаясь, глаз кием подбил. И хотя тот не ослеп, но все-таки слегка окривел. Вот вам и развитие глазомера. И если ему теперь

по другому глазу пройдутся, то человек и вовсе глазо-
мера лишится.

Так что в смысле пользы это уж, как говорится, ба-
бушкины сказки.

Но игра, конечно, забавная. Особенно когда «на инте-
рес» играют — очень увлекательно смотреть.

Конечно, на деньги сейчас играют редко. Но зато что-
нибудь придумывают оригинальное. Некоторые застав-
ляют проигравшегося под бильярд лезть. Другие застав-
ляют поставить пару пива. Или велят заплатить за игру.

А когда я на этот раз зашел в бильярдную, то увидел
очень смехотворную картину.

Один выигравший велел своему усатому партнеру со
всеми шарами под бильярдом пролезть. Он запихал ему
шары в карман, в каждую руку дал по шару и вдобавок
один шар подсунул под подбородок. И в таком виде про-
игравшийся под общий смех прополз под бильярдом.

После новой партии выигравший снова нагрузил уса-
того шарами и вдобавок велел ему взять в зубы кий.

И тот, бедняга, снова полез под гомерический хохот
собравшихся.

Для новой партии они уж и не знали, что придумать.

Усатый говорит:

— Давайте что-нибудь полегче, а то вы меня и без
того загнали.

А у него действительно даже усы книзу повисли: до
того он задергался.

Выигравший говорит:

— Зато, дурак, я тебя великолепно научу на бильярде
играть благодаря таким штрафам.

А с выигравшим был еще его приятель. Тот говорит:

— Я придумал. Если он проиграет, давайте так: пу-
щай он лезет под бильярд, нагруженный шарами, а мы
ему к ноге вдобавок привяжем ящик с пивом. Пущай он
в таком виде пролезет.

Выигравший, засмеявшись, говорит:

— Bravo! Вот это будет номер!

Усатый обиженно говорит:

— Если ящик будет с пивом, то я играть не буду.
С пустым ящиком мне и то трудно будет лезть.

В общем, он опять проиграл. И тут под общий смех
усатого снова нагрузили шарами, в зубы дали ему кий

и к ноге привязали ящик. Вдобавок друг выигравшего начал пихать усатого кием, чтоб тот быстрее проходил свой маршрут под бильярдом.

Выигравший до того хохотал, что упал на стул и хрюкал от изнеможения.

Усатый вылез из-под бильярда сам не свой. Он осоловело поглядел на всех собравшихся и даже некоторое время не двигался. Потом он выгрузил из карманов шары и стал отвязывать от ноги ящик с пивом, говоря, что он больше не играет.

У выигравшего текли слезы от смеха. Он сказал:

— Ну, голубчик Егоров, сыграем еще одну партию. Я еще забавную штуку придумал.

Тот говорит:

— Ну, что вы еще придумали?

Выигравший, давясь от смеха, говорит:

— Давай, Егоров, сыграем на твои усы. Мне твои пушистые усы давно противны. Если выиграю я, то отрежу тебе усы. Идет?

Усатый говорит:

— Нет, на усы я играть не буду, или же дайте мне сорок очков вперед.

В общем, он опять проиграл. И никто не успел опомниться, как выигравший схватил столовый нож и начал отпиливать пушистый ус у своего незадачливого партнера.

В зале помирали от смеха.

Вдруг один из присутствующих подходит к выигравшему и так ему говорит:

— Наверно, ваш партнер дурак, что он соглашается на такие штрафы. А вы этим пользуетесь и насмехаетесь над человеком в общественном месте.

Друг проигравшего говорит:

— А ваше какое собачье дело? Ведь он добровольно соглашается.

Выигравший говорит своему партнеру томным голосом:

— Егоров, подойди сюда. Ответь общественности, что ты добровольно соглашался на все штрафы.

Партнер, придерживая рукой полуотрезанный ус, говорит:

— Известно, добровольно, Иван Борисович.

Выигравший говорит, обращаясь к публике:

— Другой там заставляет шофера ждать на морозе три часа. А я к людям гуманно подхожу. Это шофер с нашего учреждения, и я его всегда в тепло беру. Я к нему не свысока отношусь, а я с ним по-товарищески на бильярде играю. Учю его и маленько наказываю. И что теперь ко мне придираются — я прямо не пойму.

Шофер говорит:

— Может, тут из публики есть парикмахер. Просьба подровнять мне усы.

Из толпы выходит один человек и говорит, вынимая из кармана ножницы:

— Сердечно рад подровнять ваши усики. Если вы желаете, я вам сделаю их как у Чарли Чаплина.

Пока парикмахер возился с шофером, я подошел к выигравшему и сказал ему:

— Я не знал, что это ваш шофер. Я думал, что это ваш приятель. Я не позволил бы вам устраивать такие номера.

Выигравший, немного струхнув, говорит:

— А вы что за птица?

Я говорю:

— Я про вас статью напишу.

Выигравший, оробев, говорит:

— А я вам свою фамилию не скажу.

Я говорю:

— Я только факт опишу и добавлю, что это был довольно плотный рыжеватый мужчина, с именем Иван Борисович. Конечно, этот номер вам, может быть, и пройдет, но если и пройдет, то пусть ваша гнилая душа перевернется перед напечатанными строчками.

Друг выигравшего, услышав насчет статьи, моментально смотал удочки и исчез из помещения.

Выигравший долго хорохорился и пил пиво, крича, что он плюет на всех.

Шоферу пообрезали усики, и он стал несколько моложе и красивее. Так что я даже решил написать фельетон не очень свирепого характера.

И, придя домой, как видите, написал. И теперь вы его читаете и, наверно, удивляетесь, что бывают такие горячие игроки и встречаются такие малосимпатичные рыжеватые мужчины.

1938

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Очень интересный факт рассказал мне знакомый работник уголовного розыска.

Не так давно сгорел один деревянный двухэтажный дом.

Конечно, в смысле жилищном этот дом был, как говорится, унеси ты мое горе: он весь был кривой, косою и еле стоял под тяжестью семидесяти жильцов с ихней утварью и домашними боеприпасами.

Но поскольку жильцы пострадали, то, конечно, до некоторой степени жалко, что он сгорел. Тем более был поджог. Это было преступление, совершенное по неизвестным и даже отчасти загадочным причинам.

В подвале дома пожарные нашли бак из-под керосина и обгоревшее тряпье.

И брандмейстер сказал:

— Я тридцать лет тушу пожары и клянусь своей бородой, что тут поджог.

Здесьшний управдом, слегка угоревший во время спасения жактовского имущества и домовых книг, говорит:

— Может быть, это и так, но, откровенно сказать, я не вижу смысла этого поджога. У меня семьдесят жильцов. И никто из них не имел застрахованного имущества. Только один жилец имел застрахованную жизнь, и то он у меня в прошлом году своевременно умер. А этот пожар всем моим жильцам причинил убытки. Все ихние монатки сгорели. Все они пострадали. Некоторые из них, как видите, лежат без чувств. Другие плачут. Третьи роются в бревнах, чтоб что-нибудь найти. Мои жильцы не могли поджечь дом. Это слишком очевидно. Это абсурд — думать на моих жильцов.

Брандмейстер говорит:

— Я сам удивляюсь, кому был интерес дом поджигать. Но вот посмотрите на обгоревший бак: может быть, он что-нибудь скажет уголовному розыску.

Вдруг один подросток, увидевши этот бак, говорит:

— По-моему, этот бак вчера нес один квартирант, живущий в третьем номере, у Филатовых. И, по-моему, он нес его в подвал.

Управдом говорит:

— У Филатовых гостит временный жилец, ихний дядя, некто Баранов. Но был бы абсурд думать, что это он дом поджег. Он тут имущества не имеет. И сам теперь лишился гостеприимного крова. Вдобавок он престарелый. И надо иметь мозги набекрень, чтобы на него подумывать.

Следователь говорит:

— Тогда приведите этого Баранова. Я хочу с ним побеседовать.

Управдом привел дядю Филатовых — старика Баранова. Старик возмущенно сказал:

— Что вы, очумели — меня хватать! Какой интерес мне дом поджигать? Я приехал сюда погостить к своим родственникам, и я им очень благодарен за гостеприимство. Что я дурак, что я им за это пожар устрою?

Управдом говорит:

— Это чистейший абсурд — на него думать.

Следователь уголовного розыска говорит:

— Меня не так факт удивляет, как удивляет здешний управдом: или он сильно угорел, или он в политическом отношении тупица. Теория мне подсказывает, что, кроме материальных интересов, бывает, например, классовая месть или что-нибудь вроде этого.

Услышав эти слова, дядя Филатовых побледнел и перестал отвечать на все вопросы.

Его что-нибудь спрашивают, а он в ответ мычит и заговаривается.

Управдом говорит:

— Вот видите, вы своими действиями запугали мне временного жильца до того, что он свихнулся и теперь на все мычит.

Следователь говорит:

— Или он свихнулся, или он прикидывается свихнувшимся. Бывает, что некоторые прикидываются сумасшедшими, чтобы отвести от себя подозрения. А если это так, то это тем более говорит за то, что тут дело нечисто и, может быть, оно носит политическую окраску.

Вдруг дядя Филатовых, молчавший до сих пор, говорит:

— Я вижу, что мне тут все-таки хотят пристегнуть пятьдесят восьмую статью. Но этот номер не пройдет. И совершенное преступление не носит политической

окраски, имейте это в виду. Оно имеет другие цели. Так что обождите приписывать мне контрреволюцию. Тут дело совсем иное.

Следователь говорит:

— Тогда признавайтесь во всем, и этим вы облегчите свое положение.

Дядя Филатовых говорит:

— Да уж, ясно, признаюсь, чтобы не получить пятьдесят восьмую статью, которая предусматривает самое долголетнее наказание либо путешествие на небо.

Видя, что дядя признается в преступлении, Филатовы попадали в обморок. А все жильцы бросились к злодею и прямо хотели его растерзать.

Но тут следователь совместно с милиционером посадил преступника в машину и увез его.

Подлый старик по дороге сказал:

— Я бы ни в коем случае не признался, но вы меня поймали на понт. И мне теперь ничего не остается, как рассказать все, что было.

И тут он стал рассказывать кое-что из прошлого.

Он был, оказывается, родственник бывшего хозяина этого дома. И когда сорок лет назад строили этот дом, то он лично присутствовал на закладке этого фундамента. А в то время была традиция — класть на счастье в фундамент золото и серебро. Все присутствовавшие родственники и друзья бросали деньги, кто сколько мог. После чего отверстие закладывалось кирпичами и замазывалось.

Рассказывая об этом, преступник, вздохнувши, сказал:

— Сам хозяин бросил в фундамент пару золотых, а я, будучи в свое время состоятельным человеком, бросил, как сейчас помню, один золотой десятирублевик и два серебряных рубля. Вдобавок, я был немножко навеселе и стоял рядом со своей невестой. Она мне сказала: «Вам слабó бросить туда что-нибудь из ценностей». И я, как сейчас помню, бросил туда еще колечко пятьдесят шестой пробы. И сам сказал своей невесте: «А вам слабó бросить свой медальон». Не помню сейчас, что именно она бросила, но что-то она бросила, хотя, кажется, не медальон... И вот я двадцать лет мечтал все это достать. Но я был выслан на десять лет за экономическую контрреволюцию. И вот недавно вернулся и захотел осуществить свои надежды. Я, — говорит, — в третий раз гощу

у Филатовых, все дни проводил в подвале, стараясь что-нибудь достать, но безрезультатно, поскольку дом и без того кривой, а когда я подрыл фундамент, то он и вообще мог завалиться. И тогда я решил пойти на то, что сделал.

Злодея посадили в тюрьму, и над этим представителем старого мира будет устроен показательный суд.

На месте пожарища уже начали строить новый дом, и, наверное, в скором времени погорельцы смогут уже туда въехать. Либо этот новый дом предоставят иным жильцам, а погорельцам тоже что-нибудь дадут из жилплощади.

Что касается злодея, то он въедет куда-нибудь в другое, более отдаленное место.

Вдобавок остается сказать, что когда разрыли фундамент, то никаких ценностей там не нашли.

Тут одно из двух: либо старик наврал, что вряд ли, либо скорей всего эти ценности были кем-то вынуты вскоре после закладки фундамента.

Так или иначе, дом счастья не имел и сгорел, как стог сена.

1938

ВАЛЯ

Давеча еду в трамвае и люблюсь на кондукторшу.

Очень она, вижу, славно и мило ведет свое дело.

Все у нее удивительно хорошо получается. Легко, красиво и так и надо.

Она любезно объявляет станции. Внимательно за всем следит. Со всеми приветливо беседует. Старых поддерживает под локоть. С молодыми острит. Ну прямо недорого на нее глядеть.

И сама она имеет миленькую внешность. Одета чистенько, аккуратно. Глазки у нее сверкают как звездочки. Сама веселая, смешливая, заботливая. Входит в каждую мелочь, всем интересуется.

Другая кондукторша рычит в ответ, если ее спрашивают, и прямо чуть ногами не отбивается от пассажиров. А эта — нечто поразительное. Ну прямо видим картину из недалекого будущего.

148

И вот люблюсь я на эту работу, и на душе у меня приветливо становится.

И вижу: все пассажиры тоже исключительно довольные едут. Так на них хорошо и благоприятно действует настоящая, красивая работа.

И уже мне надо сходить, а я все еду и удивляюсь на кондукторшу. И улыбка не сходит с моего лица.

И вижу: со мной рядом сидит пожилая женщина. И она тоже то и дело посматривает на кондукторшу и тоже любит ее.

Потом вдруг эта женщина обращается ко мне. Она говорит:

— Если я не ошибаюсь, вы тоже в полном восхищении от работы этой славной кондукторши. Представьте себе, что и я тоже одинаково с вами чувствую. Я не знаю, кто вы, но у меня есть предложение. Давайте как-нибудь отметим поведение этой кондукторши. Давайте занесем похвалу в ее послужной список. Задержимся минут на пять и сообразим, как это сделать, чтоб отметить ее полезную деятельность на транспорте. Для нее это будет поощрение и хорошая память, что вот как ей нужно в дальнейшем поступать.

Я говорю:

— Полностью согласен с вами. И вполне разделяю ваше решение.

Женщина говорит:

— Что касается меня, то я член райсовета, и к моему заявлению все-таки отнесутся внимательно и не покажут.

Я говорю:

— Вот и хорошо. Давайте спросим у кондукторши, как лучше это сделать.

Женщина говорит:

— Нет, лучше спросим у нее фамилию и ее номер. И давайте прямо в печати выступим с заметкой: дескать, вот какие бывают факты, спасибо, так и надо и прочее.

Женщина встает со своего места и хочет спросить кондукторшу то, что нас интересует. Но в этот момент кондукторша выходит на площадку и там убедительно беседует с одним пассажиром, который едет вместе со своим выпившим приятелем. Кондукторша советует пассажиру

покрепче держать своего друга, чтоб тот на повороте не нырнул бы на мостовую.

Сделав распоряжение, кондукторша возвращается в вагон, и моя соседка немного дрожащим от волнения голосом просит кондукторшу сообщить свою фамилию, маршрут и служебный номер.

Тут я опомниться не успел, как разразилась трагедия.

Милая кондукторша изменилась в лице. Сначала покраснела, потом побелела и вдруг крикнула:

— А тебе на что моя фамилия? Ты что, старая кикимора, не в свое дело нос суешь. Или ты хочешь сказать, что я неправильно сделала, что пьяного в вагон пустила? Так я тебе, старая хрычовка, на это скажу: лучше бы я тебя в вагон не пустила, чем я бы оставила немного выпившего человека на улице, где он может под колесья сунуться!

Член райсовета, растерявшись, начинает бормотать:

— Видите, мы, собственно говоря... мы хотели...

Я говорю:

— Слушайте, товарищ кондукторша... Вы не поняли нас...

Кондукторша говорит:

— А тебе еще чего надо? Ты-то еще что, арап, суешься? Много вас тут, кровопийц, едет и чуть что — придираются и жалобы строчат. Только все недовольны и недовольны. Только каждый норовит за пятку укунуть... Прямо работать невыносимо.

Мы с женщиной до того растерялись, что не нашли даже что-нибудь сказать. Один из пассажиров говорит кондукторше:

— Чего вы понапрасну горячитесь и этим портите свою драгоценную кровь? Вы их не поняли: эти двое, наоборот, хотели вас похвалить, чтобы сделать вам поощрение по службе.

Кондукторша, смутившись, говорит:

— Ах, пожалуйста, извините! Знаете, до того дошло, что каждый пассажир вроде тигра представляется. Каждый норовит устроить неприятность.

Женщина, пожав плечами, говорит:

— Вот теперь я не знаю, как мне поступить. С одной стороны, мне хотелось отметить ее полезную деятельность на транспорте, а с другой стороны, она на меня на-

кричала и тем самым показала, что у нее еще бывают прорывы.

Женщина вышла из вагона не совсем довольная. Мне было тоже немного досадно, что мы не успели в восторженных тонах отметить в печати полезную деятельность кондукторши.

Фамилию кондукторши я не знаю. На мой вопрос она, мило улыбнувшись, ответила:

— Меня зовут Валя. А фамилию свою я вам не скажу: у меня муж ревнивый.

Так что в этом моем фельетоне я отмечаю полезную деятельность кондукторши без указания фамилии.

Привет, милая Валя! Не все пассажиры — тигры.

1939

ПОСЛЕДНЯЯ НЕПРИЯТНОСТЬ

На этот раз позвольте рассказать драматический эпизод из жизни умерших людей.

А так как это факт, то мы и не позволим себе в своем изложении допускать слишком много смеха и шуток, для того чтобы не обидеть оставшихся в живых.

Но поскольку эта история до некоторой степени комична и смех, как говорится, сам по себе может прорваться, то мы заранее попросим у читателя извинения за невольную, быть может, нетактичность по отношению к живым и умершим.

Конечно, сам факт в своем первоначальном смысле ничего комического не имел. Наоборот, умер один человек, один небольшой работник, индивидуально незаметный в блеске наших дней.

И, как это часто бывает, после смерти начались пышные разговоры: дескать, сгорел на своем посту, ах, кого мы потеряли, вот это был человек, какая жалость, друзья, что мы его лишились.

Ну ясно, конечно, безусловно, при жизни ему ничего такого оригинального никто не говорил, и он, так сказать, отправился в дальний путь, сам того не подозревая, что он собой представляет в фантазии окружающих людей.

Конечно, если бы он не умер, то еще неизвестно, как бы обернулась эта фантазия. Скорей всего, те

же окружающие, как говорится, загнули бы ему са-
лазки.

Но поскольку он безропотно умер, то вот оно так и
получилось божественно.

С одной стороны, друзья, прелестно умирать, а с дру-
гой стороны — мерси, лучше не надо. Уж как-нибудь
обойдемся без вашей чувствительной благодарности.

Короче говоря, в том учреждении, где он работал, со-
стоялась после занятий беседа, и на этой беседе вспоми-
нали разные трогательные эпизоды из жизни умершего.

Потом сам директор взял слово. И в силу ораторского
искусства он загнул свою речь до того чувствительно, что
сам слегка прослезился. И, прослезившись, похвалил
умершего сверх всякой меры.

Тут окончательно разыгрались страсти. И каждый на-
перерыв старался доказать, что он потерял верного друга,
сына, брата, отца и учителя.

Из рядов вдруг один пронзительно крикнул, что надо
бы захоронение попышней устроить, чтобы другие служа-
щие тоже стремились бы к этому. И видя это, они, может
быть, еще более поднажмут и докажут всем, что они
этого заслуживают.

Все сказали: это правильно. И директор добавил:
пусть союз на стенку лезет — захоронение будет отнесено
на казенный счет.

Тогда встал еще один и сказал, что таких замечатель-
ных людей надо, вообще говоря, хоронить с музыкой, а не
вести молча по пустынным улицам.

Тут, утирая слезы, встает со своего места родственник
этого умершего, его родной племянник, некто Колесников.
Он так говорит:

— Боже мой, сколько лет я жил с моим дядей в одной
квартире! Не скажу, чтобы мы часто с ним ругались, но
все-таки мы жили неровно, поскольку я и не думал, какой
у меня дядя. А теперь, когда вы мне об этом говорите, ка-
ждое ваше слово, как расплавленный металл, капает на
мое сердце. Ах, зачем я не устроил уютную жизнь моему
дяде! Теперь это меня будет мучить всю мою жизнь. Нет,
я не поленюсь смотаться в одно местечко, где, как мне из-
вестно, имеется лучший духовой оркестр из шести труб и
одного барабана. И мы пригласим этот оркестр, чтобы он
сыграл моему дяде что-нибудь особенное.

Все сказали: правильно, пригласи этот оркестр, — этим ты частично загладишь свое хамское поведение по отношению к своему дяде.

Короче говоря, через два дня состоялось захоронение. Было много венков и масса народу. Музыканты действительно играли недурно и привлекали внимание прохожих, которые то и дело спрашивали: «Кого хоронят?»

Сам племянник этого дяди подошел на ходу к директору и так ему тихо сказал:

— Я пригласил этот оркестр, но они поставили условие — заплатить им сразу после захоронения, поскольку они вскоре уезжают на гастроли в Старую Руссу. Как нам поступить, чтобы заплатить им без особой мотни?

Директор говорит:

— А разве за оркестр не ты будешь платить?

Племянник удивился и даже испугался. Он говорит:

— Вы же сами сказали, что похороны на казенный счет. А я только бегал приглашать оркестр.

Директор говорит:

— Так-то так, но как раз оркестр у нас по смете не предусмотрен. Собственно говоря, умерло маленькое, незначительное лицо, и вдруг мы сбухты-баракхты пригласили ему оркестр! Нет, я не могу на это пойти, мне союз за это холку намнет.

Которые шли с директором, те тоже сказали:

— В конце концов, учреждение не может платить за каждого скончавшегося. Еще скажи спасибо, что заплатили за грузовик и за всякую похоронную муру. А за оркестр сам плати, раз это твой дядя.

Племянник говорит:

— Что вы — опухли, откуда я двести рублей возьму?

Директор говорит:

— Тогда сложишься вместе со своими родственниками и как-нибудь вывернись из беды.

Племянник, сам не свой, подбежал на ходу к вдове и доложил ей, что происходит.

Вдова еще больше зарыдала и отказалась что-либо платить.

Колесников пробился сквозь толпу к оркестру и сказал им, чтобы они перестали дудить в свои трубы, поскольку дело запуталось, и теперь неизвестно, кто будет платить.

В рядах оркестрантов, которые шли строем, произошло некоторое замешательство. Главный из них сказал:

— Музыку мы не прекратим, доиграем до конца и через суд потребуем деньги с того, кто сделал заказ.

И, снова взмахнув медными тарелками, прекратил дискуссию.

Тогда Колесников опять пробился к директору, но тот, предвидя неприятности, сел в машину и молча отбыл.

Беготня и суетня вызвали удивление в рядах процессий. Отъезд директора и громкое стенание вдовы еще того более поразили всех присутствующих. Начались разговоры, расспросы и шептанья, тем более что кто-то пустил слух, будто директора срочно вызвали по вопросу о снижении зарплаты.

В общем, к кладбищу подошли в полном беспорядке. Само захоронение состоялось в крайне быстром темпе и без речей. И все разошлись не особенно довольные. И некоторые бранили умершего, вспоминая из его мелкой жизни то одно, то другое.

На другой день племянник умершего дяди до того нажал на директора, что тот обещал согласовать вопрос с союзом. Но при этом сказал, что дело вряд ли пройдет, так как задача союза — заботиться о живых, а не валандаться с мертвыми.

Так или иначе, Колесников пока что продал свое драповое пальто, чтобы отвязаться от оркестрантов, которые действительно ни перед чем не остановились бы, чтобы получить свои «пречистые».

Свое пальто племянник продал за двести шестьдесят рублей. Так что после расплаты с оркестром у него остался «навар» — шестьдесят рублей. На эти деньги племянник своего дяди пьет третий день. И это обстоятельство сигнализирует нам, что учреждение во главе с директором оказалось не на полной высоте.

Будучи выпивши, племянник этого дяди пришел ко мне и, утирая рукавом слезы, рассказал мне об этой своей мелкой неприятности, которая для него была, наверно, далеко не последней.

Для дяди же эта мелкая неприятность была последней. И то хорошо.

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Вот что рассказал мне один работник городского транспорта.

Причем рассказанная им историйка поучительна не только для транспорта. Она поучительна и для других участков нашей жизни.

По этой причине мы и решили затруднить внимание почтенных читателей сей, как говорится, побасенкой в виде небольшого фельетона.

Так вот в одном управлении служил один довольно крупный работник по фамилии Ч.

Он в течение двадцати лет занимал солидные должности в управлении. Одно время он, представьте себе, возглавлял местком. Потом подвизался в должности председателя правления. Потом еще чем-то заправлял.

Короче говоря, все двадцать лет его видели на вершине жизни. И все к этому привыкли. И никто этому не удивлялся. И многие думали: «Это так и надо».

Конечно, Ч. не был инженером или там техником. Он специального образования не имел. И даже вообще с образованием у него было, кажется, исключительно слабовато.

Ничего особенного он делать не умел, ничего такого не знал и даже не отличался хорошим почерком.

Тем не менее все с ним считались, уважали его, надеялись на него, и так далее.

Он был особенно необходим, когда происходили собрания. Тут он, как говорится, парил как бог в небесах. Он загибал разные речи, произносил слова, афоризмы, лозунги. Каждое собрание он открывал вступительной речью о том, о сем. И все думали, что без него мир к черту перевернется.

Все его речи, конечно, стенографировались для потомства. И к своему двадцатилетнему юбилею он даже задумал издать свои речи отдельной брошюрой. Но поскольку в последнее время из бумаги стали усиленно производить блюдечки и стаканчики для мороженого, то на его брошюру бумаги не хватило. А то бы мы с интересом читали его оригинальные речи и удивлялись бы, какие бывают люди.

Так или иначе, его двадцатилетний юбилей решили пышно отпраздновать. И даже был куплен портфель с дочечкой, на которой выгравировали слова: «Вы, этот... который... двадцать лет... и так далее... Мы вас... Вы нас... Мерси... И прочее... и все такое...»

В общем что-то в этом духе.

Однако не состоялся этот юбилей, так как произошло событие, заметно снизившее значение предстоящего праздника.

Вот что случилось на последнем собрании.

Наш Ч. только что произнес речь. Он произнес горячую и пламенную речь; дескать, рабочие... труд... работают... бдительность... солидарность...

И, утомленный своей речью, он под гром аплодисментов сел на свое место рядом с председателем и стал рассеянно водить карандашом по бумаге.

И вдруг, представьте себе, встает один работник из вагоновожатых. Исключительно чистенько одетый — в сером костюмчике, в петлице незабудка.

Вот он встает и так говорит:

— Тут мы сейчас слышали убедительную речь тов. Ч. Хотелось бы его спросить: ну и что он этим хотел сказать? Двадцать лет мы слышим его тенор: ах, рабочие, ах, труд, ах, пятое-десятое... А позвольте вас спросить: что представляет из себя этот Ч. на нашем участке работы? Что он — техник, инженер, или он оперный артист, присланный к нам сюда для интереса? Или что-нибудь он умеет делать? В том-то и дело, что он ничего не умеет делать. Он только произносит голые речи. А мы, представьте себе, за эти двадцать лет значительно выросли. Многие из нас имеют образование в размере семилетки. А некоторые у нас окончили десять классов. И они бы сами могли кое-чему поучить уважаемого товарища Ч., поскольку вожатые сейчас не прежней формации. Это в прежнее время вожатый умел только вращать ручку мотора, а в настоящий момент вожатый — это своего рода специалист, который может и схему мотора начертить, и политическую речь произнести, и дать урок по тригонометрии нашему оратору Ч.

Тут шум поднялся. Крики. Возгласы.

Председатель слегка оробел. Не знает, как ему на это реагировать.

А возгласы продолжают: «Правильно!», «Исключительно верно!», «Долой этого Ч.!»

Тогда один встает и говорит:

— Нет, выгонять нашего пресловутого оратора не надо, поскольку он двадцать лет подвизался на своем поприще. Но лучше он пушай в местное сидит и там марки наклеивает, чем он будет на наших производственных собраниях нравственные речи произносить.

И тут снова все закричали: «Правильно!»

А один, склонный к перегибу, встал и сказал:

— Наверно, этот Ч. придумал себе лозунг: чем возить, так лучше погонять. Вот он поэтому и очутился во главе нас.

Тогда председатель прервал оратора. Он сказал:

— Не надо оскорблять личности.

Тут все моментально взглянули на этого Ч. Все рассчитывали увидеть на его лице бурю негодования, расстройство и смятение чувств. Но ничего подобного не увидели.

Ч. встал, улыбнулся и, почесавши затылок, сказал:

— Собственно говоря, что вы на меня-то взъелись? Я-то тут при чем? Это вы меня выдвигали, а я этому не переставал удивляться. Да и с самого начала я вам говорил, что я ничего не понимаю в вашем деле. Более того — я начал вами заправлять, будучи совершенно малограмотным. Да и сейчас, откровенно вам скажу, я по шести ошибок в двух строчках делаю.

Тут все засмеялись. И сам Ч. тоже засмеялся.

Он сказал:

— Прямо я сам на себя удивляюсь. Двадцать лет как в сказке жил.

Тогда встает один кондуктор и говорит:

— Это как у Пушкина... Торговал кирпичом, а остался ни при чем. Он остался у разбитого корыта.

Председатель, закрывая собрание, сказал:

— Это он потому остался у разбитого корыта, что он двадцать лет поучал, а сам ничему не научился.

КОРОЛЬ ЗОЛОТА

Вот какую удивительную историю я намерен вам рассказать.

С героем этой истории я познакомился на одном крупном строительстве. Мне сказали, что это «король золота», бывший спекулянт и валютчик.

Я с любопытством посмотрел на него.

Это был средних лет мужчина в барашковой шапке. Не очень такой, что ли, толстый, но с брюшком. Усатый. И выражение лица у него было в высшей степени скучное и, я бы сказал, исключительно обиженное.

• Он работал на строительстве по бетону. И, говорят, отличался примерным поведением, усердием и сугубой молчаливостью.

Несколько лет назад он жил в городе Ч. и там спекулировал.

Он был сын купца. И сам в начале нэпа занимался разными коммерческими операциями. Продавал и покупал. Делал разные шахер-махер. И на вырученные деньги приобретал золото.

Он не видел смысла покупать что-либо иное. Он говорил: лошадь околеет, дом сгорит, валюта превратится в прах. И только золото, он говорил, всегда будет сиять своей первоначальной красотой во веки веков, аминь.

И вот этот спекулянт где только можно скупал у населения золото.

И до того он ловко оперировал, что ни разу за все десять лет не попадался.

Он дошел в этом деле до полного искусства. Высматривал, у кого можно что-нибудь приобрести. Выжидал, когда тому приспичит, и буквально за пустяки приобретал то, что ему нужно.

Он главным образом покупал золотые монеты царской чеканки. Он к этому имел особую страсть. У него руки дрожали и взор пылал, когда он, как скупой рыцарь, перебирал и пересчитывал свои монеты.

Нет, людям нашего времени незнакомы эти эмоции. Но говорят, что у представителя старого мира буквально начиналось мандраже, когда он прикасался к таким деньгам.

Итак, наш сын купца в течение десяти лет скупал золото. Но это золото он у себя не держал, страшась неожиданностей.

Он прятал это золото на кладбище. Где-то там его зарывал. Он под видом страдающего сына приходил на могилу своего отца и там подолгу сидел, умиротворенный тишиной и природой. И там, оставшись наедине, под крик ворон и шум сосен производил свои сберегательные операции.

В 1930 году на него был «стук». О нем куда следует сообщили, что это спекулянт и мошенник, торгующий валютой и чем придется.

Однако у него ничего не нашли. И он ни в чем не признался. Он даже имел смелость сказать, что это клевета на безработного человека, который едва-едва сводит концы с концами.

И он действительно жил в высшей степени небогато, одевался худо и ел грубую пищу.

Его отпустили. И он снова полегоньку приступил к своим операциям.

Но теперь сын купца стал еще более осторожен. Он даже стал реже ходить на могилу своего отца.

Вновь купленные монеты он теперь держал в небольшой железной копилке. И эту копилку, привязанную на веревке, опускал через выюшку в дымоход.

Раз в месяц спекулянт опорожнял эту копилку и тогда, полюбовавшись своим золотом, нес его на кладбище.

Наконец, в 1932 году к дежурному по уголовному розыску пришел частный житель города Ч., некто Андрончиков. Он пришел с каким-то незнакомцем и так сказал:

— Что вы смотрите? Под вашим носом столько лет орудует крупный спекулянт, а вы его не берете. И хотя это мой знакомый, но я отдаю себе отчет, что он из себя представляет. Уже сам факт, что он скупает золото, показывает, что он строит свою темную жизнь в расчете на контрреволюционный переворот и на ликвидацию социализма в нашей стране. Он тонко ведет свои дела, но я предпринял кое-какие шаги для того, чтобы его обличить.

Я нарочно при свидетеле продал ему золотую монету, на которой сделал зарубку. Потом эту монету я потребо-

вал назад. Сказал, что я раздумал продавать. И он мне отдал монету. Но он отдал не мою монету, а другую, без зарубки. Из чего я вполне убедился, что он смешал мою монету с другими. И из груды монет дал мне первую попавшуюся. И вот со мной пришел свидетель, который может это подтвердить.

Тогда выступил незнакомец и так говорит:

— Да, это так, как он сказал. Мы три раза ему говорили, что это монета не наша, что наша монета тысяча девятьсот седьмого года. И он три раза приносил нам монеты, и все они оказывались без зарубки. Из чего видно, что у него не семь и не десять монет, а, наверно, бесчисленное множество.

Дежурный говорит:

— Это становится интересным. Спасибо за участие.

И вот был взят этот спекулянт. Припертый к стене свидетелями, он в высшей степени смутился и признался, что золото в небольшом количестве у него имеется.

— Тогда скажите нам, где вы держите это золото? — спросил дежурный.

— Я держу его в дымоходной трубе, — ответил спекулянт. — Вот возьмите этот ключик от копилки. И предъявите его моей жене. Она поймет, в чем дело, и укажет вам, где находится мое золото.

И вот послали к жене спекулянта одного опытного следователя. Тот показал ей ключик и сказал:

— Твой супруг — тряпка. Он решительно во всем сознался. И велел тебе отдать копилку и указать, где имеется остальное золото.

Увидев ключик, дама чересчур смутилась, и у нее затемнилось сознание от страха и огорчения. У нее ум за разум зашел, и она, сама того не понимая, сказала:

— Копилка в дымоходной трубе. Откройте вьюшку, потяните веревку, и вы найдете то, что ищете. А что касается другого золота, то оно зарыто на кладбище, а где именно оно зарыто — я не знаю, так как мой супруг мне этого не говорил.

Когда спекулянту сказали о кладбище, то он задрожал всем телом и пришел в полное расстройство чувств. Но потом овладел собой и даже с готовностью сказал:

— Ну, хорошо. Раз попался, так попался. Возьмите

людей и пойдете на кладбище. Я вам укажу место, известное только мне одному.

И вот несколько человек, среди которых был распутавший дело Андрончиков, пошли на кладбище.

И наш спекулянт, вздыхая и утирая слезы, указал на могилу своего отца. Он указал, что надо рыть под самым крестом.

И тогда рабочий ударил лопатой по земле и вскоре вынул из-под свалившегося креста глиняную масленку, наполненную золотыми монетами.

И такая это была тяжеленькая масленка, что следовательно, которому подали эту масленку, не удержал ее в своей руке. И масленка упала на землю и разбилась. И из нее высыпались золотые монеты.

И, увидев это, спекулянт брыкнулся на землю, потеряв сознание.

А когда он пришел в себя, следовательно ему сказал:

— Вот видишь, в каких цепких объятиях тебя держат корни капитализма. Ты падаешь с копыт и теряешь свое сознание при виде рассыпанных денег. И тебе, я так думаю, надо получить не менее пяти лет для того, чтобы ты немного перековался и переменял свое опасное мировоззрение.

На эти слова ничего не ответил спекулянт. Он только спросил, все ли монеты собраны.

И Андрончиков, который больше всех тут хлопотал, сказал:

— А что тебе с того — все ли монеты собраны? Ведь теперь они уже не твои.

Следователь угрозыска сказал:

— Успокойся, абсолютно все монеты мы собрали, и даже подсчитали, и запротоколировали, когда ты лежал без чувств. Тут оказалось сто восемьдесят семь золотых монет достоинством по десять рублей каждая.

— В таком случае, — ответил спекулянт, — тридцати монет не хватает, поскольку в этой моей масленке было ровно двести штук. Поищите в траве. А еще будет лучше и прямее к цели, если вы вывернете карманы у моего знакомого, злодея Андрончикова, предавшего меня. Я хотя лежал без чувств, но сквозь пелену сознания видел, как он своими руками ворошил мои монеты, помогая вам собирать их.

Тогда Андрончикова взяли в оборот и вытряхнули у него карманы. И на землю из его карманов упало двенадцать монет.

И тринадцатую монету он выплюнул изо рта в тот момент, когда один из прохожих схватил его за горло, поскольку он видел, куда тот ее запихнул.

И когда Андрончикова увели, спекулянт сказал:

— Теперь, братки, мне стало немного легче, поскольку вы взяли этого мошенника.

И вот дали спекулянту пять лет и отправили его на строительство, чтоб он в честном труде забылся от излишних фантазий, навеянных ему капитализмом.

И он там два года работал в высшей степени хорошо и удовлетворительно. И даже его отметили в приказе, премировали грамотой и обещали сбавить ему срок, если он будет продолжать в том же духе.

И тогда наш премированный спекулянт явился к своему начальнику и так ему сказал:

— Вот в чем дело. Я действительно был злостный спекулянт. Я скупал золото в расчете на перемену. Но я здесь у вас совершенно перековался и полюбил труд на свежем воздухе. Теперь вы можете на меня вполне положиться. И в доказательство моих слов я хочу отдать вам на строительство еще триста золотых, которые у меня были зарыты на кладбище в другом месте — на могиле моей усопшей матери. Возьмите их, мне теперь ничего этого не надо, тем более революция у вас затянулась, а мне уже за сорок лет, и что же я буду томиться, ждать и надеяться на то, что может и не быть. А тут я увидел мир в других красках. И мое сердце окончательно и бесповоротно изменило курс.

Услышав эти слова, начальник пришел в волнение. Он так сказал:

— Как отрадно и как приятно слышать такие слова. Вот теперь я вижу, что за два года с небольшим ты окончательно тут у нас перековался. И за это я схлопочу тебе льготу по срокам и снятие судимости. И, кроме того, я велю отпечатать брошюру с твоей биографией и характеристикой.

Вскоре нашего спекулянта освободили по чистой, и он вернулся домой. И там, на кладбище, он вырыл вторую масленку, в которой было триста золотых, и без слов сожаления отдал эти золотые тому, с кем сюда приехал.

И вот стал наш бывший спекулянт снова жить в этом своем городе. И даже он там стал работать по распространению сельскохозяйственных изданий.

И многие подумали, что с ним произошла полнейшая перемена, близкая к фантастике. Но в сентябре прошлого года вот что с ним случилось.

Там на кладбище, на могиле своего умершего сына, сидела одна мать. И она там четыре часа сидела в полной неподвижности под тяжестью своего горя.

Уже наступили сумерки. А она все там сидела и тихо плакала.

И вдруг она увидела, что на кладбище пришел человек. Он отмерил три шага от одной могилы и маленькой лопаточкой стал рыть землю.

Вскоре она увидела, что этот человек вырыл из земли глиняный кувшин, и со своей ладони он ссыпал туда пригоршню золотых монет.

Потом он снова зарыл сосуд и утрамбовал землю.

Тут женщина подняла тревогу. И сторож совместно с ней и с милицией схватили пытавшегося убежать.

И когда его привели в милицию, все увидели, что это и был наш спекулянт, отпущенный до срока.

В глиняном кувшине оказалось около пятисот золотых и некоторое количество колец, браслетов и брошек.

И вот снова наш сын купца был отправлен на строительство.

И там мне его показали. И я долго на него смотрел, когда мне рассказывали о нем эту историю.

И тогда я понял, почему у него такое обиженное лицо. Я сказал об этом рассказчику.

Но мой рассказчик ответил:

— Нет, у него обиженное лицо совсем не потому. Только вчера у него отобрали четыре золотые монеты, которые он ухитрился где-то тут приобрести. Этот человек, как зверь, понюхавший крови, уже, видимо, никогда не оставит своих привычек.

Я снова взглянул на «короля золота». Он снял свою барашковую шапочку, вытер вспотевший лоб и уныло посмотрел на меня.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Прежде чем рассказывать вам эту забавную историю, придется нам с вами перенестись сначала чуть не в прошлое столетие.

Вот какое событие произошло в городе Виннице в 1913 году.

Город Винница — небольшой цветущий городок. Там, говорят, много садов. Прелестные маленькие домики. И славная быстротечная речка.

Этот городок еще тем отличается от других, что он расположен недалеко от знаменитой станции Жмеринка, где, как известно, скрещиваются многие пути и происходят пересадки.

И вот в этом небольшом славном городке жил двадцать три года назад сын одного довольно богатого коммерсанта.

Он там в свое время окончил реальное училище. И был потом инженером. Но после смерти своего папы он не пожелал пойти по научной или там технической линии, а стал продолжать дело своего родителя, который являлся поставщиком многих винных фирм.

И вот у сына этого коммерсанта дела тоже пошли весьма недурно.

Настроение у него было прекрасное. Вскоре он там построил красивый двухэтажный дом в английском вкусе. И через некоторое время женился.

Он там женился на одной местной девушке, недавно окончившей среднее образование.

Это была некая девушка Муза — смуглая красавица с круглыми щечками и с блестящими, как звездочки, глазами.

Кажется, как будто мама у нее была румынка. И, может быть, поэтому она отличалась такой южной красотой.

Ах, он исключительно ее полюбил!

Он обставил ее комнату стильной мебелью. Затянул стены шелковой материей. Вместо дверей навесил турецкие бусы. Подарил ей двух маленьких попугаев. Привез ей откуда-то всяких тканей, ковров и ковриков. И теперь ее жилище было похоже на шатер в восточном вкусе.

И молодая женщина была довольна, но не совсем.

Она не слишком любила своего мужа. И, может быть, отчасти пошла за него замуж по расчету. Она мечтала встретить какого-нибудь стройного и гибкого мужчину, а муж был немного толстоватый и слегка, как бы сказать, косопузый. И, вдобавок, ноги у него не были пропорциональны всему остальному. И, уж во всяком случае, со своей наружностью муж не являлся героем ее романа.

Он понимал это, как говорится, соотношение сил. Баловал ее. Носил на руках. И не очень-то любил уезжать в свои деловые командировки, боясь подолгу оставлять молодую женщину без внимания и надзора.

Он хотел, чтобы она все время занималась материнством и чтобы она кормила его детей. Он этим хотел сохранить ее для себя.

Но она, родив ему девочку, не могла почему-то продолжать в том же духе. И муж, благодаря этому, еще более страшился, что она влюбится в кого-нибудь во время его отъезда.

А она, конечно, оставаясь одна, скучала, и в ее южном сердце зарождалось желание кого-нибудь полюбить и кому-нибудь составить небывалое счастье.

И вот однажды она встретила одного своего знакомого. Она давно его знала. Они были знакомы, когда он еще был реалистом и на спине носил школьный ранец.

Но сейчас он был студент и кончал институт. И он на каникулы прибыл к своей матери в город Винницу.

Теперь это не был маленький и прыщеватый мальчишка. Теперь это был красивый студентик, сильный и стройный, — Саша Ф.

Он не без шика одевался, носил накладные орлы на пуговицах и брюки со штрипками. И ходил со стеклом, веселый и остроумный, способный поразить своей внешностью не только простенькую девушку из провинции.

Он встретился с ней на одной вечеринке, и у них почти сразу возникло чувство.

Он стал назначать ей свидания, писал ей пылкие записочки, стоял часами под ее окнами.

И вот они стали встречаться. И муж вскоре констатировал, что то, чего он боялся, — случилось.

Муж не велел принимать Сашу Ф. Он отказал ему от дома и даже пригрозил его убить, если тот не перестанет смущать покой его юной жены.

Но угрозы не утрашили смелого юношу. Он по-прежнему украдкой встречался с молодой женщиной. Он вскружил ей голову, и она, имевшая пятилетнюю дочку, впервые поняла, что такое любовь.

Она просто потеряла рассудок и день, проведенный без него, считала потерянным.

Она бесстрашно стала приходить к нему и оставалась у него часами, мечтая с ним о новой жизни.

Но он был беден и не закончил еще учебы. Он приводил ей резонные доводы о невозможности значительных перемен.

В довершение всего его мать, пожилая согбенная дама, позабывшая, что такое юность, весьма неблагоприятно отнеслась к ее посещениям. И не скрывала своей досады, когда влюбленная женщина приходила к ее сыну.

Она боялась, что эта любовь кончится драмой или трагедией.

Препятствия не прекратили их пылкой любви.

Муза предложила ему бывать у нее в доме, говоря, что муж постоянно находится в разъездах.

Он не считал это удобным и долгое время отказывался, но однажды все же пришел к ней, волнуясь за свое безрассудство.

Она успокоила его, сказав, что муж в Харькове.

Он пришел к ней, как они условились, утром. И — ах! это утро осталось у него в памяти на всю жизнь.

Это было летнее утро. Окно было раскрыто. Сад благоухал цветами. Солнце сверкало в зеркалах и в хрустальных безделушках, украшавших ее комнату. Муза приняла его в каком-то небесном шелковом платье, юная и прелестная, — смуглая красавица, полюбившая его без памяти.

Он прямо с ума сошел от счастья, когда заключил ее в свои объятия. И она, как сумасшедшая, обняла его. И они пять часов подряд целовались. И даже она чуть не потеряла сознания, — так это было для нее ново и удивительно.

Уже ее мать, старая румынка, дважды поднималась наверх и, тихонько постучав в стену, упрашивала их разойтись, но они не имели сил расстаться.

Наконец они стали прощаться.

Дружески обнявшись, они ходили по комнате, говоря о своем светлом будущем.

Она вдруг шутя спросила его, что бы он стал делать, если б сейчас приехал ее муж.

Он, смеясь, показал на свой расстегнутый ворот, на галстук и воротничок, брошенные на стуле. Он сказал, что он не трус, но он, конечно, не хотел бы ее компрометировать. И, поглядев в окно, выходящее в сад, сказал, что он отличный гимнаст и ему не составило бы труда спуститься в сад по этим деревьям.

Она похвалила его за благоразумие, хотя видно было, что ей хотелось бы услышать иное, более героическое, более смелое и мужественное.

Так, гуляя по комнате, он вдруг увидел распечатанную телеграмму, лежащую на столике. Телеграмма была от мужа — он извещал ее, что приедет в среду, и посылал ей тысячу нежных поцелуев и свою страстную, до гроба любовь.

— Как он вас любит, — ревнуя, сказал Саша, с досадой бросая телеграмму. Но тотчас ее поднял и, вновь прочитав, не без тревоги сказал: — Но ведь сегодня среда. Значит, он приедет сегодня.

Муза подтвердила это. Она сказала, что харьковский поезд приходит вечером, так что не следует беспокоиться.

Он назвал ее безрассудной. Он сказал, что муж каждую минуту может приехать на машине или же каким-нибудь иным поездом.

И он стал с ней прощаться. Но снова им было жаль расстаться. И они снова, к ужасу старой румынки, принялись за свои поцелуи.

Вдруг они услышали внизу звонок и шум. И звонкий голосок ее пятилетней дочки пронзительно закричал: «Папа приехал!»

Муза страшно побледнела. Она, заламывая руки, сказала:

— Боже мой! Это приехал Илья... Он убьет тебя...

Саша Ф., поцеловав ее трепетную руку, в одну секунду вскочил на подоконник и, притянув к окну ветку дерева, ловко, как обезьяна, повис на ней.

Муза ахнула, всплеснув руками.

Студент гибким движением молодого тела подался вперед и, хватаясь руками за ветки, благополучно спустился в сад.

Внизу он помахал рукой молодой женщине, неподвижно стоявшей у окна; и скрылся в зарослях малины.

Пробравшись сквозь малину к забору, он стал приводить себя в порядок и вдруг с ужасом увидел, что воротничок, галстук, фуражка и стек остались наверху в ее комнате.

Лоб его покрылся холодным потом, когда он подумал, что муж сейчас увидит эти вещи, небрежно брошенные на стул.

Страшно мучаясь и досадуя на свою неосторожность, он снова через малину пробрался к дому. Он хотел ей крикнуть, предупредить, чтоб она спрятала все это или, если можно, бросила бы ему вниз, но тут, всматриваясь в ее окно, он с ужасом увидел, что в комнате уже были люди — ее мать, нянька с дочкой, муж и еще кто-то.

Саша снова бросился назад и, страшась услышать сейчас крики драмы, перескочил через забор и направился к своему дому.

И, дойдя до своей улицы, он захотел было вернуться туда, где сейчас, вероятно, разыгрывается трагедия, но у него не хватило духу сделать это.

Ему показалось, что его возвращение было бы смешным и глупым. И он стал успокаивать себя, говоря себе, что Муза, вероятно, в последний момент успела сунуть в шкаф его оставленные вещи.

Он пришел домой, бледный и растерянный, и его старая мамаша стала выпытывать, что с ним. Но он, не желая посвящать ее в свои тайны, сказал, что его срочно вызывают в институт. И вот почему он так огорчен, взволнован и потрясен.

Это случайное вранье определило его шаги. Саша сложил вдруг чемодан и, попрощавшись с матерью, в тот же день уехал в Москву.

Ему оставалось жить в Виннице всего две недели. Ну что ж, он несколько раньше вернется в столицу и несколько раньше приступит к занятиям. Нет, он не трус, но фигурировать в качестве застигнутого любовника ему не хотелось бы.

Конечно, он страшился за судьбу молодой женщины, но тут же утешал себя тем, что любовь мужа столь велика и грандиозна, что ей все простится и все забудется.

Перед отъездом он написал ей нежное и милое письмо и вложил его в конверт вместе с засушенной настурцией. Но не отправил его, боясь, что письмо попадет в руки разгневанного мужа.

Однако, приехав в Москву, Саша очень там страдал и волновался и вскоре послал одному своему другу письмо в Винницу. Он попросил приятеля разузнать, что с Музой, и передать ей пламенный привет, его адрес и нежную просьбу написать ему хотя бы несколько слов.

Но друг почему-то не ответил. И от Музы не было никаких сообщений.

Потом он случайно узнал от одного приехавшего из Винницы, что в доме Музы как будто все благополучно, развода нет и муж, по-видимому, по-прежнему безмерно любит ее и обожает.

Это сообщение успокоило Сашу. Но вместе с тем он снова ощутил пылкую любовь к молодой оставленной даме. Он поставил ее карточку на видное место и подолгу любовался милыми чертами своей смуглой, черноокой красавицы.

Между тем начались занятия. Последний год в институте — это было не шуточное дело. И Саша с головой ушел в свою учебу.

Он хотел было на рождественские каникулы приехать в Винницу, но случайно сошелся с одной курсисткой, и эта связь задержала его в Москве.

Весною он заболел, переутомленный экзаменами, и его отправили на кумыс. А летом мамаша его приехала в Москву на операцию и тут, как говорится, под ножом хирурга скончалась.

Саша осенью хотел побывать в Виннице, но тут началась германская война, и молодого инженера взяли в армию в саперные войска,

Я не сумею вам сказать, как это случилось, но Саша Ф., страдая и любя, не смог в ближайшие годы встретиться со своей красавицей Музой.

Только в начале революции он, наконец, приехал в Винницу.

Со страшным волнением он вернулся в свой родной город. И в тот же день он с отчаянием в сердце узнал, что Муза с ребенком и мужем только что недавно уехала в Киев, бросив свой дом и свои дела на произвол судьбы.

Это было понятно — революция, вероятно, не пощадила бы разбогатевшего дельца. И вот он поспешил уйти от народного гнева.

Тотчас вслед за ними Саша отправился в Киев, но там узнал, что они выехали из Киева как будто в Одессу, но, может быть, и в Ростов.

Саша хотел было поехать в Одессу, но узнал, что пути к Одессе отрезаны фронтом гражданской войны.

Тут молодой человек понял, что он потерял их следы. И, может быть, никогда больше ее не увидит. И он так заплакал, как будто ему было шесть лет. И, бесцельно раз целуя ее карточку, он дал себе слово до конца своих дней любить свою милую Музу.

Он вернулся в Москву. И стал там жить.

И вот давно уже отгремели выстрелы гражданской войны, новая жизнь победно шествовала по городам и селам.

Саша Ф. был инженером. И он служил в Москве. Он давно женился, и у него теперь было двое славных детишек, и он в скором времени ожидал еще третьего младенца.

Но в сердечных делах он остался верен своему чувству.

Ее карточка, как святыня, стояла на его письменном столе, и он, вспоминая дни своей юности, подолгу любовался милым обликом и, печально вздыхая, восклицал: «Ах, счастье с этой женщиной мне было так возможно!»

Всю силу своего чувства он перенес в свою работу. Он стал весьма крупным, выдающимся инженером. И год назад он получил в приказе благодарность за полезную деятельность.

В прошлом году, летом, он немного заболел и решил полечиться. Его сорокалетнее сердце стало пошаливать — начались разные боли, спазмы и так далее.

Его премировали двухмесячной путевкой в Кисловодск, и в августе он уехал туда с намерением заняться лечебными процедурами.

Кисловодск в этом смысле чудный курорт. Там нарзан делает чудеса — обновляет кровь и восстанавливает слабые нервы.

Два месяца подряд Саша принимал там нарзанные ванны и ходил в горы, укрепляя этим свое уставшее сердце.

Он там великолепно поправился и чувствовал себя молодым, способным на безрассудства. Но он там никого не встретил, кем бы мог увлечься. И теперь не без охоты покидал курорт.

В день отъезда он пошел в парк прощаться с любимыми местами. Он пришел в нарзанную галерею. Ему там подали стакан нарзана. И он стал с чувством его пить, поглядывая на гуляющую публику.

Вдруг рука у него дрогнула. Пальцы невольно разжались, и стакан с треском разбился, упав на каменный пол.

Перед ним в двух шагах стояла Муза Н. со своим мужем.

Она стояла около источника и тоже пила нарзан.

Сердце замерло у Саши, когда он еще раз взглянул на нее. Она была, пожалуй, по-прежнему красива и эффектна, но она очень пополнила.

Ах, где же эта тоненькая, смуглая красавица! Слишком полный ее стан, двойной подбородок и более крупные формы придавали теперь Музе солидный, стареющий и немного обрюзгший вид. И только милые ее глаза, блестящие и яркие как звездочки, сияли по-прежнему, так же, пожалуй, молодо и оригинально.

Она взглянула на человека, уронившего стакан. И у нее в то же мгновение замерло сердце. И бывает же такое совпадение чувств — рука у нее тоже дрогнула, пальцы разжались, и стакан, упав на каменный пол, вдребезги разбился.

Рядом стоявший муж, стареющий и весьма полный кобобокий человек, с инженерским значком на лацкане пиджака, с недоумением посмотрел, что случилось.

И вдруг, всплеснув руками, он воскликнул:

— Боже мой! Муза! Да ведь это Александр Семенович — наш дорогой друг из Винницы!

Саша Ф. подошел к ним, и они стали пожимать друг другу руки, расспрашивая, волнуясь и смеясь от нахлынувших воспоминаний двадцатилетней давности.

— Александр Семенович, — сказал муж, — куда же вы, голубчик, тогда бесследно исчезли?.. Ну, правда, я вас немного ревновал, но мы с Музой очень огорчились вашему отъезду...

Муза, улыбаясь, сказала:

— В самом деле, Саша, куда вы тогда делись?

Александр Семенович стоял растерянный, не зная, что сказать и что подумать.

Муж продолжал, улыбаясь:

— Да, я помню, много вы хлопот доставили нам своим отъездом. Помню, Муза три месяца меня пилила, зачем я так резко отказал вам от дома... Поверите ли, дело прошлое, но Муза плакала, и мы с ней заходили к вашей маме — расспрашивали ее о вас... Что с вами тогда стряслось?

Муза, улыбаясь, сказала:

— Это было, правда, нехорошо, Саша, что вы, не прощавшись, уехали... Хоть бы написали письмо.

Саша растерянно бормотал:

— Боже мой... Как же так... Я писал... я не знаю... я думал, что...

Муж, громко смеясь, сказал:

— Да, черт возьми, я ревновал вас. Но теперь, Александр Семенович, я бы вам и сам сказал: поухаживайте, милый друг, за моей женкой.

Они втроем стали смеяться, иронизируя над своей полнотой, седеющими волосами и поблекшими чувствами.

Вдруг муж сказал:

— Друзья, постойте минутку — пришли центральные газеты, и я боюсь прозевать...

Они остались вдвоем.

Она сказала, улыбнувшись:

— Да, Саша, это было нехорошо с вашей стороны...

Саша, волнуясь и не понимая, сказал:

— Но ведь я думал, что муж все узнал... Я не хотел вам доставлять лишних страданий... Поверьте, я вас так любил...

Она вдруг сердечно и от души рассмеялась. Она так засмеялась, что он не знал, что подумать.

— Что вы смеетесь? — грубо спросил он.

Она сквозь смех еле могла сказать:

— Слушайте... Ведь тогда... помните... ну, в тот день, когда вы были у меня... Ведь это был не муж...

— Как не муж?! — спросил Саша, ужасаясь.

— Ну да, — сказала она, смеясь, — это была телеграмма. Муж прислал мне телеграмму, что он задержался.

— Но ваша дочка...

— Девочка ошиблась... Она на каждый звонок кричала: «Папа приехал!» Я как сумасшедшая кричала вам из окна, чтоб вы вернулись... Но вы... соскочили со своего дерева... и сразу исчезли...

Она, сдерживаясь и кусая губы, смеялась. Ее подбородок дрожал, и плечи тряслись от хохота.

— Но как же так? — бормотал он. — Я думал... Фуражка, воротничок, которые я оставил...

Она, было перестав смеяться, снова захохотала так, что он подумал, что с ней истерика. Она сквозь смех еле могла сказать:

— Как же вы, Саша, уехали в Москву-то... без фуражки? Вы бы хоть зашли за фуражкой...

Он, сам не зная, что говорит, сказал:

— А куда же вы дели мой воротничок и фуражку?

— Ну, не помню, голубчик, — сказала она, — кажется, спрятала и сохранила на память.

Он хотел выдавить на своем лице улыбку, но не мог и стоял смертельно бледный, дрожа от волнения.

Она вдруг, увидев его в таком состоянии, перестала смеяться. Она сказала:

— Простите, Саша, что я так смеюсь... Я вас очень любила...

Он взял ее руку и стал целовать, бормоча:

— Боже мой... Ну как же так?.. Какая комедия жизни... Я вас тоже любил. И так ждал...

Тень прошла по ее лицу, и губы ее дрогнули, но она, отдернув руку, сказала:

— Муж идет, после поговорим...

Муж подошел к ним, на ходу разворачивая газету.

Саша, взглянув на часы, пробормотал:

— Ого, уже три. Ведь через сорок минут отходит мой поезд...

Они стали жалеть, что он уезжает. Они хотели, чтоб он зашел к ним — сыграть в преферанс. Как, право, жаль, что они встретились только сегодня.

Саша поспешно стал прощаться с ними и, бледный и растерянный, пошел в свой санаторий.

Через полчаса он, по-прежнему взволнованный и потрясенный, сидел в вагоне.

И когда поезд тронулся, Саша распаковал чемодан, нашел карточку Музы. Он долго всматривался в дорогие черты и бормотал:

— Ну как же так?.. Ну как же это могло случиться?..

Вдруг снова он ощутил в своем сердце любовь, но не к этой прежней, тоненькой красавице, а к той женщине, которую он сейчас оставил в нарзанной галерее.

Ее смех смутил его. А то он сказал бы ей больше о своем чувстве, о том, что все эти годы он помнил и любил ее.

Он вдруг подумал, что он сейчас может сойти на станции и вернуться в Кисловодск.

В это время поезд остановился в Ессентуках. Саша стал судорожно упаковывать свои вещи, чтоб сойти тут. Но поезд вскоре тронулся, и Саша остался. Он подошел к открытому окну, бормоча:

— Как глупо все, ах, как все глупо...

Потом вдруг сердце у него упало, когда он подумал, что ведь он даже и не знает, где и в каком городе они живут. В своем волнении, в своем поспешном прощании он даже не спросил ее об этом.

И тут снова, как и когда-то в Киеве, понял, что он потерял ее. И теперь уж, наверно, навсегда.

Слезы показались на его глазах. Он снова метнулся к своим чемоданам, чтобы выйти в Пятигорске. Но потом, подойдя к окну, сказал:

— Как глупо все... Какая комедия жизни... Вот она, старость и увядание...

В Минеральных Водах он опять хотел было вернуться в Кисловодск, но носильщик, схватив его вещи, заторопил:

— Пospешайте, гражданин. Московский поезд сейчас отходит.

И он покорно последовал за носильщиком.

Но в поезде он успокоился, сказав себе, что он напечатает объявление в центральной газете с просьбой к Музе отозваться и написать ему.

Эту историю Александр Семенович рассказал мне в сентябре тридцать шестого года. Сейчас начало нового года, но этого объявления я в газетах так и не видел.

1937

ТИШИНА

Весной 1926 года я жил в Ялте, в маленьком частном пансионе на Садовой улице.

В то время, наряду с государственными домами отдыха и санаториями, в Крыму процветали крошечные частные пансиончики на десять — двенадцать персон.

В этих пансиончиках приезжим предлагали особый семейный уют, дворянскую обстановку, домашние обеды и избранное общество людей, попавших сюда по рекомендации.

Наш пансиончик, имевший название «Тишина», содержали две старушки, две бывшие светские барыни.

Кое-как выбравшись из-под обломков рухнувшей империи, эти старушки сохранили все же свой внешний лоск, французскую речь, золотые дорнетки и жеманные, немало комические манеры.

Пройдя сквозь революцию, они сумели сохранить свой собственный домик в Ялте, солидную обстановку и кой-какое серебро, которое теперь торжественно подавалось к столу пансионерам.

Это были две барыни, две, так сказать, полномочные представительницы старого, погибшего мира, старой, до-революционной России.

Одна старушка, более престарелая, безучастно относилась к своему пансиону. Она целые дни проводила в саду,

сидя в полузакрытой плетеной кабинке, защищавшей ее от ветра и солнца. Она целые дни неподвижно сидела с книгой на коленях, устремив куда-то свой туманный взор.

Это была подлинная картина — «Все в прошлом».

Другая старушка, напротив того, отличалась неукротимой энергией и смелостью духа. Она одна «заворачивала» всем пансионком, смотрела за хозяйством, производила расчеты и поддерживала порядок. Она выходила к столу, как хозяйка дома выходит к своим гостям, а не как владелица пансиона, которой платят деньги.

Всякий разговор о деньгах она считала неприличным, и когда ей платили — она жеманилась и конфузилась, говоря: «Ну, зачем это... Можно ведь потом». Впрочем, это ей не помешало однажды дойти до скандала с визгом, когда одна из пансионеров не смогла ей вовремя заплатить. Такая жеманность была, попросту, ее манерой, дворянской маской и некоторой, может быть, иллюзией, которая теплилась в ее сердце.

Она важно восседала в конце стола и в беседе с пансионерами старалась поддерживать приличный светский тон. И она положительно расцветала, если кто-нибудь из пансионеров, благодаря ее за обед, прикладывался к ее ручке. Такого пансионера она начинала пламенно любить и, в ответ на его поцелуй, нежно прикладывалась губами к его лбу, как это требовалось в высшем дворянском обществе.

* *
*

Уже в первый день моего приезда мне рассказали биографию этих двух старых подруг, владелиц нашего пансиона.

За их плечами была шумная и беспечная жизнь, заграничные поездки, балы, вечера, праздничное веселье, богатые мужья и сумасшедшие поклонники.

Более престарелая старуха была в дни своей юности оперной певицей. И она тогда отличалась какой-то неслыханной ангельской красотой. Ее мужья дарили ей дома, драгоценности и деньги, которых у нее до революции было больше двухсот тысяч.

Ей было что вспомнить, и она, видимо, устремляла свой туманный взор к этому далекому прошлому.

Другая наша старуха — энергичная хозяйка пансиона — была женой гвардейского офицера, крупного помещика и богача.

Мужья наших двух дам успели умереть до революции, и обе женщины, почувствовав приближение старости, решили провести конец своей жизни в тишине и в покое в том месте, о котором у них сохранились лучшие воспоминания.

Этим местом оказалась Ялта, куда в свое время их возили мужья и любовники и где они видели счастье и волнение юности. И вот они на склоне своих дней снова сюда прибыли незадолго до революции. Они тут купили приличный домик с тенистым садом. И назвали это свое новое имение — вилла «Тишина».

Такое умиротворяющее название соответствовало их намерениям. Они решили тут мило, тихо и спокойно провести остаток жизни. Это, по их мысли, была тихая пристань после бурных путешествий по волнам жизни.

Но жизнь решила иначе. Война, революция, бегство белых и наступление большевиков — вот что они получили вместо тишины и покоя.

Старухи в двадцатом году хлебнули страха и сами были не рады, что выбрали такое место, где произошла развязка и где дворянская и купеческая Россия нашла себе на короткое время последнее пристанище.

Их славная Ялта, жемчужина Крыма, веселый и праздничный город, в котором любили отдыхать богатые фабриканты и царский двор, помещики и красавицы, теперь увидела новые картины. Это были последние ворота, в которые ушел старый мир.

Старухи тоже хотели было бежать. Они рассчитывали сесть на пароход, чтобы ехать в Турцию. Но они замешкались. У них было очень много вещей. Им было жалко их бросить. Они два дня паковали корзины и сундуки. И день затратили на то, чтобы люди перенесли их багаж на пристань.

И они, дрожащие, сидели уже на молу на своих корзинах. Но им сказали, что желающие уехать могут взять только лишь ручной багаж.

Они дождались, когда ушел последний пароход, увозивший дворян и коммерсантов за границу, и снова

вернулись со своими вещами домой, в свою виллу «Тишина».

Они прожили тут несколько лет не особенно замеченные. Их солидный возраст спас их от излишних передраг и волнений.

Они вскоре утвердились во владении дачей и в первые годы нэпа, не желая отставать от требований времени, открыли здесь частный пансион. И пять лет вели это дело, довольные собой и делами.

* *
*

Итак, одна старуха в тихом раздумье проводила время в саду. А другая энергично хозяйничала.

Эта вторая дама была весьма глупая и несколько бестолковая старуха. Беседуя за столом со своими пансионерами, она подчас несла такую околесицу, что просто было удивительно видеть, как эта представительница слабого пола, окончившая в свое время институт, могла до такой степени договариваться. У нее были спутаны все понятия и представления о мире и людях.

Тем не менее она не раз рисковала пускаться в беседы о политике. И пансионеры, не сдерживая улыбок, слушали ее бестолковые речи.

Но за этой бестолковщиной довольно явственно была видна нехитрая политическая платформа, на которой хоть и шатко, но весьма упорно стояла наша дама.

Она была настроена удивительно контрреволюционно. Ничто из нового ее не удовлетворяло и не устраивало. Она была против крепостного права, но все остальные нововведения за последние сто лет она считала лишними, снижающими жизнь в ее праздничной красоте и величии.

Она приводила примеры из жизни муравьев, которые от природы делились на классы, и сравнивала настоящий момент с гибелью Рима. Себя и нескольких пансионеров она причисляла к римлянам, а во всех остальных она видела пришлый элемент из далеких варварских стран.

Кой-какие знания из области истории и зоологии, почерпнутые в институте полвека назад, теснились теперь в ее голове в хаотическом беспорядке. Но она не без

некоторой ловкости оперировала этим в своих политических докладах.

Нас было десять пансионеров: два инженера, журналист, несколько скучающих дам и один молодой веселый студент, приводивший старуху в содрогание своим поведением.

Студент этот, подтрунивая и разыгрывая старуху, нарочно говорил на каком-то особом жаргоне, употребляя всякие блатные словечки и выражения.

Вместо «ел» он говорил «подрубал»; прося передать блюдо, говорил: «Нуте, старушка, передайте эту хреновину», а старухино светское общество он называл «гопкомпания».

Пансионеры умирали со смеху, глядя на нашу хозяйку. Она принимала эти речи за чистую монету и всякий раз всплескивала руками, находя подтверждение своим мыслям о гибели культуры, об утрате тонких чувств и безвозвратно ушедшей поэзии.

И всякий раз после комических речей студента она, как бы в противовес, приводила примеры из прошлой жизни, наполненной восхитительным изяществом и сказочной поэзией. Она рассказывала нам о каких-то волшебных переживаниях, о каких-то неслыханных моментах, в которых она была участницей. Она говорила, что теперь все ее раздражает и все сердит. Она когда-то считала лучшими моментами жизни — глядеть на море, на серебристую луну, на людей, любующихся этой панорамой. Сейчас она предпочитает сидеть дома. Ее теперь раздражает и эта ночная панорама и это шлянье простого народа по набережной.

* *
*

Однажды за ужином, после таких речей, мы попросили старуху рассказать нам о самом ярком ее воспоминании, связанном с Ялтой.

Все отвлеченные разговоры о красоте прошлой жизни были нам неубедительны. Мы хотели услышать какой-нибудь эпизод, какой-нибудь подлинный случай из той жизни, а не риторические беседы о волшебных переживаниях.

Старуха с готовностью согласилась на это. Она сказала:

— Извольте, господа, я расскажу вам о моем самом сильном переживании в Ялте. Но только я не уверена, что современные слушатели, прошедшие сквозь революцию, поймут мои чувства.

Мы кое-как уверили старуху, что постараемся понять то, что когда-то наполнило ее сердце волнением и трепетом.

И тогда старуха стала рассказывать:

— Я приехала в Ялту, — сказала она, — в тысяча девятьсот восьмом году. Мой муж был офицером гвардии. Мы приехали с ним весной. И остановились в гостинице «Джалита».

Он меня так любил, что современные люди даже частично не могут себе представить, что это так бывает. Но в те дни наша любовь отошла на второй план, так как мы готовились к встрече царской семьи.

Мы устраивали в Ялте весенний благотворительный базар в пользу чахоточных. И царская семья, проживавшая в то время в Ливадии, собиралась присутствовать на открытии.

Можете представить наше волнение и наши надежды! Замеченные на базаре государем, мы могли быть даже приглашены ко двору, и мой муж мог сделать себе карьеру, о которой он мечтал всю жизнь.

И вот представьте себе прелестное майское утро. Мы с мужем идем по набережной в курзал. Там сейчас произойдет встреча с царской фамилией.

Мы идем с мужем, и волнение душит нас. У меня подкашиваются ноги. Я почти не могу идти. «Мой друг, — говорю я мужу, — постоим минутку». Мы останавливаемся на набережной. Я гляжу на синюю гладь моря, на безбрежную даль. И с трепетом думаю: «Что-то судьба готовит мне сегодня?»

А я в белом платье. На мне чудесная шляпка, привезенная из Дрездена. Белые атласные туфельки. Кружевные митенки.

Мой муж с восхищением смотрит на меня и говорит: «Ты сегодня ослепительно хороша. Я более чем уверен, что тебя заметят».

Я с благодарностью пожимаю руку моему мужу. И мы снова продолжаем наш путь. Мы приходим в курзал. Там уже все на местах. И я становлюсь за свой киоск с шампанским. Я разливаю по бокалам шампанское. И те, которым угодно выпить, берут бокал и на поднос кладут деньги — сто рублей, двадцать пять или золотые монеты.

Я была очень хорошенькой женщиной. Около моего киоска моментально образовалась пробка из блестящих офицеров и статских. Но я боюсь, что это общество заслонит меня от государя, и поэтому я держусь со всеми холодно и вызывающе.

Вдруг волнение достигает наивысшего напряжения. Раздаются возгласы: «Государь приехал!»

И мы все замираем в неподвижных, почтительных позах.

И вот придворные расступаются, и мы видим незабываемую картину — идет государь. Рядом царица. И матрос на руках несет царевича.

Они дефилируют около моего киоска и вдруг, к зависти всех, они останавливаются возле меня. Причем царица явственно смотрит на мою шляпку. Да, она смотрит на мою шляпку, потому что царевич, сидящий на руках матроса, сказал своей августейшей матери:

«Мама, поглядите, какая у нее на шляпе миленькая птичка».

А в то время, надо вам сказать, все дамы носили шляпы с художественными украшениями. Блондинки носили на шляпках цветы, листья, ягоды или перья. Брюнетки украшали шляпы искусственными фруктами — там маленькими райскими яблочками, сливами, вишнями и так далее. В то время у нас это считалось модным.

А у меня на шляпе была, представьте себе, веточка с вишней, и на ветке сидела маленькая голубая птичка с желтыми глазками. Мы с мужем эту шляпку привезли из Дрездена, и она была действительно произведением искусства. Многие восхищались тонкой; художественной работой.

И вот царский ребенок, увидев эту птичку, потянулся к ней.

Конечно, вся царская семья останавливается возле меня. И царица, глядя на мою шляпку, говорит мне: «Как

у вас идут дела, моя крошка?» И я, еле преодолевая волнение, отвечаю: «Ничего себе, ваше величество». И дрожащей рукой показываю ей на блюдо, наполненное кредитками.

Между тем события разворачиваются с молниеносной быстротой.

Матрос Деревенько делает шаг ко мне. И царственное дитя своей ручкой начинает хватать мою птичку и начинает тереть ее.

Я стою ни жива ни мертва. Счастье охватывает все мое существо. И страх, что царевич может сейчас уколоть свою ручку о булавку, сковывает меня до того, что я перестаю дышать.

Тишина воцаряется вокруг.

Многие, не понимая еще, что это значит, замирают в предчувствии необычайного.

Я вижу моего мужа, который, белый от страха, стоит в отдалении. Я вижу, что он счастлив, но он тоже боится и не знает, чем все это кончится. Я делаю ему знак — мол, не волнуйся, мой друг, все будет хорошо.

И тут меня осеняет мысль — снять птичку со шляпы и преподнести его высочеству.

Почтительно прижимая одну руку к сердцу, я другой рукой отрываю птичку с веткой и преподношу царственному младенцу.

Я вижу — царевич хочет ее принять от меня и смотрит на свою мамашу. Но та говорит ему что-то по-английски, и я, не понимая этого, стою, дрожа от счастья и волнения.

Один из придворных мне потом делает перевод с английского. Он говорит, что царственная мать высказала соображение — не заразился бы ее ребенок чем-нибудь, если он возьмет мою птичку. И она не позволяет ему ее взять. Тогда матрос Деревенько берет от меня птичку. И вся августейшая семья, довольная, отходит от моего киоска и дефилирует дальше. И перед тем как отойти, государыня, открыв свою сумочку, кладет мне на поднос кредитку в пятьсот рублей.

Муж и придворные окружают меня — поздравляют и благодарят за мою находчивость.

А я, почти ничего не соображая, стою со сбитой набок шляпой и гляжу на всех счастливым невидящим взором.

И вот кончается базар. Мы с мужем возвращаемся назад. Мы снова идем по набережной. Снова глядим на море. И несказанное чувство радости и волнения душист нас. Прижавшись друг к другу, мы стоим, ослепленные счастьем и радостью.

* *
*

Старуха закончила свое повествование, утирая слезы. Наш веселый студент, усмехнувшись, спросил:

— Ну и что же?

— То есть как что же? — сказала гневно старуха.

— Да, но я в этом эпизоде ничего особенного не вижу, — сказал студент. — Напротив, царица не велела взять птичку. Она сказала ребенку, что это зараза. Если хотите знать, она вас просто даже этим оскорбила.

Старуха, гневно посмотрев на студента, ничего не ответила.

— Просто дурацкая история, — сказал студент, давась от смеха. — И главное, вас с мужем даже ко двору не пригласили. Только зря птичку оторвали от своей художественной шляпки.

Старуха и на это промолчала. Студент, снова засмеявшись, сказал:

— Совершенно бесцветная история, маман! А вся эта ваша придворная гоп-компания, которая вас поздравляла за ваше лакейское угодничество, просто комично выглядит на фоне наших дней.

Мы все, слушатели, невольно улыбнулись. И тогда старуха с гневом, но тихо заговорила. Она сказала:

— Я так и знала, господа, что современные люди не поймут моих переживаний. Однако я повторяю: за всю мою жизнь в Ялте я не испытывала более сильного чувства.

Студент воскликнул:

— А вы знаете, маман, как называется это чувство, которое вы испытали? Оно называется — раболепством. Да, вы испытали чувство рабыни, которую случайно заметили господа.

Старуха осоловело поглядела на всех нас. Мы, слушатели, молчали. Студент безжалостно продолжал:

— Нет, маман, — сказал он, — это постыдная история вашей жизни. И если все остальное у вас было вроде этого, то я не поздравляю вас!

Старуха встала из-за стола и, надменно пожелав спокойной ночи, проследовала в свою комнату.

* *
*

Кажется, год или два спустя я неожиданно встретил старуху в Ленинграде.

Знаменитое землетрясение в Ялте разрушило их виллу «Тишина».

Дом дал сильную трещину, и они продали его. Они не захотели больше оставаться в Ялте, где вместо тишины и покоя они нашли бог знает что.

— Я много лет жила в Ялте, — надменно сказала мне старуха, — но такого землетрясения никогда еще в Ялте не было. Конечно, я понимаю, что революция тут ни при чем, но согласитесь сами, что это по большей мере странно, что нам выпали такие события вместо ожидаемого покоя. Только иронически можно было назвать так, как мы называли, нашу виллу.

Я спросил ее, зачем она приехала в Ленинград. Она сказала, что купила в Ленинграде комнату и собирается здесь жить. Она хотела бы устроиться какой-нибудь кастеляншей в больницу или экономкой в дом отдыха, так как бездеятельная жизнь ее не устраивает. Слишком много мыслей о прошлом, и она хотела бы их заглушить. И, кроме того, надо зарабатывать, так как ее маленького имущества хватит ей ненадолго.

Она действительно вскоре устроилась на работу в больницу. И некоторое время там работала. Но недавно я узнал, что она умерла. И что после ее смерти в ее комнате под матрацем нашли двадцать восемь золотых колец, пятнадцать браслетов, много серег с бриллиантами и всякие ценности на сумму до трехсот тысяч по теперешнему счету.

Другая старуха — ее подруга — еще раньше, вскоре после землетрясения, тихо скончалась в Ялте, и вилла «Тишина» прекратила свое существование.

ЛЕЛЯ И МИНЬКА

1. Елка

В этом году мне исполнилось, ребята, сорок лет. Значит, выходит, что я сорок раз видел новогоднюю елку. Это много!

Ну, первые три года жизни я, наверно, не понимал, что такое елка. Наверно, мама выносила меня на ручках. И наверно, я своими черными глазенками без интереса смотрел на разукрашенное дерево.

А когда мне, дети, ударило пять лет, то я уже отлично понимал, что такое елка.

И я с нетерпением ожидал этого веселого праздника. И даже в щелочку двери подглядывал, как моя мама украшает елку.

А моей сестренке Леле было в то время семь лет. И она была исключительно бойкая девочка.

Она мне однажды сказала:

— Минька, мама ушла на кухню. Давай пойдем в комнату, где стоит елка, и поглядим, что там делается.

Вот мы с сестренкой Лелей вошли в комнату. И видим: очень красивая елка. А под елкой лежат подарки. А на елке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, пастилки и крымские яблочки.

Моя сестренка Леля говорит:

— Не будем глядеть подарки. А вместо того давай лучше съедим по одной пастилке.

И вот она подходит к елке и моментально съедает одну пастилку, висящую на ниточке.

Я говорю:

— Леля, если ты съела пастилку, то я тоже сейчас что-нибудь съем.

И я подхожу к елке и откусываю маленький кусочек яблока.

Леля говорит:

— Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую пастилку съем и вдобавок возьму себе еще эту конфетку.

А Леля была очень такая высокая, длинновязая девочка. И она могла высоко достать.

Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала поедать вторую пастилку.

А я был удивительно маленького роста. И мне почти что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, которое висело низко.

Я говорю:

— Если ты, Лелища, съела вторую пастилку, то я еще раз откушу это яблоко.

И я снова беру руками это яблочко и снова его немножко откусываю.

Леля говорит:

— Если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться и сейчас съем третью пастилку и вдобавок возьму себе на память хлопущку и орех.

Тогда я чуть не заревел. Потому что она могла до всего дотянуться, а я нет.

Я ей говорю:

— А я, Лелища, как подставлю к елке стул и как достану себе тоже что-нибудь, кроме яблока.

И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть к елке стул. Но стул упал на меня. Я хотел поднять стул. Но он снова упал. И прямо на подарки.

Леля говорит:

— Минька, ты, кажется, разбил куклу. Так и есть. Ты отбил у куклы фарфоровую ручку.

Тут раздались мамины шаги, и мы с Лелей убежали в другую комнату.

Леля говорит:

— Вот теперь, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет.

Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости. Много детей с их родителями.

И тогда наша мама зажгла все свечи на елке, открыла дверь и сказала:

— Все входите.

И все дети вошли в комнату, где стояла елка.

Наша мама говорит:

— Теперь пусть каждый ребенок подходит ко мне, и я каждому буду давать игрушку и угощение.

И вот дети стали подходить к нашей маме. И она каждому дарила игрушку. Потом снимала с елки яблоко, пастилку и конфету и тоже дарила ребенку.

И все дети были очень рады. Потом мама взяла в руки то яблоко, которое я откусил, и сказала:

— Леля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил это яблоко?

Леля сказала:

— Это Минькина работа.

Я дернул Лелю за косичку и сказал:

— Это меня Лелька научила.

Мама говорит:

— Лелю я поставлю в угол носом, а тебе я хотела подарить заводной паровозик. Но теперь этот заводной паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела дать откусанное яблоко.

И она взяла паровозик и подарила его одному четырехлетнему мальчику. И тот моментально стал с ним играть.

И я рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на ручки и сказала:

— С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком.

И я сказал:

— Можете уходить, и тогда паровозик мне останется.

И та мама удивилась моим словам и сказала:

— Наверное, ваш мальчик будет разбойник.

И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той маме:

— Не смейте так говорить про моего мальчика. Лучше уходите со своим золотушным ребенком и никогда к нам больше не приходите.

И та мама сказала:

— Я так и сделаю. С вами водиться — что в крапиву садиться.

И тогда еще одна, третья мама сказала:

— И я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили куклу с обломанной рукой.

И моя сестренка Леля закричала:

— Можете тоже уходить со своим золотушным ребенком. И тогда кукла со сломанной рукой мне останется.

И тогда я, сидя на маминых руках, закричал:

— Вообще можете все уходить, и тогда все игрушки нам останутся.

И тогда все гости стали уходить.

И наша мама удивилась, что мы остались одни.

Но вдруг в комнату вошел наш папа.

Он сказал:

— Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве.

И папа подошел к елке и потушил все свечи. Потом сказал:

— Моментально ложитесь спать. А завтра все игрушки я отдам гостям.

И вот, ребята, прошло с тех пор тридцать пять лет, и я до сих пор хорошо помню эту елку.

И за все эти тридцать пять лет я, дети, ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я поэтому такой сравнительно веселый и добродушный.

2. Калоши и мороженое

Когда я был маленький, я очень любил мороженое. Конечно, я его и сейчас люблю. Но тогда это было что-то особенное — так я любил мороженое.

И когда, например, ехал по улице мороженщик со своей тележкой, у меня прямо начиналось головокружение: до того мне хотелось покушать то, что продавал мороженщик.

И моя сестренка Леля тоже исключительно любила мороженое.

И мы с ней мечтали, что вот, когда вырастем большие, будем кушать мороженое не менее как три, а то и четыре раза в день.

Но в то время мы очень редко ели мороженое. Наша мама не позволяла нам его есть. Она боялась, что мы простудимся и захвораем. И по этой причине она не дала нам на мороженое денег.

И вот однажды летом мы с Лелей гуляли в нашем саду. И Леля нашла в кустах калошу. Обыкновенную резиновую калошу. Причем очень ношеную и рваную. Наверное, кто-нибудь бросил ее, поскольку она развалилась.

Вот Леля нашла эту калошу и для потехи надела ее на палку. И ходит по саду, машет этой палкой над головой.

Вдруг по улице идет тряпичник. Кричит:

— Покупаю бутылки, банки, тряпки!

Увидев, что Леля держит на палке калошу, тряпичник сказал Леле:

— Эй, девочка, продаешь калошу?

Леля подумала, что это такая игра, и ответила тряпичнику:

— Да, продаю. Сто рублей стоит эта калоша.

Тряпичник засмеялся и говорит:

— Нет, сто рублей — это чересчур дорого за эту калошу. А вот если хочешь, девочка, я тебе дам за нее две копейки, и мы с тобой расстанемся друзьями.

И с этими словами тряпичник вытащил из кармана кошелек, дал Леле две копейки, сунул нашу рваную калошу в свой мешок и ушел.

Мы с Лелей поняли, что это не игра, а на самом деле. И очень удивились.

Тряпичник уже давно ушел, а мы стоим и глядим на нашу монету.

Вдруг по улице едет мороженщик и кричит:

— Земляничное мороженое!

Мы с Лелей подбежали к мороженщику, купили у него два шарика по копейке, моментально их съели и стали жалеть, что так задешево продали калошу.

На другой день Леля мне говорит:

— Минька, сегодня я решила продать тряпичнику еще одну какую-нибудь калошу.

Я обрадовался и говорю:

— Леля, разве ты опять нашла в кустах калошу?

Леля говорит:

— В кустах больше ничего нет. Но у нас в прихожей стоит наверно, я так думаю, не меньше пятнадцати калош. Если мы одну продадим, то нам от этого худо не будет.

И с этими словами Леля побежала на дачу и вскоре появилась в саду с одной довольно хорошей и почти новенькой калошей.

Леля сказала:

— Если тряпичник купил у нас за две копейки такую рвань, какую мы ему продали в прошлый раз, то за эту

почти что новенькую калошу он, наверное, даст не менее рубля. Воображаю, сколько мороженого можно будет купить на эти деньги.

Мы целый час ждали появления тряпичника, и когда мы, наконец, его увидели, Леля мне сказала:

— Минька, на этот раз ты продавай калошу. Ты мужчина, и ты с тряпичником разговаривай. А то он мне опять две копейки даст. А это нам с тобой чересчур мало.

Я надел на палку калошу и стал махать палкой над головой.

Тряпичник подошел к саду и спросил:

— Что, опять продается калоша?

Я прошептал чуть слышно:

— Продается.

Тряпичник, осмотрев калошу, сказал:

— Какая жалость, дети, что вы мне все по одной калошине продаете. За эту одну калошу я вам дам пяточок. А если бы вы продали мне сразу две калоши, то получили бы двадцать, а то и тридцать копеек. Поскольку две калоши сразу более нужны людям. И от этого они подсакивают в цене.

Леля мне сказала:

— Минька, побегни на дачу и принеси из прихожей еще одну калошу.

Я побежал домой и вскоре принес какую-то калошу очень больших размеров.

Тряпичник поставил на траву эти две калоши рядом и, грустно вздохнув, сказал:

— Нет, дети, вы меня окончательно расстраиваете своей торговлей. Одна калоша дамская, другая — с мужской ноги, — рассудите сами: на что мне такие калоши? Я вам хотел за одну калошу дать пяточок, но, сложив вместе две калоши, вижу, что этого не будет, поскольку дело ухудшилось от сложения. Получите за две калоши четыре копейки, и мы расстанемся друзьями.

Леля хотела побежать домой, чтоб принести еще что-нибудь из калош, но в этот момент раздался мамин голос. Это мама нас звала домой, так как с нами хотели попрощаться мамыны гости. Тряпичник, видя нашу растерянность, сказал:

— Итак, друзья, за эти две калоши вы могли бы получить четыре копейки, но вместо этого получите три

копейки, поскольку одну копейку я вычитаю за то, что понапрасну трачу время на пустой разговор с детьми.

Тряпичник дал Леле три монетки по копейке и, спрятав калоши в мешок, ушел.

Мы с Лелей моментально побежали домой и стали прощаться с мамиными гостями: с тетей Олей и дядей Колей, которые уже одевались в прихожей.

Вдруг тетя Оля сказала:

— Что за странность! Одна моя калоша тут, под вешалкой, а второй почему-то нету.

Мы с Лелей побледнели. И стояли не двигаясь.

Тетя Оля сказала:

— Я великолепно помню, что пришла в двух калошах. А тут сейчас только одна, а где вторая, неизвестно.

Дядя Коля, который тоже искал свои калоши, сказал:

— Что за чепуха в решетке! Я тоже отлично помню, что пришел в двух калошах, тем не менее второй моей калоши тоже нету.

Услышав эти слова, Леля от волнения разжала кулак, в котором у нее находились деньги, и три монетки по копейке со звоном упали на пол.

Папа, который тоже провожал гостей, спросил:

— Леля, откуда у тебя эти деньги?

Леля начала что-то врать, но папа сказал:

— Что может быть хуже вранья!

Тогда Леля заплакала. И я тоже заплакал. И мы сказали:

— Мы продали тряпичнику две калоши, чтобы купить мороженое.

Папа сказал:

— Хуже вранья — это то, что вы сделали.

Услышав, что калоши проданы тряпичнику, тетя Оля побледнела и зашаталась. И дядя Коля тоже зашатался и схватился рукой за сердце. Но папа им сказал:

— Не волнуйтесь, тетя Оля и дядя Коля, я знаю, как нам надо поступить, чтобы вы не остались без калош. Я возьму все Лелины и Минькины игрушки, продам их тряпичнику, и на вырученные деньги мы приобретем вам новые калоши.

Мы с Лелей заревели, услышав этот приговор. Но папа сказал:

— Это — еще не все. В течение двух лет я запрещаю Леле и Миньке кушать мороженое. А спустя два года они могут его кушать, но всякий раз, кушая мороженое, пусть они вспоминают эту печальную историю, и всякий раз пусть они думают, заслужили ли они это сладкое.

В тот же день папа собрал все наши игрушки, позвал тряпичника и продал ему все, что мы имели. И на полученные деньги наш отец купил калоши тете Оле и дяде Коле.

И вот, дети, с тех пор прошло много лет. Первые два года мы с Лелей действительно ни разу не ели мороженого. А потом стали его есть и всякий раз, кушая, невольно вспоминали о том, что было с нами.

И даже теперь, дети, когда я стал совсем взрослый и даже немножко старый, даже и теперь иной раз, кушая мороженое, я ощущаю в горле какое-то сжатие и какую-то неловкость. И при этом всякий раз, по детской своей привычке, думаю: «Заслужил ли я это сладкое, не соврал ли и не надул ли кого-нибудь?»

Сейчас очень многие люди кушают мороженое, потому что у нас имеются целые огромные фабрики, в которых изготавливают это приятное блюдо.

Тысячи людей и даже миллионы кушают мороженое, и я бы, дети, очень хотел, чтобы все люди, кушая мороженое, думали бы о том, о чем я думаю, когда ем это сладкое.

3. Бабушкин подарок

У меня была бабушка. И она меня очень горячо любила.

Она каждый месяц приезжала к нам в гости и дарила нам игрушки. И вдобавок приносила с собой целую корзинку пирожных.

Из всех пирожных она позволяла мне выбрать то, которое мне нравится.

А мою старшую сестренку Лелю бабушка не очень любила. И не позволяла ей выбирать пирожные. Она сама давала ей какое придется. И от этого моя сестренка Леля всякий раз хныкала и сердилась больше на меня, чем на бабушку.

В один прекрасный летний день бабушка приехала к нам на дачу.

Она приехала на дачу и идет по саду. В одной руке у нее корзинка с пирожными, в другой — сумочка.

И мы с Лелей подбежали к бабушке и с ней поздоровались. И с грустью увидели, что на этот раз, кроме пирожных, бабушка нам ничего не принесла.

И тогда моя сестренка Леля сказала бабушке:

— Бабушка, а кроме пирожных ты разве нам сегодня ничего не принесла?

И моя бабушка рассердилась на Лелю и так ей ответила:

— Принесла. Но только не дам невоспитанной особе, которая так откровенно об этом спрашивает. Подарок получит благовоспитанный мальчик Миня, который лучше всех на свете благодаря своему тактичному молчанию.

И с этими словами бабушка велела мне протянуть руку. И на мою ладонь она положила десять новеньких монеток по десять копеек.

И вот я стою как дурачок и с восторгом смотрю на новенькие монеты, которые лежат у меня на ладони. И Леля тоже смотрит на эти монеты. И ничего не говорит. Только у нее глазенки сверкают недобрый огоньком.

Бабушка полюбовалась на меня и пошла пить чай.

И тогда Леля с силой ударила меня по руке снизу вверх, так что все мои монеты подпрыгнули на ладони и попадали в траву и в канаву.

И я так громко зарыдал, что сбежались все взрослые — папа, мама и бабушка. И все они моментально нагнулись и стали разыскивать упавшие мои монетки.

И когда были собраны все монетки, кроме одной, бабушка сказала:

— Видите, как правильно я поступила, что не дала Лельке ни одной монеты! Вот она какая завистливая особа: «Если, думает, не мне, так и не ему!» Где, кстати, эта злодейка в настоящий момент?

Чтобы избежать трепки, Леля, оказывается, влезла на дерево и, сидя на дереве, дразнила меня и бабушку языком.

Соседский мальчик Павлик хотел стрельнуть в Лелю из рогатки, чтоб снять ее с дерева. Но бабушка не позволила ему это сделать, потому что Леля могла упасть

и сломать себе ногу. Бабушка не пошла на эту крайность и даже хотела отобрать у мальчика его рогатку.

И тогда мальчик рассердился на нас всех, и на бабушку в том числе, и издали стрельнул в нее из рогатки.

Бабушка, ахнув, сказала:

— Как это вам нравится? Из-за этой злодейки меня из рогатки подбили. Нет, я не буду к вам больше приезжать, чтоб не иметь подобных историй. Лучше вы привозите ко мне моего славного мальчика Миню. И я всякий раз, в пику Лельке, буду дарить ему подарки.

Папа сказал:

— Хорошо. Я так и сделаю. Но только вы, мамаша, напрасно хвалите Миньку! Конечно, Леля поступила нехорошо. Но и Минька тоже не из лучших мальчиков на свете. Лучший мальчик на свете тот, который отдал бы своей сестренке несколько монеток, видя, что у нее ничего нет. И этим он не довел бы свою сестренку до злобы и зависти.

Сидя на своем дереве, Лелька сказала:

— А лучшая бабушка на свете та, которая всем детям что-нибудь дарит, а не только Миньке, который по своей глупости или хитрости молчит и поэтому получает подарки и пирожные.

Бабушка не пожелала больше оставаться в саду.

И все взрослые ушли пить чай на балкон.

Тогда я сказал Леле:

— Леля, слезь с дерева! Я подарю тебе две монетки.

Леля слезла с дерева, и я подарил ей две монетки.

И в хорошем настроении пошел на балкон и сказал взрослым:

— Все-таки бабушка оказалась права. Я лучший мальчик на свете — я сейчас подарил Леле две монетки.

Бабушка ахнула от восторга. И мама тоже ахнула. Но папа, нахмурившись, сказал:

— Нет, лучший мальчик на свете тот, который сделает что-нибудь хорошее и после этим не будет хвастаться.

И тогда я побежал в сад, нашел свою сестренку и дал ей еще монетку. И ничего об этом не сказал взрослым.

Итого у Лельки стало три монеты, и четвертую монетку она нашла в траве, там, где она меня ударила по руке.

И на все эти четыре монеты Лелька купила мороженое. И она два часа его ела, наелась, и еще у нее осталось.

А к вечеру у нее заболел живот, и Лелька целую неделю пролежала в кровати.

И вот, ребята, прошло с тех пор много лет. И до сих пор я отлично помню папины слова.

Нет, мне, может быть, не удалось стать очень хорошим. Это очень трудно. Но к этому, дети, я всегда стремился.

И то хорошо.

4. Не надо врать.

Я учился очень давно. Тогда еще были гимназии. И учителя тогда ставили в дневнике отметки за каждый спрошенный урок. Они ставили какой-нибудь балл — от пятерки до единицы включительно.

А я был очень маленький, когда поступил в гимназию, в przygotowительный класс. Мне было всего семь лет.

И я ничего еще не знал, что бывает в гимназиях. И первые три месяца ходил буквально как в тумане.

И вот однажды учитель велел нам выучить наизусть стихотворение:

Весело сияет месяц над селом,
Белый снег сверкает синим огоньком...

А я этого стихотворения не выучил. Я не слышал, что сказал учитель. Я не слышал потому, что мальчишки, которые сидели позади, то шлепали меня книгой по затылку, то мазали мне ухо чернилами, то дергали меня за волосы и, когда я от неожиданности вскакивал, подкладывали под меня карандаш или вставочку. И по этой причине я сидел в классе перепуганный и даже обалдевший и все время прислушивался, что еще замыслили против меня сидевшие позади мальчишки.

А на другой день учитель, как назло, вызвал меня и велел прочитать наизусть заданное стихотворение.

А я не только не знал его, но даже и не подозревал, что на свете есть такие стихотворения. Но от робости я не посмел сказать учителю, что не знаю этих стихов. И совершенно ошеломленный стоял за своей партой, не произнося ни слова.

Но тут мальчишки стали подсказывать мне эти стихи. И благодаря этому я стал лепетать то, что они мне шептали.

А в то время у меня был хронический насморк, и я плохо слышал одним ухом и поэтому с трудом разбирал то, что они мне подсказывали.

Еще первые строчки я кое-как произнес. Но когда дело дошло до фразы: «Крест под облаками, как свеча, горит», я сказал: «Треск под сапогами, как свеча, болит».

Тут раздался хохот среди учеников. И учитель тоже засмеялся. Он сказал:

— А ну-ка, дай сюда свой дневник! Я тебе туда единицу поставлю.

И я заплакал, потому что это была моя первая единица и я еще не знал, что за это бывает.

После уроков моя сестренка Леля зашла за мной, чтобы вместе идти домой.

По дороге я достал из ранца дневник, развернул его на той странице, где была поставлена единица, и сказал Леле:

— Леля, погляди, что это такое? Это мне учитель поставил за стихотворение «Весело сияет месяц над селом».

Леля поглядела и засмеялась. Она сказала:

— Минька, это плохо! Это тебе учитель влепил единицу по русскому языку. Это до того плохо, что я сомневаюсь, что папа тебе подарит фотографический аппаратик к твоим именинам, которые будут через две недели.

Я сказал:

— А что же делать?

Леля сказала:

— Одна наша ученица взяла и заклеила две страницы в своем дневнике, там, где у нее была единица. Ее папа пощупал пальцы, но отклеить не мог и так и не увидел, что там было.

Я сказал:

— Леля, это нехорошо — обманывать родителей!

Леля засмеялась и пошла домой. А я в грустном настроении зашел в городской сад, сел там на скамейку и, развернув дневник, с ужасом глядел на единицу.

Я долго сидел в саду. Потом пошел домой. Но когда подходил к дому, вдруг вспомнил, что оставил свой дневник на скамейке в саду. Я побежал назад. Но в саду на скамейке уже не было моего дневника. Я сначала испу-

гался, а потом обрадовался, что теперь нет со мной дневника с этой ужасной единицей.

Я пришел домой и сказал отцу, что потерял свой дневник. И Леля засмеялась и подмигнула мне, когда услышала эти мои слова.

На другой день учитель, узнав, что я потерял дневник, выдал мне новый.

Я развернул этот новый дневник с надеждой, что на этот раз там ничего плохого нету, но там против русского языка снова стояла единица, еще более жирная, чем раньше.

И тогда я почувствовал такую досаду и так рассердился, что бросил этот дневник за книжный шкаф, который стоял у нас в классе.

Через два дня учитель, узнав, что у меня нету и этого дневника, заполнил новый. И, кроме единицы по русскому языку, он там вывел мне двойку по поведению. И сказал, чтоб мой отец непременно посмотрел мой дневник.

Когда я встретился с Лелей после урока, она мне сказала:

— Это не будет вранье, если мы временно заклеим страницу. И через неделю после твоих именин, когда ты получишь фотоаппаратик, мы отклеим ее и покажем папе, что там было.

Мне очень хотелось получить фотографический аппарат, и я с Лелей заклеил уголки злополучной страницы дневника.

Вечером папа сказал:

— Ну-ка, покажи свой дневник! Интересно знать, не нахватал ли ты единиц?

Папа стал смотреть дневник, но ничего плохого там не увидел, потому что страница была заклеена.

И когда папа рассматривал мой дневник, на лестнице вдруг кто-то позвонил.

Пришла какая-то женщина и сказала:

— На днях я гуляла в городском саду и там на скамейке нашла дневник. По фамилии я узнала адрес и вот принесла его вам, чтобы вы сказали, не потерял ли этот дневник ваш сын.

Папа посмотрел дневник и, увидев там единицу, все гонял.

Он не стал на меня кричать. Он только тихо сказал:

— Люди, которые идут на вранье и обман, смешны и комичны, потому что рано или поздно их вранье всегда обнаружится. И не было на свете случая, чтоб что-нибудь из вранья осталось неизвестным.

Я, красный как рак, стоял перед папой, и мне было совместно от его тихих слов.

Я сказал:

— Вот что: еще один мой, третий, дневник с единицей я бросил в школе за книжный шкаф.

Вместо того чтоб на меня рассердиться еще больше, папа улыбнулся и просиял. Он схватил меня на руки и стал меня целовать.

Он сказал:

— То, что ты в этом сознался, меня исключительно обрадовало. Ты сознался в том, что могло долгое время остаться неизвестным. И это мне дает надежду, что ты больше не будешь врать. И вот за это я тебе подарю фотоаппаратик.

Когда Леля услышала эти слова, она подумала, что папа свихнулся в своем уме и теперь всем дарит подарки не за пятерки, а за единицы.

И тогда Леля подошла к папе и сказала:

— Папочка, я тоже сегодня получила двойку по физике, потому что не выучила урока.

Но ожидания Лели не оправдались. Папа рассердился на нее, выгнал ее из своей комнаты и велел ей немедленно сесть за книги.

И вот вечером, когда мы ложились спать, неожиданно раздался звонок.

Это к папе пришел мой учитель. И сказал ему:

— Сегодня у нас в классе была уборка, и за книжным шкафом мы нашли дневник вашего сына. Как вам нравится этот маленький вун и обманщик, бросивший свой дневник, с тем чтобы вы его не увидели?

Папа сказал:

— Об этом дневнике я уже лично слышал от моего сына. Он сам признался мне в этом поступке. Так что нет причин думать, что мой сын неисправимый вун и обманщик.

Учитель сказал папе:

— Ах, вот как! Вы уже знаете об этом. В таком случае — это недоразумение. Извините. Покойной ночи.

И я, лежа в своей постели, услышав эти слова, горько заплакал. И дал себе слово говорить всегда правду.

И я действительно так всегда и теперь поступаю.

Ах, это иногда бывает очень трудно, но зато у меня на сердце весело и спокойно.

5. Тридцать лет спустя

Мои родители очень горячо меня любили, когда я был маленький. И они дарили мне много подарков.

Но когда я чем-нибудь заболел, родители буквально тогда засыпали меня подарками.

А я почему-то очень часто хворал. Главным образом свинкой или ангиной.

А моя сестренка Леля почти никогда не хворала. И она завидовала, что я так часто болею.

Она говорила:

— Вот погоди, Минька, я тоже как-нибудь захвораю, так наши родители тоже небось начнут мне закупать всего.

Но, как назло, Леля не хворала. И только раз, подставив стул к камину, она упала и разбила себе лоб. Она охала и стонала, но вместо ожидаемых подарков она от нашей мамы получила несколько шлепков, потому что она подставила стул к камину и хотела достать мамины часики, а это было запрещено.

И вот однажды наши родители ушли в театр, и мы с Лелей остались в комнате. Мы с ней стали играть на маленьком настольном бильярде.

Во время игры Леля, охнув, сказала:

— Минька, я сейчас нечаянно проглотила бильярдный шарик. Я держала его во рту, и он у меня через горло провалился вовнутрь.

А у нас для бильярда были хотя и маленькие, но удивительно тяжелые металлические шарики. И я испугался, что Леля проглотила такой тяжелый шарик. И заплакал, потому что подумал, что у нее в животе будет взрыв.

Но Леля сказала:

— От этого взрыва не бывает. Но болезнь может продолжаться целую вечность. Это не то, что твои свинка и ангина, которые проходят в три дня.

Леля легла на диван и стала охать.

Вскоре пришли наши родители, и я им рассказал, что случилось.

Мои родители испугались до того, что побледнели. Они бросились к дивану, на котором лежала Лелька, и стали ее целовать и плакать.

И сквозь слезы мама спросила Лельку, что она чувствует в животе. И Леля сказала:

— Я чувствую, что шарик катается там у меня внутри. И мне от этого щекотно и хочется какао и апельсинов.

Папа надел пальто и сказал:

— Со всей осторожностью разденьте Лелю и положите ее в постель. А я тем временем сбегаю за врачом.

Мама стала раздевать Лелю, но когда она сняла платье и передник, из кармана передника вдруг выпал бильярдный шарик и покатился под кровать.

Папа, который еще не ушел, чрезвычайно нахмурился. Он подошел к бильярдному столику и пересчитал оставшиеся шары. И их оказалось пятнадцать, а шестнадцатый шарик лежал под кроватью.

Папа сказал:

— Леля нас обманула. В ее животе нет ни одного шарика; они все здесь.

Мама сказала:

— Это ненормальная и даже сумасшедшая девочка. Иначе я не могу ничем объяснить ее нелепый поступок.

Папа никогда нас не бил, но тут он дернул Лелю за косичку и сказал:

— Объясни, что это значит?

Леля захныкала и не нашлась, что ответить.

Папа сказал:

— Она хотела над нами подшутить. Но с нами шутки плохи! Целый год она от меня ничего не получит. И целый год она будет ходить в старых башмаках и в старом синеньком платье, которое она так не любит!

И наши родители, хлопнув дверью, ушли из комнаты.

И я, глядя на Лелю, не мог удержаться от смеха. Я ей сказал:

— Леля, лучше бы ты подождала, когда захвораешь свинкой, чем идти на такое вранье для получения подарков от наших родителей.

И вот, представьте себе, прошло тридцать лет!

Тридцать лет прошло с тех пор, как произошел этот маленький несчастный случай с бильярдным шариком.

И за все эти годы я ни разу не вспомнил об этом случае.

И только недавно, когда я стал писать эти рассказы, я припомнил все, что было. И стал об этом думать. И мне показалось, что Леля обманула родителей совсем не для того, чтобы получать подарки, которые она и без того имела. Она обманула их, видимо, для чего-то другого.

И когда мне пришла в голову эта мысль, я сел в поезд и поехал в Симферополь, где жила Леля. А Леля была уже, представьте себе, взрослая и даже уже немножко старая женщина. И у ней было трое детей и муж — санитарный доктор.

И вот я приехал в Симферополь и спросил Лелю:

— Леля, помнишь ли ты этот случай с бильярдным шариком? Зачем ты это сделала?

И Леля, у которой было трое детей, покраснела и сказала:

— Когда ты был маленький, ты был славенький, как кукла. И тебя все любили. А я уже тогда выросла и была нескладная девочка. И вот почему я тогда соврала, что проглотила бильярдный шарик, — я хотела, чтобы и меня так же, как тебя, все любили и жалели, хотя бы как больную.

И я ей сказал:

— Леля, я для этого приехал в Симферополь.

И я поцеловал ее и крепко обнял. И дал ей тысячу рублей.

И она заплакала от счастья, потому что она поняла мои чувства и оценила мою любовь.

И тогда я подарил ее детям, каждому по сто рублей на игрушки. И мужу ее — санитарному врачу — отдал свой портсигар, на котором золотыми буквами было написано: «Будь счастлив».

Потом я дал на кино и конфеты еще по тридцать рублей ее детям и сказал им:

— Глупые, маленькие сычи! Я дал вам это для того, чтобы вы лучше запомнили переживаемый момент и для того, чтобы вы знали, как вам надо в дальнейшем поступать.

На другой день я уехал из Симферополя и дорогой думал о том, что надо любить и жалеть людей, хотя бы тех, которые хорошие. И надо дарить им иногда какие-нибудь подарки. И тогда у тех, кто дарит, и у тех, кто получает, становится прекрасно на душе.

А которые ничего не дарят людям, а вместо этого преподносят им неприятные сюрпризы, — у тех бывает мрачно и противно на душе. Такие люди чахнут, сохнут и хворают нервной экземой. Память у них ослабевает, и ум затемняется. И они умирают раньше времени.

А добрые, наоборот, живут крайне долго и отличаются хорошим здоровьем.

6. Находки

Однажды мы с Лелей взяли коробку от конфет и положили туда лягушку и паука.

Потом мы завернули эту коробку в чистую бумагу, перевязали ее шикарной голубой ленточкой и положили этот пакет на панель против нашего сада. Как будто бы кто-то шел и потерял свою покупку.

Положив этот пакет возле тумбы, мы с Лелей спрятались в кустах нашего сада и, давась от смеха, стали ждать, что будет.

И вот идет прохожий.

Увидев наш пакет, он, конечно, останавливается, радуется и даже от удовольствия потирает себе руки. Еще бы: он нашел коробку конфет — это не так-то часто бывает в этом мире.

Затаив дыхание, мы с Лелей смотрим, что будет дальше.

Прохожий нагнулся, взял пакет, быстро развязал его и, увидев красивую коробку, еще того более обрадовался.

И вот крышка открыта. И наша лягушка, соскучившись сидеть в темноте, выскакивает из коробки прямо на руку прохожего.

Тот ахает от удивления и швыряет коробку подальше от себя.

Тут мы с Лелей стали так смеяться, что повалились на траву.

И мы смеялись до того громко, что прохожий обернулся в нашу сторону и, увидев нас за забором, тотчас все понял.

В одно мгновение он ринулся к забору, одним махом перепрыгнул его и бросился к нам, чтобы нас проучить.

Мы с Лелей задали стрекача.

Мы с визгом бросились через сад к дому.

Но я запнулся о грядку и растянулся на траве.

И тут прохожий довольно сильно отодрал меня за ухо.

Я громко закричал. Но прохожий, дав мне еще два шлепка, спокойно удалился из сада.

На крики и шум прибежали наши родители.

Держась за покрасневшее ухо и всхлипывая, я подошел к родителям и пожаловался им на то, что было.

Моя мама хотела позвать дворника, чтобы с дворником догнать прохожего и арестовать его.

И Леля уже было кинулась за дворником. Но папа остановил ее. И сказал ей и маме:

— Не зовите дворника. И не надо арестовывать прохожего. Конечно, это не дело, что он отодрал Миньку за уши, но на месте прохожего я, пожалуй, сделал бы то же самое.

Услышав эти слова, мама рассердилась на папу и сказала ему:

— Ты ужасный эгоист!

И мы с Лелей тоже рассердились на папу и ничего ему не сказали. Только я потерял свое ухо и заплакал. И Лелька тоже захныкала. И тогда моя мама, взяв меня на руки, сказала папе:

— Вместо того чтобы заступаться за прохожего и этим доводить детей до слез, ты бы лучше объяснил им, что есть плохого в том, что они сделали. Лично я этого не вижу. И все расцениваю как невинную детскую забаву.

И папа не нашелся, что ответить. Он только сказал:

— Вот дети вырастут большими и когда-нибудь сами узнают, почему это плохо.

И вот проходили годы. Прошло пять лет. Потом десять лет прошло. И, наконец, прошло двенадцать лет.

Прошло двенадцать лет, и из маленького мальчика я превратился в молодого студентика лет так восемнадцати.

Конечно, я забыл и думать об этом случае. Более интересные мысли посещали тогда мою голову.

Но однажды вот что произошло.

Весной, по окончании экзаменов, я поехал на Кавказ. В то время многие студенты брали на лето какую-нибудь работу и уезжали кто куда. И я тоже взял себе должность — контролера поездов.

Я был бедный студентик и денег не имел. А тут давали бесплатный билет на Кавказ и вдобавок платили жалованье. И вот я взял эту работу. И поехал.

Приезжаю сначала в город Ростов, для того чтобы зайти в управление и получить там деньги, документы и щипчики для пробивания билетов.

А наш поезд опоздал. И вместо утра пришел в пять часов вечера.

Я сдал мой чемодан на хранение. И на трамвае поехал в канцелярию.

Прихожу туда. Швейцар мне говорит:

— К великому сожалению, опоздали, молодой человек. Канцелярия уже закрыта.

— Как так, — говорю, — закрыта? Мне же надо сегодня получить деньги и удостоверение.

Швейцар говорит:

— Все уже ушли. Приходите послезавтра.

— Как так, — говорю, — послезавтра? Тогда лучше уж я завтра зайду.

Швейцар говорит:

— Завтра праздник, канцелярия не работает. А послезавтра приходите и все, что надо, получите.

Я вышел на улицу. И стою. Не знаю, что мне делать.

Впереди два дня. Денег в кармане нет — всего осталось три копейки. Город чужой — никто меня тут не знает. И где мне остановиться — неизвестно. И что кушать — непонятно.

Я побежал на вокзал, чтобы взять из моего чемодана какую-нибудь рубашку или полотенце, для того чтобы продать на рынке. Но на вокзале мне сказали:

— Прежде чем брать чемодан, заплатите за хранение, а потом уж его берите и делайте с ним что хотите.

Кроме трех копеек, у меня ничего не было, и я не мог заплатить за хранение. И вышел на улицу еще того более расстроенный.

Нет, сейчас бы я так не растерялся. А тогда я ужасно растерялся. Иду, бреду по улице неизвестно куда и горюю.

И вот иду по улице и вдруг на панели вижу: что такое? Маленький красный плюшевый кошелек. И, видать, не пустой, а туго набитый деньгами.

На одно мгновение я остановился. Мысли, одна другой радостнее, мелькнули у меня в голове. Я мысленно увидел себя в булочной за стаканом кофе. А потом в гостинице на кровати, с плиткой шоколада в руках.

Я сделал шаг к кошельку. И протянул за ним руку. Но в этот момент кошелек (или мне это показалось) немного отодвинулся от моей руки.

Я снова протянул руку и уже хотел схватить кошелек. Но он снова отодвинулся от меня и довольно далеко.

Ничего не соображая, я снова бросился к кошельку.

И вдруг в саду, за забором, раздался детский хохот. И кошелек, привязанный за нитку, стремительно исчез с панели.

Я подошел к забору. Какие-то ребята от хохота буквально катались по земле.

Я хотел броситься за ними. И уже схватился рукой за забор, чтоб его перепрыгнуть. Но тут в одно мгновение мне припомнилась давно забытая сценка из моей детской жизни.

И тогда я ужасно покраснел. Отошел от забора. И, медленно шагая, побрел дальше.

Ребята! Все проходит в жизни. Прошли и эти два дня.

Вечером, когда стемнело, я пошел за город и там, в поле, на траве, заснул.

Утром встал, когда взошло солнышко. Купил фунт хлеба за три копейки, съел и запил водичкой. И целый день, до вечера, без толку бродил по городу.

А вечером снова пришел в поле и снова там переночевал. Только на этот раз плохо, потому что пошел дождь, и я промок как собака.

Рано утром на другой день я уже стоял у подъезда и ожидал, когда откроется канцелярия.

И вот она открыта. Я, грязный, взлохмаченный и мокрый, вошел в канцелярию.

Чиновники недоверчиво на меня посмотрели. И сначала не захотели мне выдать деньги и документы. Но потом выдали.

И вскоре я, счастливый и сияющий, поехал на Кавказ.

7. Великие путешественники

Когда мне было шесть лет, я не знал, что земля имеет форму шара.

Но Степка, хозяйский сын, у родителей которого мы жили на даче, объяснил мне, что такое земля. Он сказал:

— Земля есть круг. И если пойти все прямо, то можно обогнуть всю землю, и все равно придешь в то самое место, откуда вышел.

И когда я не поверил, Степка ударил меня по затылку и сказал:

— Скорей я пойду в кругосветное путешествие с твоей сестренкой Лелей, чем я возьму тебя. Мне не доставляет интереса с дураками путешествовать.

Но мне хотелось путешествовать, и я подарил Степке перочинный ножик.

Степке понравился мой ножик, и он согласился взять меня в кругосветное путешествие.

На огороде Степка устроил общее собрание путешественников. И там он сказал мне и Леле:

— Завтра, когда ваши родители уедут в город, а моя мамаша пойдет на речку стирать, мы сделаем что задумали. Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни. И будем идти напрямик до тех пор, пока не вернемся сюда обратно, хотя бы на это у нас ушел целый год.

Леля сказала:

— А если, Степочка, мы встретим индейцев?

— Что касается индейцев, — ответил Степа, — то индейские племена мы будем брать в плен.

— А которые не захотят идти в плен? — робко спросил я.

— Которые не захотят, — ответил Степа, — тех мы и не будем брать в плен.

Леля сказала:

— Из моей копилки я возьму три рубля. Я думаю, что нам хватит этих денег.

Степка сказал:

— Три рубля нам безусловно хватит, потому что нам деньги нужны только лишь на покупку семечек и конфет. Что касается еды, то мы по дороге будем убивать мелких животных, и их нежное мясо мы будем жарить на костре.

Степка сбегал в сарай и принес оттуда большой мешок из-под муки. И в этот мешок мы стали собирать вещи, нужные для далеких путешествий. Мы положили в мешок хлеб, и сахар, и кусочек сала, потом положили разную посуду — тарелки, стаканы, вилки и ножи. Потом, подумавши, положили цветные карандаши, волшебный фонарик, глиняный рукомоиник и увеличительное стеклышко для зажигания костров. И, кроме того, запихали в мешок два одеяла и подушку от тахты.

Помимо этого, я приготовил три рогатки, удочку и сачок для ловли тропических бабочек.

И на другой день, когда наши родители уехали в город, а Степкина мать ушла на речку полоскать белье, мы покинули нашу деревню Пески.

Мы пошли по дороге через лес.

Впереди бежала Степкина собачка Тузик. За ней шел Степка с громадным мешком на голове. За Степкой шла Леля со скакалкой. И за Лелей, с тремя рогатками, сачком и удочкой, шел я.

Мы шли около часа.

Наконец Степа сказал:

— Мешок дьявольски тяжелый. И я один его не понесу. Пусть каждый по очереди несет этот мешок.

Тогда Леля взяла этот мешок и понесла его.

Но она недолго несла, потому что выбилась из сил.

Она бросила мешок на землю и сказала:

— Теперь пусть Минька понесет.

Когда на меня взвалили этот мешок, я ахнул от удивления: до того этот мешок оказался тяжелым.

Но я еще больше удивился, когда зашагал с этим мешком по дороге. Меня пригибало к земле, и я, как маятник, качался из стороны в сторону, пока наконец, пройдя шагов десять, не свалился с этим мешком в канаву.

Причем я свалился в канаву странным образом. Сначала упал в канаву мешок, а вслед за мешком, прямо на все эти вещи, нырнул и я. И хотя я был легкий, тем не менее я ухитрился разбить все стаканы, почти все тарелки и глиняный рукомоиник.

Леля и Степка умирали от смеха, глядя, как я барахтаюсь в канаве. И поэтому они не рассердились на меня, узнав, какие убытки я причинил своим падением.

Степка свистнул собаку и хотел ее приспособить для ношения тяжестей. Но из этого ничего не вышло, потому что Тузик не понимал, что мы от него хотим. Да и мы плохо соображали, как нам под это приспособить Тузика.

Воспользовавшись нашим раздумьем, Тузик прогрыз мешок и в одно мгновение скушал все сало.

Тогда Степка велел нам всем вместе нести этот мешок.

Ухватившись за углы, мы понесли мешок. Но нести было неудобно и тяжело. Тем не менее мы шли еще два часа. И наконец вышли из леса на лужайку.

Тут Степка решил сделать привал. Он сказал:

— Всякий раз, когда мы будем отдыхать или когда будем ложиться спать, я буду протягивать ноги в том направлении, в каком нам надо идти. Все великие путешественники так поступали и благодаря этому не сбивались со своего прямого пути.

И Степка сел у дороги, протянув вперед ноги.

Мы развязали мешок и начали закусывать.

Мы ели хлеб, посыпанный сахарным песком.

Вдруг над нами стали кружиться осы. И одна из них, желая, видимо, попробовать мой сахар, ужалила меня в щеку. Вскоре моя щека вздулась как пирог. И я, по совету Степки, стал прикладывать к ней мох, сырую землю и листья.

Перед тем как пойти дальше, Степка выкинул из мешка почти все, что там было, и мы пошли налегке.

Я шел позади всех, скуля и хныча. Щека моя горела и ныла. Леля тоже была не рада путешествию. Она вздыхала и мечтала о возвращении домой, говоря, что дома тоже бывает хорошо.

Но Степка запретил нам об этом и думать. Он сказал:

— Каждого, кто захочет вернуться домой, я привяжу к дереву и оставлю на съедение муравьям.

Мы продолжали идти в плохом настроении.

И только у Тузика настроение было ничего себе.

Задрав хвост, он носился за птицами и своим лаем вносил излишний шум в наше путешествие.

Наконец стало темнеть.

Степка бросил мешок на землю. И мы решили тут заночевать.

Мы собрали хворосту для костра. И Степка извлек из мешка увеличительное стеклышко, чтобы разжечь костер.

Но, не найдя на небе солнца, Степка приуныл. И мы тоже огорчились.

И, покушав хлеба, легли в темноте.

Степка торжественно лег ногами вперед, говоря, что утром нам будет ясно, в какую сторону идти.

Степка тотчас захрапел. И Тузик тоже засопел носом. Но мы с Лелей долго не могли заснуть. Нас пугал темный лес и шум деревьев. Сухую ветку под головой Леля вдруг приняла за змею и от ужаса завизжала.

А упавшая шишка с дерева напугала меня до того, что я подскочил на земле как мячик.

Наконец мы задремали.

Я проснулся оттого, что Леля теребила меня за плечи. Было раннее утро. И солнце еще не взошло.

Леля шепотом сказала мне:

— Минька, пока Степка спит, давай повернем его ноги в обратную сторону. А то он заведет нас куда Макар телят не гонял.

Мы посмотрели на Степку. Он спал с блаженной улыбкой.

Мы с Лелей ухватились за его ноги и в одно мгновение повернули их в обратную сторону, так что Степкина голова описала полукруг.

Но от этого Степка не проснулся.

Он только застонал во сне и замахал руками, бормоча: «Эй, сюда, ко мне...»

Наверное, ему снилось, что на него напали индейцы и он зовет нас на помощь.

Мы стали ждать, когда Степка проснется.

Он проснулся с первыми лучами солнца и, посмотрев на свои ноги, сказал:

— Хороши бы мы были, если б я лег ногами куда попало. Вот мы бы и не знали, в какую сторону нам идти. А теперь, благодаря моим ногам, всем нам ясно, что надо идти туда.

И Степка махнул рукой по направлению дороги, по которой мы шли вчера.

Мы покушали хлеба и двинулись в путь.

Дорога была знакома. И Степка то и дело раскрывал рот от удивления. Тем не менее он сказал:

— Кругосветное путешествие тем и отличается от дру-

гих путешествий, что все повторяется, так как земля есть круг.

Позади раздался скрип колес. Это какой-то дяденька ехал в пустой телеге.

Степка сказал:

— Для быстроты путешествия и чтоб скорей обогнуть землю, не худо бы нам сесть в эту телегу.

Мы стали проситься, чтоб нас подвезли. Добродушный дяденька остановил телегу и позволил нам в нее сесть.

Мы быстро покатали. И ехали не больше часа.

Вдруг впереди показалась наша деревня Пески.

Степка, раскрыв рот от изумленья, сказал:

— Вот деревня, в аккурат похожая на нашу деревню Пески. Это бывает во время кругосветных путешествий.

Но Степка еще больше изумился, когда мы подъехали к пристани.

Мы вылезли из телеги.

Сомненья не оставалось — это была наша пристань, и к ней только что подошел пароход.

Степка прошептал:

— Неужели же мы обогнули землю?

Леля фыркнула, и я тоже засмеялся.

Но тут мы увидели на пристани наших родителей и нашу бабушку — они только что сошли с парохода.

И рядом с ними мы увидели нашу няньку, которая с плачем что-то говорила.

Мы побежали к родителям.

И родители засмеялись от радости, что увидели нас.

Нянька сказала:

— Ах, дети, а я думала, что вы вчера потонули.

Леля сказала:

— Если бы мы вчера потонули, то мы бы не могли отправиться в кругосветное путешествие.

Мама воскликнула:

— Что я слышу! Их надо наказать.

Папа сказал:

— Все хорошо, что хорошо кончается.

Бабушка, сорвав ветку, сказала:

— Я предлагаю выпороть детей. Миньку пусть выпороть мама. А Лелю я беру на себя.

Папа сказал:

— Порка — это старый метод воспитания детей. И это не приносит пользы. Дети небось и без порки поняли, какую глупость они совершили.

Мама, вздохнув, сказала:

— У меня дурацкие дети. Идти в кругосветное путешествие, не зная таблицы умножения и географии, — ну что это такое!

Папа сказал:

— Мало знать географию и таблицу умножения. Чтоб идти в кругосветное путешествие, надо иметь высшее образование в размере пяти курсов. Надо знать все, что там преподают, включая космографию. А те, которые пускаются в дальний путь без этих знаний, приходят к печальным результатам, достойным сожаления.

С этими словами мы пришли домой. И сели обедать. И наши родители смеялись и ахали, слушая наши рассказы о вчерашнем приключении.

Что касается Степки, то его мамаша заперла в бане, и там наш великий путешественник просидел целый день.

А на другой день мамаша его выпустила. И мы с ним стали играть как ни в чем не бывало.

Остается еще сказать несколько слов о Тузике.

Тузик бежал за телегой целый час и очень переутомился.

Прибежав домой, он забрался в сарай и там спал до вечера.

А вечером, покушав, снова заснул, и что он видел во сне — остается покрытым мраком неизвестности.

Что касается меня, то во сне я увидел тигра, которого я убил метким выстрелом из рогатки.

8. Золотые слова

Когда я был маленький, я очень любил ужинать со взрослыми. И моя сестренка Леля тоже любила такие ужины не меньше, чем я.

Во-первых, на стол ставилась разнообразная еда. И эта сторона дела нас с Лелей в особенности прельщала.

Во-вторых, взрослые всякий раз рассказывали интересные факты из своей жизни. И это нас с Лелей тоже забавляло.

Конечно, первые разы мы вели себя за столом тихо. Но потом осмелели. Леля стала вмешиваться в разговоры. Тараторила без конца. И я тоже иной раз вставлял свои замечания.

Наши замечания сместили гостей. И мама с папой сначала были даже довольны, что гости видят такой наш ум и такое наше развитие.

Но потом вот что произошло на одном ужине.

Папин начальник начал рассказывать какую-то невероятную историю о том, как он спас пожарного. Этот пожарный будто бы угорел на пожаре. И папин начальник вытащил его из огня.

Возможно, что был такой факт, но только нам с Лелей этот рассказ не понравился.

И Леля сидела как на иголках. Она вдобавок вспомнила одну историю вроде этой, но только еще более интересную. И ей поскорее хотелось рассказать эту историю, чтоб ее не забыть.

Но папин начальник, как назло, рассказывал крайне медленно. И Леля не могла более терпеть.

Махнув рукой в его сторону, она сказала:

— Это что! Вот у нас во дворе одна девочка...

Леля не закончила свою мысль, потому что мама на нее шикнула. И папа на нее строго посмотрел.

Папин начальник покраснел от гнева. Ему неприятно стало, что про его рассказ Леля сказала: «это что».

Обратившись к нашим родителям, он сказал:

— Я не понимаю, зачем вы сажаете детей со взрослыми. Они меня перебивают. И вот я теперь потерял нить моего рассказа. На чем я остановился?

Леля, желая загладить происшествие, сказала:

— Вы остановились на том, как угоревший пожарный сказал вам «мерси». Но только странно, что он вообще что-нибудь мог сказать, раз он был угоревший и лежал без сознания... Вот у нас одна девочка во дворе...

Леля снова не закончила свои воспоминания, потому что получила от мамы шлепок.

Гости заулыбались. И папин начальник еще более покраснел от гнева.

Видя, что дело плохо, я решил поправить положение. Я сказал Леле:

— Ничего странного нету в том, что сказал папин начальник. Смотря какие угоревшие, Леля. Другие угоревшие пожарные хотя и лежат в обмороке, но все-таки они говорить могут. Они бредят. И говорят сами не зная что. Вот он и сказал «мерси». А сам, может, хотел сказать «караул».

Гости засмеялись. А папин начальник, затрясшись от гнева, сказал моим родителям:

— Вы плохо воспитываете ваших детей. Они мне буквально пикнуть не дают — все время перебивают глупыми замечаниями.

Бабушка, которая сидела в конце стола у самовара, сердито сказала, поглядывая на Лелю:

— Смотрите, вместо того чтобы раскаяться в своем поведении, эта особа снова принялась за еду. Смотрите, она даже аппетита не потеряла — кушает за двоих...

Леля не посмела громко возразить бабушке. Но тихо она прошептала:

— На сердитых воду возят.

Бабушка не расслышала этих слов. Но папин начальник, который сидел рядом с Лелей, принял эти слова на свой счет.

Он прямо ахнул от удивления, когда это услышал.

Обратившись к нашим родителям, он так сказал:

— Всякий раз, когда я собираюсь к вам в гости и вспоминаю про ваших детей, мне прямо неохота к вам идти.

Папа сказал:

— Ввиду того, что дети действительно вели себя крайне развязно и тем самым они не оправдали наших надежд, я запрещаю им с этого дня ужинать со взрослыми. Пусть они допьют свой чай и уходят в свою комнату.

Доев сардинки, мы с Лелей удалились под веселый смех и шутки гостей.

И с тех пор мы два месяца не садились вместе со взрослыми.

А спустя два месяца мы с Лелей стали упрашивать нашего отца, чтобы он нам снова разрешил ужинать со взрослыми. И наш отец, который был в тот день в прекрасном настроении, сказал:

— Хорошо, я вам это разрешу, но только я категорически запрещаю вам что-либо говорить за столом. Одно

ваше слово, сказанное вслух, — и более вы за стол не сядете.

И вот, в один прекрасный день мы снова за столом — ужинаем со взрослыми.

На этот раз мы сидим тихо и молчаливо. Мы знаем папин характер. Мы знаем, что если мы скажем хоть пол-слова, наш отец никогда более не разрешит нам есть со взрослыми.

Но от этого запрещения говорить мы с Лелей пока не очень страдаем. Мы с Лелей едим за четверых и между собой пересмеиваемся. Мы считаем, что взрослые даже прогадали, не позволив нам говорить. Наши рты, свободные от разговоров, целиком заняты едой.

Мы с Лелей съели все, что возможно, и перешли на сладкое.

Съев сладкое и выпив чай, мы с Лелей решили пройтись по второму кругу — мы решили повторить еду с самого начала, тем более что наша мать, увидав, что на столе почти что чисто, принесла новую еду.

Я взял булку и отрезал кусок масла. А масло было совершенно замерзшее — его только что вынули из-за окна.

Это замерзшее масло я хотел намазать на булку. Но мне это не удавалось сделать. Оно было как каменное.

И тогда я положил масло на кончик ножа и стал его греть над чаем.

А так как свой чай я давно выпил, то я стал греть это масло над стаканом папиного начальника, с которым я сидел рядом.

Папин начальник что-то рассказывал и не обращал на меня внимания.

Между тем нож согрелся над чаем. Масло немножко подтаяло. Я хотел его намазать на булку и уже стал отводить руку от стакана. Но тут мое масло неожиданно соскользнуло с ножа и упало прямо в чай.

Я обмер от страха.

Я вытаращенными глазами смотрел на масло, которое плюхнулось в горячий чай.

Потом я оглянулся по сторонам. Но никто из гостей не заметил происшествия.

Только одна Леля увидела, что случилось.

Она стала смеяться, поглядывая то на меня, то на стакан с чаем.

Но она еще больше засмеялась, когда папин начальник, что-то рассказывая, стал ложечкой помешивать свой чай.

Он мешал его долго, так что все масло растаяло без остатка. И теперь чай был похож на куриный бульон.

Папин начальник взял стакан в руку и стал подносить его к своему рту.

И хотя Леля была чрезвычайно заинтересована, что произойдет дальше и что будет делать папин начальник, когда он глотнет эту бурду, но все-таки она немножко испугалась. И даже уже раскрыла рот, чтобы крикнуть папиному начальнику: «Не пейте!»

Но, посмотрев на папу и вспомнив, что нельзя говорить, смолчала.

И я тоже ничего не сказал. Я только взмахнул руками и, не отрываясь, стал смотреть в рот папиному начальнику.

Между тем папин начальник поднес стакан к своему рту и сделал большой глоток.

Но тут глаза его стали круглые от удивления. Он охнул, подпрыгнул на своем стуле, открыл рот и, схватив салфетку, стал кашлять и плевать.

Наши родители спросили его:

— Что с вами произошло?

Папин начальник от испуга не мог ничего произнести.

Он показывал пальцами на свой рот, мычал и не без страха поглядывал на свой стакан.

Тут все присутствующие стали с интересом рассматривать чай, оставшийся в стакане.

Мама, попробовав этот чай, сказала:

— Не бойтесь, тут плавает обыкновенное сливочное масло, которое растопилось в горячем чае.

Папа сказал:

— Да, но интересно знать, как оно попало в чай. Ну-ка, дети, поделитесь с нами вашими наблюдениями.

Получив разрешение говорить, Леля сказала:

— Минька грел масло над стаканом, и оно упало.

Тут Леля, не выдержав, громко засмеялась.

Некоторые из гостей тоже засмеялись. А некоторые с серьезным и озабоченным видом стали рассматривать свои стаканы.

Папин начальник сказал:

— Еще спасибо, что они мне в чай масло положили. Они могли бы дегтю влить. Интересно, как бы я себя чувствовал, если бы это был деготь. Ну, эти дети доведут меня до сумасшествия.

Один из гостей сказал:

— Меня другое интересует. Дети видели, что масло упало в чай. Тем не менее они никому не сказали об этом. И допустили выпить такой чай. И вот в чем их главное преступление.

Услышав эти слова, папин начальник воскликнул:

— Ах, в самом деле, гадкие дети, почему вы мне ничего не сказали? Я бы тогда не стал пить этот чай...

Леля, перестав смеяться, ответила:

— Нам папа не велел за столом говорить. Вот поэтому мы ничего не сказали.

Я, вытерев слезы, пробормотал:

— Ни одного слова нам папа не велел произносить. А то бы мы что-нибудь сказали.

Папа, улыбнувшись, воскликнул:

— Это не гадкие дети, а глупые! Конечно, с одной стороны хорошо, что они беспрекословно исполняют приказания. Надо и впредь также поступать — исполнять приказания и придерживаться правил, которые существуют. Но все это надо делать с умом. Если б ничего не случилось — у вас была священная обязанность молчать. Масло попало в чай или бабушка забыла закрыть кран у самовара — вам надо крикнуть. И вместо наказания вы получили бы благодарность. Все надо делать с учетом изменившейся обстановки. И эти слова вам надо золотыми буквами записать в своем сердце. Иначе получится абсурд.

Мама сказала:

— Или, например, я не велю вам выходить из квартиры. Вдруг пожар. Что же вы, дурацкие дети, так и будете торчать в квартире, пока не сгорите? Наоборот, вам надо выскочить из квартиры и поднять переполох.

Бабушка сказала:

— Или, например, я всем налила по второму стакану чаю. А Леле я не налила. Значит, я поступила правильно.

Тут все, кроме Лели, засмеялись. А папа сказал:

— Вы не совсем правильно поступили, потому что обстановка снова изменилась. Выяснилось, что дети

не виноваты. А если и виноваты, то в глупости. Ну, а за глупость наказывать не полагается. Попросим вас, бабушка, налить Леле чаю.

Все гости засмеялись. А мы с Лелей зааплодировали.

Но папины слова я, пожалуй, не сразу понял. Зато впоследствии я понял и оценил эти золотые слова.

И этих слов, уважаемые дети, я всегда придерживался во всех случаях жизни. И в личных своих делах. И на войне. И даже, представьте себе, в моей работе.

В моей работе я, например, учился у старых великолепных мастеров. И у меня был большой соблазн писать по тем правилам, по которым они писали.

Но я увидел, что обстановка изменилась. Жизнь и публика уже не те, что были при них. И поэтому я не стал подражать их правилам.

И, может быть, поэтому я принес людям не так уж много огорчений. И был до некоторой степени счастливым.

Впрочем, еще в древние времена один мудрый человек (которого вели на казнь) сказал: «Никого нельзя назвать счастливым раньше его смерти».

Это были тоже золотые слова.

1939

РАССКАЗЫ О ЛЕНИНЕ¹

1. Графин

Когда Ленину было восемь лет, с ним случилась одна маленькая история, о которой впоследствии, много лет спустя, рассказала его сестра, Анна Ильинична.

Анна Ильинична говорила про своего брата, что он был большой шалун. Но вместе с тем он был очень правдивый мальчик. Он никогда не врал и всегда признавался в своих шалостях.

Но однажды с ним случилось такое происшествие.

Вместе с отцом и со своими сестрами маленький Володя поехал в Казань.

Там, в Казани, проживала их родственница, тетя Аня. И вот они к ней поехали.

А у тети Ани тоже были дети — двоюродные братья и двоюродные сестры Ленина.

Встреча была интересная. Дети много шалили, бегали, играли в разные игры.

И однажды до того расшалились, что опрокинули на пол графин, который стоял на столике.

Это у них была какая-то веселая игра. Они друг от друга бегали. И Володя, бегая по комнате, наткнулся на этот столик. Столик покачнулся, и красивый хрустальный графин упал на пол и разбился вдребезги.

Дети даже не заметили, кто именно разбил графин. Все бегали, и все носились по комнате.

¹ Эти рассказы написаны мною для детей дошкольного возраста.

И только когда разбился графин, дети присмирели. Вдруг открывается дверь, и в комнату входит тетя Аня. Она услышала звон и шум и вот пришла посмотреть, что случилось.

И, увидев на полу разбитый графин, тетя Аня спросила: — Дети, кто из вас разбил этот графин?

И все дети стали говорить: «Это не я». И маленький Володя тоже сказал: «Это не я». И сказал он это так тихо, что еле можно было услышать его.

Он сказал неправду, потому что он в первый момент испугался. Все-таки чужой дом, чужая квартира, мало-знакомая тетя Аня. И, кроме того, он из всех был самый маленький. И у него не повернулся язычок сказать: «Это я».

Тогда тетя Аня говорит:

— В таком случае выходит, что графин сам разбился. Наверно, ему скучно стало на столе стоять — вот он и упал.

Дети засмеялись и говорят:

— Наверно, он хотел с нами побегать. И вот поэтому он прыгнул со столика на пол. Но он, бедненький, забыл, что он стеклянный, и разбился.

И дети опять засмеялись. Только один маленький Володя не засмеялся. Он ушел в другую комнату и сел у окна. И долго там сидел и о чем-то думал. И только к вечеру он снова стал шалить с ребятами.

Но вот прошло два месяца.

Уже из Казани они давно уехали. И снова жили в своем городе Симбирске.

И вот как-то вечером, когда дети ложились спать, мать подошла к Володиной кровати и видит, что мальчик о чем-то горько плачет.

Мать спросила:

— О чем ты плачешь?

И мальчик, всхлипывая, сказал:

— Мама, когда мы были в Казани, я обманул тетю Аню. Я сказал, что это не я разбил графин, а это я разбил графин.

Мама стала утешать мальчика. Она сказала:

— Ну, это ничего! Не плачь! Я напишу тете Ане письмо. И она, наверно, тебя простит.

Мальчик, всхлипывая, сказал:

— Ты непременно напиши письмо тете Ане! Напиши, что это я разбил.

Мама снова стала утешать его. И тогда мальчик успокоился и заснул.

Целуя и закрывая одеялом своего маленького сына, мать подумала: «Какой он удивительный ребенок — он два месяца помнил об этой истории и два месяца огорчался, что случайно сказал неправду! Но теперь, когда он признался, ему стало легко, и вот он даже с улыбкой заснул».

На другой день мама написала тете Ане письмо. И вскоре тетя Аня ответила, что она вовсе не сердится на своего милого племянника и снова ждет его к себе в гости.

2. Серенький козлик

Когда Ленин был маленький, он почти ничего не боялся.

Он смело входил в темную комнату. Не плакал, когда рассказывали страшные сказки. И вообще он почти никогда не плакал.

А его младший брат Митя тоже был очень хороший и добрый мальчик. Но только он был очень уж жалостливый.

Кто-нибудь запоет грустную песню, и Митя в три ручья плачет.

Особенно он горько плакал, когда дети пели «Козлика».

Многие дети знают эту песенку — о том, как у бабушки жил серенький козлик.

В этой песенке говорится, что бабушка очень любила этого серенького козлика. И не велела ему в лес ходить. Но он не послушался бабушки — пошел в лес погулять. А там на него напали серые волки, растерзали его, съели. И оставили бабушке рожки да ножки.

Несомненно, песенка грустная. Но плакать, конечно, не надо было. Ведь это — песня. Это нарочно, а не на самом деле.

Безусловно, козлика жалко. Но только он отчасти сам виноват: зачем без спросу пошел в лес гулять.

В общем, у Мити всегда дрожал голосок и дергались губенки, когда он вместе с детьми пел эту песню.

А когда Митя доходил до грустных слов: «Напали на козлика серые волки», — он всякий раз заливался в три ручья.

И вот однажды дети собрались у рояля и запели эту песню.

Они благополучно спели две строчки. Но когда дошли до грустного места о том, как козлик пошел в лес, Митя начал всхлипывать.

Маленький Володя, увидев это, обернулся к Мите, сделал страшное лицо и нарочно ужасным и громким голосом запел:

«На-па-али нн-а коз-ли-ка серые вол-ки...»

Тут Митя, конечно, не выдержал и зарыдал еще больше.

Старшая сестра сделала брату замечание, зачем он дразнит Митю.

И на это маленький Володя ответил:

— А зачем он боится? Я не хочу, чтоб он плакал и боялся. Дети должны быть храбрыми.

Митя сказал:

— Тогда я не буду больше бояться.

Дети снова запели эту песенку. И Митя храбро спел ее до конца. И только одна слезинка потекла у него по щеке, когда дети заканчивали песенку: «Оставили бабушке рожки да ножки».

Маленький Володя поцеловал своего младшего братишку и сказал ему:

— Вот теперь молодец.

3. Рассказ о том, как Ленин учился

Ленин учился очень хорошо, даже замечательно. Он получил золотую медаль за окончание гимназии.

И в высшем учебном заведении он тоже, наверно, очень бы хорошо учился. Но, к сожалению, начальники исключили его из университета, потому что он был революционер. А этого начальство не терпело. И царь тоже не позволял революционерам учиться.

В общем Ленину не позволили учиться в университете.

Другой человек на месте Ленина так бы и остался без высшего образования. Но Ленин этого не захотел.

Он сказал матери:

— Я непременно кончу высшую школу.

А уже проходило время. И прошло два года после исключения.

Наконец Ленин подал заявление министру. Он попросил разрешения сдать экзамены за всю высшую школу сразу.

Министр удивился и подумал:

«Как он может сдать все экзамены сразу? Ведь он в высшей школе не учится. Хорошо. Я ему разрешу, но только он вряд ли сдаст экзамены».

Получив разрешение министра, Ленин стал усиленно заниматься.

Он целые дни сидел за книгами, читал, писал, изучал языки, переводил и так далее.

Он летом устроил в саду кабинет, в густой липовой аллее. Он там вкопал в землю стол и скамейку. И каждое утро уходил туда. И там в полном одиночестве занимался до обеда.

После отдыха и купанья он снова шел к своему столу и снова работал три или четыре часа.

А вечером, после прогулки и купанья, родные опять видели его за книгами.

И родные поразились, как он так много может заниматься. И даже стали бояться за его здоровье.

Но Ленин им сказал:

— Человек может удивительно много учиться и работать, если он правильно отдыхает.

И действительно, Ленин правильно отдыхал. Он час работал. Потом делал гимнастику. Потом снова час или два писал и после этого бежал к реке купаться.

Потом, отдохнув или погуляв в лесу, возвращался к книгам и опять учился.

В своем летнем кабинете он устроил себе турник недалеко от столика. И время от времени делал на нем упражнения.

В хорошую погоду он купался два или три раза в день. Он чудно плавал. Он так плавал, что всех приводил в удивление.

Один его знакомый, вспоминая о прошлом, говорил, что в Швейцарии было очень страшное озеро, где постоянно тонули люди. Это озеро было очень глубокое.

Там были холодные течения, омуты и водовороты. Но Ленин бесстрашно плавал в этом озере.

Этот знакомый ему однажды сказал, что надо быть осторожным — тут тонут люди.

— Тонут, говорите? — спросил Ленин. — Ничего, мы-то не потонем.

И тут же заплыл так далеко, что еле можно было видеть его.

И вот, благодаря купанью и физкультуре, благодаря правильному отдыху, Ленин сумел много работать и сумел подготовиться за всю высшую школу сразу.

Он почти два года так усиленно учился. И за это время успел пройти весь курс университета, то, что другие изучали четыре года.

Он сдал все экзамены и получил диплом первой степени.

И все профессора ему сказали:

— Это поразительно. Вы же не учились в университете и не слушали наших лекций. Как же вы могли так великолепно подготовиться? Наверно, вам кто-нибудь помогал?

Ленин сказал:

— Нет, я один занимался.

И тогда профессора удивились еще больше. И министр от удивления развел руками.

Но профессора и министр не знали, что кроме огромного ума и замечательных способностей Ленин имел еще огромную работоспособность. А эта его работоспособность зависела от физкультуры и правильного отдыха.

И вот почему с таким прекрасным успехом Ленин закончил свою учебу.

4. О том, как Ленин бросил курить

Когда Ленину было семнадцать лет, он начал курить.

Он был тогда уже студентом. И в этом не было ничего удивительного, что он стал курить.

Это когда курит какой-нибудь маленький парнишка лет двенадцати — вот это ужасно. А студенты многие курят. И пусть их курят — они уже взрослые.

А к Ленину то и дело приходили его товарищи, студенты. И почти все курили. Бывало, закроются в комнате, говорят, спорят, беседуют, а сами дымят, как паровозы.

Ну, и благодаря этому Ленин тоже стал привыкать к курению.

Конечно, для здоровья курить очень бесполезно. От этого люди кашляют, мало кушают, худеют и хворают. Но которые уже начали курить — тем не так-то легко это бросить.

А мать Ленина, Мария Александровна, была дочь врача. И она понимала, что курить очень вредно. Она очень огорчалась, что ее любимый сын привык к курению.

Она не раз просила сына бросить эту привычку. Но Владимир Ильич на это только улыбался и говорил:

— Ничего! Я здоровый. Мне это не очень вредно.

Но Мария Александровна очень любила своего сына, и поэтому она решила сделать как-нибудь так, чтобы он все-таки бросил курить.

Долгое время она не знала, как ей сделать и как поступить.

И вот однажды она нарочно ему сказала:

— Мы живем на пенсию, которую я получаю после смерти твоего отца, Ильи Николаевича. Пенсия у нас маленькая. Каждая лишняя трата отражается на хозяйстве. И хотя твои папиросы недорого стоят, но все-таки было бы лучше для хозяйства, если бы ты не курил.

Она нарочно так сказала. Папиросы стоили очень дешево. И на хозяйстве это не отражалось. Но матери очень уж хотелось, чтоб ее сын не курил. И вот почему она так сказала.

Выслушав эти слова матери, Владимир Ильич ответил:

— Ах, прости, мама! Вот об этом я не подумал. Хорошо, я сегодня же брошу курить.

И с этими словами Владимир Ильич вытащил из кармана папиросы и положил их на стол. И уж больше до них не дотрагивался.

А которые курят, те знают, какую огромную волю надо иметь, чтоб сразу бросить эту привычку. Некоторые слабовольные люди обращаются даже к докторам, чтоб те помогли им бросить курить.

И доктора смазывают им рот каким-то лекарством, чтоб противно было курить. А еще более слабовольных доктора усыпляют и внушают им разные ужасные мысли о вреде курения. И только тогда эти люди бросают курить. И то многие не бросают, а продолжают курить, имея в голове ужасные мысли о вредности куренья.

Но у Ленина была огромная воля. Он без всяких докторов решил бросить куренье. И действительно бросил. И больше пикогда не курил.

Это был сильный человек, с железной волей.

И всем людям надо быть такими же, как он.

5. О том, как Ленин перехитрил жандармов

Когда Ленину было двадцать шесть лет, он уже был всем известный революционер, и царское правительство боялось его как огня.

Царь велел посадить Ленина в тюрьму.

И Владимир Ильич просидел в тюрьме четырнадцать месяцев.

А после этого жандармы выслали его в Сибирь. И там, в Сибири, Ленин прожил в деревне целых три года.

А это была глухая деревушка. Она стояла в тайге. И ничего хорошего там не было. Там протекала небольшая речонка Шушь. И там, в тайге, деревья были невысокие, совсем не такие, как у нас.

Но Владимир Ильич не огорчился, что его сослали в такую глушь. Он там много работал, писал революционные книги, беседовал с крестьянами и помогал им советами.

А в свободное время Ленин ходил на охоту со своей охотничьей собакой Женькой, купался, играл в шахматы. Причем шахматы он сам вырезал из коры дерева. И вырезал очень хорошо, даже великолепно.

И вот время проходило незаметно. Протекло почти три года. И уже приближался конец ссылки.

Уже Владимир Ильич начинал обдумывать, куда ему поехать, чтоб снова продолжать революционную работу.

Но незадолго до конца ссылки в избу, где жил Ленин, пришли царские жандармы.

Они сказали:

— Вот что. Сейчас мы сделаем у вас обыск. И если найдем что-нибудь, запрещенное царским правительством, то берегитесь. Тогда вместо освобождения мы оставим вас в этой глухой деревне еще по крайней мере три года.

А у Ленина были запрещенные книжки и разные революционные документы. И все эти книги и документы лежали в книжном шкафу на нижней полке.

Вот один толстый усатый жандарм встает у двери, чтоб никто не пришел и не вышел. А другой жандарм, маленького роста, но тоже усатый и свирепый, ходит по комнате и во все нос сует.

Он осмотрел стол, комод, заглянул в печку и даже не поленился залезть под кровать, чтоб увидеть, что там такое.

Потом он подходит к книжному шкафу и говорит:

— А это что у вас там, в шкафу?

Ленин говорит:

— Это мои книги в шкафу.

Жандарм говорит:

— А вот я сейчас посмотрю эти ваши книги и увижу, что это такое.

И вот жандарм стоит около этого шкафа и думает, с чего ему начать осмотр: с верхней полки или с нижней?

Жена Ленина, Надежда Константиновна Крупская, смотрит на этого жандарма и думает:

«Только бы он начал обыск с верхней полки. Если он начнет с верхней полки, тогда хорошо, тогда под конец обыска он устанет и последнюю полку не будет внимательно осматривать. Но если он начнет обыск с нижней полки, тогда плохо: как раз на этой полке среди других книг имеются запрещенные».

Ленин тоже смотрит на жандарма и тоже об этом думает.

Вдруг Ленин, чуть улыбнувшись своим мыслям, берет стул и ставит этот стул к шкафу. И говорит жандарму:

— Чем при вашем маленьком росте тянуться, встаньте на этот стул и начинайте проверять мои книги.

Маленький усатый жандарм, увидев такую любезность со стороны революционера, поблагодарил и влез

на стул. Но поскольку он влез на стул, то он и, ясно, начал осматривать с верхней полки. То есть то, что и надо было Ленину.

И, глядя на жандарма, Владимир Ильич улыбался.

И Крупская тоже улыбалась, видя, что Ленин заставил жандарма сделать так, как ему было надо.

Вот жандарм роется на верхних полках, читает заглавия и перетряхивает каждую книжку. А время идет. Книг много. И за три часа жандарм едва успел просмотреть четыре полки.

Пятую полку жандарм стал осматривать уже не так внимательно. Тем более, что толстый жандарм, стоявший у двери, начал вздыхать и хандрить. И даже сказал своему приятелю:

— Ох, как долго идет обыск. Я устал и кушать хочу.

Маленький жандарм говорит:

— Скоро пойдем обедать. Вот осталась последняя полка. Ну, да наверное и на этой полке у них ничего нет, раз во всем шкафе ничего не обнаружено.

Толстый жандарм говорит:

— Ясно, у них ничего нет. Пойдемте кушать.

Почти не осматривая нижнюю полку, маленький жандарм сказал Ленину:

— Выходит, что ничего запрещенного мы у вас не нашли. Честь имею кланяться.

И с этими словами жандармы уходят.

И когда закрылась за ними дверь, Владимир Ильич и Крупская начали весело смеяться над тем, как были одурачены жандармы.

6. Иногда можно кушать чернилщицы

Целых четырнадцать месяцев просидел Ленин в царской тюрьме.

Он сидел в маленькой полутемной одиночной камере. Железная койка, стол и табуретка — вот все, что там было.

Другой человек на месте Ленина целые бы дни плакал и страдал в этой камере. Но не такой человек был Ленин.

Он и в этой камере целые дни работал.

Он утром делал гимнастику и потом начинал писать книгу. Он тут писал революционную и очень нужную книгу: «Развитие капитализма в России». Вернее, он собирал тут материалы для этой книги, делал заметки, выписки и так далее. И, кроме того, писал письма с революционными поручениями, прокламации и программу партии.

Все это писать в тюрьме было не таким уж простым делом.

Родные имели право присылать арестованному книги. И вот тогда Ленин стал писать на этих книгах. А надо было так писать, чтобы никто в тюрьме не догадался, что тут в книге что-нибудь написано. Потому что в тюрьме проверяли все книги, перед тем как отдать родственникам. И если видели, что в книге хоть одно революционное слово написано, эту книгу сжигали.

А революционеры знали, что можно писать молоком.

Если на бумаге написать молоком, то решительно ничего не видно.

А для того чтобы прочесть написанное, надо было погреть эту бумагу на лампе или на свечке, и тогда молоко начинает темнеть, на бумаге выступают коричневые буквы, и все можно прочесть, что написано.

Вот Ленин так и писал: на полях книги и между строчками. А родные его об этом знали. И когда получали обратно книгу, грели каждый листик на лампе, читали и переписывали.

Так работал Ленин в тюрьме.

Но и для такой работы приходилось быть очень осторожным. Если надзиратель тюрьмы увидел бы, что он так писал, тогда ему было бы плохо. Тогда и молоко перестали бы ему давать, как больному. И как-нибудь жестоко наказали.

А надзиратель очень часто заходил в камеру. Или же подглядывал в дверное окошечко, что делает арестованный.

Тогда Ленин придумал такую вещь. Он из хлеба делал маленькие чернильницы, наливал туда молоко и макал туда перышко. И так писал.

Вот однажды надзиратель тихонько поглядел в дверное окошечко и видит странную картину: Ленин пишет на полях книги.

Надзиратель быстро открыл двери, вошел в камеру и говорит:

— Вы попались. По-моему, вы сейчас что-то на полях книги писали.

Надзиратель смотрит в книгу — нет, видит: книга чистая. Надзиратель хочет взять чернильницу, но в этот момент Ленин сам берет свою чернильницу и спокойно кладет в рот. И жует ее.

Надзиратель говорит:

— Что вы делаете? Вы чернильницу кушаете!

Ленин говорит:

— Вы, кажется, ослепли. Это не чернильница, а хлеб. И вот я его кушаю.

Надзиратель посмотрел: действительно хлеб. Душает:

«Наверно, у меня испортилось зрение. Мне показалось, что он чернильницу кушает».

И с этими мыслями надзиратель ушел. А Ленин моментально сделал из хлеба другую чернильницу, налил туда молока и опять стал писать.

И всякий раз, когда приходил надзиратель, Ленин спокойно брал свою чернильницу и тут же съедал ее. И это было даже вкусно, потому что это был хлеб с молоком.

Когда Ленин вышел из тюрьмы, он, смеясь, сказал своим родным и знакомым:

— Знаете, однажды мне не повезло, и за два часа пришлось мне съесть шесть чернильниц.

И все засмеялись. А которые не знали в чем дело, те очень удивились: как это можно есть чернильницы?

Но вот оказывается, что иногда можно кушать чернильницы.

7. О том, как Ленин купил одному мальчику игрушку

Один русский революционер убежал из царской тюрьмы и скрылся от жандармов за границей.

Он стал жить в Швейцарии, в городе Цюрихе. Он там поступил на мебельную фабрику. И там работал.

А вскоре в Швейцарию приехал Ленин.

И наш рабочий очень хотел посмотреть на Ленина, потому что он много слышал о нем хорошего и читал его книги.

И вот однажды этот рабочий услышал, что Ленин будет говорить речь на собрании в «Кружке русских рабочих».

И тогда наш рабочий решил пойти на это собрание, чтобы послушать Ленина.

А жена этого рабочего тоже работала на мебельной фабрике. Но только она работала в вечернюю смену. И нашему рабочему не с кем было оставить своего маленького сына Доната.

Тогда наш рабочий сказал своему сыну:

— Давай пойдем вместе на собрание, поглядим на Ленина!

И вот он взял за лапку своего сына, и они пошли в рабочий клуб.

Приходят они в клуб. Еще рано. Никого нет. Только сидит в зале один человек и газету читает.

Вот рабочий посадил своего мальчика у окна и сам нервно ходит по залу и думает:

«Наверно, Ленин не придет».

В этот момент человек с газетой (а это был Ленин) говорит рабочему:

— Такая хорошая погода, а вы своего маленького сына держите в душной комнате. Вы бы пустили его погулять во двор!

Рабочий говорит:

— Нет, мой мальчик Донат еще очень маленький. На дворе ему будет скучно играть, и я боюсь, что он тогда выйдет на улицу и заблудится. Лучше мы тут с ним посидим, подождем, когда придет Ленин.

Ленин говорит мальчику:

— Ну-ка, давай свою ручонку! Мы с тобой пойдем немножко погуляем.

И берет Ленин мальчика за руку, и выходят они вместе на улицу. Подходят к магазину игрушек. И заходят туда.

Там Ленин говорит мальчику:

— Хочешь, я тебе куплю эту лодочку?

А это была чудная маленькая лодочка. С парусом. И парус поднимался и опускался. И около паруса стоял маленький матросик. И там были устроены скамеечки, маленький руль и флаг. Это была, ну, удивительно интересная игрушка!

Мальчик ужасно обрадовался. И Ленин купил ему эту лодочку.

И они быстро пошли с этой лодочкой во двор. А там, во дворе, находился маленький фонтанчик.

И вот в этом фонтанчике мальчик стал пускать свою парусную лодочку.

Ветер надувал паруса, и эта лодочка великолепно шла, управляемая рулем.

И мальчик был так доволен, что смеялся, хлопал от радости в ладоши и кричал: «Не бойся, матросик! Плыви вперед!» И тут же, у колодца, стоял Ленин и тоже смеялся.

А в это время наш рабочий ходит по залу и нервничает.

«Вот, — думает, — какая неприятность, и Ленин еще не приехал, и вдобавок какой-то неизвестный взял моего мальчика и ушел с ним».

А в зале уже собралось много публики. И все друг друга спрашивают:

— А где же Ленин? Неужели он не приехал?

В этот момент кто-то из публики посмотрел в окно и говорит:

— Смотрите, вон Ленин во дворе с каким-то маленьким мальчиком.

Тут все стали глядеть в окно. И наш рабочий тоже посмотрел и увидел у фонтана своего сына вместе с Лениным.

Очень удивился рабочий. И думает:

«Ах, это и есть Ленин. А я считал, что это кто-нибудь другой — очень уж он простой и добрый».

Тут вскоре Ленин возвращается в зал и начинает беседовать с рабочими.

8. В парикмахерской

Один рабочий, некто Григорий Иванов, приехал по делам службы в Кремль.

Он приехал из Питера сдавать в кремлевский склад оружие — винтовки, шашки, штыки, револьверы и разные огнестрельные припасы.

И вот он выполнил эту свою задачу и со спокойной душой гуляет по Кремлю — мечтает где-нибудь тут увидеть товарища Ленина, на которого он давно хотел посмотреть.

Но он нигде Ленина не встретил и в плохом настроении зашел в кремлевскую парикмахерскую. Думает: «Постригусь и побреюсь, чтоб в аккуратном виде вернуться домой».

Вот он заходит в кремлевскую парикмахерскую. И занимает свою очередь.

А народу в парикмахерской много. Два мастера стригут и бреют. А посетители ожидают.

Григорий Иванов в грустном настроении сидит в этой парикмахерской минут двадцать. И все время жалеет, что он нигде не встретил Ленина.

Вдруг открывается дверь и входит новый посетитель. И тут все видят: это пришел Владимир Ильич Ленин — председатель Совета Народных Комиссаров.

И тогда все, которые были в парикмахерской, встают и говорят:

— Здравствуйте, товарищ Ленин!

Наш рабочий Григорий Иванов тоже здоровается и, улыбаясь от счастья, смотрит на товарища Ленина, хочет получше его запомнить, чтобы потом рассказать другим об этой встрече.

Между тем товарищ Ленин тоже со всеми здоровается и говорит:

— Ну, кто последний ожидает?

Все удивились, что Ленин так спросил. И все подумали: «Это нехорошо, если Ленин будет ждать очереди. Он — глава правительства, и ему каждая минута дорога».

И тогда все, которые были в парикмахерской, перебивая друг друга, говорят Ленину:

— Владимир Ильич, это неважно, кто последний. Сейчас освобождается кресло у мастера, и мы просим вас занять это место без очереди.

Ленин говорит:

— Благодарю вас, товарищи. Но только это не годится. Надо соблюдать очередь и порядок. Мы сами создаем законы и должны выполнять их во всех мелочах жизни.

И с этими словами Ленин берет стул, садится, вынимает из кармана газету и начинает ее читать.

Тогда встает со стула наш рабочий Григорий Иванов и, сильно волнуясь, говорит товарищу Ленину:

— В аккурат сейчас подошла моя очередь. Но я скорей соглашусь остаться небритым в течение пяти лет, чем я заставлю вас ожидать. И если вы, товарищ Ленин, не согласились нарушать порядок, то я имею законное право уступить вам свою очередь, с тем чтоб занять последнюю вашу.

И все, которые были в парикмахерской, сказали:

— Он хорошо и правильно говорит.

И парикмахерские мастера, шелкнув ножницами, тоже сказали:

— Владимир Ильич, придется сделать как предложил рабочий.

И тогда Ленин улыбнулся. И все увидели, что он не хочет обидеть рабочего и не хочет огорчить мастеров и посетителей.

Ленин прячет газету в карман и, сказав: «Благодарю», садится в кресло.

И все смотрят, как парикмахер осторожно и вежливо его бреет.

И все смотрят на товарища Ленина и думают: «Это великий человек! Но какой он скромный».

Но вот мастер кончил работу. И Ленин вышел из помещения, всем сказав:

— До свидания, товарищи. Благодарю вас.

9. Покушение на Ленина

У Ленина было много врагов.

У него было много врагов потому, что он хотел заново переделать всю жизнь.

Он хотел, чтобы все люди, которые работают, жили бы очень хорошо. И он не любил тех, кто не работает. Он про них сказал: «Пусть они вообще ничего не кушают, если не хотят работать!»

Это многим не понравилось. И враги Ленина непременно хотели его убить.

И они подговорили одну злодейку убить великого вождя трудящихся Владимира Ильича Ленина.

Они дали ей револьвер. Зарядили этот револьвер ядовитыми пулями. И сказали этой мерзкой злодейке: «Иди на завод! Там сегодня Ленин будет выступать с речью. И когда он закончит свою речь и выйдет из зала, ты подойди к нему и выстрели в него три или четыре раза!»

И она так и сделала. Она оделась в черное платье, взяла револьвер и пошла на тот завод, где выступал Ленин.

И когда Ленин после речи выходил во двор, какой-то человек, переодетый матросом, нарочно упал у входа. И этим он задержал всех рабочих, которые шли за Лениным.

И благодаря этому Ленин один вышел во двор и один подошел к автомобилю, чтобы в него сесть.

Но в этот момент женщина в черном платье подошла к Ленину совсем близко и четыре раза выстрелила в него.

И из четырех пуль две пули попали в Ленина. И Ленин упал, тяжело раненный. У него было пробито легкое и ранена рука.

Женщина бросилась бежать, но ее задержали и отправили в тюрьму.

Рабочие подбежали к Ленину. И многие из них плакали. Рабочие подняли Ленина и посадили его в автомобиль.

И когда автомобиль поехал, люди сняли с Ленина пальто и пиджак и веревкой перевязали руку, чтобы кровь не текла так сильно.

Машина въехала в Кремль и остановилась у подъезда ленинской квартиры.

Тяжело раненный Владимир Ильич с огромным трудом вышел из машины, и люди поддерживали его, чтобы он не упал.

Подбежали рабочие и хотели понести Ленина на руках в его квартиру.

Но Ленин не позволил им это сделать. Он сказал:

— Нет, не надо меня нести на руках! Моя сестра и моя жена увидят, что меня несут на руках, и подумают, что мне очень плохо. Не надо их тревожить.

И все окружающие поразились, что Ленин в такой страшный момент думает не о себе, а о других людях.

И вот Ленин по крутой лестнице сам поднялся в третий этаж.

Правда, его поддерживали с двух сторон, но все-таки он шел сам.

Тут сразу вызвали лучших врачей. Но врачи сказали, что положение очень тяжелое, пули отравлены ядом и может быть заражение крови.

Но прекрасное здоровье Ленина помогло ему поправиться после смертельных ран.

И уже через полтора месяца Владимир Ильич Ленин снова стал работать.

10. Ленин и часовой

Один молодой рабочий, некто товарищ Лобанов, охранял Смольный. То есть он стоял у дверей и проверял документы.

Он проверял у всех, кто входил в Смольный. Потому что если не проверять, мог бы войти какой-нибудь враг. Тем более, это было в самом начале революции, и нужна была особая бдительность.

И вот стоит этот Лобанов у дверей Смольного в качестве часового и просматривает документы.

А он был красногвардеец, этот Лобанов. Вдобавок он был путиловский рабочий, исключительно преданный делу революции. И поэтому его и поставили на такой ответственный пост.

Стоит он на этом посту. Винтовка в левой руке. Револьвер сбоку. За поясом ручная граната. Настроение великолепное.

И всем, кто подходит к Смольному, он говорит:

— Минуточку, товарищ! Прежде чем войти, покажите ваш пропуск, чтоб я мог узнать, кто вы такой. А то я дежурю в первый раз и мало кого знаю в лицо.

Ну и, конечно, каждый, кто входил в Смольный, показывал Лобанову свой пропуск.

И Лобанов, беря под козырек, говорил:

— Вот теперь проходите! С моей стороны задержки не будет.

И вот, представьте себе, идет Ленин.

Идет пешком. Скромный такой. В своем черном осеннем пальто и в кепке.

Идет быстро, но вместе с тем задумчиво. Даже по сторонам не смотрит: до того, видать, углублен в свои мысли.

Подходит к дверям Смольного и хочет туда пройти.

А часовой Лобанов не знал в лицо товарища Ленина. Портретов в то время печатали мало. И сам Владимир Ильич только недавно приехал в Петроград. Ну и, конечно, Лобанов мог не знать Ленина по внешнему виду.

В общем, Ленин подходит к дверям. И Лобанов ему говорит:

— Минуточку, товарищ! Покажите ваш пропуск!

Ленин не стал возражать. Он, как бы очнувшись от своей задумчивости, тихо сказал:

— Ах да, пропуск! Извините, товарищ, сейчас найду.

И стал искать свой пропуск в боковом кармане.

А в этот момент подошел к дверям Смольного один какой-то человек, должно быть из служащих. И, видя, что часовой не пропускает Ленина, возмутился. И крикнул:

— Это же Ленин! Пропустите!

Лобанов тихо ответил этому человеку:

— Без пропуска я затрудняюсь пропустить. До этого раза я еще не имел счастья видеть товарища Ленина. И вдобавок, я и вас не знаю и даже не посмотрел еще вашего документа.

Служащий возмутился еще больше и крикнул:

— Извольте немедленно пропустить Ленина!

Вдруг Ленин говорит:

— Не надо ему приказывать, и тем более не надо кричать. Часовой поступает совершенно правильно. Порядок для всех одинаков.

Тут Ленин достает из бокового кармана пропуск. Подает его часовому. Лобанов с трепетом разворачивает этот пропуск. И видит: это действительно пропуск Владимира Ильича Ленина.

Лобанов берет под козырек и говорит Ленину:

— Я прошу извинить, Владимир Ильич, что потребовал ваш пропуск.

Ленин отвечает:

— Вы правильно поступили, товарищ. Благодарю вас за отличную службу.

11. О том, как Ленину подарили рыбу

Однажды Владимир Ильич Ленин сидел в своем кремлевском кабинете и работал.

На столе стакан чаю. На блюдечке сухарь.

В те годы был ужасный голод. И население питалось чем попало. Кушали овес и картофельную шелуху.

Что касается хлеба, то хлеба выдавали людям по одному небольшому кусочку на целый день.

Конечно, для товарища Ленина можно было бы найти наилучшую еду. Но он запрещал это делать. Он не мог позволить себе сытой жизни, когда голодала вся страна. И он даже чай пил без сахара.

Так вот, сидит Владимир Ильич Ленин, работает и в перерыве завтракает: пьет чай и кушает сухарь.

Открывается дверь, и входит секретарь.

Он говорит Ленину:

— Приехал из Петрограда управляющий рыбным делом. Он непременно вас хочет видеть.

Ленин говорит:

— Хорошо. Пусть он войдет!

И вот входит управляющий.

Он простой рыбак. Революция поставила его на большую должность, с тем чтобы он улучшил рыбную промышленность. И, болея душой за свое дело, он и приехал к Ленину, чтобы ему сказать, отчего плохо ловится рыба. Нужны деньги на ремонт лодок и на покупку сетей. А то рыба, не дождавшись советских сетей, уплывает в английские воды.

Вот управляющий объясняет товарищу Ленину, отчего нет рыбы. И сам стоит у письменного стола. И не садится. Хотя Ленин дважды указывает ему на стул и просит его сесть.

Но он не может сесть. Он за спиной в руках держит огромный пакт. В пакете завернута копченая рыба. Это подарок Владимиру Ильичу.

Управляющий сам коптил эту рыбу. И специально привез ее в Москву, чтобы преподнести Ленину.

Конечно, он мечтал сразу преподнести эту рыбу, как только войдет в кабинет. И с этой целью он и заложил пакет за спину, чтобы удивить Ленина неожиданным подарком.

Он даже приготовил слова, с какими он хотел вручить подарок: «Вот, дескать, это вам, дорогой Владимир Ильич. Небольшая копченая рыбешка. Кушайте себе на здоровье и поправляйтесь».

Но когда рыбак вошел в кабинет, он немножко оробел, растерялся, все приготовленные слова выскочили у него из головы, и он решил преподнести рыбу после служебных разговоров.

И по этой причине пакет так и остался у него за спиной.

И вот стоит он в неудобной позе, с копченой рыбой позади, и докладывает Ленину, отчего плохо ловится рыба.

Ленин говорит:

— Деньги мы вам дадим. И все просьбы ваши исполним. А вы уж пожалуйста ловите побольше рыбы, чтобы уменьшить голод среди населения.

Ленин попрощался с рыбаком. А тот, собравшись с духом, положил свою рыбу прямо на стол и говорит:

— Тут для вас, Владимир Ильич... рыбешку поймали... Закоптили в лучшем виде...

И вдруг рыбак видит, что Владимир Ильич крайне недоволен. И даже нахмурился.

Рыбак смутился еще больше и сказал:

— Уж пожалуйста, Владимир Ильич... Примите подарок...

Но Владимир Ильич не взял эту рыбу. Он строго сказал:

— Благодарю вас, товарищ, но я не могу принять вашу рыбу. У нас в стране дети голодают. Напрасно вы мне ее привезли.

Рыбак окончательно смутился. Бормочет:

— Закушайте, Владимир Ильич. Исключительно вкусная рыба. Поймали прямо в воде...

И вдруг рыбак видит, что Ленин позвонил.

«Мама дорогая, — думает рыбак, — что же это случилось?»

На звонок приходит секретарь.

Ленин говорит ему:

— Вот что! Возьмите эту рыбу и пошлите ее в детский дом!

Увидев, что рыбак до крайности смущен, Ленин протянул ему руку и сказал:

— От имени детей благодарю вас, товарищ, за подарок.

Рыбак попрощался с Лениным и вышел из кабинета, бормоча:

— Мама дорогая, произошла ошибочка...

12. О том, как тетушка Федосья беседовала с Лениным

У тетушки Федосьи произошла беда. Ее муж захворал воспалением легких и по случаю этой болезни умер.

А он был кровельщик, ее муж. Великолепно чинил крыши. И зарабатывал ничего себе, довольно хорошо. Даже тетушка Федосья пила чай внакладку.

А когда он умер, ей, конечно, стало плохо. И пить чай внакладку она уже не могла.

И вот она стала хлопотать, чтоб ей выдали пенсию.

Но из этого у нее ничего не вышло.

Ей сказали:

— Пенсию не получишь. Твой муж больно мало работал при советской власти.

Но Федосья не растерялась от этих слов и стала ходить буквально в каждое учреждение, надеясь, что где-нибудь ей выдадут пенсию.

А в одном учреждении ей сказали, чтоб от нее отвязаться:

— Один человек может поднять твое дело: это Ленин. Сходи к нему, если хочешь.

Тетушка Федосья узнала, что Ленин находится в Смольном. И пошла туда.

Конечно, часовой не хотел ее пропустить. Но потом он видит: очень уж безобидная несчастная старуха. Взял и пропустил.

Тетушка поднялась во второй этаж. И пошла по коридору.

Заглянула в одну комнату — нет никого. Заглянула в другую — видит: сидит человек за столом и что-то пишет.

Это был Ленин.

Тетушка, конечно, не знала, что это Ленин. Она подумала, что это сидит какой-нибудь служащий.

И поэтому она говорит ему без особого волнения:

— Сударь, вы по письму или по разбору? Или, может быть, считаете?

Ленин усмехнулся и отвечает:

— А это как приведется. Иногда по письму, иногда по разбору, а в другой раз и считать приходится. А вам что угодно?

Тетушка говорит:

— Видите ли, мне угодно пенсию получить. Благодаря этому я и пришла побеседовать с самим Лениным. Войдите в мое положение и проводите меня к нему!

Ленин снова улыбнулся и говорит:

— А вы расскажите мне ваше дело! Может, мы и без Ленина обойдемся.

Старуха говорит:

— Нет, сударь, без Ленина мы не обойдемся. Дело мое исключительно трудное. И только один Ленин может его поднять.

Ленин говорит:

— А все-таки вы расскажите, что с вами.

Тетушка говорит:

— География моей жизни исключительно простая. Недавно скончался мой муж, по профессии кровельщик. И вот я пенсию себе хлопочу. А мне все говорят: не будет тебе пенсии — твой муж больно мало работал при советской власти.

Ленин говорит:

— Это они глупости говорят. Ваш муж и не мог много работать при советской власти, потому что советская власть образовалась только недавно.

Ленин снимает трубку с телефона и кому-то говорит:

— Сейчас к вам придет одна гражданка. Надо будет ей оформить пенсию.

После этого Ленин говорит тетушке Федосье:

— Пойдите по коридору в третью дверь отсюда. И там ваше дело будет устроено.

С превеликим недоверием идет тетушка Федосья туда, куда ей указали. Но там без лишних слов ей выдают бумагу на получение пенсионной книжки.

В тот же день тетушка получает пенсию и, безмерно счастливая, идет на базар и там покупает себе сахару и мануфактуру.

А потом она заходит в один кооператив, чтобы приобрести там синьку для стирки белья.

И вдруг в этом кооперативе она видит портрет того, с кем она сегодня беседовала.

Она крайне удивилась, увидев этот портрет, и спросила заведующего лавкой:

— Сударь, не скажете ли, кто изображен на портрете? Я интересуюсь этим потому, что сегодня с ним беседовала.

Заведующий говорит:

— Быть того, бабка, не может. Это Ленин.

Федосья говорит:

— Стало быть, я беседовала с Лениным.

И, придя домой, она рассказала управдому о том, что с ней случилось. И спросила его:

— Как вы думаете, почему Ленин не признался мне в том, что это он и есть Ленин?

Управдом немножко задумался и так ей ответил:

— Бывают разные люди, мамаша. Одни люди кричат и похваляются: дескать, мы то, мы другое, мы вон какие, немазаные-сухие... А бывают люди, которые не кричат, не хвастаются и ничем не задаются, а просто делают свое дело с превышением. И это есть превосходные люди. И тебя, мамаша, можно сердечно поздравить, что ты беседовала с таким человеком.

Тетушка Федосья, вздохнувши, говорит:

— Ах, все-таки я чересчур жалею, что он мне не признался! Я бы ему низко поклонилась.

13. Ленин и печник

Однажды Ленин гулял в лесу и вдруг увидел, что какой-то мужчина дерево пилит.

А это пилил дерево некто Николай Бендерин. Немолодой мужчина, с огромной бородой. И очень дерзкий.

Он был по профессии печник. Но кроме того он мог все делать. У него сломалась телега. И вот он пришел в лес, чтобы спилить дерево для починки этой телеги.

Вот он пилит дерево. И вдруг слышит: кто-то ему говорит:

— Добрый день.

Бендерин оглянулся. Смотрит: перед ним стоит Ленин. А Бендерин, конечно, не знал, что это Ленин. И ничего ему не ответил. Только кивнул головой: дескать, ладно, здравствуйте, не мешайте мне пилить.

Ленин говорит:

— Зачем вы дерево пилите? Это общественный лес. И тут нельзя пилить.

А Бендерин дерзко отвечает:

— Хочу — и пилю. Мне надо чинить телегу.

Ничего на это не ответил Ленин и ушел.

Через некоторое время, может быть там через месяц, Ленин опять встретил этого печника. На этот раз Ленин гулял в поле. Немножко устал. И присел на траву отдохнуть.

Вдруг идет этот печник Бендерин и дерзко кричит Ленину:

— Зачем вы тут сидите и траву мнете? Знаете, почему сейчас сено? Будьте добры, встаньте с травы.

Ленин встал и пошел к дому.

А с Лениным была его сестра. Вот сестра и говорит печнику Бендерину:

— Зачем вы так грубо кричите? Ведь это Ленин, председатель Совета Народных Комиссаров.

Бендерин испугался и, ничего не сказав, побежал домой. И дома говорит жене:

— Ну, Катерина, пришла беда. Второй раз встречаю одного человека и с ним грубо разговариваю, а это, оказывается, Ленин, председатель Совета Народных Комиссаров. Что мне теперь будет, не могу представить.

Но вот проходит еще некоторое время, может быть там два месяца, и наступает зима.

И понадобился Ленину печник. Надо было исправить камин, а то он дымил.

А кругом по всем деревням только и был один печник — этот Бендерин.

И вот приезжают к этому Бендерину два военных и говорят:

— Вы печник Бендерин?

У Бендерина испортилось настроение, и он отвечает:

— Да, я печник Бендерин.

Военные говорят:

— В таком случае одевайтесь. Едем к Ленину в Горки. Бендерин испугался, когда услышал эти слова. И настроение у него еще более испортилось.

Он одевается, руки дрожат. Говорит жене:

— Ну, прощайте, Катерина Максимовна. Наверно, уж с вами больше не увидимся. Наверно, Ленин припомнил все мои грубости: и как я его в поле пугнул и как насчет дерева дерзко ответил. Наверно, он все это вспомнил и решил меня в тюрьму посадить.

И вот вместе с военными едет печник в Горки. Военные приводят Бендерина в комнаты. И навстречу ему из кресла поднимается Ленин.

Ленин говорит:

— А, старый знакомый. Помню, помню, как вы меня на покосе пугнули. И как дерево пилили.

Бендерин задрожал, когда услышал эти слова. Стоит перед Лениным, мнет шапку в своих руках и бормочет:

— Простите меня, старого дурака.

Ленин говорит:

— Ну, ладно, чего там! Я уж забыл про это. Что касается травы, то, пожалуй, вы были правы. Это — не дело, что я сидел на покосе и мял траву. Ну, да не в этом дело. А не можете ли вы, дорогой товарищ Бендерин, сослужить мне одну маленькую службу. Дымит у меня камин. И надо его исправить, чтоб он не дымил. Можете ли вы это сделать?

Бендерин услышал эти приветливые слова и от радости дар речи потерял.

Только кивает головой: дескать, могу исправить. И руками показывает: дескать, пусть мне принесут кирпичи и глину.

Тут приносят Бендерину глину и кирпичи. И он начинает работать. И вскоре все выполняет в лучшем виде и с превышением.

Тут снова приходит Владимир Ильич и благодарит печника Бендерина. Он дает ему деньги и приглашает за стол выпить стакан чаю.

И вот печник Бендерин садится с Лениным за стол и пьет чай с печеньем. И Ленин дружески с ним беседует.

И, попивши чаю, печник Бендерин прощается с Лениным и сам не свой возвращается домой.

И дома говорит жене:

— Здравствуйте, Катерина Максимовна. Я думал, что мы с вами не увидимся, но выходит наоборот. Ленин — это такой справедливый человек, что я даже и не знаю, что мне теперь о нем думать.

14. Ошибка

Однажды Ленин работал в своем кремлевском кабинете. И ему понадобился список всех членов коллегии Наркомзема.

Он хотел просмотреть этот список, чтобы включить туда еще нескольких сотрудников.

Ленин позвонил. Пришла дежурная сотрудница секретариата.

Ленин сказал ей:

— Пожалуйста, дайте мне всю коллегию Наркомзема.

Дежурная поспешно вышла из кабинета. Она была очень удивлена.

Только вчера вся коллегия Наркомзема была на совещании у Ленина. И вот сегодня опять нужно всех собирать.

Дежурная взяла список коллегии и стала звонить каждому по телефону, приглашая немедленно явиться к Ленину.

Но членов коллегии было много. И надо было затратить по крайней мере полчаса, чтобы всех обзвонить.

Вот наша дежурная сотрудница, охая и вздыхая, звонит по телефону.

Но вдруг из кабинета Ленина раздаются три звонка. Это значит, что Ленин требует к себе секретаря.

Секретарь, товарищ Фотиева, немедленно спешит в кабинет.

Ленин строго ей говорит:

— Я не понимаю, что делается у вас в секретариате. Я попросил дать список членов коллегии Наркомзема. Но вот проходит пятнадцать минут, и до сих пор я списка не имею.

Товарищ Фотиева вернулась в секретариат и там узнала, что произошло досадное недоразумение: вместо

того чтобы дать список фамилий, эта дежурная, оказывается, приглашает всю коллегию к Ленину.

Узнав, что Ленину нужен список, а не сами сотрудники, дежурная расплакалась. Ей было досадно, что произошла такая ошибка. И она подумала, что ей попадет за это.

Фотиева взяла нужные бумаги и, войдя в кабинет, стала, смеясь, рассказывать о том, что случилось.

Она подумала, что и Ленин сейчас посмеется вместе с ней, узнав о такой комичной ошибке.

Но, взглянув на Ленина, она увидела, что он не смеется, что он нахмурился и, видать, недоволен.

Задумчиво и как бы про себя Ленин говорит:

— Неужели же я мог сказать такую неточную фразу?.. Да, действительно я так и сказал: «Дайте мне всю коллегию...»

Товарищ Фотиева говорила Ленину:

— Владимир Ильич, вы, пожалуйста, извините нашу дежурную сотрудницу. Она еще неопытный человек. Недавно у нас работает.

Ленин говорит:

— Но она и не виновата. Это я ошибся. Я неточно выразил свою мысль. Это я виноват.

Наша молоденькая дежурная буквально просияла от радости, когда узнала от Фотиевой, что сказал Ленин.

Она вытерла слезы. Потом засмеялась. И вдруг сказала Фотиевой:

— Вы знаете, в прошлом году я работала машинисткой в одной канцелярии. И там начальник канцелярии продиктовал мне неверную фразу. Вы думаете, что он признался в своей ошибке? Нет, он накричал на меня, сказал, что это я перепутала и что меня нужно выгнать со службы. Я семь дней плакала: так мне это было досадно... А сегодня я огорчилась по своей глупости. Я не знала, что у Ленина такой справедливый характер.

Товарищ Фотиева сказала:

— Нет, это не только справедливость. Признаться в своей ошибке, не переложить ее на чужие головы — это самая прекрасная и, пожалуй, самая редкая черта человеческого характера. Однако вам не надо было плакать: надо быть мужественной во всех случаях жизни.

Между тем в секретариат стали приходиться вызванные члены коллегии Наркомзема. Все они были не особенно довольны, когда узнали, что их напрасно вызвали.

Но один из сотрудников сказал:

— Нет, я огорчаюсь не потому, что меня потревожили. Мне единственно жалко, что я сегодня не увижу Ленина.

Другие сотрудники согласились с этим и стали расхаживать по домам.

15. Пчелы

В очень, очень старое время люди жили в пещерах. Городов тогда не было. Магазинов никаких не было. Пирожные и конфеты нигде не продавались. И никто не умел делать эти сладкие вещи. Тем более и сахару не было.

Вот тогда было плохо.

Например, какой-нибудь ребенок захочет сладкого — и взять неоткуда.

Ну, мамаша этого ребенка сорвет в лесу дикое яблочко и даст его своему младенцу. Вот вам и все угощение.

Но люди не растерялись, что не было сладкого.

Они увидели, что пчелы очень подозрительно себя ведут. Взад и вперед летают. Садятся на цветы. Что-то там пьют. И сразу обратно улетают в свой улей, в свое гнездо, которое у них обыкновенно находилось в дупле дерева.

Люди думают:

«Интересно знать, что там пчелы собирают в своем гнезде?»

И хотя пчелы больно кусаются, но люди все-таки этого не испугались и посмотрели, что там, в дупле.

И увидели, что там из воска сделаны какие-то особые корзиночки (соты). И в этих корзиночках лежит что-то очень приятное на вид.

Люди попробовали, что это такое, и удивились, до чего это вкусно. Это был мед.

Тогда люди стали собирать этот мед.

Они кушали мед и детям давали. И от этого все поздоровели и поправились,

И это им вполне заменило то, чего у них не было, — пирожное, конфеты и шоколад.

И до сих пор люди собирают мед. И многие специально занимаются пчеловодством. И это пчеловодство, дети, имеет огромное значение в деле развития нашего сельского хозяйства.

Из меда делаются разные вкусные вещицы: пряники, конфеты, напитки и лекарства. А из воска делаются свечи, мази и разные смазки для машин и паровозов.

Так что пчеловодство — удивительно полезное и нужное дело.

И Владимир Ильич Ленин отлично понимал, что надо поскорее развивать это дело, для того чтобы жизнь еще более улучшилась.

И когда Ленин жил под Москвой, в Горках, он очень этим делом интересовался и часто вызывал к себе одного здешнего пчеловода и с ним подолгу беседовал.

И вот однажды Ленину понадобился этот пчеловод.

Ленин хотел послать за ним одного человека, который знал, где пчеловод живет. Но этот человек, как назло, уехал в Москву. А другие люди не знали, где живет пчеловод. Они слышали, что он где-то тут близко живет. Но где именно — не знали.

Тогда Ленин никому ничего не сказал, вышел из дому и пошел в поле.

Вот он идет по полю и смотрит по сторонам.

Видит цветы — белый клевер. А над цветами масса пчел.

Ленин посмотрел, куда летят пчелы.

И увидел — они летят по направлению к какому-то саду.

Тогда Ленин, глядя на этих пчел, тоже пошел к этому саду.

Вот он входит в этот сад. Подходит к домику. Стучит. Оказывается, верно — тут живет пчеловод.

Пчеловод, увидев Ленина, до крайности удивился.

Он сказал:

— Здравствуйте, Владимир Ильич! Как же вы сумели меня найти? Я живу далеко от деревни. И мало кто знает, где я живу. Кто вас проводил сюда, на пасеку? Кто вам показал дорогу?

Ленин засмеялся и сказал:

— Дорогу мне показали ваши пчелы. Это они меня сюда привели.

Пчеловод еще более удивился.

Он сказал:

— Владимир Ильич, вы великий человек и великий гений. В каждом деле вы умеете находить что-нибудь особенное.

Ленин сказал:

— Просто надо быть наблюдательным в каждом случае жизни.

Тут Ленин и пасечник стали беседовать о пчеловодстве. И они два часа об этом беседовали.

Потом Ленин попрощался и ушел домой по той же дороге, по какой он пришел сюда.

16. На охоте

Ленин очень любил охотиться. Он охотился на уток, на глухарей, на зайцев и на волков.

Но и на лисиц он тоже любил охотиться.

Лисица — хитрое животное. И поэтому охотиться на нее очень интересно.

Лисицы имеют обыкновение жить в норах. Но только благодаря своей хитрости они сами не роют себе нор. А они увидят какую-нибудь готовую нору, которую, например, вырыл себе барсук, и преспокойно там поселяются.

Потом приходит барсук. И — здравствуйте! — уже кто-то живет в его норе.

Ну, барсук, конечно, неприятно поражен, удивляется, что в его квартире расположилась лиса. И думает: «Это — недоразумение, наверное, она сейчас уйдет».

Но лиса и не думает уходить. Лежит в норе и глазки закрыла, будто это ее не касается.

Тогда барсук тоже лезет в нору. Думает: «В крайнем случае как-нибудь проживу вместе с этой рыжей теткой с длинным хвостом».

Но, оказывается, вместе с лисицей жить ему неинтересно: она вороватая. Пищу крадет. И вдобавок, занимает в норе лучшее место. Так что у бедняги барсука иной раз хвост наружу торчит. И, конечно, ему непри-

ятно так жить. Этак и зверь может кусить его за хвост. И дождь капает.

И тогда барсук в грустном настроении уходит куда-нибудь в другое место и роет себе новую нору, благо у него нос длинный.

А лисица рада и довольна, что ушел барсук. И начинает жить в норе в свое удовольствие.

А охотничьи собаки выискивают эти норы и выгоняют оттуда лисиц. Собаки начинают лаять, рыть землю или снег, и тогда лисица от страха пулей выскакивает из норы. Собаки бегут за нею. Выгоняют ее на охотников. Охотники стреляют, но только не всегда попадают, потому что лисица увертливая. Сейчас она здесь, через минуту — там. Потом, глядишь, ее хвост за деревом мелькнул. И вдруг исчезла лисичка. И след простыл.

Так вот однажды московские охотники устроили охоту на лисиц. И устроили очень организованно. Даже на опушке леса развесили флажки. Эти флажки от ветра колебались. И зверь, увидев такие флажки, обыкновенно останавливался и от страха не бежал дальше. А это и требовалось охотникам.

Вот расставили охотников.

И Владимиру Ильичу Ленину тоже показали место, где ему стоять.

Ленин в полушубке и в валенках стал у дерева на одной дорожке. И стоит с ружьем, ожидает.

Вдруг в лесу отчаянно залаяли собаки. Это значит, они нашли лису и сейчас ее выгонят из леса на полянку.

Охотники насторожились. И Ленин тоже насторожился. Посмотрел, правильно ли заряжено его ружье.

А кругом удивительно красиво. Полянка. Лес. Сверкающий пушистый снег на ветках. Зимнее солнце золотит верхушки деревьев.

Вдруг, откуда ни возьмись, в аккурат прямо на Ленина из лесу выбежала лисица.

Это была красивая рыжая лисица с огромным пушистым хвостом. Это была ярко-рыжая лисица, и только кончик хвоста у нее был черный.

Она, спасаясь от собак, выбежала на полянку и, заметавшись по полянке, остановилась, увидев человека с ружьем.

На несколько секунд лисица замерла в неподвижной позе. Только хвост ее нервно качался. И испуганно сверкали ее круглые глазенки с вертикальными зрачками.

Лисица не могла сообразить, что ей делать и куда бежать. Сзади собаки, впереди человек с ружьем. И вот поэтому она растерялась и замерла в неподвижной позе.

Ленин вскинул ружье, чтоб в нее выстрелить.

Но вдруг опустил руку и поставил ружье в снег, к ногам.

Лисица, вильнув своим пушистым хвостом, бросилась в сторону и тотчас исчезла за деревьями.

А тут же у дерева, недалеко от Ленина, стояла его жена, Надежда Константиновна. Она с удивлением спросила:

— Почему же ты не выстрелил?

Ленин, улыбнувшись, сказал:

— Знаешь, не мог выстрелить. Очень уж красивая была лиса. И мне поэтому не хотелось ее убивать. Пусть живет.

Тут подошли другие охотники и тоже стали удивляться, почему Ленин не выстрелил, когда лисица была так близко и даже не бежала.

И, узнав, отчего Ленин не выстрелил, охотники еще больше удивились. А один охотник сказал:

— Чем красивее лиса, тем она ценнее. Я бы в нее выстрелил.

Но Ленин на это ничего не ответил.

СЫНОК И ПАСЫНОК

Одна немолодая особа приехала из Вятки в Ленинград.

Дело в том, что дочь этой особы проживала в Ленинграде. У этой дочери родился сын. И вот теперь наша новоиспеченная бабушка прибыла в Ленинград, чтоб увидеть своего внука и чтоб пошить ему какой-нибудь гардероб, соответствующий его возрасту. И с этой целью она привезла с собой ручную швейную машину.

Кроме машины, старуха везла еще корзинку со всякой ерундой и пакет с продуктами питания.

Родственники старухи, провожавшие ее в Вятке, поставили в вагон эти ее вещи. Так что старуха не ощущала пока что тяжести своего багажа.

Но когда поезд остановился в Ленинграде и наша престарелая женщина, нагруженная багажом, вышла на платформу, она увидела, какая это тяжелая ноша.

Она сгоряча прошла шагов двадцать и подумала, что ей капут. Дыханье у нее перехватило, сердце в груди заколотилось, в боку закололо.

Она положила свою ношу на платформу. И присела на корзинку. Сидит и еле дышит.

Вдруг идет носильщик.

Старуха подозвала его к себе и говорит:

— Сынок, моя дочь не могла меня встретить, поскольку она прикована к постели по случаю рождения ребенка. Муж моей дочери, слесарь производства, вероятно не смог в дневное время покинуть свой станок. Одним словом, меня никто не встретил, и я теперь нахожусь в крайнем затруднении. Помоги, сынок, дотащить мои вещи до трамвая. Но только я тебе откровенно скажу — я не имею денег. Что касается оплаты за твой полезный труд, то я могу тебе предоставить на выбор — кусок пирога с капустой или вареную куриную ногу.

И с этими словами наша старуха развязывает пакет, чтобы показать носильщику его плату.

Носильщик, который мечтал получить деньги и уже мысленно положил, может быть, трешку в свой карман, с неудовольствием выслушал речь старухи.

Он сказал:

— Причем тут, мама, пирог и куриная нога. Существует такса за пронос багажа. А которые не могут платить, те пушай сами вещи несут, если они такие сильные. Ваша куриная нога меня не устраивает. Я не могу оплачивать квартплату с помощью этой ноги. Надо что-нибудь понимать, прежде чем делать людям такое несерьезное предложение. На прошлой неделе один пассажир дал мне вместо двух рублей платяную щетку. Ну скажите — на что мне платяная щетка! Я не имею привычки чистить костюм. Еще хорошо, что вы, в отличие от этого пассажира, высказались прежде, чем я отнес ваши вещи. Хорош был бы я, если б за свой труд и потраченное время получил бы куриную ногу. Я представляю, какая неожиданность была бы для меня. Думаю, что я отвел бы вас в отделение милиции... Покажите, впрочем, эту вареную ногу. Просто интересно посмотреть, что это за нога, которую я мог бы получить.

Издали посмотрев на куриную ногу, носильщик удалился, укоризненно покачивая головой.

Старуха снова взяла свою поклажу и, тяжело дыша, направилась к выходу. Она плохо шла. Шаркала ногами. Косыночка ее сбилась с головы. Волосы разболтались. И она не предвидела конца своему путешествию.

Вдруг к старухе подходит какой-то неизвестный гражданин. Очень чисто одетый. В перчатках. Он стоял у газетного киоска и что-то покупал. Но, увидев старуху с багажом, подошел к ней и сказал:

— Нуте, гражданка, дайте я вам понесу. Я вижу — вас затрудняет эта тяжесть.

У старухи мелькнула мысль: не вор ли это. Но гражданин в перчатках так деликатно принял ее вещи и так добродушно улыбнулся, что мысль эта сразу же отпала.

Растерянная и даже ошеломленная этим предложением, старуха не нашлась, что сказать. Она, как тень, последовала за незнакомцем. И на улице молча показала рукой, на какую трамвайную остановку идти.

Незнакомец поставил ее багаж на площадку трамвая. Помог войти в вагон. И, сняв шляпу, пожелал ей счаст-

ливо доехать. И при этом предупредил пассажиров, чтобы они помогли старухе сойти с трамвая, когда ей потребуются.

Ошеломленная старуха даже и тут не нашлась, что сказать. Она не произнесла «мерси» или «благодарю». Она молча смотрела на незнакомца, не зная еще, какие ей мысли подвести под все это дело.

Но вот трамвай пошел. И незнакомый гражданин исчез в толпе.

И вот старуха приехала домой. Увидела внука и с дочкой своей обнялась и поцеловалась.

С первых же слов она рассказала ей историю, какая произошла с ней на вокзале.

И дочка была поражена не меньше, чем ее мама.

Эта дочка написала мне письмо. Вот что она пишет в этом письме:

«Не можете ли вы, уважаемый писатель, через посредство вашего рассказа поблагодарить этого гражданина. Моя мама растерялась и ничего ему не сказала. А теперь она только об этом и говорит и при этом плачет. Ей досадно, что она не поблагодарила хорошего человека за его душевное, сердечное отношение... А если вы напишете рассказ, то, может быть, он прочтет этот рассказ и ему станет приятно, что его вспомнили в хороших выражениях. Если вы возьметесь написать этот рассказ, то передайте, пожалуйста, ему привет от меня и от мамы. Как-нибудь вы вставьте эту фразу так, чтобы она не повредила вашему рассказу...»

Нет, такие фразы абсолютно не вредят рассказам. И я с охотой и удовольствием исполняю просьбу двух женщин.

Сердечно рад быть посредником в хороших делах.

Я написал этот фельетон и теперь надеюсь, что его прочтет наш славный незнакомец и увидит, что ему шлют привет и благодарность.

Этот фельетон я написал под Новый год. На Новый год мы обычно делаем пожелания друг другу. Так я пожелаю гражданам в новом году поступать так, как поступил незнакомец.

Я поздравляю его с Новым годом. И мой первый бокал с шампанским я поднимаю за него и за тех людей, которые во всех делах поступают так же, как он.

А затем я уже буду чокаяться с остальными людьми, более равнодушными к чужой беде.

1940

НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Давеча иду ночью по улице. Возвращаюсь от знакомых. Улица пустынная. Душно. Где-то гремит гром.

Иду по улице. Кепочку снял. Ночные зефиры обвевают мою голову.

Не знаю, как вы, уважаемые граждане, а я люблю ночью пошляться по улицам. Очень как-то свободно чувствуешь себя. Можно размахивать руками. Никто тебя не толкнет. Как-то можно беззаботно идти.

В общем, иду по улице и вдруг слышу какой-то стон. Стон — не стон, а какой-то приглушенный крик.

Смотрю по сторонам — нет никого.

Прислушиваюсь — снова какой-то стон раздается.

И вдруг, все равно как из-под земли, слышу слова: «Родимый, родимый!..»

Что за чепуха в решете.

Смотрю на окна. Может, — думаю, — разыгралась какая-нибудь домашняя сценка? Мало ли! Может, выпивший муж напал на жену, или, наоборот, та его допиливает?..»

Смотрю все этажи — нет, ничего не видно.

Вдруг слышу: кто-то по стеклу пальцами тренькает.

Гляжу: магазин. И между двух дверей этого магазина сидит на венском стуле престарелый мужчина. Он, видно, сторож. Караулит магазин.

Подхожу ближе. Спрашиваю:

— Что тебе, батя?

Сторож глухим голосом говорит:

— Родимый, сколько часов?

— Четыре, — говорю.

— Ох, — говорит, — еще два часа сидеть... Не наедай ли, — говорит, — мне водички? Отверни крантик

у подвала и нацеди в кружечку. А то испить охота. Душно!

Тут он через разбитое верхнее стекло подает мне кружку. И я исполняю его просьбу. Потом спрашиваю:

— А ты что, больной, что не можешь сам нацедить?

Сторож говорит:

— Да я бы и рад нацедить. Немножко бы прошел, промялся. Да выйти отсель не могу: я же закрыт со стороны улицы.

— Кто же тебя закрыл? — спрашиваю. — Ты же сторож. Зачем же тебя закрывать?

Сторож говорит:

— Не знаю. Меня всегда закрывают. Пугаются, что отойду от магазина и где-нибудь прикорну, а вор тем временем магазин обчистит. А если я сижу между дверей, то хоть я и засну, вор меня не минует. Он наткнется на меня, а я крик подыму. У нас такое правило: всю ночь сидеть между дверей.

Я говорю:

— Дурацкое правило. Обидно же сидеть за закрытой дверью.

Сторож говорит:

— Я обиды не строю. И мне самому вполне удобно, что меня от воров закрывают. Я их как огня боюсь. А когда я от них закрыт, у меня и боязни нету. Тогда я спокоен.

— В таком случае, — говорю, — ты, папаша, походил бы по магазину, размял бы свои ноги. А то, как чучело, сидишь на стуле всю ночь. Противно глядеть.

Он говорит:

— Что ты, родимый! Разве я могу в магазин войти? Я бы и рад туда войти, да та дверь в магазин на два замка закрыта, чтоб я туда не вошел.

— Значит, — говорю, — ты, папаша, сидишь и караулишь между двух закрытых дверей?

Сторож говорит:

— Именно так и есть... А что ты ко мне пристаешь, я не понимаю! Налил мне водички и иди себе с богом. Только мне спать мешаешь. Трещишь как сорока.

Тут сторож допил свою воду, вытер рот рукавом и закрыл глаза, желая этим показать, что аудиенция закончена.

Я побрел дальше. И не без любопытства поглядывал теперь на двери других магазинов. Однако ночных сторожей, подобных этому, я не увидел.

Домой я пришел поздно. Долго ворочался в постели. Не мог заснуть. Все время думал: нельзя ли изобрести какой-нибудь электрический прибор, чтоб он затрещал, если кто-нибудь сунется в магазин? А то пихать между двух закрытых дверей живого человека как-то досадно и огорчительно. Все-таки человек — это, так сказать, венец создания. И совать его в щель на роль капкана как-то странно.

Потом я подумал, что, вероятно, такие электрические приборы уже изобретены. Скажем, наступишь ногой на порог — и вдруг гром и треск раздается. Но, вероятно, это еще не освоено, а может, и дорого стоит или еще что-нибудь — какие-нибудь технические сложности, — раз нанимают для этого живую силу.

Потом мои мысли спутались, и я заснул. И увидел сон, будто ко мне приходит этот ночной сторож и ударяет меня кружкой по плечу. При этом говорит: «Ну, что ты к сторожам пристаешь! Живем тихо, мирно. Караулим. А ты лезешь со своей амбицией. Портишь нашу тихую стариковскую карьеру».

Утром, проснувшись, я все-таки решил написать этот фельетон — без желания кому-либо испортить карьеру.

1940

КОЧЕРГА

Забавное происшествие случилось минувшей зимой в одном учреждении.

Надо сказать, что учреждение занимало небольшой отдельный дом. Причем дом был старинной постройки. Обыкновенные вульгарные печи отапливали это здание.

Специальный человек — истопник — наблюдал за печами. Он меланхолично ходил со своей кочергой из этажа в этаж, шевелил дрова, разбивал головешки, закрывал трубы и так далее, все в этом духе.

При современной технике, при водяном и паровом отоплении картинка эта была, можно сказать, почти что

неприличная, древняя картинка, рисующая варварский быт наших предков.

В этом году, в феврале, истопник, спускаясь по лестнице, слегка обжег кочергой одну служащую, Надю Р. Причем служащая эта была отчасти сама виновата. Она вихрем неслась по лестнице и сама наскочила на истопника. На ходу она отстранила его рукой и по несчастной случайности наткнулась на кочергу, которая была довольно-таки горяча, если не сказать — раскалена.

Девушка ахнула и закричала. И истопник тоже ахнул. В общем, ладонь и пальцы этой суетливой девушки были слегка обожжены.

Конечно, случай этот мелкий, пустой, не достойный попасть на страницы художественной литературы. Однако неожиданные последствия этого дела были весьма забавны. И они-то и настроили нас на этот маленький рассказ.

Директор учреждения вызвал к себе истопника и сделал ему строгое внушение. Он сказал:

— Тоже — ходишь со своей кочергой — выводишь мне из строя служащих. Надо не зевать по сторонам, а глядеть получше.

Истопник, сокрушенно вздыхая, ответил, что у него на шесть печей всего одна кочерга, с которой он и ходит то туда, то сюда. Вот если бы на каждую печку была отдельная кочерга, вот тогда бы и можно придирается. А при таких обстоятельствах он не может гарантировать неприкосновенность служащих.

Эта простая мысль — иметь кочергу на каждую печку — понравилась директору. И он, не будучи чиновником и бюрократом, тотчас стал диктовать машинистке требование на склад. Шагая по комнате, директор диктовал:

«...Имея шесть печей при наличии одной кочерги, немисливо предохранить служащих от несчастных случаев. А посему в срочном порядке прошу выдать подателю сего требования пять коче...»

Но тут директор осекся. Он перестал диктовать и, почесав затылок, сказал машинистке:

— Что за черт. Не помню, как пишется — пять коче... Три кочерги — ясно. Четыре кочерги — понятно. А пять? Пять — чего? Пять кочерги...

Молоденькая машинистка, пожав плечами, сказала, что она вообще впервые слышит это слово и уж во вся-

ком случае в школе ей не приходилось склонять что-либо подобное.

Директор позвал своего секретаря и, смущенно улыбаясь, рассказал ему о своем затруднении.

Секретарь тотчас стал склонять это слово. Кто, что? — кочерга... Кого, чего? — кочерги... Кому, чему? — кочерге... Но дойдя до множественного числа, секретарь запнулся и сказал, что множественное число вертится у него в голове, но он сейчас не может его вспомнить.

Тогда опросили еще двух служащих, но и те не внесли ясности в это дело.

Секретарь сказал:

— Есть отличный выход. Напишем на склад два требования — на три кочерги и на две кочерги. Итого получим пять.

Директор нашел это неудобным. Он сказал, что посылать две одинаковые бумажки — это разводить канцелярщину. Найдутся пройдохи, которые при случае уколуют его этим. Лучше уж, если на то пошло, позвонить в Академию наук и у них запросить, как пишется пять коче...

Уже секретарь хотел звонить в Академию, но директор в последний момент не позволил ему это сделать. Еще, чего доброго, попадетсЯ какой-нибудь смешливый ученый, который напишет фельетон в газету — дескать, директор малограмотный, дескать, тревожат научное учреждение такой чепухой. Нет, уж лучше обойтись своими средствами. Хорошо бы еще раз позвать истопника, чтоб услышать это слово из его уст. Все-таки человек всю жизнь вращается у печей. Уж кому-кому, а ему известно, как произнести пять коче...

Тотчас позвали истопника и стали его наводящими вопросами наталкивать на нужный ответ.

Истопник, предполагая, что его опять будут жучить, отвечал на все вопросы хмуро и односложно. Он бормотал: дескать, нужно пять штук, тогда, дескать, еще можно оберечься. А иначе пушай отдают его под суд.

Потеряв терпение, директор прямолинейно спросил истопника, что ему нужно.

— Сами знаете что, — угрюмо ответил истопник.

Но тут, под давлением секретаря и директора, истопник, наконец, произнес искомое слово. Однако это слово

в устах истопника звучало не так, как ожидалось, — что-то вроде — «пять кочерыжек».

Тогда секретарь смотался в юридический отдел и оттуда привел служащего, который отличался тем, что умел составлять любые бумаги так ловко, что обходил все подводные камни.

Служащему разъяснили его задачу — составить нужное требование таким образом, чтобы слово кочерга не упоминалось во множественном числе и вместе с тем, чтобы склад выдал пять штук.

Немного покусав карандаш, служащий набросал черновик:

«До сего времени наше учреждение, имея шесть печей, обходилось всего лишь одной кочергой. В силу этого просьба выдать еще пять штук, для того чтобы на каждую печку имелась бы одна самостоятельная кочерга. Итого выдать — пять штук».

Уже эту бумажку хотели послать на склад, но тут к директору явилась машинистка и сказала, что она сейчас звонила своей мамаше, старой машинистке с тридцатилетним стажем. И та ее заверила, что нужно писать — пять кочерёг.

Секретарь сказал:

— Я так и думал. Только на меня нашло затмение.

Тотчас бумажка была составлена и послана на склад.

Самое смешное из всей этой истории — это то, что вскоре бумажка была возвращена назад с резолюцией заведующего складом: «отказать за неимением на складе кочережек».

Уже наступила весна. Потом будет лето. До зимы далеко. Об отоплении думать пока что не приходится. Весной хорошо думать о грамотности, хотя бы в связи с весенними испытаниями в средней школе. Что же касается данного слова, то слово действительно каверзное, доступное Академии наук и машинистке с тридцатилетним стажем.

В общем, надо поскорей переходить на паровое отопление. А то люди стали уже позабывать эти древние слова, связанные с дровяным отоплением.

ИСПЫТАНИЕ

Жила в нашем доме одна семья: муж, жена и сын — парнишка лет двенадцати.

Муж работал на производстве. Жена заботилась о хозяйстве. А ребенок посещал школу.

И все шло чудесно.

Выходной день — вылазка за город с ребенком впереди. Вечером — культпоход в кино или к зубному врачу. Регулярное посещение бани. И так далее.

Дружная, тихая семья, без претензии на что-нибудь особенное.

В один прекрасный день муж поднимается по лестнице, чтобы проследовать в свою квартиру после трудового дня. И вдруг видит: идет по той же лестнице молоденькая особа. Очень миленькая. Довольно нарядная. С цветком на груди.

Увидев ее, наш муж немножко даже задрожал, поскольку она уж очень ему понравилась.

А она кокетливо улыбнулась и вспорхнула этажом выше.

Вот проходит месяц. И наш муж снова встречает сию гражданку на той же самой лестнице.

Происходят взгляды, улыбки. И завязывается первый разговор, из которого выясняется, что молодая особа живет здесь со своей мамой. Ей девятнадцать лет. У нее, как говорится, своя дорога — учеба в школе кройки и шитья.

Да, конечно, она своей судьбой довольна. Но не очень, поскольку все еще впереди.

И вот проходит еще месяц, и наш муж начинает ее усердно посещать. Он заходит к ней в гости. Беседует на разные темы с ней и с ее мамой. И делается там как бы своим человеком.

Он, короче говоря, влюбляется в нее. И, будучи решительным человеком, приходит к мысли о необходимости полной перемены жизни.

И вот — разговор со своей женой, слезы и стенанья. И, наконец, наш муж перебирается этажом выше.

Он поступает до некоторой степени благородно: все оставляет своей семье. И только лишь берет с собой чемодан с бельем и носильными вещами.

Он обещает выплачивать им треть жалованья, но это не уменьшает страдания жены. И там происходят обмороки, рыдания и слезы. Печальная картина развала и крушения семьи.

Но жребий брошен. Мосты позади сожжены. И наш влюбленный муж, как говорится, вкушает счастье со своей особой.

Но он недолго вкушает счастье. Он младший командир запаса. Его мобилизуют в Красную Армию и в декабре тридцать девятого года направляют на Карельский перешеек.

И он уезжает, нежно простившись со своей плачущей Ритой.

Он пишет ей с фронта короткие письма, в которых описывает суровую боевую жизнь, жестокие бои и адские морозы. Его письма полны решимости и отваги. Это не мямля и не слюнтяй пишет с фронта. Это пишет отважный младший командир запаса, для которого долг выше личного счастья.

Но вот письма приходят все реже и реже и, наконец, совсем прекращаются. И Рита не понимает, что это значит. Уже март, конец войны. А писем нет.

И вот однажды приходит письмецо. И Рита, прочитав его, лишается чувств.

Она падает в обморок. Ее опрыскивают водой, чтоб она пришла в себя. И, придя в себя, она зачитывает мамаше письмецо, в котором говорится: «Милая Рита, я получил ранение. Я потерял ногу. Я теперь инвалид и калека. Отпиши подробно, согласна ли взять меня, или мне лучше находиться на государственном обеспечении».

Целый день мама с дочкой обсуждают положение. И, наконец, ему пишется ответ, полный жалости и участия, но вместе с тем говорится, что не так-то просто его взять. Кто же за ним будет ухаживать? Не может же она, молодая женщина, едва вступившая в свет, посвятить ему свою жизнь. Надо это дело хорошенько обдумать. Тем более, государство теперь обязано за ним последить.

Но вот проходит некоторое время, и его первая жена, Анна Степановна, тоже получает такое же письмо.

«Да, — пишет он, — милая Аня, теперь я калека. Ответь, возьмешь ли ты меня такого».

Как бомба разрывается в квартире по получении сего письма.

И в тот же день бывшая жена ему пишет:

«Милый друг Иван Николаевич, горько плачу о твоём ранении. Видно, уж суждено нам жить с тобой вместе. Зачем ты спрашиваешь — возьму ли я тебя к себе? Отпиши немедленно, куда за тобой приехать. Я буду работать. А там наш Петюшка подрастет, и все будет в лучшем виде».

Но вот проходит несколько дней. И вот — что это? К воротам подъезжает машина. И из нее выходит Иван Николаевич. Он цел и невредим. Ноги у него на месте. И на груди у него сверкает новенький орден.

Все жильцы, находящиеся в этот момент во дворе, раскрывают свои рты от изумления.

Управдом подбегает к нему и говорит:

— Как понять это, Иван Николаевич? Судя по письму, мы думали, что вы в другом виде.

Приехавший берет управдома под руку и говорит ему:

— Любезный друг! Конечно, я поступил, видимо, неправильно, жестоко и так далее. Но суровая жизнь заставила меня задуматься. Я подумал: ничего, если меня убьют, но если я потеряю руки или ноги, что будет со мной? Я живо представил себе эту картину и в тот момент решил сделать то, что сделал. И в этом не раскаиваюсь, потому что теперь знаю, с кем мне надо жить, ибо брак — это не только развлечение.

Управдом говорит:

— Конечно, вы немного перегнули в своем испытании. Это, как говорится, запрещенный прием. Но раз сделано, так сделано. От души поздравляю вас с орденом Красного Знамени.

Тут наш муж поднимается в свой этаж, к первой своей жене, Анне Степановне. И что там происходит в первые пять минут, остается неизвестным.

Известно только, что сын Петюшка по собственной инициативе бежит в верхний этаж и вскоре оттуда приносит папин чемодан с бельем и носильными вещами.

В тот же день Иван Николаевич объясняется с Ритой. Он просит у нее прощения и целует ей руки, говоря, что он вернулся другим человеком и что к прошлому нет возврата.

Они расстаются скорее дружески, чем враждебно. Конечно, молодая женщина досадует на него. Но досада ее умеренна, ибо за время отсутствия мужа ей понравился другой человек. И теперь она рассчитывает выйти за него замуж.

1940

ПЧЕЛЫ И ЛЮДИ

В один колхоз приехал в гости красноармеец.

И в подарок своим родственникам он привез баночку цветочного меда.

И до того этот мед всем понравился, что колхозники решили устроить у себя пчеловодство.

А кругом никто пчеловодством не занимался. И колхозникам надо было устраивать все заново — ульи делать и пчел из леса переводить на новые квартиры.

Увидев, что это дело такое длинное, колхозники приуныли.

— Это, — говорят, — долгая канитель! Пока то да се — и лето пройдет. И мы не увидим меда до следующего года. А нам надо сейчас.

А среди колхозников находился один прекрасный человек, некто Иван Панфилович, немолодой мужчина лет семидесяти двух. Он в молодые годы занимался пчеловодством.

Вот он и говорит:

— Для того чтобы в этом году чай пить с медом, надо поехать куда-нибудь туда, где есть пчеловодство, и там у них надо купить то, о чем мы мечтаем.

Колхозники говорят:

— Наш колхоз — миллионер. Перед затратами он не постоит. Давайте купим пасеку на полном ходу! Чтобы пчелы уже в ульях сидели. А то если из леса пчел переведем, они, может быть, окажутся неважные. Может быть, они начнут какой-нибудь жуткий мед изготавливать, какой-нибудь липовый. А нам надо цветочный.

И вот дали Ивану Панфиличу деньги и послали его в город Тамбов.

Приезжает он в Тамбов. Там ему говорят:

— Вы правильно сделали, что приехали к нам. У нас три деревни переселились на Дальний Восток. Осталось лишнее пчеловодство. Это пчеловодство мы вам можем отдать чуть не даром. Только как вы этих пчел повезете — вот это для нас вопрос. Товар, можно сказать, рассыпной, крылатый. Чуть что — разлетится в разные стороны. И мы страшимся, что к месту назначения вы привезете одни только пчелиные домики да личинки.

Панфилич говорит:

— Как-нибудь я их перевезу. Я знаю пчел. Я всю жизнь имел с ними общение.

И вот Панфилич на двух подводах привез на станцию шестнадцать ульев.

На станции он схлопотал открытую платформу. Поставил на эту платформу свои ульи и покрыл их брезентом.

И вот вскоре товарный поезд тронулся. И наша платформа покатилаься.

Панфилич торжественно стоял на платформе и беседовал с пчелами...

— Ничего, ребятки, — говорил он им, — докатимся! Маленько потерпите в темноте, а там я вас снова к цветам пушу. И вы уж там, я так думаю, свое возьмете. Главное, не тревожьтесь, что я вас в темноте везу. Это я вас нарочно брезентом закрыл, чтоб вы сдуру не вылетели на ходу поезда. В противном случае обратно на поезд уже не вскочите.

И вот поезд едет день. И другой день он едет.

На третий день Панфилич стал немного волноваться. Поезд идет медленно. На каждой станции останавливается. Подолгу стоит. И непонятно, когда он доедет к месту назначения.

На станции «Поля» Панфилич сошел со своей платформы и обратился к начальнику станции. Он спросил:

— Скажите, уважаемый, долго ли будем стоять на вашей станции?

Начальник станции отвечает:

— Право не знаю, может быть и до вечера постоим.

Панфилич говорит:

— Если до вечера, то я открою брезент и выпущу своих пчелок на ваши поля. А то они в пути истомились. Третий день под брезентом сидят. Проголодались. Не пьют, не кушают и личинок не кормят.

Начальник говорит:

— Поступайте как хотите! Какое мне дело до ваших крылатых пассажиров! У меня и без того дел хватает. А тут я буду о ваших личинках тревожиться. Еще что за глупости!

Панфилич вернулся к своей платформе и снял брезент.

А погода была великолепная. Небо голубое. Июльское солнышко блестит. Кругом поля. Цветы растут. Каштановая роща зацветает.

Вот Панфилич снял брезент с платформы. И тотчас целая армия пчел поднялась к небесам.

Пчелы покружились, осмотрелись и направились в поля и леса.

Пассажиры обступили платформу. И Панфилич, стоя на платформе, произнес им лекцию о пользе пчел.

Но во время лекции на станцию вышел начальник и стал давать сигналы машинисту, чтоб тот тронулся в путь.

Панфилич прямо ахнул, когда увидел эти сигналы. С тревогой он говорит начальнику станции:

— Уважаемый, не отправляйте поезд! У меня все пчелы в разгоне.

Начальник станции говорит:

— А вы им свистните, чтоб они скорей обратно сядились! Более трех минут я не могу поезд задерживать.

Панфилич говорит:

— Умоляю, задержите поезд до заката солнца! На закате солнца пчелы вернуться на свои места. В крайнем случае отцепите мою платформу! Я без пчел не могу ехать. Тут у меня одна тысяча осталась, а пятнадцать тысяч в полях. Войдите в положение! Не отнеситесь равнодушно к такой беде!

Начальник станции говорит:

— У нас не пчелиный курорт, а железная дорога. Подумаешь, пчелы улетели! А на следующем поезде скажут: мухи улетели. Или блохи, скажут, выскочили из мягкого

вагона. Так что ж, я должен ради этого поезда задерживать? Не смешите меня!

И тут начальник станции снова дает сигнал машинисту.

И вот поезд трогается.

Панфилыч, бледный как полотно, стоит на своей платформе. Руками разводит. Смотрит по сторонам. И дрожит от огорчения.

А поезд идет.

Ну, некоторое количество пчел успело все-таки вскочить на ходу. А большая часть осталась в полях и роще.

И вот поезд скрылся из виду.

Начальник вернулся на станцию. И приступил к работе.

Пишет он что-то в ведомости. И пьет чай с лимоном.

И вдруг он слышит, что на станции происходит какой-то шум.

Начальник открывает окно, чтоб посмотреть, что случилось. И видит, что среди ожидающих пассажиров происходит суматоха, беготня и суетня.

Начальник спрашивает:

— Что произошло?

Ему отвечают:

— Тут пчелы укусили трех пассажиров. И теперь бросаются на остальных. Их такое множество, что небо почернело.

И тут начальник видит, что целая туча пчел носится вокруг его станции.

Естественно, они ищут свою платформу. А платформы нет. Она уехала. Вот они и бросаются на людей и куда попало.

Только начальник хотел отойти от окна, чтоб выйти на станцию, как вдруг в окно влетело множество разъяренных пчел.

Начальник схватил полотенце и стал им махать, чтобы выгнать пчел из комнаты.

Но, видимо, это его и погубило.

Две пчелы укусили его в шею. Третья — в ухо. Четвертая ужалила его в лоб.

Заматавшись в полотенце, начальник лег на диван и стал испускать жалобные стоны.

Вскоре прибегает его помощник и говорит:

— Кроме вас, пчелы укусили в щеку дежурного телеграфиста. И он теперь отказывается работать.

Начальник станции, лежа на диване, говорит:

— Ай, что же делать?

Тут прибегает еще один служащий и говорит начальнику:

— Билетная кассирша, то есть ваша жена, Клавдия Ивановна, сию минуту укушена в нос. Наружность ее теперь окончательно испортилась.

Начальник станции застонал сильнее и сказал:

— Надо скорей вернуть платформу с этим сумасшедшим пчеловодом.

Начальник соскочил с дивана и стал звонить по телефону. И со следующей станции ему ответили:

— Ладно. Платформу сейчас отцепим. Но только у нас нет паровоза доставить ее вам.

Начальник станции кричит:

— Паровоз мы пришлем. Отцепляйте платформу поскорей. Уже мою супругу пчелы укусили. Моя станция «Поля» опустела. Все пассажиры спрятались в сарай. Только одни пчелы носятся по воздуху. И я отказываюсь выходить на улицу, пускай происходят крушения!

И вот вскоре платформа была доставлена.

Все с облегчением вздохнули, когда увидели платформу, на которой стоял Панфилич.

Панфилич приказал поставить платформу на то самое место, где она стояла. И пчелы, увидев эту платформу, моментально подлетели к ней.

А пчел было так много, и они так поспешно стали занимать свои места, что среди них произошла давка. И такой у них гул поднялся и такое жужжание, что собака завyla и голуби к небу поднялись.

Панфилич, стоя на платформе, приговаривал:

— Спокойно, ребята, не торопитесь! Время есть. Занимайте свои места согласно своим плацкартам!

Через десять минут все стало тихо.

Убедившись, что все в порядке, Панфилич сошел со своей платформы.

И люди, находившиеся на станции, заплодировали ему. И Панфилич, как артист, стал раскланиваться с ними. При этом сказал:

— Опустите ваши воротники! Откройте лица! И перестаньте дрожать за свою судьбу — укусов более не произойдет.

Сказав это, Панфилич направился к начальнику станции.

Начальник, замотанный полотенцем, продолжал лежать на диване. Он охал и стонал. Но он еще больше застонал, когда Панфилич вошел в комнату.

Панфилич сказал:

— Я очень сожалею, уважаемый, что мои пчелы вас укусили. Нов этом вы сами виноваты. Нельзя столь равнодушно относиться к делам, независимо от того, большие они или маленькие. Пчелы этого не выносят. Они без всяких разговоров кусают за это людей.

Начальник застонал еще больше, а Панфилич продолжал:

— Пчелы абсолютно не переносят бюрократизма и равнодушия к их судьбе. Вы же с ними поступили так, как, вероятно, поступаете с людьми, — и вот вам расплата.

Панфилич посмотрел в окно и добавил:

— Закат солнца произошел. Мои спутницы заняли свои места. Честь имею кланяться! Мы поехали.

Начальник станции слабо кивнул головой — дескать, уезжайте поскорей! И тихо прошептал:

— Всех ли пчел-то захватили? Глядите, не оставьте чего-нибудь у нас!

Панфилич говорит:

— Если две-три пчелы у вас и останутся, то это вам пойдет на пользу. Своим жужжанием они вам будут напоминать о последнем событии.

С этими словами Панфилич вышел из помещения.

На другой день к вечеру наш славный Панфилич прибыл со своим живым товаром к месту назначения.

Колхозники встретили его с музыкой.

СВЯТАЯ НОЧЬ

Однажды на майские праздники меня пригласили в гости в один колхоз. Там мне хотели показать свои достижения и свой новый, перестроенный быт.

И вот я поехал в назначенный день. Но случилось досадное происшествие — я по ошибке проехал нужную мне станцию. И только через час сошел на каком-то совершенно мелком полустанке.

Откровенно сказать — я даже немного растерялся. Кругом — поля. Жилья не видать. А уже надвигался вечер.

Я хотел было заночевать на полустанке, но дежурный посоветовал мне дойти до ближайшего хутора и там достать лошадь.

Я так и сделал.

И вот вскоре вхожу в избу. Прошу хозяина дать мне лошадь. Хозяин хутора принял меня радушно, но просьбу о лошади отклонил:

— Что вы, что вы, — сказал он, — пойдите помойтесь холодной водой. Моя лошадь целый день трудилась на поле, и сегодня я вам никак не могу ее предоставить.

Я не стал больше говорить о лошади и попросился переночевать.

— Эта вторая ваша просьба, — сказал хозяин, — тоже меня затрудняет. Вы отдаете себе отчет — куда я вас положу?

Действительно, изба была полна народу. За столом сидели три женщины, старик и пятеро ребятишек.

Стол был убран празднично и даже торжественно. На столе стояла жареная свинина и всякая разнообразная еда.

Весьма дряхлая старуха, сидящая за столом, сказала хозяину:

— В такую ночь, Федя, нельзя никого прогонять. Хозяин сказал:

— Это вы, бабушка, правильно заметили.

И, вопросительно посмотрев на старуху, добавил:

— Тогда мы этого пришедшего гостя положим в сени. Так? Пушай он там ляжет на Петькину оттоманку.

Обратившись затем ко мне, хозяин добавил:

— Уважаемый, садитесь пока с нами за стол. Я вам сейчас жареной картошки дам. А после мы вас устроим.

Я спросил:

— А скажите, какая нынче ночь, что вы вдруг разрешили мне остаться и, вдобавок, так празднично кушаете?

Старуха сказала:

— Нынче пасхальная святая ночь.

Этот мой вопрос страшно рассердил хозяина. Всплеснув руками, он сказал:

— Я сам не горазд верующий, но чтобы забывать, какая нынче ночь происходит, — это уж, знаете, из ряда вон выходящее... Этим вопросом вы меня заставляете раскаиваться, что я вас допустил на ночлег.

Я говорю:

— Не сердитесь на меня, я действительно забыл, что нынче пасха. В календаре это не отмечено, а я человек нерелигиозный. Лет, я думаю, двадцать в церкви не был. И эту дату прямо из памяти выпустил. Так что вы, папа, зря нервничаете. Вы этим себе только пасхальное настроение снижаете.

Хозяин, вздохнув, сказал:

— Доктора находят, что у меня нервная система расшатана.

Садясь за стол, я спросил:

— Вот вы сердитесь, что человек пасхальный день забыл, а сами что делаете? Не подождавши ночи, сидите за столом и разговляетесь.

Хозяин сконфуженно заметил:

— Нынче мы решили пораньше разговеться. Мы церковных правил слепо не придерживаемся.

Покушавши, мы пошли спать.

Меня положили на ситцевую мягкую кушетку, стоящую в теплых сенях. Рядом, на неуклюжих козлах, лег хозяин.

Почувствовав благодарность за оказанное гостеприимство, я сказал:

— Хозяин, может, вы хотите на кушетку лечь? А я тогда давайте на ваши неудобные козлы лягу.

— Ну нет, — живо возразил хозяин. — Я на эту оттоманку не лягу. В ней дюже блох много. И я тревожно

сплю, когда они меня кусают. На этой оттоманке единственно спит мой старший сынок Петя... Но он у меня почему-то нечувствителен к укусам.

Хозяин долго не ложился спать. Он сидел на своих козлах и задумчиво глядел на маленькую керосиновую лампочку.

Я же, опасаясь нападения ночной кавалерии, лег на свою кушетку не сразу. Я сидел на табуретке и курил.

Хозяин неожиданно сказал:

— Вот, например, колхозы... Там теперь люди многим довольны. Чистота у них в каждой избе. Живут культурней, чем прежде. И блох там теперь, говорят, маловато.

Я говорю хозяину:

— В коллективе, папаша, жить, конечно, легче, чем тут у вас на хуторе — отдаленно от всех людей.

Хозяин воскликнул:

— Вот я и задумал, уважаемый, в колхоз записаться, чтоб немного повысить свою культуру! Только не знаю, как насчет религиозности? Как вы думаете — не помешает ли это записаться? Хотя я и не горазд религиозный.

Я говорю:

— Конечно, не помешает. Государство не запрещает иметь свою веру.

— Тем более, — сказал хозяин, — я не только не горазд религиозный, я прямо, откровенно вам скажу, совершенно, то есть как есть, неверующий. Но пасхальную неделю я почему-то признаю и уважаю. Я в пасхальную неделю ко всем явлениям делаюсь какой-то чересчур нежный, и мое сердце требует справедливости.

Я говорю:

— Что касается справедливости, папа, то, например, праздник Первого мая — это более справедливый праздник, потому что это праздник трудящихся. И, празднуя его, вы тем самым можете удовлетворить свои поиски справедливости. И вашу нежность вы можете как раз приурочить к этому празднику, поскольку вы сами трудящийся.

— Я пятьдесят лет трудящийся, — сказал хозяин. — Я почти что с самой колыбели есть трудящийся. И праздник Первого мая я согласен очень сильно уважать. Но

пасхальную ночь я тоже очень сильно уважаю. Пасхальная ночь, если хотите знать, меня прямо перевертывает, поскольку я тогда чувствую жалость к людям и ко всему земному. Это святая ночь, и она меня прямо на полгода очищает.

Разговаривая с хозяином, я, забывшись, прилег на свое ложе и сразу же понял, отчего хозяин избегал этой оттоманки. С первой же минуты блохи начали жалить меня удивительно свирепо.

Я поймал одну представительницу прыгающего мира, которая беззастенчиво села на мою руку.

Хозяин, перейдя вдруг от тихого созерцательного настроения к гневу, сердито сказал:

— Никакое животное, никакое насекомое я не позволю вам сегодня убивать. Имейте это в виду.

Я от неожиданности выпустил свою пленницу.

— В моем доме,— сказал хозяин дрожащим от волнения голосом,— я сегодня никому ничего не разрешаю убивать. С завтрашнего дня можете убивать, а сегодня оставьте это делать.

Я начал было доказывать хозяину невыгодность такой идеалистической философии, но он стал на меня кричать. И тогда я, покрывшись пальто, отвернулся к стене.

Но заснуть от укусов решительно не мог.

Хозяин тоже не спал. Он кряхтел, курил и вертелся на своих козлах, как сумасшедший.

Наконец он встал со своего ложа и, босой, в розовых подштанниках, пошел вдруг к выходу. Он открыл дверь на улицу, и, сняв с себя рубаху, стал ее энергично трясти и колотить.

— Папа, — сказал я, — вы что же делаете?

— А что? — ответил он сердито.

— На дворе же, — говорю, — морозно. И там ваши питомцы непременно погибнут от голода, холода и других лишений. Где же ваша нежность и христианская кротость?

Хозяин сконфуженно улыбнулся. Он сказал:

— Дюже заели, ну их совсем в болото. Прямо от них не можно было заснуть. В крайнем случае и вы, если хотите, тоже можете начать их убивать...

Поговорив с хозяином о том, о сем, мы, наконец, за-
снули.

А утром мой милый хозяин доставил меня в колхоз. И сам со своей нежной душой пошел в гости к одному из колхозников.

1941

ЧИНГИС-ХАН С САМОЛЕТОМ

В XII столетии Чингис-хан прошел, как смерч, по земле.

Когда он брал города — он не оставлял камня на камне.

Историки пишут, что груды мусора оставались там, где были цветущие города и поселения.

Мужчин поголовно истребляли. Женщин насиловали и уводили в плен, а детям разбивали головы о камни.

И когда я в юности читал эти строчки, мне делалось скучно и совестно, что это так было в истории людей.

Но я с облегчением вздыхал. Думал — это же далекое прошлое. Заря человеческой жизни. Грубость нравов. Отсутствие культуры и цивилизации. Все это, я думал, прошло безвозвратно и больше никогда не повторится.

Черта с два. Снова мусор от разрушенных городов, снова груды убитых детей, снова непомерная жестокость и лютая ненависть — фашистская армия повторяет то, что было восемь веков назад.

Вот великолепный самолет распластал свои крылья в поле. Изумительный самолет — детище современной техники — готов в далекий путь. Рядом с самолетом стоит летчик. На рукаве его куртки — сатанинская свастика.

Летчик покуривает. Улыбается. Шутит.

В руках у него цветок — подарок незнакомой девушки.

Может быть, этот летчик летит в научную экспедицию?

Может быть, он держит курс в Арктику — изучить магнитные отклонения?

Черта с два! Под самолетом подвешены бомбы. Человек летит сеять смерть и разрушение.

Но, может быть, это патриот своего отечества; может быть, враги напали на его страну, и теперь надо защищать свою родину?

— Черта с два! Он летит по приказу своего начальника — завоевывать чужие земли.

Но, может быть, на душе у него нехорошо; может быть, его ум и сознание протестуют?

В его стране не велено думать. И, тем более, не велено думать солдату. «Сознание, — сказал фюрер, — принесит людям неисчислимыя беды». Стало быть, не надо думать, а надо без всяких мыслей исполнять то, что приказано.

Но если все-таки солдат задумался? Если, ворочаясь на койке, он подумал с содроганием, зачем и для чего он бросил сегодня тридцать бомб на крыши цветущего города, на головы жителей, которые ни в чем не повинны — повинны только в том, что не хотят увидеть врага на своей земле.

Ну что ж, если солдат так подумал — к его утешению имеется «научная» фашистская литература, которая разъяснит сомнения.

Бомбы? Воздушные бомбардировки городов? О, это же весьма полезно. Это приносит облегчение людям.

«Коричневая книга» приводит статью, помещенную в научном (биологическом) фашистском журнале.

Одно заглавие этой статьи уже многое говорит. Статья называется «О пользе воздушных бомбардировок».

Только преступник или тупица мог написать такую статью. Там вот что сказано:

«Взрывы тяжелых снарядов, весом в тонну и больше, помимо смерти, которую они сеют, вызывают случаи помешательства. Люди, нервная система которых недостаточно сильна, не смогут вынести такого удара. Таким образом, воздушные бомбардировки нам помогут обнаружить неврастеников и устранить их из социальной жизни».

Эту мракобесовскую статью тяжело и отвратительно читать.

Собственно говоря, неизвестно, на какую дубовую голову она рассчитана. Но она явно рассчитана на то, чтоб человек утешился, если в его голове шевельнется живая мысль.

Воздушные бомбардировки? Ничего! Это полезно. Слабые и старые люди не нужны. Их — к черту из социальной жизни. Что касается детей, то и «дети пусть лучше погибнут от бомбы, чем от скарлатины».

Вот дьявольская философия, которая могла возникнуть лишь в больной голове.

Бегемоты и слоны в таком случае наилучшие жители — они сравнительно легко выдерживают бомбардировку.

В каком-то диком племени когда-то, говорят, существовал обычай — «устранять» из социальной жизни слабых стариков.

Но как узнать — слабый ли старик? Возраст ничего не говорит. Другой старик и в сто лет еще бодрится.

И вот вожди дикого племени придумали способ узнать слабых.

Подопытному старику велют влезть на дерево. И потом это дерево что есть силы раскачивают. Если старик усидит — его счастье. Значит, он еще может жить. А нет, так извиняемся за опыт.

Так и тут. Чингис-хан с самолетом изволит «перестраивать» социальную жизнь. Он пока что слабых и нервных стряхивает с дерева жизни.

Однако ум и справедливость восторжествуют. И философия мракобесов исчезнет, как страшный сон.

Поражение врага, у которого такая философия, неизбежно.

1941

РОГУЛЬКА

Утром над нашим пароходом стали кружиться самолеты противника.

Первые шесть бомб упали в воду. Седьмая бомба попала в корму. И наш пароход загорелся.

И тогда все пассажиры стали кидаться в воду.

Не помню, на что я рассчитывал, когда бросился за борт, не умея плавать. Но я тоже бросился в воду. И сразу погрузился на дно.

Не знаю, какие там бывают у вас химические или физические законы, но только при полном неумении плавать я выплыл наружу.

Выплыл наружу и сразу же ухватился рукой за какую-то рогульку, которая торчала из-под воды.

Держусь за эту рогульку и уже не выпускаю ее из рук. Благословляю небо, что остался в живых и что в море понатыканы такие рогульки для указания мели и так далее.

Вот держусь за эту рогульку и вдруг вижу — кто-то еще подплывает ко мне. Вижу — какой-то штатский вроде меня. Прилично одетый — в пиджаке песочного цвета и в длинных брюках.

Я показал ему на рогульку. И он тоже ухватился за нее.

И вот мы держимся за эту рогульку. И молчим. Потому что говорить не о чем.

Впрочем, я его спросил — где он служил, но он ничего не ответил. Он только выплюнул воду изо рта и пожал плечами. И тогда я понял всю нетактичность моего вопроса, заданного в воде.

И хотя меня интересовало знать, с учреждением ли он плыл на пароходе, как я, или один, тем не менее я не спросил его об этом.

Но вот держимся мы за эту рогульку и молчим. Час молчим. Три часа ничего не говорим. Наконец мой собеседник произносит:

— Катер идет...

Действительно, видим: идет спасательный катер и подбирает людей, которые еще держатся на воде.

Стали мы с моим собеседником кричать, махать руками, чтоб с катера нас заметили. Но нас почему-то не замечают. Не подплывают к нам.

Тогда я скинул с себя пиджак и рубашку и стал махать этой рубашкой: дескать, вот мы тут, сюда, будьте любезны, подъезжайте.

Но катер не подъезжает.

Из последних сил я машу рубашкой: дескать, войдите в положение, погибаем, спасите наши души.

Наконец с катера кто-то высовывается и кричит нам в рупор:

— Эй вы, трамтарарам, за что, обалдели, держитесь — за мину!

Мой собеседник, как услышал эти слова, так сразу шархнул в сторону. И, гляжу, поплыл к катеру...

Инстинктивно я тоже выпустил из рук рогульку. Но как только выпустил, так сразу же с головой погрузился в воду.

Снова ухватился за рогульку и уже не выпускаю ее из рук.

С катера в рупор кричат мне:

— Эй ты, трамтарарам, не трогай, трамтарарам, мину!

— Братцы, — кричу, — без мины я как без рук! Потону же сразу! Войдите в положение! Плывите сюда, будьте так великодушны.

В рупор кричат:

— Не можем подплыть, дура-голова, — подорвемся на мине. Плыви, трамтарарам, сюда. Или мы уйдем сию минуту.

Думаю: «Хорошенькое дело — плыть при полном неумении плавать». И сам держусь за рогульку так, что даже при желании меня не оторвать.

Кричу:

— Братцы моряки! Уважаемые флотские товарищи! Придумайте что-нибудь для спасения ценной человеческой жизни!

Тут кто-то из команды кидает мне канат. При этом в рупор и без рупора кричат:

— Не вертись, чтоб ты сдох, — взорвется мина!

Думаю: «Сами нервируют криками. Лучше бы, — думаю, — я не знал, что это мина, я бы вел себя ровней. А тут, конечно, дергаюсь — боюсь. И мины боюсь, и без мины еще того больше боюсь».

Наконец ухватился за канат. Осторожно обвязал себя за пояс.

Кричу:

— Тяните, ну вас к черту... Орут, орут, прямо надоело...

Стали они меня тянуть. Вижу, канат не помогает. Вижу — вместе с канатом, вопреки своему желанию, опускаюсь на дно.

Уже ручками достаю морское дно. Вдруг чувствую — тянут кверху, поднимают.

Вытянули на поверхность. Ругают — сил нет. Уже без рупора кричат:

— С одного тебя такая длинная канитель, чтоб ты

сдох... Хватаешься за мину во время войны... Вдобавок, не можешь плыть... Лучше бы ты взорвался на этой мине — обезвредил бы ее и себя...

Конечно, молчу. Ничего им не отвечаю. Поскольку — что можно ответить людям, которые меня спасли. Тем более, сам чувствую свою недоразвитость в вопросах войны, непонимание техники, неумение отличить простую рогульку от бог знает чего.

Вытащили они меня на борт. Лежу. Обступили.

Вижу — и собеседник мой тут. И тоже меня отчитывает, бранит — зачем, дескать, я указал ему схватиться за мину. Дескать, это морское хулиганство с моей стороны. Дескать, за это надо посылать на подводные работы от трех до пяти лет.

Собеседнику я тоже ничего не ответил, поскольку у меня испортилось настроение, когда я вдруг обнаружил, что нет со мной рубашки. Пиджак тут, при мне, а рубашки нету.

Хотел попросить капитана — сделать круг на ихнем катере, чтоб осмотреться, где моя рубашка, нет ли ее на воде. Но, увидев суровое лицо капитана, не решился его об этом просить.

Скорей всего рубашку я на мине оставил. Если это так, то, конечно, пропала моя рубашка.

После спасения я дал себе торжественное обещание изучить военное дело.

Отставать от других в этих вопросах не полагается.

1943

РАССКАЗЫ ПАРТИЗАН¹

1. Подарил барин брюки

В деревню Черенково гитлеровцы вошли в августе сорок первого года.

Они сразу отдали жителям приказ не выходить на улицу до особого распоряжения. И люди два дня сидели по своим домам, не зная, что вокруг происходит.

¹ Эти рассказы я записал (весной 1944 года) со слов партизан Ленинградской области. Вся книга, в которую входило около сорока рассказов, была закончена мною в конце 1946 года,

На третий день гитлеровцы велели жителям собраться на площади, там, где у них обычно бывали собрания.

Люди собрались на этой площади и долго стояли в ожидании. Наконец прибыл какой-то гитлеровский офицер. На ломаном русском языке он так сказал собравшимся жителям:

— Я не станет вам много говорить, но я будет показывать вам картина. И тогда вы сами хорошо увидите, что мы обещаем вам — русскому мужику.

Тут два солдата развернули большой плакат. И прибили его на Доску почета, возле трибуны.

Это был огромный плакат; отпечатанный разноцветными красками.

Сверху плаката шла надпись по-русски: «Вот что мы обещаем русскому крестьянину».

В верхнем правом углу плаката изображен кирпичный домик под железной крышей. Вокруг домика палисадник с цветами. Возле цветов нарисована стройная дама с лейкой в руках. Мило улыбаясь, она поливает цветы. Поливает круглую грядку, посреди которой красуется золотой стеклянный шар на палке.

Этот кирпичный домик с палисадником и цветами обведен особой нарядной рамкой.

Пониже рамки нарисована внутренность этого домика. Красиво убранная комната. Цветы. Картины в золотых рамах. Тюлевые занавески на окнах. Пианино с раскрытыми нотами.

Посреди комнаты стол. На столе самовар. Обильная еда — мед, консервы, ветчина, варенье.

И за этим столом показана крестьянская семья.

Все сидят важные, надутые, в гордых позах. Мужчины бритые, в крахмальных воротничках. Старенький дед, и тот в крахмальной рубашке. Но у дедушки — бородка, подстриженная клинушкой. Причем дедушка чаю не пьет. Он уже изволил откусать и теперь держит в руках карманные часы и на них с восхищением смотрит. Видимо, художник хотел показать, что даже дедушка имеет свои карманные часы и вот как он этим доволен.

Что касается женщин, то немецкий художник выписал их с особым старанием. Они в модных прическах.

У всех брошки на груди. Серьги в ушах. И на руках кольца, браслеты, запястья.

И чай пьют женщины из чашек, красиво оттопырив свои мизинчики.

Дети выписаны тоже старательно. У мальчиков проборы на головах. У девочек пышные цветные банты.

Вот такую идиллию изобразил художник, желая показать, что эта картина является идеалом нашей крестьянской жизни.

Без улыбки нельзя было глядеть на этот плакат: до того художник фальшиво и как-то не по-нашему изобразил тихое крестьянское счастье, в котором крахмальный воротничок и золотые браслетки являются высшим достижением.

Люди улыбались, рассматривая эту картину. Но особенно всех рассмешила комнатная собачка, которую художник спешно пририсовал на коврике подле стола. Это была небольшая белая собака, вроде болонки — с кисточкой на хвосте и с голубым бантиком на шейке. В ленивой позе она лежала на пестром коврике — сытая, пузатая и довольная. Настолько сытая, что она даже отвернула свою мордочку от блюда с молоком.

И вот мы с улыбкой глядим на эту изнеженную собачку, а один из наших сельчан, нарочно глубоко вздохнув, говорит:

— То есть, — говорит, — всю свою жизнь, товарищи, я мечтал иметь в своем крестьянском хозяйстве именно такую болонку либо мопсика. И вот, — говорит, — теперь гитлеровская империя осуществила мои лучшие надежды — преподносит мне этот драгоценный подарок.

Тут мы все громко рассмеялись. И тогда другой наш пожилой житель — Семен Корнилов — говорит сказавшему:

— А ты, милый, не надейся на их подарки. Помни мужицкое изречение: «Подарил барин брюки — оторвал за это руки, подарил сапожки — оторвал и ножки».

Мы снова громко рассмеялись. И тогда гитлеровский офицер, не понимая, о чем мы говорим, сердито на нас посмотрел. И вскоре всем велел разойтись по домам.

Дня через два я и сосед мой, комсомолец Володя Рошин, покинули эту нашу деревню Черенково. Мы ушли

в лес и там вскоре примкнули к партизанскому отряду. И почти год не знали, что делается в нашей деревне.

Но вот весной 1943 года командир отряда, давая указания разведчикам, сказал мне и Володе Рошину:

— А ведь вы, ребята, кажется, проживали в деревне Черенково. Вот и смотайтесь туда — выясните: имеется ли там фашистский гарнизон. И если имеется, то в каком количестве.

С большим волнением мы с Володькой отправились в эту разведку. С волнением шли по знакомым дорогам, желая поскорей увидеть наши родные места.

Миновали поля. Миновали перелесок. Спустились к реке. И тут еще издали увидели, что нашей деревни нет.

Почти бегом мы дошли до тех огородов, где начиналась наша деревня. Теперь ее не было. Она была сожжена, или взорвана, или непонятно, что с ней случилось. Но только тут даже трубы лежали на земле. И все плетни были повалены. Лишь стояли обожженные деревья и кусты, но они были сухие, как веники.

Не без труда я нашел то место, где еще недавно находился мой дом. Теперь там остался один каменный фундамент. И больше ничего.

Мы с Володей Рошиным пошли вдоль деревенской улицы. И там, среди праха и разрушения, мы вдруг увидели знакомую доску почета. Она нетронутая стояла возле поваленной деревянной трибуны. Однако цветного плаката на ней уже не было. Вернее, там висели обрывки этого плаката, помытые дождем и снегом.

Нам вспомнилась красноречивая надпись, какая была на этом плакате: «Вот что мы обещаем русскому крестьянину».

Вспомнились нам и слова, какие произнес пожилой наш житель Семен Евдокимович Корнилов: «Подарил барин брюки — оторвал за это руки, подарил сапожки — оторвал и ножки».

Еще раз мы с Володей Рошиным прошли по пустынной улице. С одной березы с карканьем поднялись вороны. Там висел повешенный. Он был разут, в одном белье. Но кто это был — разобрать не представлялось возможным.

Мы с Володей Рошиным вернулись в свой отряд и доложили командиру, что в деревне Черенково военного

гарнизона не имеется и что не имеется и самой деревни, жителям которой гитлеровцы обещали крахмальные воротнички и золотые браслетки.

2. Стратегическая ошибка

В деревню Батово гитлеровцы, к удивлению всех, завезли крупную партию балалаек.

Несколько больших ящиков они выгрузили на станции и там прикрыли их брезентом. А два ящика из этой партии они доставили в деревню на крестьянской телеге.

Привез эти балалайки штатский немец средних лет. Это был усатый, франтовато одетый человек в соломенной шляпе и с тросточкой в руках.

Когда везли балалайки, он сидел позади телеги, свесив вниз свои толстые ноги, обутые в желтые ботинки. В одной руке у него была дымящаяся сигара, в другой — тросточка с серебряным набалдашником.

По-русски этот иностранец говорил вполне порядочно. Именно поэтому (как он впоследствии доложил людям) владелец музыкальной фирмы послал его на Восток.

Вокруг его телеги собрались люди. Но это были ребята и женщины. Мужчин среди них не было. И немец выразил сожаление, что мужчины отсутствуют, так как именно их может заинтересовать то, что он привез.

Когда ящики сняли с телеги и поставили во двор, представитель музыкальной фирмы произнес краткую речь перед собравшимися. Он снял свою соломенную шляпу и сказал:

— Добрый день, господа! Владелец моей фирмы направил меня в русскую деревню продать этот товар крестьянам, для того чтобы они, добросовестно работая на наше государство, имели бы по вечерам разумное развлечение.

Тут представитель фирмы сказал несколько слов о влиянии музыки на работоспособность человека. Причем подчеркнул, что идея завезти балалайки в русскую деревню всецело одобрена военным командованием. Именно военное командование разрешило послать этот музыкальный груз по железной дороге — что сейчас не

является сколько-нибудь обыкновенным делом. Однако родственная связь с одним штабным генералом позволила владельцу музыкальной фирмы послать эти балалайки вне всякой очереди и даже наравне с авиабомбами.

Сказав о военном командовании, представитель музыкальной фирмы энергично взмахнул своей тросточкой, желая подчеркнуть этим всю военную значительность его коммерческой операции.

Засим представитель фирмы сказал, что отпуск балалаек будет производиться только лишь в обмен на сельскохозяйственные продукты. Тут он вынул из кармана записную книжку и громко зачитал — из какого расчета будет происходить мена. Так, например, за обычную балалайку следует сдать шестнадцать килограммов зерна либо сорок куриных яиц. Однако вместо зерна и яиц допустимо сдать два кило масла или же полторы куры.

Это расписание — сколько надо сдавать за каждую взятую балалайку — коммерсант обещал вывесить на воротах.

Закругляя свою речь, он сказал жителям деревни:

— Итак, господа, завтра в воскресенье, я открываю продажу балалаек. Прошу объявить об этом всему населению вашей уважаемой деревни.

Но тут одна женщина, которая слушала эту речь, сказала приезжему коммерсанту, что он, видимо, напрасно привез сюда этот свой товар, так как у них в деревне никто на балалайках не играет.

Представитель музыкальной фирмы не без тревоги спросил:

— А на чем же у вас играют?

Женщина сказала:

— Сейчас у нас вообще никто не играет. А до войны некоторой симпатией пользовалась у нас гитара, отчасти аккордеон и, наконец, рояль, находящийся в нашем колхозном клубе. Но во всяком случае не балалайки.

Представитель музыкальной фирмы сказал:

— Не знаю, господа, у нас во всех справочниках отмечено, что вы, русские, играете на балалайках и что балалайки — это ваш любимый национальный инструмент.

Многие засмеялись, а женщина сказала:

— До войны у нас в колхозе был великорусский оркестр, куда входили и балалайки. Но самостоятельной игры на балалайках, как бывало когда-то, у нас давно уже нет. Во всяком случае я не помню, когда это было. Может быть, до революции. А может быть, и в прошлом столетии.

Немецкий коммерсант торопливо спросил:

— А как у вас в других деревнях? На чем там теперь играют?

Ему ответили:

— В других деревнях, вероятно, то же самое, что и у нас. Конечно, там могут найтись любители балалаечной игры, но редко. И это главным образом будут подростки лет по двенадцати.

Представитель фирмы сердито сказал:

— Черт вас знает, русских, как вы быстро меняетесь! У нас про вас сказано одно, а теперь оказывается у вас другое. Должно быть, владелец моей фирмы не учел вашу перемену. Однако, может быть, эта перемена не столь еще велика. В общем, мы завтра увидим.

На следующий день представитель музыкальной фирмы открыл продажу балалаек.

На воротах он укрепил вывеску с нарисованной балалайкой. А под вывеской наклеил листок с указанием, из какого расчета жители деревни могут приобретать себе балалайки.

На дворе стоял длинный стол. И там, помимо балалаек, лежали еще губные гармошки и свистульки из разноцветной пластмассы. Там же красовались весы и различная тара для сельскохозяйственных продуктов.

Представитель музыкальной фирмы нервно ходил по двору, помахивая своей тросточкой. И зычным голосом он приглашал зайти каждого, кто ошибочно или из любопытства заглядывал во двор.

Однако за весь день никто у него ничего не купил. За исключением, впрочем, одной свистульки, каковую он продал одному семилетнему малышу.

Через день представитель фирмы грузил свои ящики на подводу. Он был до крайности сердит и расстроен. Он сказал одному человеку, который пользовался доверием у гитлеровцев:

— Ну, хорошо, допустим, ошибся в этом вопросе мой владелец музыкальной фирмы. Допустим, он ошибочно послал в русскую деревню то, в чем здесь теперь никто не нуждается. Но что же смотрело военное командование? О чем думали наши штабные генералы, давая срочное разрешение везти сюда балалайки? Вот в этом я вижу крупную ошибку военного характера.

Сельское лицо, пользующееся доверием у гитлеровцев, промолчало. И тогда представитель музыкальной фирмы сердито добавил:

— В этом печальном факте я, к сожалению, усматриваю нашу стратегическую ошибку, основанную на неточном знании противника в его современном преломлении.

Крепко чертыхаясь по-русски и по-немецки, коммерсант сел в телегу позади ящиков и, дымя сигарой, отбыл на станцию.

3. Перестроился

Некоторое время колхоз «Большая речница» держался при гитлеровцах в своем прежнем порядке. Но вскоре был получен приказ из Берлина — поделить колхозную землю между крестьянами.

Многие колхозники по своей привычке относиться к земле как к своей кормилице, взволновались, когда речь зашла о разделе. Захотели поскорей узнать, какой будет надел и будет ли земля полагаться малолетним.

Навели справки у старосты.

Староста этот не без охоты нес бремя своей случайной власти. Он держался степенно. Поглаживал свою бороденку. И делал вид, что он полностью в курсе берлинских распоряжений.

На самом же деле он ничего не знал и даже съездил в Порхов, чтобы там проконсультироваться.

В Порхове он выяснил, что надел будет крайне небольшой — один гектар на трех едоков. Причем малолетние ничего не получают.

Это сообщение многих привело в уныние. Но особенно огорчился немолодой колхозник, некто Степан Фоминков. В свое время этот Фоминков критически и с неудовольствием относился к колхозной жизни. Он по-

следним по счету перешел в колхоз. Воспитанный на прежних понятиях, он не переставал мечтать об единоличном хозяйстве. И вот теперь, когда речь зашла о разделе колхозной земли, этот Фоминков проявил особый интерес к событию. И больше всех он тут шумел, ожидая своего счастья.

Однако, узнав, какой будет надел, Фоминков сразу упал духом и стал громогласно ругать гитлеровцев и старосту.

Староста сказал ему:

— А ты, Фоминков, не удивляйся, что надел будет такой маленький. Весь левый берег реки мы делить не станем, поскольку он перейдет одному германскому промышленнику для его лесопильного завода.

На это Фоминков еще больше забранил гитлеровцев и с энтузиазмом отозвался о прежней колхозной жизни и о советской власти, которая заботливо относилась к крестьянским нуждам и не разбазаривала землю на сторону.

Тут все односельчане и сам староста увидели, что Степан Фоминков идейно и политически перестроился, хотя и с опозданием. Люди стали посмеиваться над Фоминковым, а староста хмурился и более не вступал с ним в беседы.

И вот, наконец, приступили к разделу колхозной земли. К этому времени прибыл из города сельскохозяйственный офицер. И хотя по-русски он почти ничего не понимал, тем не менее он вызвался произнести вступительное слово перед крестьянским обществом.

Никто его речи не понял, поскольку у него русские и немецкие слова были вперемежку. Однако одну фразу о том, что крестьяне являются низшим классом, все отлично поняли. Эту фразу гитлеровец произнес особенно четко.

Когда офицер кончил говорить, староста, не привыкший еще к новым порядкам, сказал собравшимся:

— Кто желает высказаться по данному вопросу?

Степан Фоминков тотчас взял слово и, не сдерживая себя, заговорил. Он сказал:

— Тут господин офицер обронил фразу — будто крестьянство есть низший класс в государстве. Обидно нам слышать эти слова хотя бы и от гитлеровца. Из прошло-

годней лекции, которая состоялась при советской власти, мы с вами узнали, что все население земного шара — на три четверти крестьянство. И оно главным образом кормит многих и многих и в том числе этого гитлеровского оратора.

Староста зашикал на Фоминкова. Лишил его слова и пригрозил, что отнимет у него один надел за излишние слова, произнесенные в присутствии офицера.

Наконец стали производить раздел. Староста объявил, что он сам получает двенадцать наделов. Никто не возражал, поскольку было ясно, что этот подголосок уже имеет согласие свыше на такое количество земли.

Но когда староста объявил, что его родной брат Антон — пьяница и хулиган — тоже получает двенадцать наделов, все возмутились. И Фоминков, забыв все на свете, крикнул:

— За что ж ему, трепачу, двенадцать наделов?! Ведь он всегда ругал советскую власть.

Гитлеровский офицер сидел в своей машине как истукан. Но когда он услышал эти слова, он крикнул, приподнявшись со своего сиденья:

— Больше нет софецкая власть!

Фоминков хотел было еще что-то сказать, но староста снова на него зашикал и запретил ему что-либо говорить. И при этом сказал:

— Взять хотя бы нашего Фоминкова. Ему полагается четыре надела. Но я сильно сомневаюсь, что он их получит сполна. Кто такой этот Фоминков с точки зрения нового порядка? Какую ценность он собой представляет для обширной Германской империи? Один его сын служит в Красной Армии. А другой его сынок как будто бы находится среди партизан. Сам же Фоминков до крайности неводержан на язык. И за все эти его минусы я вычитаю с нашего Фоминкова три надела. Вот и рассчитайте теперь, сколько получит наш Фоминков. Он получит один надел.

Услышав, что он получит один надел, Фоминков растерялся. Он побежал к машине, чтобы высказать немецкому офицеру свои соображения.

Однако солдат не подпустил его к машине. И тогда Фоминков сказал старосте:

— Ты в своем ли уме — давать мне один надел? Ну-ка, сообрази — как я обойдусь с моим семейством при одном наделе? Ведь я же с голоду начну пухнуть.

Староста сказал Фоминкову:

— Всякий получает свое. Ты же получишь один надел и не более того. А если тебе этого мало, то наймись ко мне на работу.

Фоминков с удивлением говорит:

— Что значит — наймись на работу? Да ты никак предлагаешь мне у тебя батрачить?

Староста говорит:

— Да, я желаю взять тебя в батраки. Посуди сам — могу ли я обработать всю свою землю? Ведь помимо того у меня шесть коров. Гуси. Овечки. Четыре кабанчика.

Не переставая изумляться, Фоминков говорит:

— Да ты что — серьезно зовешь меня в батраки?

Староста говорит:

— Предлагаю тебе это самым серьезным образом. И заявляю всему уважаемому крестьянскому обществу, что отныне свою земельную политику мы будем строить именно так, чтоб у нас завсегда имелись свои батраки, без которых нам теперь не обойтись.

И тогда брат старосты, Антошка, крикнул:

— Нам теперь без батраков не обойтись!

Фоминков снова побежал к машине, чтоб поговорить с офицером, но солдат навел на Фоминкова свой автомат и снова не подпустил к машине. И тогда Фоминков сказал, обращаясь к обществу:

— Взгляните на их нахальство... в мои зрелые годы... в батраки меня нанимают...

И, подойдя к старосте, Фоминков крикнул ему:

— Не для того столько лет воспитывала меня советская власть, чтоб ты хватал меня за глотку!

И с этими словами Степан Фоминков с силой дернул старосту за бороду. Да так дернул, что тот со стоном упал на коленочки.

Гитлеровский офицер почему-то усмехнулся, увидев эту картину. Однако велел солдатам отвести Фоминкова в комендатуру.

Поднимаясь с земли, староста крикнул Фоминкову, которого уже уводили:

— Только попробуй вернуться с комендатуры! Погроб жизни не выйдешь теперь у меня из батраков!

Однако Фоминков не вернулся из комендатуры. Он там, говорят, сильно шумел, и гитлеровцы отправили его в концлагерь. И что с ним стало в дальнейшем — никому неизвестно.

4. Перед экзаменом

Весной сорок первого года Лиза Повелихина закончила десятилетку и сразу стала готовиться к экзаменам для поступления в Планово-экономический институт. Все лето она решила посвятить занятиям.

Но мать прислала ей письмо из деревни. Она написала ей: «Приезжай в деревню. Здесь отдохнешь, попьешь молочка и еще лучше подготовишься к экзаменам».

Лиза так и сделала. Она приехала в деревню с целым чемоданом книг. Но буквально на второй день ее приезда началась война.

Лизе не захотелось тут бездействовать. Она было решила вернуться в город. Но мать была женщина с характером. Она сказала своей дочери:

— Нет, в город не пушу. Оставайся тут со мной. А если не хочешь сидеть без дела — готовься к своим экзаменам, которые когда-нибудь да состоятся, поскольку война не будет вечно продолжаться.

Лиза так и сделала. Осталась. И хотя теперь занятия не шли на ум, но девушка пересилила себя, заставила себя сидеть за книгами.

Между тем гитлеровцы неожиданно заняли деревню. Поблизости не было боев, и никто не предполагал, что так может случиться. Но это случилось. И тогда девушка сказала своей матери:

— Что же мне теперь делать?

Мать ответила ей:

— Бежать теперь поздно. И тебе остается одно — сиди тихонько в избе, учись, занимайся. Война когда-нибудь кончится, и тогда ты первая из всех сдашь свои экзамены на отлично, имея такую длительную подготовку.

Как в тумане проходили дни при гитлеровцах. Лиза помогала матери по хозяйству. И несколько раз ходила вместе с жителями деревни на работы. А в свободное время девушка по-прежнему склонялась над книгами. Читала, составляла конспекты. Но все это она делала как-то машинально, без чувства и без должного внимания. Хотя где-то в душе и теплилась неясная надежда, что вся эта учеба ей в дальнейшем пригодится.

И вот однажды Лиза сидела у открытого окна. Читала. И что-то записывала на листочке.

Неожиданно книга ее захлопнулась. Лиза подняла глаза. Перед окном стоял офицер из гитлеровской армии — молодой, франтоватый, с хлыстиком в руках. Этим своим хлыстиком он и захлопнул книгу.

Лиза уже несколько раз видела этого офицера. Он всегда с улыбкой посматривал на нее. И даже пробовал однажды заговорить с ней. Он что-то спросил ее по-немецки. А Лиза прилично знала язык — все понимала и немного разговаривала. Она ответила ему по-немецки, но разговора не стала поддерживать — ей было неприятно беседовать с этим лощеным офицером.

И вот теперь этот офицер стоял перед окном и с улыбкой смотрел на девушку. Любезно спросил ее:

— Разрешите узнать — что вы изволили читать? Роман?

Лиза ответила:

— Нет, это не роман. Это учебник политэкономии. Я готовлюсь к экзаменам.

Офицер весело рассмеялся. Сказал:

— Птичка моя, это напрасный труд. Это вам больше никогда не пригодится.

— Почему? — спросила Лиза не без наивности.

Офицер, по-прежнему улыбаясь, ответил:

— Нам не понадобятся образованные люди в России.

Лиза воскликнула:

— Вам не понадобятся, но нашей стране они будут нужны!

Офицер сказал, пожимая плечами:

— Но ваша страна, мадемуазель, изменит свое лицо до неузнаваемости. Она не будет в том прежнем виде, в каком вы ее привыкли понимать. Да, здесь будут проживать русские люди — мастера, ремесленники, ра-

ботники сельского труда. Но интеллигенции среди них не будет.

Лиза с недоумением спросила:

— А где же, по-вашему, будет интеллигенция? Куда она денется?

Похлопывая хлыстиком по своей ноге, гитлеровец сказал:

— Ну, не знаю, душечка. За Урал уедут. Во всяком случае здесь ваши интеллигенты проживать не будут. Иначе они помешают нашим планам, с которыми они, очевидно, не пожелают согласиться.

Все это гитлеровец говорил легким, веселым тоном, как будто речь шла о самых простых, повседневных делах.

Ужасное волнение охватило Лизу. Она побледнела, и руки у нее стали дрожать.

Мать, увидев ее в таком состоянии, замахала на гитлеровца руками и сказала ему, воспользовавшись тем, что он не понимает по-русски:

— Хватит, понимаешь! Прекрати беседу с ней. Ступай к черту отсюда. Уходи к своим.

Офицер по-русски действительно не понимал, но на этот раз он понял, что его просят удалиться. Кисло улыбнувшись, он попрощался с Лизочкой. И отвесил полупоклон мамаше, на которую он заметно обиделся за то, что она махала руками перед его лицом.

Когда гитлеровец ушел, Лиза бросилась на кровать. Волнение ее душило. Никогда раньше она не задумывалась — кто она: русская или кто такая. Почему-то раньше она не придавала этому значения. А сейчас она вдруг поняла, что происходит что-то ужасное и такое, которое может уничтожить ее родную страну, может уничтожить русских или превратить их в бессловесных рабов.

Мать села рядом с Лизой, стала утешать ее. И тогда девушка расплакалась, разрыдалась. Мать сказала ей:

— Что тебе думать о таких делах. Есть люди, которые и без тебя об этом заботятся. Лучше снова сядь за свои книги. Это вернет тебе душевное спокойствие.

На другой день Лиза снова села за книги. Но на этот раз она села не у окна, а на кухне.

Однако вскоре опять появился этот офицер. Он вошел на кухню развязно, весело и даже не постучался. Он сказал девушке:

— Мне показалось, радость моя, что вчерашний наш разговор вас немного расстроил. И вот я специально пришел вас утешить, сказать вам, что перемена в вашей стране не всех коснется. И уж во всяком случае вас это не коснется. Хорошенькие женщины менее всего будут подвержены переменам судьбы. Глядите спокойней на свое будущее.

Сдерживая свою ненависть к этому холеному офицеру, наглому и самоуверенному, Лиза сказала:

— Зачем вы так говорите? Речь не обо мне. Но я русская, и ваши слова о моей стране, не скрою от вас, ужасно меня смутили.

Улыбаясь, офицер сказал:

— О, я вижу, вы горячая патриотка. Я не знал, что русские, в силу своей мягкой славянской природы, способны на сильные чувства, да еще к такому отвлеченному предмету — к отчизне. Зачем вам, крошка моя, страдать об отчизне? Вам будет у нас хорошо. Вы увидите такой европейский комфорт, который вам и вашим оборванным подружкам и в глаза не снился.

Лиза сказала офицеру грубым тоном, который заставил гитлеровца насторожиться:

— Я не хочу об этом говорить. Оставьте меня одну.

Мать в этот момент вошла на кухню и тоже сказала офицеру:

— Давай уходи отсюда к лешему. Нечего тебе болтаться по кухням.

Пожав плечами, гитлеровец ушел. Мать сказала дочери:

— Придется теперь дверь закрывать на задвижку.

Лиза сказала:

— Теперь это неважно, мама. Я уйду в партизанский отряд.

Мать воскликнула:

— Никуда не пущу! И не думай об этом.

Девушка сказала:

— Нет, я твердо решила это сделать. Я знаю, где стоит этот отряд, который был сформирован при райкоме. Не удерживай меня.

Мать стала бормотать сквозь слезы:

— А как же твоя подготовка к экзаменам... Ты же так мечтала поступить в институт...

Девушка ответила:

— Вот для этого, мама, я и пойду в партизанский отряд. Это и будет моей подготовкой к экзаменам. Никакие экзамены не состоятся, если перед экзаменами мы не прогоним гитлеровцев.

И тут девушка рассказала матери о своем разговоре с гитлеровским офицером.

Продолжая плакать, мать сказала:

— Иди, доченька, в отряд, если находишь нужным. А этому офицеру я скажу, что ты, допустим, ушла к своей старшей сестре в Славковичи.

На другой день Лиза Повелихина взяла в комендатуре пропуск на станцию Славковичи. Но туда она не пошла. Попрошавшись с матерью, она ушла в лес. И после нескольких дней блуждания примкнула к партизанскому отряду, который в дальнейшем вошел в Третью партизанскую бригаду.

* *
*

Молодой партизан (студент Горного института), рассказав мне эту историю, добавил в заключение:

— Лиза и сейчас еще в нашей партизанской бригаде. Это смелая, отважная девушка. И гитлеровцам она принесла немало хлопот. По окончании войны Лиза твердо решила поступить в институт. Ну, а пока, перед экзаменами, она ведет ту боевую подготовку, которая позволит девушке выполнить ее намерение.

1944—1947.

ДВА ПИСЬМА

Звонок. Открываю дверь. Передо мною мальчуган лет семи. Он в отцовской шапке, в валенках. На одном валенке подвязан конек.

Это сынок моей соседки — Вася.

Протянув мне помятый листок бумаги, Вася говорит:

— Мама просила вас перепечатать на вашей пишущей машинке. Только срочно. Это папе письмо на фронт.

Просматриваю листок. С трудом можно разобрать написанное. Еще удивительно, что и так сумела написать эта бедная женщина. Неделю назад ее сбила грузовая машина. Сильно помяла. И теперь поврежденные руки плохо повинуются ей.

Я говорю мальчугану:

— Ты не жди. Я перепечатаю и сам отнесу.

С благодарностью улыбнувшись, Вася исчезает, гремя своим коньком.

Сажусь за пишущую машинку. Первые строчки письма меня ошеломляют. Я рассчитывал увидеть описание уличного происшествия, а тут вижу совсем не то. Невольно начинаю читать вслух:

«Родной мой. Если бы ты знал, как мы были счастливы, когда получили твое письмо. Я прочитала его детям, и мне на минуту показалось, что ты сидишь рядом с нами. Меня только огорчило, что ты тревожишься о нас. Не тревожься. У нас все идет хорошо, по-прежнему... Мы все здоровы и веселы. Таточка стала совсем большая. Все просит, чтобы я рассказывала ей о тебе. Васютка тоже вырос, целые дни он скользит по двору на своем коньке...»

Далее идут фразы о родственниках, о работе. Засим приписка:

«Свое письмецо я отдала перепечатать на машинке для того, чтобы тебе легче было читать в твоей полутемной землянке...»

Перепечатав письмо, я иду к соседке.

Тусклая лампочка освещает небольшую комнату. На койке лежит худенькая молодая женщина. Рядом с ней девчурка лет четырех. Это Таточка. Она спит беспокойно, мечется. Вот уже третий день она больна гриппом.

У печурки сидит Васютка со своим коньком на валенке. Парнишка с аппетитом хлебает суп из котелка.

Молодая женщина говорит мне:

— Вы извините, что мы потревожили вас, но я не рискнула послать ему письмо, написанное моей слабой от болезни рукой. Он стал бы беспокоиться: что со мной, почему я так плохо пишу.

Смущенно улыбаясь, женщина продолжает:

— Ведь если бы ему об этом написать, он бы там с ума сошел от волнения. Приехать не может... Значит, помочь не в силах...

Оторвавшись от своего дела, Вася говорит:

— И стал бы плохо, неметко стрелять в фашистов.

Мать с улыбкой глядит на своего сына.

— Вы правильно поступили, — бормочу я и с волнением смотрю на маленькую худенькую женщину.

* *
*

Теперь выслушайте вторую историю письма, посланного на фронт.

В Ветлуге проживает молодая женщина. У нее маленький ребенок. Муж ее на фронте.

И вот однажды муж получает письмо из Ветлуги. В письме говорится, что жена неверна ему.

Мы не знаем, кому и с какой целью понадобилось написать такое письмецо. Но оно было написано, послано и, так сказать, возымело свое действие. Возмущенный и взволнованный муж написал своей жене, что она «разбила его счастье», и поэтому между ними все кончено, он не считает ее своей женой и просит не беспокоить его письмами.

Встревоженная и огорченная жена пишет письмо за письмом, но ответа не получает.

Пролило немало слез. И, наконец, молодая женщина решает обратиться к общественности за помощью. Перед нами ее письмо, посланное в редакцию газеты. Вот что в нем говорится:

«...Это неправда, то, что написали моему мужу. Это клевета, ложь. Ведь я люблю его и ни о ком другом не думаю. Я даже не хожу в кино. Я только воспитываю сына и жду встречи с мужем... Дорогой редактор, напишите статью о моей любви к моему мужу! Передайте ее по радио. Пусть он услышит, как я его люблю.

Я не обижаюсь на него, что он мог так подумать обо мне. Я твердо надеюсь на встречу. И свято храню нашу любовь. Так напишите же ему, что я все та же жена Танюша, которая, что бы ни случилось с ним на фронте, примет его с радостью и любовью.

Передайте ему, чтобы он поскорее присылал мне прежние письма, с любовью и заботой...»

Нет, такое письмо не могла бы написать женщина, которая провинилась, — это искреннее и чистое письмо.

Снова говорим — мы не знаем, какой черной душе понадобилось послать на фронт грязную клевету. Ведь эта клевета оказалась хуже вражеского снаряда. Она произвела два взрыва — в тылу и на фронте. Она разбила семью. Она заставила плакать, заставила страдать, волноваться. Быть может, многие дни опечаленный муж находился в унынии и поэтому, как отлично сказал Вася, «плохо, неметко стрелял в фашистов».

И в свете первого письма — письмо, посланное на фронт каким-то подленьким человечком, кажется еще более мерзким, еще более отвратительным.

Не дело, что муж, ослепленный клеветой, рвет отношения со своей семьей. Против клеветы следует обороняться — разумом, логикой и той искренностью, какую мы видим в письме бедной Танюши.

ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ

Вдоль дороги — спиленные телеграфные столбы. По сторонам — сожженные деревни. Здесь гитлеровцы все подвергли уничтожению и пожару.

Ничего не осталось. Печально стоят деревья, опаленные огнем. Торчат невысокие деревенские трубы.

Грустно видеть помятый медный самовар на дороге. Тряпичную куклу. Черепки глиняной посуды.

В ложине, там, где еще не стаял апрельский снег, мы видим труп гитлеровского солдата. Быть может, это лежит один из тех «помещиков», которых заготавливала гитлеровская Германия для «восточных пространств».

Быть может, шагая по русской земле, солдат этот облюбовал уже себе именище, чтоб пожить тут в качестве господина.

Пожилося дураку — по три дырки на боку.

Но вот в одном километре от дороги мы видим уцелевшую деревеньку. За исключением нескольких разрушенных домов, здесь, кажется, все в порядке. Мы видим жителей, неторопливо совершающих свои дела. Ребят, молчаливо сидящих на бревнах. Лошадь в немецкой упряжке — узкий хомут, без дуги.

Беседуем с престарелым жителем этой деревушки. Старик сидит на крылечке. Весеннее солнце золотит его удивительно спокойное лицо.

Мы что-то говорим о счастье, какое выпало его деревне, — война пощадила ее.

Чуть усмехнувшись, старик говорит:

— Что касается счастья, то оно целиком от нас зависело. Деревню свою мы своевременно разобрали и только теперь сложили. Вот она и уцелела.

— Что значит разобрали?

— Сняли крыши. Вынули рамы. Разобрали срубы. А немцам несподручно жечь, что лежит на земле. Вот деревня и сохранилась.

Теперь мы видим, что несколько домов, которые мы приняли за дома, развороченные снарядами, — попросту разобраны. И весьма аккуратно — мелом занумерованы бревна.

Спрашиваем старика:

— А сами что ж, куда девались? В лес ушли?

— Сами ушли в лес.

— Как же немцы смотрели на ваше отсутствие?

— А что они могли сделать. Мы в лесу. А они в лес не любили заходить. Стеснялись партизан. Да и болота им мешали.

Усмехнувшись, старик добавляет:

— Они леса до смешного боялись. Около леса шумят, постреляют. А зайти туда не берутся.

— И значит, вы более двух лет провели в лесу?

Старик утвердительно кивает головой. Потом, снова усмехнувшись, говорит:

— Сначала гитлеровцы прислали нам старосту. Тот явился в лес. Немецкий подголосок. Орет. Дескать, зачем вы в лес ушли, господа. Возвращайтесь. Объявлены крупные льготы. И в дальнейшем каждому крестьянину гарантирован новый пиджак плюс крахмальная ма-нишка.

Засмеявшись, старик продолжает:

— Вскоре опять явился этот староста. Но уже не кричит. Просит. «Тогда, — говорит, — хоть дома обратно сложите, уважаемые. Велели немцы, чтоб деревня выглядела так, как ей быть полагается. А что я один могу сделать! Не могу же я один все дома сложить. Вот опять через вас буду иметь неприятности». Мы ему говорим: «Да хотя бы тебя немцы на столбе повесили — нас это не касается. И даже мы не знаем, откуда ты явилась, такая птица».

Вскоре гитлеровцы стали по лесу бить снарядами. Целый день они били. Но толку не добились.

— А трудно было в лесу?

— Понарыли землянок. Сложили печки. Дров вдоволь. Хлеб есть. Скот и птица с нами. Но, конечно, лишения терпели. Соли, например, не было.

Показав рукой на проходящую женщину, старик сказал:

— Вот идет наша школьная учительница, товарищ Колесникова. И она с нами была. И даже она занятий с детьми не прерывала. Вела занятия.

Старик знакомит нас с учительницей. Учительница молодая. Одета по-деревенски.

— Она у нас молодец, — с гордостью говорит старик. — И ребятам уроки преподавала. И людей лечила от болезней.

Учительница смущенно улыбается.

— Помимо того, — говорит старик, — она у нас в партизанском движении участвовала.

Смутившись еще больше, учительница говорит:

— Раза два ходила с партизанами.

— Где же два раза, — возражает старик. — Сколько раз ходила против гитлеровских бандитов. И в плечо ранена. Будете об этом писать, запишите ее фамилию — Колесникова.

Учительница с досадой машет рукой.

— Зачем? Все это позади. Слов нет, было трудно. Но надежды мы не теряли. Рассчитывали на Красную Армию.

Закрыв глаза, старик улыбается. Мы прощаемся с ним и с милой учительницей.

Снова едем. И снова перед нами необозримые поля, сожженные деревни, поваленные телеграфные столбы.

Нет, не эти просторы нашей родины привели гитлеровцев к тому, что с ними случилось на наших полях. Не ошибка в пространствах, а ошибка в характере, в качествах русского человека привела к поражению. Это была стратегическая ошибка, ибо в гитлеровских планах завоевания России лежал неправильный, искаженный образ советского человека. Не учтено было немало — воля, выдержка, самоотверженность, выносливость, любовь к родине и давняя неприязнь к чужеземному.

Перед войной Гитлер, бахвалясь, сказал: «Я благодарю судьбу за то, что она лишила меня научного образования. Я чувствую себя хорошо».

Нашел чем похвалиться — своей серостью. В Германии были люди весьма образованные, и некоторые из них в силу научного знания людей, населяющих землю, предостерегали немцев от борьбы с русскими. Гитлер, бахвалясь своей необразованностью, избрал иной путь с финалом, весьма знакомым его предшественникам по завоеваниям.

И тут не за что было благодарить свою судьбу.

1944

ХОРОШАЯ ИГРА

Вот что случилось со мной в день Первого мая.

Я шел по дорожке Летнего сада. Внезапно услышал детские голоса. Какие-то ребята пронзительно мне кричали, показывая пальцами на мои ноги.

— Дяденька, дяденька, гляди, у тебя тесемки висят, сапог расшнуровался.

Я посмотрел на свои сапоги. Действительно, один мой ботинок слегка расшнуровался.

Поблагодарив ребят, я присел на скамейку и стал поправлять шнурки. Один из ребят, видимо самый главный и старший из их компании, подросток лет тринадцати, заломив на затылок свою зимнюю шапку-ушанку, сказал мне с солидностью взрослого человека:

— Хорошо, что мы вовремя заметили вашу неисправность. Вы, гражданин, непременно оборвали бы ваши шнурки, если бы наступили на них ногой. И понесли бы при этом лишний расход.

Я еще раз поблагодарил ребят и с удивлением на них посмотрел. Их было около дюжины. Они сидели, буквально облепив скамейку. Неожиданно они заволновались, зашептались и вдруг крикнули какой-то женщине, которая встала со скамейки напротив:

— Тетенька, тетенька, книжку забыли!

Посмотрев на ребят, женщина вернулась к своей скамейке и, взяв книгу, ушла.

Еще с большим удивлением я стал смотреть на ребят. Увидев мой взгляд, подросток в ушанке сказал мне:

— Нет, это у нас такая игра. На первое апреля люди обыкновенно обманывают друг друга. Нарочно говорят: «Гляди, у тебя нос в чернилах» или: «Гляди, деньги из кармана упали». И потом хохочут. А на Первое мая мы решили наоборот. На Первое мая мы никого не обманываем. И делаем самые хорошие и героические дела. Потому что это Первое мая.

На дорожке сада показался прохожий. Он был слегка навеселе. Шагал нетвердо. И помахивал рукой в такт мелодии, какую он тихонько напевал себе под нос.

Мои ребята гаркнули ему, и так громко, что я чуть не оглох:

— Эй, дяденька, гляди, у тебя вся спина в известке!

Действительно, спина прохожего, да и не только спина, но и штаны, и бок, и кепка были замазаны чем-то белым.

Взглянув на ребят, прохожий, хитро улыбаясь, стал грозить им пальцем: дескать, ладно, не обманете, не проведете.

— Нет, правда, честное слово, спина у вас в известке! — закричали дети.

Прохожий сделал неудачную попытку взглянуть на свою спину. Для этого он раза три повернулся вокруг своей шаткой оси. И, не добившись желаемого, снова погрозил ребятам пальцем и побрел дальше.

Подросток в ушанке сказал ребятам:

— А ну-ка, друзья, побегите до него. Почистите ему спину. Быстро!

Два малыша, сорвавшись со скамейки, бросились вслед за прохожим. Но тот, ожидая от ребят, должно быть, какого-нибудь подвоха, усилил шаг. И, отмахиваясь от ребят рукой и чертыхаясь, удалился.

Ребята вернулись к своей скамейке. Подросток в ушанке сказал:

— Нет, взрослые еще не привыкли к этому. Всегда с ними какая-нибудь канитель. Вместо спасибо они в другой раз только лишь ругаются.

Кивнув в мою сторону, подросток продолжил свою мысль:

— Не все, конечно, ругаются. Некоторые из них замечают свою пользу. И нам же говорят спасибо.

Какая-то немолодая женщина проходила в это время мимо нас по дорожке сада. Посмотрев на ребят, она вздохнула. Видимо, ей хотелось посидеть на солнышке. Но ребята не заметили ее намерений. И тогда она, обернувшись, сказала:

— Потеснитесь немножко, деточки, а?

Подросток скомандовал:

— Очистить скамью для бабушки. Живо!

Три малыша, покорно соскочив со скамейки, сели на песок.

Я сказал, обращаясь более к подростку, чем к остальным:

— Ребята, а ведь это вы здорово придумали. Ведь это отличная игра — делать только хорошие и, как вы говорите, героические дела в день Первого мая. Это прямо, доложу я вам, замечательно. Но только, между нами говоря, — ведь это надо всякий день так поступать, а не только в день Первого мая.

Подросток сказал:

— Нет, всякий день нельзя. Это голова заболит — за всем следить и все замечать.

Обратившись к ребятам, подросток сказал:

— Пошли на улицу. Здесь больше делать нечего.

Ребята вспорхнули, как воробьи. И ушли. А я долго сидел на скамейке и думал об этой славной детской игре — делать только хорошее и героическое в день Первого мая. И мне почему-то показалось, что в дальнейшем все ребята нашей страны будут так же поступать.

Что касается взрослых, то со взрослыми, пожалуй, будет некоторая канитель. Пожалуй, взрослые скажут: «Да что вы в самом деле! И так-то нам хватает всяких дел. А вы тут еще втягиваете нас в какие-то детские забавы».

Это верно, взрослые на войне и без того зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Но, может быть, в порядке любопытства они когда-нибудь в дальнейшем примкнут и к этому детскому движению.

И тогда же только на войне будут одержаны блестящие победы.

1945

О МАЛЕНЬКИХ ДЛЯ БОЛЬШИХ

Захожу в магазин купить игрушку для ребенка. Продавец ставит на прилавок какое-то плоское чудовище, отдаленно напоминающее коня.

— Это лошадка, — говорит продавец, неуверенно подвигая ко мне кусок раскрашенной фанеры, вынутой, вероятно, из окна по случаю окончания ремонта в доме.

— И что же, покупают у вас таких лошадей? — спрашиваю я, не без удивления поглядывая на обломок фанеры.

— Как говорится — плачут, но покупают, — отвечает продавец.

Рассматриваю коня. Действительно, есть от чего всплакнуть. Выпилен конь на редкость плохо. Морда у него в зазубринах. Хвост похож на полено, вынутое из огня. Две ноги вместо четырех искупаются их непомерной толщиной. И весь конь такой, как будто он нарисован шестилетним мальчиком.

— Конечно, не рысак, — говорит продавец, несколько конфузясь за своего коня, — но зато на подставке, и колесики имеются, что тоже отчасти может обрадовать ребенка.

Пробую вертеть эти колесики — не вертятся. Пробую держать коня просто в руке. Но тут замечаю, что руки мои покрываются зеленой краской.

— Нет, я вижу, что конь вам не нравится, — говорит продавец. — Возьмите в таком случае акробата. Вертится. И на двенадцать рублей дешевле лошади.

Знакомая веселая игра. Две палочки. Веревочка. На ней гимнаст. Нажимаю палочки. Гимнаст поднимается вверх и перекидывается через голову. Нажимаю еще раз — и гимнаст запутывается в веревочках. Пробую распутать. И тут чувствую, что-то острое впивается в мой палец.

— Это вас струна уколола, не обращайтесь внимания, — говорит продавец.

Рассматриваю акробата. Руки и ноги его скреплены кусочками балалаечных струн. Четыре острых обрывка угрожающе торчат из углового тела акробата.

Интересуюсь — кто выпустил в продажу такую игрушку. Продавец говорит:

— Фабричной марки нет на акробате. Однако многие наши игрушки выпускает артель «Музпром». Судя по музыкальным струнам, вероятно, и это — их продукция.

Замечание не лишено логики. Улики существенны. Акробат, как говорится, пойман с поличным.

Продавец ставит на прилавок весь наличный ассортимент. Матерчатые мячи, набитые опилками. Ватные

фигурки, усыпанные блестками. Крошечные деревянные грузовички, от которых колесики тотчас отлетают, как перепуганные воробьи.

— Конечно, игрушки невеселые, — говорит продавец, — но все-таки надо сказать спасибо организациям и кустарям, которые заботятся о наших детях.

— Слово «спасибо», — говорю я продавцу, — происходит от двух слов: «спаси бог». Если принять это во внимание, то я согласен, шутки ради, сказать спасибо. Спасибо от такой продукции.

Извинившись за беспокойство, я хочу уйти. Продавец удерживает меня, говорит:

— Могу предложить вашему вниманию нечто особенное, пролежавшее у нас на витрине три года. Популярная игра «Дьяболо».

Перед нами большая деревянная катушка и две палки с веревкой. Катушка подбрасывается вверх и ловится на веревку. Прикидываю на руку эту катушку, чтоб сообразить, каков ее вес. Граммов, пожалуй, триста — четыреста. Говорю продавцу:

— Ведь это же может убить ребенка.

— Новорожденного действительно может убить, — говорит продавец, — но если у вас малыш более солидный и достаточно упитанный, то он отделается только лишь ушибом и синяками.

Подбрасываю вверх эту катушку. Покупатели шаркают в сторону. Продавец прячется за прилавок.

— Что вы делаете в общественном месте! — кричит он.

Поздно. Катушка, подброшенная вверх, падает, как маленькая фугасная бомба. Удар приходится по моему плечу, защищенному пальто. Все-таки больно.

Еще раз извинившись за беспокойство, я выхожу из магазина. На улице я замечаю, что не только мои руки, но и пальто вымазано в краске. Из одного пальца сочится кровь. В другом пальце я чувствую занозу. Ушибленное плечо побаливает.

На ум приходят какие-то старинные строчки: «О дети, дети, как опасны ваши лета...»

СТРАШНАЯ МЕСТЬ

Ранней весной этого года некто Петр Петрович Гасилин случайно попал на общее собрание жильцов своего дома.

Будучи главным бухгалтером весьма крупного учреждения и сильно перегруженный отчетностью, Гасилин обычно не посещал столь малые совещания, кои предусматривают интересы всего лишь одного дома. Но тут, разыскивая управхоза, он заглянул в контору и там, застав собрание, решил из любопытства послушать, о чем говорят люди.

Речь шла об организации детской площадки во дворе дома.

Гасилин принял живейшее участие в общем споре, который разгорелся по вопросу о количестве деревьев на детской площадке.

Как нежный отец, Гасилин настаивал на минимальном количестве древесных насаждений, резонно полагая, что у его одиннадцатилетнего сына будет пропорционально меньше шансов упасть с дерева.

Но в этом вопросе Петр Петрович Гасилин разошелся с мнением большинства.

А надо сказать, что Гасилин был человек весьма нервный, вспыльчивый. Он уже много лет лечился в поликлинике синим светом. Но вот оказалось, что это лечение мало ему помогло, — на собрании он повел себя несдержанно, крикливо. Оспаривая мнение своей оппонентки, он допустил несколько обидных фраз по ее адресу.

Его оппонентка — немолодая и на вид скромная женщина — спокойно отнеслась к его колким словам, однако вскользь заметила, обращаясь к собранию:

— Не мудрено, что у такого нервного и взбудораженного отца сын неважно учится.

А сын Гасилина, ученик третьего класса Никита Гасилин, учился действительно неважно. И эти слова немолодой женщины затронули надорванные струны отцовского сердца. Не пожелав остаться на собрании, Гасилин ушел и, уходя, снова позволил себе бестактность — громко повторил свои колкие фразы, относящиеся к пожилой гражданке.

Вернувшись домой, Гасилин рассказал своей жене о происшествии и в едких тонах описал заурядную внешность пожилой незнакомки.

Жена не без тревоги спросила мужа:

— А как фамилия этой женщины?

— Ее фамилию я не знаю, — ответил муж, — а люди на собрании называли ее Софьей Павловной.

Всплеснув руками, жена сказала мужу:

— Ну, так и есть! Ты оскорбил школьную учительницу нашего сына. Она в его классе преподает русский язык. Ах, Петр, напрасно ты пошел на это собрание, не долечившись в клинике!

Гасилин был сильно удручен этим сообщением. Нервно шагая по комнате, он сказал:

— Фу, как нехорошо получилось! Ведь именно по русскому языку наш Никитка особенно плохо учится. А уж теперь он вряд ли сойдет со своих двоек. И не исключена возможность, что он останется на второй год!

— Ну, она не посмеет мстить нашему мальчику за нетактичность его отца! — возразила жена.

— Ах, милая моя! — простонал муж. — В каждом из нас таятся темные остатки прошлого. А ведь эта учительница — немолодая женщина. Стало быть, пережитки в ее сознании действуют еще более активно, чем у других. Нет, конечно, я не думаю, что она станет открыто сводить со мной счеты через ребенка. Но вот пристрастно она к нему отнесется. И по-человечески мне будут совершенно понятны ее враждебные чувства.

Поговорив с женой, Гасилин тотчас же велел своему сыну засесть за уроки и, несмотря на позднее время, два часа прозанимался с ним, нажимая главным образом на урок русского языка.

На другой день Гасилин снова занялся со своим сыном и даже не пошел к приятелю играть в преферанс.

Всю неделю изо дня в день Петр Петрович тщательно следил, как готовит уроки его сын. И даже сделал ему краткий конспект по грамматике.

Однако учительница Софья Павловна все эти дни не спрашивала мальчика и даже, по его словам, не смотрела в ту сторону, где он сидит. И это последнее обстоятельство довело нашего бедного Гасилина до нерв-

ных спазм в желудке. Ему казалось, что учительница нарочно не смотрит на Никиту, собираясь врасплох за-
стать его.

— Она морально изматывает мальчика! — сказал Гасилин своей жене. — И при этом она безжалостно играет на моих нервах.

И с этого дня Гасилин еще с большим рвением взялся за сына. Несмотря на мучительные боли в области желудка, он всякий вечер не отходил от Никитки, заставляя его готовить уроки в высшей степени добросовестно.

На вторую неделю сын Никита неожиданно принес две пятерки по русскому языку. И это привело Гасилина в крайнее изумление. Прибежав на кухню, он сказал своей жене, запинаясь:

— Как понять это странное поведение учительницы? Что именно она хочет этим сказать?

Жена ответила, пожав плечами:

— Просто она оказалась выше, чем ты предполагал. Она не примешивает к педагогическому делу своих личных чувств и обид.

— Нет, тут что-нибудь не так! — воскликнул взволнованный муж. — Ведь наш оболтус Никитка никогда еще в жизни не имел пятерок, а тут вдруг принес целых две штуки! Быть может, она нарочно поставила ему высший балл, желая умилостивить меня? Время покажет. Но лично я не сделаю ни одного шага к примирению.

Через несколько дней сын Никита снова принес пятерку за стихотворение Лермонтова, выученное наизусть. И тогда Гасилин, не сдерживая своих чувств, побежал на квартиру к учительнице. И там сказал ей:

— Я был уверен, Софья Павловна, что мой Никитка не слезет с двоек после нашей с вами досадной размолвки на собрании. Но этого не случилось, и теперь я, пораженный вашим великодушием, пришел, с тем чтобы крепко пожать вашу руку.

Учительница, хмурясь, сказала Гасилину:

— Ну как же вам не совестно так дурно думать о наших педагогах? Это, право, недостойно нашего времени — иметь такие архаические взгляды!

Наш бедный Гасилин стал сконфуженно бормотать путанные речи, из которых можно было отчасти понять,

что он еще не закончил курс лечения синим светом и поэтому пока не берется отвечать за все свои мысли и взгляды, высказанные вслух.

Но потом, поборов свое смущение, Гасилин более четко сказал:

— Простите великодушно за мое откровенное признание, но эти три пятерки, полученные сыном, перевернули все мои прежние взгляды на людей. И я теперь готов признать, что не в вашем, а в моем сознании таятся пережитки прошлого. Поверьте, уважаемая Софья Павловна, я поражен больше чем когда-либо в жизни!

Учительница, думая о своем, сказала Гасилину:

— Да, я сама поразилась, что ваш сын стал отличником. Вот уж я не ожидала от него этого. А скажите, что произошло с ним?

Гасилин ответил с хорошим волнением:

— Так ведь я теперь сам ежедневно занимаюсь с ним!

Софья Павловна воскликнула:

— О, как ваши слова подтверждают мои соображения! Я давно заметила, что те школьники, за учебкой которых хотя бы немного присматривают родители, неизменно лучше успевают.

И тут учительница, с улыбкой взглянув на Гасилина, добавила:

— Вот и впредь ежедневно занимайтесь со своим сыном. И пусть это будет моя страшная месть за ваши опрометчивые мысли и слова!

Тут они оба весело посмеялись и расстались если и не дружески, то во всяком случае без тени вражды.

1951

ДУШЕВНЫЙ КОНФЛИКТ

Водка появилась шестьсот лет назад. Причем она появилась в качестве лекарства. Средневековые врачи прописывали ее слабым больным для поддержания бодрости духа.

Но в дальнейшем произошла необычайная перемена, какой не случилось ни с одним из лекарств. Здоровые

люди целиком овладели этим медицинским напитком, а больным перестали его давать. И это был опасный поворот в истории человеческой жизни.

Как и при каких обстоятельствах произошло это событие, мы, к сожалению, не знаем за давностью лет. Но одно яркое напоминание о прошлом все же осталось. Осталась привычка говорить перед принятием этого снадобья: «Будьте здоровы!»

Конечно, этот возглас когда-то звучал разумно. Подавая лекарство, больному желали здоровья. Но теперь это восклицание вносит неразбериху в человеческие отношения. Трудно понять — кто, кому и почему желает здоровья.

Вообще вся история водки, начатая столь блистательно, в дальнейшем полна загадок и путаницы. Эта путаница — увы! — и по сие время продолжается.

Истинное происшествие, о котором мы собираемся вам рассказать, полностью подтверждает наше соображение.

И мы далеко не уверены, что с помощью одного фельетона можно будет прояснить обстановку. Однако попробуем.

* *
*

В одной коммунальной квартире проживал со своей семьей некий Сергей Сергеевич Лапушкин. Он работал мастером на мебельной фабрике.

Это был нестарый человек, добродушный, жизнерадостный. Раз в неделю он непременно бывал со своей женой в театре или в кино. Остальные же дни почти всегда проводил дома. Занимался со своими детишками. Шалил с ними, играл в прятки или же читал им сказки.

Эти приятные семейные сценки радовали окружающих и доставляли удовлетворение Сергею Сергеичу и его супруге Анне Лаврентьевне.

Но потом горе посетило эту славную семью. Сергей Сергеич стал выпивать и все чаще и чаще являлся домой в нехорошем виде.

Полгода назад его стали лечить от алкоголя. Но лечение не принесло существенной перемены. Некоторое время он, правда, вовсе не пил, но потом с новой силой приступил к прерванному занятию.

Не зная, что предпринять, Анна Лаврентьевна обратилась за советом к своему соседу, который проживал в их квартире. Это был старенький человек, научный работник, ботаник по профессии. Все квартиранты его почитали и не переставали восхищаться его тихой созерцательной наукой.

Выслушав Анну Лаврентьевну, ботаник сказал ей:

— Прежде всего нам надо отыскать причину, которая толкает вашего мужа на путь алкоголя. Причин бывает немало. Один человек — недоволен собой, другой — не удовлетворен работой, третий, допустим, мечтал быть министром, а жизнь предоставила ему вовсе не то. Возникает душевный конфликт. И в результате человек обращается к водке.

Анна Лаврентьевна простодушно воскликнула:

— Нет, мой Сергей никогда ни в какие министры не метил! Своей работой он бесконечно доволен. Доволен семьей, квартирой, едой. И тут будет напрасный труд — искать причину.

На это ботаник воскликнул:

— Да, но бывают причины конфликта более сложные! И даже такие, в которых человек и сам себе не всегда признается. И тут, повторяю, надо раскрыть загадку его поведения. Истоки этого поведения могут лежать как в области чувств, так и в сфере общественных отношений.

Анна Лаврентьевна с беспокойством спросила:

— А что же, например, в области чувств может случиться?

Желая ее успокоить, ботаник торопливо сказал:

— Нет, говоря о чувствах, я не имел в виду вашего мужа. Просто я вспомнил одного моего приятеля, который, будучи женат, полюбил другую. Конечно, возник душевный конфликт — борьба между чувством и долгом. И тогда мой бедный приятель запил.

Тут Анна Лаврентьевна воскликнула в свою очередь:

— Батюшка Александр Степаныч, будьте отцом родным! Побеседуйте с моим Сергеем. И если только окажется, что у него имеется этот конфликт, то пусть Сергей тут с ней и остается, а я, например, заберу детишек и уеду в колхоз к моим престарелым родителям.

Ботаник пообещал все выяснить. И со следующего дня приступил к выполнению своей задачи.

Однако ботаник взял на себя нелегкий труд. Он был деликатный, стеснительный человек. Чувствовал крайнюю неловкость заговорить с Сергеем об его личной жизни. Да и тот не выражал желания исповедоваться. Поэтому, встречаясь в коридоре, они все больше отмалчивались. И никакой задушевной беседы у них не завязывалось.

Наш старый ботаник никогда не имел пристрастия к вину, но тут ради дела он решил пойти на некоторые жертвы. В одну из суббот он пригласил Сергея Сергеича где-нибудь посидеть, чтобы за рюмкой вина обоюдно развязать языки.

Сергей Сергеич охотно пошел с профессором и, выйдя на улицу, сказал ему:

— Обычно, Александр Степаныч, я захожу в «забегаловку», чтобы выпить мою скромную порцию. Но сегодня, пожалуй, нам с вами следует зайти в какое-нибудь чистенькое кафе, чтобы там культурно провести время.

Спутники зашли в кафе и там, приятно закусывая, немного выпили. И тогда наш ботаник в лоб поставил вопрос о душевном конфликте. На это Сергей Сергеич, не виляя, ответил:

— Да, я испытываю душевный конфликт.

Ботаник затаил дыхание, чтобы выслушать собеседника, а тот, шумно вздохнув, сказал:

— Например, сегодня, Александр Степаныч, мне хотелось послушать ваши рассказы о ботанике. Я надеялся, что тут вина не бывает. Но оказалось, что и в кафе вино подается. И так всякий раз. Куда не зайдешь — непременно вино. А натура у меня слабая. Категорически отказаться не умею. Пью и пью. И при этом душевно страдаю.

Эти будничные слова ошеломили нашего ботаника. Он рассчитывал услышать сложнейшую душевную драму со всякими поворотами, а вместо этого ему рассказали простенькую историю человека, который пьет по слабости своей воли.

Некоторое время ботаник молчал, испытывая странное разочарование. Потом недоверчиво спросил:

— Неужели всюду подают вино?

Поглядывая на буфетную стойку, Сергей ответил:

— Всюду подают вино. Насчет кафе я сомневался, но теперь выяснилось, что и тут без этого не обходится. А поскольку я сейчас принял сто грамм, то мне, Александр Степаныч, придется повторить мою порцию.

Часа через два ботаник и Сергей Сергеич, сильно пошатываясь, вернулись домой.

Нет, в тот вечер разговор с Анной Лаврентьевной не состоялся. Ботаник поспешил заснуть. А на другой день он вот что сказал ей:

— Отыскали, отыскали причину, добрейшая Анна Лаврентьевна! Но эта причина оказалась не из тех, о которых я говорил вам. Тут дело обстоит проще. И поэтому мы поведем борьбу со злом, как полагается в данном случае. В ближайшие дни я сам проверю все факты, соберу материал и пошлю его в одну из редакций. Пусть поставят вопрос в печати и внесут некоторые границы в эту неразбериху с вином. И я, добрейшая Анна Лаврентьевна, не сомневаюсь, что мы успешно защитим категорию людей слабой воли.

* *
*

Ботаник Александр Степаныч собрал обширный материал. И вот теперь его материал перед нами.

Оказывается, Александр Степаныч лично посетил многие столовые, театры, кафе, буфеты. Картина всюду была одинаковая.

На каждом углу, как он пишет, слабого человека подстерегала опасность. Даже в театрах, где зритель менее всего к этому подготовлен. Правда, в театрах отпускают главным образом коньяк. И кто знает — быть может, крепкий напиток помогает зрителю усваивать слабые пьесы.

В своих выводах Александр Степаныч выражает желание сохранить некоторое количество тихих и уютных уголков, где подавали бы чай и все, что к нему полагается.

И мы разделяем это мнение. Нам кажется, что пьющему человеку будет даже приятней не всюду отыски-

вать вино. Некоторые затруднения отнюдь не испортят радости. Как сказал один великий поэт:

Надобно немного затруднить их счастье,
Чтоб легкость достижения не сбавила
Для них его цены...

Поэт сказал эти слова не о вине, однако и в отношении вина вполне применима эта поэтическая формула.

Что касается Сергея Сергеевича, то он все еще не бросил своей привычки. Но до нас стороной дошли тревожные слухи, что теперь и ботаник слегка пристрастился к этому занятию.

И тут надо бы скорей уважить его просьбу — открыть чайные без подачи крепких напитков. Быть может, тогда он снова перейдет на чай.

Чай тоже утоляет жажду. Я помню: пил его однажды.

1953

ДВАДЦАТЬ ТРИ И ВОСЕМЬ ДЕСЯТЫХ

Один немолодой колхозник проживал со своей старухой на хуторе в том самом районе, где сейчас широко раскинулось Цимлянское море.

Три года назад хутор этот по плану строителей оказался в зоне затопления. Предстояло переехать на новые места, чтобы не очутиться на дне будущего моря.

Старуха горько всплакнула о такой великой перемене, но старик Федор Федорович спокойно отнесся к событиям. Он осмотрел новые места, одобрил их и стал полегоньку готовиться к переезду.

Нет, особого удивления он не проявил, когда трактористы приподняли домкратами его домишко и на салазках перевезли за двадцать километров. Но одна деталь, связанная с переездом, все же необыкновенно поразила старика. Он был до крайности удивлен, когда на новом месте строители указали людям, где ляжет край воды будущего моря.

Вот это указание строителей чрезвычайно изумило нашего старика. Он обошел многие хутора и станицы на

их новых местах, и оказалось, что уже всюду был отмечен берег будущего моря. И даже с такой точностью, что некоторые станицы назвали свои крайние улицы набережными.

С немалой гордостью старик подумал о наших строителях, которые так красиво и четко планируют воду. Но потом червь сомнения стал подтачивать его сердце. Ему вдруг показалось, что у строителей моря не получится: вода уйдет сквозь грунт в глубину и там растечется.

И вот целую неделю буравит его эта мысль. «Уйдет, — думает, — от них вода. Любая лужа в землю всасывается. Не то ли самое случится с морем?»

Конечно, Федор Федорович отлично понимал, что с его двухлетним образованием, какое он получил полвека назад, далеко не уедешь в своих размышлениях. Однако дело об утечке воды, казалось, не требовало образования. Тут логика сама за себя отвечала. Земля перепаханная, рыхлая. В такую землю вода не может не войти. Она непременно в нее войдет и просочится глубже. Вот это будет скандал на весь мир! Скажут: «Не получилось у них моря, утекло оно сквозь грунт в земные недра».

Чувствует старик: надо бы об этом сказать людям, предостеречь строителей от такой опасности. Будет неловко, совестно, если море уйдет, а набережные в степи останутся.

Но кому об этом сказать? В правлении своего колхоза? Вот на этот шаг Федор Федорович не решился. Подумал: люди станут над ним подтрунивать, ежели окажется, что он неправильно мыслит.

Свою же старуху он с утра до ночи глушил подобными разговорами. Однако старуха, слишком далекая от таких забот, отмалчивалась. И только однажды, выведенная из терпения, сердито воскликнула:

— Весь век прожил без моря, старый черт, так и теперь без него обойдешься, если оно у тебя утечет!

Но потом она пожалела своего супруга, увидев, что он перекус от тревожных мыслей. И поэтому сказала ему мягко:

— Ах, не надо, Федя, со мной толковать об этом! Я почем знаю, что у них будет и получится. Побеседуй

с нашим сыном Петрушей. Все-таки он четыре аттестата имеет. Он тебе скажет, утечет ли море или оно тут при тебе останется.

У них был сын Петр Федорович. Шофер. Раз в неделю он непременно заезжал на хутор повидать своих родителей и отчасти покушать, поскольку мамаша пекла отличные пироги.

Петр Федорович действительно имел четыре аттестата. В свое время он окончил семилетку, школу водителей автомашин, краткосрочные курсы и еще одни курсы, на которых он проходил переподготовку.

К этому добавим, что Петр Федорович занимался еще самообразованием: бесконечно много читал, но, правда, все больше ерунду, легкие романы. В общем, если считать по годам, проведенным за чтением, то следует прямо сказать, что почти вся сознательная жизнь Петра Федоровича прошла в самом тесном общении с книгой.

По этой причине нежные родители считали, что по культуре и знаниям их Петр уже достиг тех командных высот, какие позволяют людям обозревать мир с полным пониманием всех происходящих процессов.

Федор Федорович не хотел обращаться к сыну за справкой: он вообще избегал задавать сыну какие-либо вопросы, чтобы не подрывать свой родительский авторитет. Но тут, вынужденный обстоятельствами, все же заговорил с ним о море. Однако, к великому удивлению, увидел, что Петр ничего не смыслит в этом вопросе.

Почесывая свой затылок, Петр Федорович сказал:

— Ваш вопрос об утечке моря, папаша, застал меня, прямо скажу, врасплох. И поэтому, не подумавши, я не берусь на него ответить.

Пообедав и часок поспав, сын сказал отцу:

— Ко всем нашим мероприятиям, папаша, я, как вам известно, питаю глубочайшее доверие. И хотя вода и в самом деле в землю всасывается, тем не менее, вопреки этому закону, тут, видимо, следует ожидать обратных результатов. Так что будем надеяться, что море у строителей получится. Тем более что за утечку воды им не стали бы платить такую высокую зарплату, какую

они получают. Уж как-нибудь они выйдут из положения, чтобы оправдать себя.

Такой витиеватый ответ еще более встревожил старика. Уж если сын не взялся прямо ответить на этот вопрос, то, стало быть, и строители столкнутся с неожиданностью. Видимо, и среди них поднимется волынка, когда спущенная вода пойдет гулять по вспаханным полям. Она стремительно начнет всасываться в землю, и уж тут будет поздно ее удерживать.

Сын Петр уехал в воскресенье вечером, а в понедельник утром Федор Федорович, ничего не сказав жене, ушел из дому.

В полдень люди видели его в штабе гидротехнического района. Решительной походкой он вошел в помещение штаба. И когда инженеры обступили его, он им рассказал о своей тревоге.

Молоденькая машинистка, находившаяся в помещении, засмеялась, услышав об утечке моря. Но один из инженеров строго сказал ей:

— Напрасно смеетесь, Анечка. Наша геологическая наука именно так и ставит вопрос — уйдет ли море, если в недрах земли не окажется водонепроницаемых пород?

И тут, обернувшись к нашему старику, инженер сказал:

— Да, несомненно вода просочится сквозь грунт. Все ближайшие пласты земли сильно пропитаются водой. Но это и установит нужное равновесие. Эти пласты явятся барьером и будут препятствовать уходу воды. Поэтому нет оснований думать, что искусственное море исчезнет.

Другой, видимо главный инженер, добавил к его словам:

— Конечно, при наличии глубоких трещин возможны катастрофы, однако наука заранее исследует недра земли. В данном случае наши ученые уже дали свои сведения проектировщикам. А те с учетом этого произвели свои расчеты и установили, что в Цимлянском море будет двадцать три и восемь десятых миллиарда кубометров воды. Но этот объем возникнет не сразу, а только к лету тысяча девятьсот пятьдесят третьего года.

Неловко было Федору Федоровичу слушать эти слова. Он чувствовал себя ничтожной мошкой, которая опалила свои крылышки блеском науки. Желая скрыть свое душевное смятение, он порылся в карманах, вытащил клочок бумаги и, деловито хмурясь, записал для памяти эту цифру — двадцать три и восемь десятых.

Но Федор Федорович еще более смутился, когда главный инженер, крепко пожав его руку, сказал:

— Ваша тревога оказалась напрасной, но за этой тревогой мы видим искреннее желание нам помочь. И поэтому я сердечно благодарю вас от имени всего нашего коллектива.

Федор Федорович сам не помнил, как он вернулся домой. Сердце его ликовало от многих дум, но вместе с тем ему было невыносимо грустно, что в свое время он не поступил в школу для взрослых и даже не посещал лекций, какие читали приезжие лектора.

Дома старуха его спросила:

— Где ты был? И что с тобой?

Горько усмехнувшись, Федор Федорович ответил:

— Контролировал работу наших строителей.

Но тут же с подъемом воскликнул:

— Выяснил: они не бухают в колокол, не поглядывая в святцы! Планируют воду в морях и океанах с точностью до ведра! Заранее знают, сколько будет воды в Цимлянском море!

И тут, вытащив из кармана бумажку, Федор Федорович торжественно огласил записанную цифру — двадцать три и восемь десятых.

Цифра эта не произвела впечатления на собеседницу. Но все же старуха сказала, чтобы не сердить мужа:

— Работают. Не гуляют.

Вечером, укладываясь спать, Федор Федорович задумчиво произнес, обращаясь к старухе:

— Уж теперь я и не знаю, что мне о нашем Петре думать? Конечно, понимаю, все изучить нельзя. Но все-таки основы надо бы знать, чтобы носить высокое звание интеллигента.

На это старуха сказала, желая успокоить мужа:

— Наш Петруша нестарый человек. Он еще может получить пятый аттестат. И тогда будет знать, сколько у тебя воды в морях и океанах.

Старик пробормотал, засыпая:

— Да, надо бы ему пятый аттестат... Маленько не хватает четырех...

* *
*

Недавно в газетах промелькнуло краткое сообщение: «В мае этого года Цимлянское море достигло своего проектного объема — 23,8 миллиарда кубометров воды».

С волнением я прочитал эти сухие газетные строчки. И живо вспомнив всю эту историю, записал ее в том виде, в каком услышал от одного знакомого гидролога.

1953

ПОХВАЛА СТАРОСТИ

Один великий русский писатель, постарев, записал в своем дневнике: «Я никогда не думал, что старость так привлекательна».

У меня было иное мнение о старости. Я не поверил в искренность этих слов. Мне даже показалось, что в словах этой фразы торчат уши добродушного старческого ханжества.

Однако одна история, недавно услышанная мною, изменила мое прежнее мнение о старости. Эту историю рассказал мне пожилой человек, с которым я случайно разговорился.

* *
*

Всю мою жизнь я отличался могучим здоровьем. Но последние годы я стал прихварывать. Испытывал боли под ложечкой, дрожание в руках и невыносимую слабость во всем теле.

Дошло до того, что на работе я начал задумываться — не пора ли мне на покой либо на свалку.

Однако без борьбы не хотелось сдаваться. И я решил заняться лечением. Стал аккуратно посещать нашу поликлинику.

Там лечили меня хорошо, добросовестно — выстукивали, просвечивали, производили анализы. И на основе полученных данных установили, что мой организм сильно потрепан житейскими бурями, замечен склероз сосудов и нервная система в плачевном состоянии.

Лечился я почти год. Болезнь моя от этого не ухудшилась, но и серьезного перелома в мою пользу не произошло.

И тогда главный бухгалтер нашей обувной артели посоветовал мне обратиться к одному известному профессору.

Бухгалтер сказал, что этот профессор очень и очень старенький и лечит он, быть может, не так уж хорошо, но зато разбирается в болезнях не хуже самого господ бога. Сразу указывает, у кого что болит. И в своем медицинском мире он считается светилом, хотя ему, представьте себе, семьдесят семь лет.

При этом бухгалтер сказал мне, что профессору надо дать за визит сто рублей. Старик не жадный, не корыстный. Но такую сумму принято ему давать. И никто с этим не спорит.

Я записался на прием к этому престарелому медику. И, наконец, дождавшись своей очереди, вошел в его кабинет.

За письменным столом у окна сидел маленький сухонький старичок, легонький как пробка. Он сердито на меня посмотрел, но ничего не сказал. И только рукой сделал нетерпеливый жест, чтобы я поскорей сел в кресло.

Кабинет у него оказался большой — от двери до стола двенадцать шагов. Под сердитым взглядом профессора я дошел до стола и сел куда было указано.

После чего старик негромко сказал мне:

— Здравствуйте, куманек. Далеко ли вы от меня живете?

Такой любезный вопрос меня приятно удивил, и я тотчас же указал профессору мой адрес. И тогда старик снова спросил:

— Пешком дошли? Или доехали на автобусе?

Мне показалось, что эти любезные вопросы профессор задает, чтобы поддержать со мной вежливую беседу, и поэтому я в свою очередь спросил о его самочувствии и поинтересовался, выходит ли он на улицу при его возрасте или же избегает это делать.

На мои вопросы профессор ответил без охоты и даже строго заметил мне, что его особа в данном случае не представляет интереса для размышлений.

Поддерживая с ним этот пустой разговор, я стал понемногу разоблачаться, чтобы предстать перед профессором для выслушивания без потери его драгоценного времени.

Беседуя с ним, я незаметно развязал мой галстук и принялся расстегивать пуговицы на рубашке.

Увидев, что я шарю рукой под своим пиджаком, профессор сказал:

— Нет, костюм не снимайте. Я вас не стану выстукивать. Скажу и без этого, что у вас и как надлежит вам бороться с вашей болезнью.

И тут, к моему удивлению, он с точностью описал картину моей болезни, какая была установлена в поликлинике с помощью всех анализов и просвечиваний.

От великого изумления я промолчал, а он, тихонько засмеявшись, сказал:

— Поживете с мое, куманек, и тогда не только через пиджак, но и через стенку будете видеть. Более полувека я практикой занимаюсь и приобрел себе некоторый опыт.

Не без робости я спросил старика, как он применяет свой опыт? Ведь он видит меня всего пять минут. И вдруг разобрался в моем теле, почти не глядя.

На это профессор ответил, посмеиваясь:

— Вижу человека по цвету лица, по глазам, по походке, по всем малейшим черточкам, какие налагает болезнь. В сомнительных случаях, конечно, выслушиваю, но иной раз и без этого обхожусь. Успеваю разобраться в моем пациенте за то время, когда он идет от двери до стола.

И тут профессор в довершение всего сказал мне то, что от других врачей я еще ни разу не слышал. Он сказал:

— Заметил я еще один дефектик, когда вы подошли к моему столу. У вас плоскостопие, куманек. Дефект неприятный. Он и на нервах сказывается и вызывает утомление, слабость. Вот поэтому я и спросил вас — пешком ли вы дошли или доехали на автобусе. Хотел установить, в какой степени этот изъян влияет на ваше физическое состояние. Оказалось, сильно влияет. И с этим дефектом нам надо будет прежде всего покончить.

Вот такие удивительные слова говорит мне старый профессор и сам что-то мелким бисерным почерком пишет. Потом подает мне заполненные бумаги и указывает:

— Тут рецепты и правила, как вам поступать. Полного выздоровления от старости не обещаю, но некоторое облегчение почувствуете. Будьте здоровы, куманек. И не допускайте прискорбных мыслей, когда прихварываете.

С волнением я выслушал старика. Хотел было на прощанье расцеловать его за опыт и мудрость, но не посмел этого сделать. И в приподнятом настроении вышел из комнаты.

А перед тем, как уйти, я положил сто рублей на его письменный стол. Но старик проявил мудрость и в отношении моих финансов. Он сказал:

— Многовато для вас, а? Половину возьмите, куманек.

И с этими словами он подал мне сдачу — купюру в пятьдесят рублей.

Нет, эта денежная деталь не сыграла особой роли в моем настроении. И без этого происшествия я бы выскочил на лестницу в таком же взволнованном состоянии.

Выскочил я на лестницу. Стою на площадке, ухватившись за перилá. И с места двинуться не могу. Еще сам не знаю, какие мысли подвести под случившееся, но уже чувствую, что на душе моей становится легко-легко. И тут вдруг начинаю явственно понимать, что именно произошло сейчас. Профессор, думаю, хорош в медицине, но ведь и я, черт возьми, мало чем уступлю ему в своем деле!

Сорок лет я проработал закройщиком. Несколько десятков тонн драгоценной кожи перебивало в моих руках.

А разве теперь эту кожу я разглядываю, как прежде? Да разве я вожу носом и пальцами по ее поверхности? Нет! Чуть кину взор на нее, и уже с точностью вижу, какие тут дефекты и как их миновать, чтобы достигнуть в производстве высшего качества.

Да как же с таким великим преимуществом, пришедшим к старости, я полагал на свалку идти? А?

И тут на душе моей стало совсем легко и даже, я бы сказал, весело, превосходно. И я, как молодой черт, понесся домой, позабыв о моем плоскостопии.

И с тех пор я начисто перестал думать о старости, о чем прежде думал с глубокой печалью, которая не позволяла мне чувствовать себя сколько-нибудь прилично.

* *
*

Эта история, рассказанная мне пожилым закройщиком, изменила мои прежние мысли о старости. Изменила сразу, почти молниеносно.

В самом деле, какое чудесное свойство, какая могучая сила приходит к человеку вместе с его старостью. Приходит опыт, нередко помноженный на мудрость и знания.

В праздной жизни это свойство, вероятно, не столь значительно. Но в трудовые дни это едва ли не самое привлекательное в стареющем человеке.

Но, может быть, это дивное правило, относящееся к старости, распространяется не на все профессии? Быть может, как раз литература выпадает из той обоймы, в которую так чудесно входят медицина и кожевенное дело? Вот это было бы тяжкое огорчение!

Впрочем, не далее как вчера я взял рукопись одного начинающего автора и тотчас, буквально по нескольким строчкам (как закройщик кожи, рассказавший мне свою историю), безошибочно разобрался в ее посредственном качестве.

Возможно, конечно, что это опыт редактора.

Что касается более тонких художественных работ, то время покажет, так ли уж привлекательна старость, как мне хотелось бы.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Минувшим летом я провел свой отпуск в доме отдыха. Директор нашего дома отдыха все свои отеческие заботы направлял на питание отдыхающих, справедливо полагая, что хороший стол покроет многие минусы его учреждения.

Он привлек к работе отличного повара, который изготавливал великолепные пирожки, удивительные салаты и неплохие котлеты. Сладкое блюдо, сделанное искусной рукой этого повара, всегда вызывало общее одобрение.

По этой причине отдыхающие были настроены благодушно и не раз благодарили директора за его образцовое хозяйство.

Желая еще больше угодить отдыхающим, директор однажды сказал тем, кто пришел его благодарить:

— С вашего разрешения, — сказал он, — я передам вашу благодарность нашему повару Ивану Фомичу, который старается там, у плиты. Это, несомненно, поощрит его. И мы тем самым достигнем еще лучших результатов.

Действительно, со следующего дня качество обедов еще более повысилось. И тогда директор, сияя от удовольствия, сказал отдыхающим:

— Вот видите, какое усердие проявляет наш повар, получив вашу благодарность. А ведь устная благодарность — это птица в небе. Советую от души: составьте похвальное письмо повару. Мы опубликуем это письмо в нашей стенной газете. И тогда посмотрим, что будет.

Отдыхающие так и сделали. За пятью подписями они поместили в стенгазете письмо, где в пышном стиле отметили выдающуюся кулинарную деятельность повара Ивана Фомича.

Причем один художник из отдыхающих нарисовал вокруг письма красивую рамку, увитую лентами, цветами и лаврами.

Эффект превзошел ожидания директора.

Чудесные пирожки, изготовленные нашим поваром, теперь буквально таяли во рту. Салаты стали такие, что даже объевшийся человек ел их еще и еще. А сладкое блюдо с этого дня вызывало всеобщее изумление, смешанное с шумным восторгом.

Но особый восторг проявлял один из отдыхающих — молодой композитор, который сидел за столиком рядом со мной. Точнее сказать: он чаще вскакивал, чем сидел. Какая-то скрытая пружина не позволяла его худому и длинному телу пребывать в покое.

За нашим столиком помещались доктор филологических наук и его супруга. Филолог был на редкость тощий и молчаливый субъект. Но супруга с избытком уравновешивала эти его недочеты.

Так вот однажды, обедая, молодой композитор проявил исключительную восторженность, доходящую до нервозности. Все, что на этот раз подавали к столу, он восхвалял в неумеренной степени. Но когда принесли сладкое, он вскочил со стула и воскликнул, обращаясь к филологу:

— Немедленно попробуйте крем! Это чудо поварского искусства!

Доктор филологических наук, попробовав крем, сказал «да» и склонил свою голову в знак удовлетворения.

Жена филолога стала пояснять нам, чем именно хорош этот крем и почему заварные кремы бывают неважного качества.

Не подождав конца ее речи, композитор снова воскликнул:

— Нет, нет, мы еще не в полной мере отметили великие заслуги нашего повара! Мы обязаны еще и еще раз поощрить этот божественный дар!

Жена филолога предложила собрать с отдыхающих некоторую сумму денег, чтобы купить повару серебряный портсигар, либо отрез простенькой материи на его костюм. Однако композитор с досадой воскликнул:

— Ах, это будет не то и не то! Перед нами изумительный мастер своего дела — художник, артист! И мы, как артисту, должны оказать ему почести.

И с этими словами композитор принялся аплодировать.

Обедающие с недоумением посмотрели на него. И тогда композитор торопливо обежал столики и негромко оповестил всех, что сейчас решено вызвать аплодисментами повара для того, чтобы устроить ему овацию.

Все охотно согласились с этим. И по знаку, данному композитором, в столовой раздалась дружные аплодисменты.

Служебный персонал кухни не тотчас разобрался в значении этого шума. На пороге столовой появилась судомойка. И вслед за ней выскочил поварской ученик Федюшка. Оба они с улыбкой, но не понимая, взирали на рукоплещущих людей.

Забегали официантки. Появился директор. Он тотчас присоединился к аплодирующим и громко крикнул, вызывая повара:

— Иван Фомич! Просим...

Вскоре появился повар Иван Фомич. Это был грузный мужчина с отвисшими седеющими усами. Высокий поварской колпак придавал ему несколько устрашающий вид.

Да, конечно, повар Иван Фомич уже привык к вниманию и успеху, однако овация заметно взволновала и даже ошеломила его новизной дела. Некоторое время повар молча стоял на пороге столовой и, вытирая передником свое запотевшее лицо, искоса посматривал на окружающих, которые стоя аплодировали ему.

Аплодисменты усилились. Композитор, бросившись к роялю, заиграл туш. И тогда повар Иван Фомич вышел на середину столовой.

Теперь на его побледневшем лице светилась сложная гамма чувств. Гордость, душевное волнение, восторг, изумление — вот что одновременно можно было прочесть в его облике.

Директор поднял руку и, водворив тишину, обратился к повару с краткой речью. Он так без запинки сказал:

— Дорогой Иван Фомич! Ваши предшественники долго морочили публику своей сомнительной кулинарией. И только с вашим приходом дирекция обрела душевный покой, что является ключевой позицией к здоровью. Позвольте же от имени всех отдыхающих еще и еще раз поблагодарить вас за высокое мастерство, которое, как солнце, озарило наш скромный дом отдыха!

Тут под гром бурных аплодисментов директор обнял повара и трижды поцеловал его в усы и в щеки.

Теперь полагалось повару выступить с ответным словом. Но Иван Фомич не оказался мастером в этом

сложном искусстве. Впрочем, быть может, волнение сковало его речевой дар. Так или иначе, Иван Фомич скупобронил несколько фраз, по которым, однако, можно было судить о благородном достоинстве его мыслей. Сняв свой белый колпак и прижав его к сердцу, он сказал:

— Старался... Достигал... Обещаю и впредь проявить к людям заботу... От души благодарю за внимание... Спасибо...

Бурными аплодисментами, музыкой и криками «браво!» закончилась эта встреча отдыхающих с поваром. Скромно поклонившись, Иван Фомич удалился на кухню.

Нет, я не был свидетелем дальнейших событий, но очевидцы с протокольной точностью рассказали о том, что вскоре случилось.

В пять часов дня повар Иван Фомич, взяв с собой своего племянника Федюшку, направился в поселок к знакомым рыбакам. Там, крепко напившись, Иван Фомич нанял лодку с двумя гребцами. Эту лодку он украсил коврами и зеленью. Посадил на корму знакомого гармониста. И в этой лодке под звуки музыки проплыл по озеру вдоль поселка и вдоль многочисленных здравниц и санаториев.

Весь этот водный путь повар совершил стоя в лодке, положив руку на плечо одного из гребцов. Весь этот путь (по словам очевидцев) Иван Фомич стоял, как монумент, среди зелени и ковров. Причем, когда гармонист смолкал, поварской ученик Федюшка тотчас же принимался тренькать на своей мандолине.

Однако немалое количество вина, поглощенное поваром, привело экспедицию к неожиданной аварии. Когда гребцы резко повернули лодку для вторичного рейса, Иван Фомич не удержался на ногах и упал за борт. Дородное тело его поколебало угловое суденышко, и оно, зачерпнув воды, перевернулось.

Федюшка и гребцы сами выплыли к берегу. А повара и гармониста с его баяном выловили рыбаки.

Иван Фомич сильно наглотался воды и долгое время лежал на берегу почти без движений. Жители поселка хотели было откачивать его, но он не дался. И вместе со своим промокшим племянником Федюшкой поспешил на свою квартиру.

И там, у себя на квартире (как утверждали люди), Иван Фомич до глубокой ночи пил, ел и бушевал.

Об этом чрезвычайном происшествии узнали в нашем доме отдыха только лишь на другой день, когда к утреннему завтраку вместо изысканных салатов подали манную кашу с клюквенной подливкой.

За завтраком доктор филологических наук сказал нам, чуть улыбаясь:

— Да, я всегда полагал, что пышная похвала требует от людей особой моральной стойкости.

Жена филолога стала нам расшифровывать мысль своего мужа и при этом многословно принялась пояснять, что хвалить людей нужно, это педагогично и дает чудесные результаты. Однако при некотором переборе, сказала она, иной раз возникают странные неожиданности — вроде скандального происшествия с нашим поваром. Из чего явствует, что непомерная похвала для слабой души таит в себе некоторую опасность.

Молодой композитор воскликнул с душевным волнением:

— Нет, я не согласен с вами! Даже самая возвышенная похвала не может повредить делу. И я более чем уверен, что наш повар, оправившись от аварии, превзойдет самого себя!

В этот день нам подали обед, наспех приготовленный чьей-то неискусной рукой. Да и в течение пяти дней (а это не малый срок для отдыхающих) обеды были весьма сомнительного качества. Но к концу недели отдыхающие снова не могли удержаться от шумных восторгов в адрес нашего повара Ивана Фомича.

И тогда молодой композитор, кушая за обедом сладкое, взволнованно сказал жене филолога:

— Попробуйте эти меренги! Пышная похвала отнюдь не повредила делу. Те почести, какие мы оказали повару, только лишь окрылили его изумительное мастерство!

Похвалив меренги, жена филолога осталась при своем мнении. Она сказала, что пышная похвала более опасна для неопытного подмастерья, чем для первоклассного мастера. Неопытный подмастерье после безмерных похвал нередко останавливается в своем росте, считая, что ему далее некуда идти. Либо он падает духом от первой же неудачи. И уж тогда ищет забвения в стакане вина.

Молодой композитор вскочил из-за стола, чтобы на это что-то возразить, но жена филолога, не сделав паузы, продолжала:

— Однако и для первоклассного мастера, — сказала она, — здесь таится некоторая опасность. Безмерная похвала нередко убаюкивает сознание, возвращает гордыню и не позволяет критически отнестись к своему труду. По этой причине и первоклассный мастер — допустим, художник слова — иной раз бросает свое дивное мастерство: он становится доморощенным проповедником, ханжой, кликушей, а то и развинченным декадентом.

Жена филолога долго и многословно говорила на эту тему и заключила свою речь следующими словами:

— Конечно, такого превращения с нашим первоклассным поваром не может произойти. Пышная похвала только лишь на короткое время поколебала его душевное равновесие. Судя по меренгам, все уже закончилось к общему благополучию. И теперь нашего повара, видимо, снова можно хвалить, не рискуя натолкнуться на неприятные неожиданности.

Доктор филологических наук не принимал участия в этом разговоре и только под самый конец беседы сказал композитору назидательным тоном:

— Моральная закалка, молодой человек, нужна решительно в любой профессии, включая сюда кулинарное дело и в особенности музыку, которая столь часто сопровождается аплодисментами.

На это молодой композитор ничего не ответил и развинченной походкой человека, пресыщенного аплодисментами и почестями, вышел из помещения.

1955

В БАНЕ

Обширное помещение предбанника культурно и даже не без красоты оформлено. На полу ковровые дорожки. На диванах чистые чехлы. У дверей — буфетная стойка с цветочным горшком.

На диване, против меня, какой-то молодой папаша с шестилетним сыном. Неумело раздевая ребенка, молодой отец то и дело поучает его правилам поведения.

Тоном строгого воспитателя он ему говорит: «Не шмыгай носиком, а добудь платочек из кармана... Не крути ножкой по воздуху, когда папа снимает с тебя штанишки!..»

Эти сцены воспитательного характера не слишком заняли мое воображение, и я стал посматривать на банщика, который удивил меня своей внешностью. Это был молодой, цветущего вида парень лет двадцати двух, не более. На нем спортивные тапочки, полосатые полубумажные штаны и белая косоворотка, подпоясанная куском тесемки.

Работа у парня самая простецкая. Он принимает цинковый таз от помывшегося, открывает своим ключом шкафчик с бельем и, ожидая нового посетителя, ходит по предбаннику, скучно посматривая вверх диванов.

Мне хотелось спросить молодого банщика — как и почему он избрал такой трудовой путь, более годный для людей престарелых или же утомленных жизнью. Однако дальнейшие стремительные события не позволили мне обратиться к банщику с этим вопросом.

В предбанник вошел невысокий, плотный только что помывшийся старик. Лицо у него было добродушное, почти веселое. Сквозь седую щетину его давно не бритых щек просвечивал легкий гипертонический румянец. Огромный его живот, принявший на своем веку не менее тридцати тонн всякой снеди, грузно оттягивался книзу. На животе белел хирургический шрам давнего происхождения.

Старик, видимо, не раз был помят жесткими объятиями жизни, но чувствовалось, что он еще крепко прикован к земле ее несложными удовольствиями.

Войдя в предбанник с цинковым тазом в руках, старик задержался у дверей, разыскивая глазами молодого банщика. Струйки воды обильно стекали с пухлых плеч. Облачко легкого пара поднималось над небольшой лысиной его седой головы. Старик, видимо, отлично помылся и теперь жаждал поскорее одеться.

Не найдя банщика, стоящего возле буфета, старик жидким тенором произнес:

— Эй, кто тут шкафчики открывает?

Молодой банщик торопливо направился к старику и, открыв нужный шкаф, отошел в сторону.

Старик недолго повозился возле открытого шкафа и, нагрузив свои руки бельем и костюмом, направился к дивану, чтобы одеться. Но тут, не дойдя до дивана, он запнулся ногой о ковровую дорожку и едва не упал. Свой же бельевой груз старик не успел задержать, и тот выскользнул из рук на пол.

Поверх стариковского белья лежал большой пакет, завернутый в газетную бумагу. Этот пакет, тяжело упав на пол, распался, и все содержимое его вывалилось на ковровую дорожку. Это были пачки сторублевых купюр, плотно обернутые в банковые оклейки, на которых значились цифры — 10 000.

Таких пачек было не менее двадцати. Кроме того, тут же была разрозненная пачка сторублевок. Несколько купюр из этой пачки веером отлетело к противоположному дивану.

Молодой банщик, всплеснув руками, испуганно крикнул:

— Деньги!

Торопливо собирая рассыпанный пакет, старик с неудовольствием сказал банщику:

— Ну да, деньги. Чего орешь? Или прежде не видел этого?

Молодой банщик, нервно одергивая свою белую рубаху, продолжал испуганно изумляться.

— Такое количество не приходилось видеть. Откуда, папаша, у вас эстолько?

— А твое какое постороннее дело, — уже с раздражением ответил старик, увидев, что посетители бани со всех сторон посматривают на его торопливые действия.

— Нет, верно, товарищ, откуда у вас такая целая куча денег? — строго спросил молодой отец, который вместе со своим голеньким сыном направился было мыться, но в последний момент задержался и, к неудовольствию ребенка, снова сел на диван.

Старик ничего ему не ответил. Собирая деньги в рваную газету, он все еще ползал по полу и был теперь более мокрый, чем прежде.

Вокруг старика образовалась плотная стена посетителей. Все молчали, не зная что сказать и как поступить в таком исключительном случае.

Но вот, расталкивая людей, к месту действия подошел маленький худощавый человечек с темным лицом и с колючими глазками под густыми черными бровями. Он был еще не совсем одет. Расстегнутая рубашка обнажала его узкую цыплячью грудь. Сиреневые подтяжки болтались позади его тощего зада.

Говорят, что все зло в мире происходит от маленьких худощавых людей. Возможно, что это и не совсем так, но в данном случае худощавый человечек в ближайшие же минуты выказал все теневые стороны той категории людей, ярким представителем которой он являлся.

Выйдя вперед, он свирепым тоном сказал старику:

— Откуда деньги? Только быстро отвечайте, чтобы не иметь времени для придумывания вранья!

Вытираясь мохнатым полотенцем, старик едко ответил:

— А тебе, пигалица, что тут надо? Застегнись на пуговицы, прежде чем беседовать с людьми. Может, мне противно глядеть на тебя, неодетого.

Эти слова не сбили с позиции щуплого посетителя. Напротив, он подошел ближе к старику и шипящим тоном сказал:

— Это мы еще посмотрим, кто прежде застегнется на все пуговицы, чтобы уйти отсюда куда следует! Отвечайте общественности, откуда у вас эти деньги?

И тут худощавый сделал широкий демагогический жест рукой, как бы собирая вокруг себя всю банную общественность.

Но и этот классический жест не испугал старика. Натягивая на себя рубашку, он сердито крикнул худощавому:

— Уйди от меня! Иначе схвачу тебя за штаны и выкину из фойе!

Это грозный оклик ослабил наступательную операцию худощавого субъекта. Однако, продолжая суетиться, он негромко сказал, обращаясь к банной общественности:

— Ни в баню, ни в парикмахерскую люди не имеют привычки приносить с собой такие суммы. А если он принес — значит, хотел от кого-то скрыть эти деньги либо утаить следы своих незаконных действий.

Молодой банщик беззлобно воскликнул:

— Наверно, он займы незаконно скупал по дешевой цене и на них выигрывал сотни тысяч!

Худощавый сквозь зубы прошипел:

— Не исключена, однако, возможность, что деньги у него фальшивые... Где тут администрация?

Быстро накинув на себя черный китель, худощавый человечек направился к лестнице, бросив на ходу: «Никого не выпускать из бани!»

Владелец денег, увидев такую суету, не без досады махнул рукой и даже нахмурился.

Молодой папаша строго сказал своему голенькому сыну, который продрог и стал хныкать:

— Крепче запомни, Икар: те люди, которые воруют или обманывают папу и маму, — самые недостойные люди на нашей планете. Они замедляют исполинский ход нашего времени.

Икар захныкал еще сильнее и ничего не ответил своему отцу. Молодой банщик, не отрываясь, смотрел на владельца денег, который неторопливо одевался. Сделав, вероятно, вывод, что старик не похож на жулика, банщик снова спросил его:

— Нет, верно, папаня, ответьте без дураков — откуда у вас такие деньжища?

Старик, улыбаясь, ответил парню:

— Эти деньги, милый ты мой, я заработал личным трудом, скопил.

— Да, но как вы их заработали? На чем? — воскликнул банщик и, тут присев возле старика на диван, интимным тоном заговорил:

— Сам-то я, папаня, сельский житель. Всего лишь три класса образования у меня. Еще теряюсь в городе без привычки. Не знаю, с какого конца мне начать, чтобы немного разбогатеть. Поучите, папаша! Объясните сироте — как это у вас в городе происходит?

Владелец денег весело рассмеялся и, вытирая заслезиившиеся глаза концом чистой рубахи, сказал:

— На твоём банном посту ты вряд ли достигнешь богатства. Где же тут соколу развернуть свои крылья?

Молодой банщик, волнуясь, воскликнул:

— Вот именно, папаня! Где же тут мне мало-малю развернуться? Вот и хожу по предбаннику как зачуме-

лый... Уж сделайте милость, скажите, как вы достигли счастья? Кем, например, вы работали?

— Я по профессии слесарь, — ответил старик. — Однако в отъезде я работал механиком при машинах. На угольных шахтах работал в этой должности. После чего перевелся в нефтепромыслы.

— И сколько же вам за это платили?

Старик неторопливо ответил:

— Тут надо, молодой человек, учесть, где я работал. Работал отсюда далеко. Бывал и на Крайнем Севере и на Сахалине — и всюду получал полуторный оклад.

— Это сколько же вам в месяц выходило?

— На круг выходило три с половиной. Одну тысячу проживал, не позволяя себе лишнего, а две с половиной клал на сберкнижку. Вот за восемь лет и скопил себе некоторую сумму.

Банщик беззвучно зашевелил губами, мысленно подсчитывая цифры. И, подсчитав, громко воскликнул:

— Двести сорок тысяч скопили!

Вокруг старика и банщика ряды посетителей сильно поубавились. Многие, увидев, что дело раздуто, ушли мыться и одеваться. И один уходящий с изумлением сказал:

— Этакую сумму скопил старый черт — четверть миллиона!

Молодой банщик, бурные чувства которого достигли теперь предела, вскочил с дивана и крикнул старику:

— Так зачем же вы, папа, бросили такое хлебное место? Ой, я бы сто лет там сидел!

Шнуруя ботинки, старик не торопясь ответил:

— Доктора нашли у меня гипертонию. Велели в Россию возвращаться. Вот я и приехал сегодня сибирским экспрессом.

В выходных дверях появилась заведующая баней. Это была средних лет женщина в черном суконном костюме. На лацкане ее пиджака висела медаль.

Прикрыв свои глаза свернутой газетой, чтобы не смущать не одетых посетителей, заведующая быстрым шагом проследовала по предбаннику. Вслед за ней семенил худощавый человек в незастегнутом кителе.

Подойдя к месту происшествия, заведующая громко спросила:

— Где тут? Кто? У кого фальшивые деньги?

Старик встал с дивана и, свирепо поглядывая на ху-дощавого, сказал заведующей:

— Не знаю, какие деньги у этого лилипута, а мои деньги в госбанке выданы. Вот моя вкладная книжечка, по которой видно — сколько у меня было на текущем счету и когда именно я взял всю эту сумму, за исключением остатка в тридцать две копейки.

Просмотрев вкладную книжку старика, заведующая сказала:

— Все правильно. Одно не понять — зачем вы пришли в баню с такими деньгами?

Владелец денег ответил:

— Две недели в поезде ехал. — затосковал по бане, запыхался. С вокзала зашел в гостиницу, взял номер и понесся сюда. А деньги, конечно, вынул из чемодана, прихватил с собой, чтобы не оставлять их без надзора.

— Понятно, — сказала заведующая. — Однако вы напрасно сняли деньги со своей книжки. Вам надо было обменять ее на аккредитив.

— Об этом мне говорили в кассе, — признался старик. — Но только не хотелось мне отдельно от денег путешествовать.

— Понятно, — снова сказала заведующая и обернулась, чтобы сделать замечание щуплому человечку, который так извратил событие и поспешил увидеть преступление там, где его не было. Но тот уже юркнул к своему дивану и там поспешно одевался.

Снова прикрыв глаза газетой, заведующая удалилась. И тогда молодой банщик торопливо спросил старика:

— Ну, а как вы, папаня, станете теперь жить, имея такие деньги?

Старик, усмехнувшись, ответил:

— А на что тебе, босому, знать это? Нет, сынок, не намерен я беседовать с тобой на такую щекотливую тему.

Пожилой буфетчик, выйдя из-за стойки, сказал старику:

— Племянник мой Петр Егоркин задал вам правильный вопрос. Всем бесконечно интересно знать, что вы теперь предпримете с вашим капиталом.

— Время покажет, что предпринять, — уклончиво ответил старик и нахмурился.

Однако буфетчик настойчиво переспросил:

— Все-таки скажите, уважаемый, какой план жизни вы теперь себе наметили?

Туго заворачивая свой денежный пакет в грязное белье, старик без особой охоты заговорил:

— План жизни мной еще не продуман. Однако на ближайшие дни я наметил себе кое-какие шаги. Вот завтра с утра пораньше положу деньги в сберкассу и пойду наниматься в ту артель, где я до отъезда работал слесарем. А если, допустим, они меня не возьмут, то я на завод куда-либо устроюсь. Я в свое время седьмой ряд имел.

Молодой банщик воскликнул:

— Это при таких деньгах хотите на завод идти?

— При чем же тут деньги? — сердито ответил старик. — Деньги само собой, а без работы мне, молодой человек, нечего делать. Я не привык круглосуточно на постели лежать.

Банщик беззвучно рассмеялся и сквозь смех сказал:

— Выходит, папаня, что вы как бы зря копили деньги...

— Где же зря, — пробормотал старик. — Собираюсь я полдомика за городом купить, если квартиру тут не достану.

Буфетчик заметил:

— Квартиру вам дадут, если на завод поступите. А полдомика — много ли потянет? Не более тридцати. Это капля в море при вашей сумме.

Старик встал с дивана и, все более раздражаясь, сказал:

— Ай, да не помешают мне деньги! Телятину буду кушать. Мебель куплю. Патефон. Пианино.

Буфетчик шумно вздохнул и вернулся к стойке. Владелец денег, продолжая сердиться, надел кепку и взял в руки свой распухший пакет. Банщик Петр Егоркин неожиданно для себя сказал старику повышенным тоном:

— В бане промеж нас дети есть! Кажется, могли бы при таком количестве денег купить им пару конфеток.

Старик, собираясь было уйти, задержался. Сказал:

— Дети — это иное дело. Друга никогда не откажусь выручить из беды и детям завсегда предоставлю льготы. Где тут дети?

Банщик обернулся к дивану, где прежде сидел молодой палаша с сыном, но оказалось, что те ушли мыться. Банщик с досадой сказал:

— Дети уже ушли. Не дождались.

— А ушли, так гнаться за ними не стану, — пробормотал старик и направился к выходу. Потом, вдруг обернувшись, спросил банщика:

— А лично у тебя, молодой человек, дети есть?

Молодой банщик, улыбаясь, ответил:

— Девочке моей полтора года. Дошкольница.

Старик подошел к стойке и своим жидким тенорком спросил буфетчика:

— Что у вас для детей имеется?

— Для детей, кроме шоколада, ничего не держим, — ответил буфетчик. — Вот «Золотой якорь» — шестнадцать целковых плитка. А вот соевый шоколад за три рубля.

— Давай сюда соевый за три рубля, — сказал старик.

Молодой банщик стал отказываться от подарка и даже зарделся, но старик настоял на своем, сказав:

— Не тебе, а дочке даю. Только, гляди, сам не съешь. Непременно отдай девочке.

— Зачем же я стану есть? — возразил банщик. — Кусочек, конечно, отломлю, попробую. А остальное, ясно, отдам девочке.

Передавая сдачу с десятки, буфетчик сказал старику:

— Это вы правильно, уважаемый, решили на завод идти. Тут я два месяца не работал, так не знал, куда деться от грусти. Даже спать перестал. А взялся работать — и снова стал видеть прекрасные сны.

— Да, я без дела тоже хвораю, — пробормотал старик, внимательно пересчитывая сдачу.

Такое пересчитывание сдачи почему-то сильно задело буфетчика. Криво усмехаясь, он сказал старику:

— Племянник мой Петр Макарович Егоркин всецело прав. Зря накапливали свои капиталы. Они вам как корове седло — ни к чему-с. Разве только что в баню их с собой носить — людей забавлять.

Старик, рассердившись, спросил:

— Или ты думаешь, что я их от жадности копил?

Потирая свой солидный жировик возле уха, буфетчик дипломатично ответил:

— По разным причинам люди откладывают деньги. Иные, конечно, от жадности копят. Иные — на свою старость, либо на покупку желательных вещей. А некоторые копят из уважения к капиталу.

Я думал, что такой ответ еще более рассердит старика, но этого не случилось. Широко улыбнувшись, он воскликнул:

— Всё перечислили, хозяин, а мою причину отыскать не сумели. Доложу: с восьми лет детского возраста я мечтал накопить себе некоторую сумму, чтобы выручить моих родителей из их постоянной нужды. Уже и родители мои полвека назад отошли в вечность, а детская идея накопить деньги так почему-то и застряла в моей голове. Застряла как тая заноза, какую охота выдернуть поскорей. За всю мою длинную жизнь не удалось мне этого совершить. Нынче — накопил. Рад, конечно, не скрою. Но полного удовлетворения от этого-то не имею. Некого мне этим порадовать, кроме себя.

Такой скромный ответ понравился буфетчику, и он, любезно прощаясь со стариком, сказал ему утешительно:

— Вообще-то говоря, деньги вам, конечно, не мешают, грустить не об чем.

Владелец денег утвердительно кивнул головой и пошел к выходу со своим распухшим пакетом.

1956

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Эту историю мне рассказала докторша, у которой я лечусь.

В тот день я был последним на ее приеме, и поэтому она, не слишком торопясь, поведала мне — своему пациенту — о том, что ее тревожило.

Однако, слушая ее рассказ, я не без горечи думал, что я могу помочь ей так же мало, как и она помогала мне в моих телесных недомоганиях.

Вот что она рассказала.



Более двадцати лет я не видела моей деревни. Молоденькой девчоночкой я покинула родной край и с тех пор ни разу там не побывала.

Однако письменной связи с моим селом (в особенности до войны) я ни на один месяц не прерывала.

Вначале моя младшая сестренка подробно писала мне о деревенских новостях. Потом писал брат. А когда они уехали из деревни, эту миссию взял на себя мой племянник, подросток Антон. Он с восторгом описывал, какие новые дома построены в деревне и какой красивой, благоустроенной стала наша улица, опоясанная газонами и тополями.

Почти все я знала о моей деревне. Знала, что рядом со школой построено двухсветный физкультурный зал. И что ребята своими силами оборудовали чудесный стадион.

Я послала Антону фотоаппарат. И парнишка нередко прилагал к своим письмам снимки, которые иной раз трогали меня буквально до слез.

Однажды, помню, я чуть с ума не сошла от радости, когда увидела на фотоснимке уличные фонари и заасфальтированный тротуар у входных дверей нашего сельского клуба.

Когда Антоша уехал из деревни на учебу, деревенские известия стали поступать ко мне значительно реже и все больше от случайных людей.

Но в прошлом году, осенью, я неожиданно получила письмоцо от брата моей матери — дяди Федора. Члена правления артели. Он написал мне, что их колхоз впервые справился с хозяйственным планом и теперь из отстающих вышел почти на передний край.

Это письмо чрезвычайно взволновало меня. Я почувствовала величайшую гордость за мою деревушку Ключки, которая не затерялась и не сникла где-то там среди обширных полей, а достойно справляется со своей задачей.

Мне захотелось скорей, своими глазами увидеть мою деревню и там крепко пожать руки моим односельчанам.

Но в те дни я не смогла собраться, и моя поездка состоялась только лишь этой весной.

Уже за неделю до моего отъезда я была сама не своя. Ни о чем другом, кроме как о моей деревне, я в те дни не могла ни думать, ни говорить.

В сотый раз вспоминала каждую мелочь моей прежней деревенской жизни. Вспоминала, как я, шестилетней девчонкой, с восторгом шлепала по лужам, выбегая из дома после дождя.

И вот мне показалось, что и сейчас, к тридцати семи годам моей жизни, осталось во мне это забавное желание — пробежать босиком по нашей деревенской улице. И так пробежать, чтобы брызги и грязь, как бывало, летели во все стороны.

Я шутливо рассказала мужу об этом моем намерении и, смеясь, выразила тревогу, что, пожалуй, мне не придется этого сделать, поскольку наши улицы заасфальтированы и теперь, видимо, мало чем отличаются от городских.

На это муж сказал мне почему-то едким, насмешливым тоном:

— Ай, на твой век еще хватит тебе деревенской грязи!

Эти слова возмутили меня. В них я услышала барски-пренебрежительные нотки.

Я сказала мужу об этом. Он стал возражать. Но я была в приподнятом состоянии и, глядя на его холеное лицо, наговорила ему целый ворох обидных слов. Я назвала его маменькиным сынком, белоручкой и скептиком. Сказала ему, что он, видимо, гнушается деревенской жизнью, если за девять лет ни разу не выразил желаний побывать в моей деревне.

На это муж к моему изумлению сказал:

— Я не люблю деревню. И никто не заставит меня полюбить ее неустройство. Я не обязан умиляться перед картинками примитивной жизни без водопровода и канализации!

Мы никогда прежде не говорили с мужем на эту тему, и теперь я, ошеломленная, слушала его насмешливые речи.

— Да, да, — сказал он, — я не намерен сентиментально ахать и восклицать при виде глиняного рукомыльника в сенях! Но если твоя деревушка Ключки ныне хоть чуточку сравнялась с культурным населенным пунктом, то я этому очень рад и от души поздравляю тебя.

Впервые за девять лет мы с мужем поссорились. Впервые между нами пробежала черная кошка.

Я чувствовала себя крайне обиженной. Обиженной даже не за себя, а за мою деревню и за те светлые воспоминания, какие в моем сердце оставались о ней.

На другой день я уехала в деревню, холодно простившись с мужем.

Ночь в поезде не принесла облегчения. Да, правда, мне показалось, что я сама была повинна в истоках нашей ссоры, но обида и горечь все еще бушевали в моей душе. И я решила по приезду в деревню послать мужу колкую телеграмму, такую телеграмму, чтобы он понял свою вину и всю неуместность насмешки.

Были горькие минуты в поезде, когда я пожалела, что еду в деревню всего лишь в отпуск. Я могла бы захватить с собой сына. И мы с ним отлично прожили бы там у моей мамочки. А муж — если он пожелает жить с нами — мог бы в дальнейшем тоже устроиться в деревне хотя бы в качестве председателя колхоза или бухгалтер артели...

Эта мысль рассмешила меня, и я уже не смогла заснуть.

Ранним утром я с волнением сошла на нашей маленькой станции.

Война не достигла наших мест, и тут все вокруг меня было как прежде. Тот же невысокий станционный дом. Тот же длинный желтый сарай, крытый толем. Впереди прямая линия шоссе. И поля, поля до самого горизонта.

Возле станции стояла грузовая машина. Я хотела было договориться с шофером, чтобы он подбросил меня в деревню Ключки, но передумала. Решила пойти пешком. Всего десять километров пути. И мне захотелось не спеша пройти этот путь, по которому я когда-то сотни раз бегала.

Было дивное утро. Солнце уже пригрело землю, и над ней всюду поднимался легкий колеблющийся пар. По канавам трава густо зеленела, но деревья стояли еще голые.

Чемодан мой был нетяжелый, но уже на первом километре мне стало жарко. Я распахнула пальто, скинула с головы берет и шла теперь по шоссе, улыбаясь и ни

о чем не думая. Шла навстречу моей деревне, с которой не виделась двадцать лет.

До перекрестка дорог я затратила не более часа. Отсюда на деревню Ключки шла дорога, которую я в свое время пробегала за двадцать пять минут. Я свернула с шоссе на эту грунтовую дорогу, но с первых же шагов поняла, что тут мне не пройти. Тут была жидкая глинистая грязь. И такая же грязь стояла вокруг дороги и всюду, куда охватывал взор.

Я было сунулась в эту глинистую жижу, но сразу отдернула ногу, не нащупав твердой почвы.

Что было делать? Вернуться назад нелегко. А идти по такой дороге казалось мне сумасшествием.

Но вскоре я нашла выход. Скинула туфли и чулки, сбросила на руку пальто, подвязала юбку повыше и, не разбирая пути, зачмокала по дороге.

Шла и подсмеивалась над собой и над моим пожеланием — прошлепать по лужам. Но смех мой не был веселым. Это сентиментальное путешествие было не из приятных. Ноги мои иной раз увязали по колено, да так, что я не без труда вытаскивала их.

Часа через три я добралась до реки, за обветшалым мостом которой лежала наша деревня.

На мосту я немного отдышалась. Но тут же выяснилось, что в пути я ухитрилась потерять туфлю и мой любимый оранжевый зонтик, который я за каким-то чертом захватила с собой.

Вид у меня был жуткий. Лицо перемазано грязью. В такой красе мне не хотелось кого-либо встретить, и поэтому я полем и по огородам дотащилась до нашего дома.

Мамочка вскрикнула от радости. Зарыдала, заплакала. Но тут же всплеснула руками, заметив, в каком я виде. Она хотела уложить меня в постель и напоить чаем, но мне было сейчас не до этого. Я торопливо умылась, переделалась и вышла из дому, чтобы поскорей увидеть мою деревню.

Я вышла на улицу.

Да, наша улица значительно изменилась. Она была хорошо укатана гравием и песком. Вместо прежних замшелых плетней всюду виднелись красивые заборы из реек. Я заметила ряд новых домов с широкими и светлыми окнами.

Но эта первая моя радость вскоре сменилась огорчением. Я подошла к клубу. Здесь тротуар был заасфальтирован. И против дверей красовались два уличных фонаря. Но фонари были без лампочек и даже без проводки. На дверях клуба я увидела ржавый замок. А в витрине висела прошлогодняя пожухшая афишка, извещавшая о какой-то лекции.

Окна физкультурного зала были заколочены досками. Через расщелину я увидела чудесное двухсветное помещение, заставленное бочками и кадушками.

Я добежала до стадиона. Там за забором паслись колхозные коровы, пощипывая первую травку. Забор стадиона, украшенный ромбиками, был изрядно поломан, и красивая резная калитка болталась на одной петле.

Я поспешила домой. Мамуся уже поджидала меня с обедом. Я принялась расспрашивать ее о делах, какие тут меня озадачили, но она и сама не знала, чем все это объяснить. Взволнованная моим приездом, она отвечала невпопад и, подавая обед, суетилась и плакала.

После обеда я написала мужу телеграмму и собралась было выйти из дому, чтобы отправить ее. Но мама сказала, что для этого надо снова идти на станцию либо ехать в Грибово за двенадцать километров отсюда.

Это меня раздосадовало, и я порвала телеграмму, в которой извещала мужа о моем благополучном приезде в деревню.

Вскоре пришел мамин брат — дядя Федор. Оказалось, что он теперь первая фигура в нашей деревне — председатель колхоза. Это меня несколько удивило — дядя был человек весьма пожилой и с малым образованием.

Ох, я сильно напустилась на него, узнав, что он теперь председатель! Стала резко упрекать, что он не хозяйски ведет дело и не заботится о колхозной жизни.

Дядя Федя прервал мою гневную речь. Он, подбоченясь, сказал:

— Да что ты, Аннушка, господь с тобою! Совсем неплохо и даже отлично пошли наши дела! По зерну — перевыполнили план. По животноводству — удвоили средний надой от каждой коровы. Имеем благодарность от обкома — за прочные запасы кормов для скота... Нет,

мы не только не плетемся в хвосте, но и другим артелям указуем, как справиться с задачей по крутому подъему производства сельских продуктов!

Тогда я снова заговорила о закрытом клубе и о физкультурном зале, занятом под хозяйственные нужды. На это дядя добродушно сказал:

— Да, культобслуживание у нас в колхозе поставлено из рук вон плохо. Вернее — оно никак не поставлено у нас. Частичная причина — нехватка в молодежи. Без молодежных кадров не завязываются такие высокие дела.

— А где же, — говорю, — молодежь?

— Некоторые, как и ты в свое время, ушли на учебу, а иные устроились в городе и теперь там работают. Корооче говоря, никто из уехавших не вернулся в нашу артель.

Я хотела с возмущением крикнуть: «Надо, чтобы они вернулись! Пусть прежде поработают в деревне, улучшат ее жизнь, а уж потом могут уехать куда пожелают!»

Но я не крикнула этих слов. Прикусила язык. Подумала, что я и сама не вернулась в деревню и за двадцать лет решительно ничего не сделала для ее улучшения.

Меня очень, очень смутила эта мысль.

А дядя между тем бодро заговорил:

— Ничего, Анютка, справимся с делом! Тут мы вместе с директором МТС написали письма многим лицам, которые не вернулись. Некоторые из них отмолчались, а некоторые сердечно откликнулись — известили, дескать приедут. Помимо того решили мы еще более повысить оплату за трудодни. Этим заинтересуем колхозников и прекратим утечку кадров. И теперь как раз все мысли наши и вся финансовая экономистика артели направлены на это.

Просияв, дядя Федя сказал:

— В общем, приезжай к нам через годик-два. Танцы будем давать, спектакли. Сам пойду плясать в первой паре.

Эти дядины слова немного развеяли мою печаль, и мы вскоре заговорили о делах, не имеющих отношения к колхозу.

Почти месяц я провела в деревне. Помогала мамочке по хозяйству и несколько раз выходила в поле на артельные работы. Да, машины теперь во многом и чудесно изменили прежний крестьянский труд, но все же рабочие

руки требовались буквально во всех процедурах сельского производства.

В середине мая я покинула деревню. На станцию ехала телегой. Дорога теперь подсохла. И я с восторгом посматривала по сторонам, вспоминая о моей юности.

Вспомнились мне стихи, какие я тут когда-то твердила:

Черемуха душистая с весною расцвела
И ветки золотистые, что кудри, завила...
И кисточки атласные под жемчугом росы
Горят, как серьги ясные у девицы-красы.

Колхозный извозчик, которого я знала еще молодым, прервал мои воспоминания. Неожиданно засмеявшись, он сказал:

— Слышал, слышал, Анна Дмитриевна, что ты посеяла тут свой зонтик и сама едва не утопла в грязи. На побывку в деревню надо приезжать месяцем позже. Или уж позабыла, какие у нас бывают весенние пути и дороги?

— За двадцать лет, — говорю, — Максим Тимофеич, позабыла о таких делах. Вспоминала о деревне только хорошее.

И вот я снова вернулась в город.

Муж радостно встретил меня и как ни в чем не было спросил:

— Ну как в деревне у вас? Надеюсь, все хорошо?

Я рассказала мужу о поездке. Но я побоялась его насмешки и поэтому немного смягчила картину моего злополучного путешествия по жуткой дороге. Все же остальное оставила почти без прикрас.

Муж с виноватой улыбкой заговорил, что я совсем напрасно зачислила его в разряд скептиков. Он твердо верит в могучую силу колхозного строя. Но вот руководитель колхоза, по его мнению, должен быть на той высоте, какую мы требуем от директора завода или от капитана линейного корабля. И тогда, дескать, все пойдет как полагается.

Я рассеянно слушала мужа и с горечью думала о своем: «Ну как же так случилось, что за двадцать лет я ничего хорошего не сделала для моей деревни?»

Эта горечь и сейчас осталась в моем сердце.



На этом рассказчица закончила историю своего путешествия в деревню. И задумчиво помолчав, сказала:

— Шоссейные дороги в нашем районе в удовлетворительном состоянии. А вот так называемые проселочные — ниже всякой критики. Впрочем, нам обещали к шестидесятому году привести их в порядок.

И тут моя докторша, у которой я лечусь, восторженно воскликнула:

— Ах, как чудесно подумать, что в нашем районе будут асфальтированные дороги! Вот тогда, сударь, я приглашу вас в гости в мою деревню Ключки. Мы поедем туда машиной. Это вам будет полезно для здоровья.

Я выразил готовность сопровождать докторшу в деревню Ключки, если, конечно, к тому времени я не буду числиться в списках небесной канцелярии.

На эту мою шутку докторша весело рассмеялась и неопределенно развела руками — что, мне кажется, не следовало делать лечащему врачу.

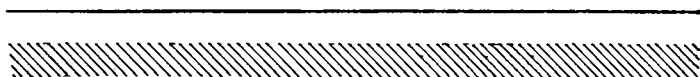
Шевельнулась мысль: «Не переменить ли мне врача для того, чтобы в тысяча девятьсот шестидесятом году побывать в деревне Ключки?»

Но потом я подумал, что потеря будет не так уж велика, если я в крайнем случае не увижу эту деревушку.

Вот поэтому, прощаясь с докторшей, я попросил написать меня на следующий ее прием.

Время покажет — допустил ли я оплошность в этом деле.

П о в е с т и



Возмездие

1. Вечер воспоминаний

Во время семнадцатой годовщины Октябрьской революции на одном из ленинградских заводов был устроен вечер воспоминаний.

Каждый из желающих рассказывал о своем участии в революции, о своих подвигах, о своих встречах со знаменитыми революционерами и о своей прошлой боевой жизни.

Делились своими воспоминаниями не в торжественной обстановке и не в зале с эстрадой и кафедрой, а просто участники вечера за чашкой чаю вели свои беседы. Это придало разговору живой и непринужденный характер. И в тот вечер моя записная книжка была вдоль и поперек исписана интересными заметками и сюжетами.

Между прочим, очень много всех смешил заводской парикмахер, некто Леонидов. Он очень забавно и комично рассказывал, как он до революции служил в модной парикмахерской на Морской и как там он стриг и брил разных генералов и князей. И какие там у него встречались требовательные и нахальные клиенты, не разрешавшие во время бритья дотрагиваться пальцами до своей благородной кожи.

Все очень смеялись, когда Леонидов вспоминал разные забавные факты из своей практики. Но об этом я расскажу как-нибудь в дальнейшем.

После Леонидова с коротенькой речью выступил молодой слесарь Коротков, раненный в Февральскую революцию. Он рассказал об уличном столкновении с полицией, во время которого он и был ранен.

И вот, наконец, выступила работница завкома, товарищ Анна Лаврентьевна Касьянова, награжденная в свое время орденом Красного Знамени.

2. Речь А. Л. Касьяновой

Речь Касьяновой была исключительно интересна и занимательна. Это было воспоминание о прожитой жизни, о революции, о гражданской войне, о знаменитом Перекопе и о бегстве барской России за границу.

Это был рассказ человека, побывавшего в самом пекле революционных событий.

Уже по первым ее фразам я понял, что это не заурядная женщина с простенькой и обыкновенной биографией. И действительно, ее жизнь поразила нас каким-то внутренним особенным значением.

Ее речь всех нас захватила, и мы не заметили, как промелькнуло полтора часа.

Во время перерыва я подошел к товарищу Касьяновой и попросил ее разрешения написать повесть об ее жизни.

Анна Лаврентьевна сказала:

— Если это получится как забава, то не надо. Мне было бы неприятно, если бы вы посмеялись над моей жизнью. Но если это полезно для дела революции, то я согласна, чтоб вы это написали.

Потом она добавила:

— Только то, что я рассказала, — это древняя история. Сейчас мы заинтересованы другой материей — строительством и расцветом нашей страны. И эта старая история моей жизни, может, сейчас не так полезна в литературе, как другие, более современные темы.

Я сказал:

— Это именно та «древняя история», которая исключительно нам интересна, потому что без таких историй, может быть, и не было бы того, что есть сейчас.

В общем, я условился с Касьяновой, что по окончании моей работы мы повидаемся с ней, и она внесет поправки, если в моей повести будут неправильности или неточности против правды.

Однако значительных неправильностей в моей работе не оказалось, и товарищ Анна Лаврентьевна Касья-

нова дала свое согласие опубликовать историю своей жизни.

Необходимо сказать, что в этой моей работе я постарался сохранить все особенности рассказчицы, все ее интонации, слова и манеру.

Однако, прежде чем приступить к рассказу, я скажу несколько слов о наружности Касьяновой.

Она среднего роста. Склонная к полноте. Ей сейчас примерно около сорока лет. У нее голубые глаза, русые волосы и несколько широкое лицо. Вероятно, в молодые годы она была очень красива той прекрасной, здоровой русской красотой, в которой чувствуется сила, уверенность и удивительное спокойствие.

Вот что рассказала Касьянова,

3. Детство

Я родилась в рабочей семье. Мой отец, Лаврентий Иванович Касьянов, крестьянством не занимался. Он был рабочий. Он служил на сахарном заводе. И мы жили в сорока километрах от Киева.

Но в японскую войну его во время забастовки на заводе арестовали и куда-то забрали. И он к нам не вернулся.

И тут после этого, если так можно сказать, все равно как бомба разорвалась в нашей семье. Отец не вернулся. Старший брат, мальчик лет семнадцати, уехал в Персию и там где-то остался. У сестренки открылась болезнь почек. И она потом умерла. И моя мать, видя все это, тоже начала хворать, гаснуть, и в скором времени она тоже скончалась.

В свои семь лет я осталась круглой сиротой. И только у меня в Киеве проживала одна тетя. И тогда эту тетю вызвали из Киева и спросили, что делать. Тетя удивилась, что я осталась одна, и отдала меня в соседнюю деревню в няньки к одному своему знакомому кулаку.

А у этого кулака была большая семья. Его родственники. Он сам. Два сына — Мишка и Антошка. И еще грудная девочка Феня, которую мне надо было нянчить.

А мне было всего семь лет. И можете себе представить, какая я была в то время няня. И какой мне был интерес ухаживать за этой девочкой,

Фамилию этого кулака я запомнила на всю жизнь. Это был исключительно богатый мужик и мироед, Максим Иванович Деев.

Он держал несколько батраков, которые обрабатывали его поля и смотрели за его хозяйством.

4. На заводе

Этот кулак Деев, видя, какая я нянька, решил меня отдать на завод.

И он меня отдал на сахарный завод, где в свое время работал мой отец, мой папа.

И я стала работать на этом заводе. И я там работала по двенадцать часов в сутки.

И когда я возвращалась домой, то дома я тоже не знала отдыха. Я дома продолжала работать. Я носила дрова. Убирала хлев. Пригоняла коров. Кормила птиц. Нянчила Феню. И утром часов в пять снова уходила на завод.

Мне хотелось играть в куклы или побегать с ребятами, но вместо того вот что я имела.

А у нас там на сахарном заводе детей использовали на подсобных работах. У нас там дети подбирали свеклу. Каждому из ребят полагался такой железный крючок. И вот с этими крючками мы ходили взад и вперед и подбирали свеклу, поскольку она то и дело падала, когда ее подвозили на эстакаду.

А когда мне исполнилось девять лет, то меня перевели с этой легкой работы к станкам, где сахар рубят. Там были такие особые ящички, куда бросают сахар. И вот мы, дети, подбирали кусочки и швыряли их в эти ящички.

Но когда мне ударило двенадцать лет, то меня уже поставили на станок. И я там рубила сахар. И там я этим занималась до пятнадцати лет.

И мне за это кулак Деев ежемесячно платил один рубль. Но сам он за меня получал сначала три рубля, а потом восемь.

Он в течение шести лет получал за меня по восемь рублей. Но я продолжала получать от него один рубль. И на эти деньги я должна была справлять себе обувь и одежду.

И за каждый этот мой несчастный рубль, полученный от него, он заставлял благодарить себя как за совершенную милость. И я его сердечно поблагодарила, потому что не понимала, как еще бывает иначе. Я не знала, что это был возмутительный акт с точки зрения революции. Я не отдавала себе в этом отчета. Я, девчонка в пятнадцать лет, жила как в дремучем лесу.

И только когда произошла революция, я кое-что стала понимать.

Но во время революции я уже не работала у Деева, а служила кухаркой в Киеве. Но тем не менее я тогда вспомнила эту эксплуатацию. Я вдруг вспомнила, как он мне платил один рубль, а остальные деньги брал себе. И как он, кроме того, заставлял меня дома работать до того, что я спала не больше пяти часов в сутки.

И когда я впоследствии нарисовала себе эту картину, я просто не могла с собой совладать. Меня трясло от злобы, когда я подумала, как это было.

И, руководимая этой злобой, я даже нарочно решила поехать в деревню поговорить с Деевым.

Это было вскоре после Февральской революции.

5. Поездка в деревню

А мне в то время было около девятнадцати лет. И я тогда, повторяю, жила в Киеве. Я была прислугой, кухаркой.

И это было исключительное движение души, что я вдруг вспомнила эту эксплуатацию и решила съездить в деревню.

Я сама себя уговорила, что мне надо было побывать в деревне. У меня там решительно никаких дел не было.

Тем не менее в мае я приехала в деревню. И зашла во двор к Дееву. Он сидел на крыльчке и грелся на весеннем солнышке.

Я его три года не имела счастья видеть, но я ему не поклонилась. И он мне не поклонился.

Он мне грубо сказал:

— Ты чего шляешься по чужим дворам? Это еще что за новости!

Тогда я ему сказала, еле сдерживая свое негодование:

— Ты что же мне, старая плешь, платил один рубль, в то время как сам получал за меня восемь рублей! Ты знаешь, как это называется с точки зрения революции?

Но Деев на это засмеялся и велел своим сыновьям Мишке и Антошке выгнать меня со двора.

И я тогда удивилась, что революция не облегчила мои душевные страдания. Я только потом узнала, что это была буржуазная революция, ничего не имеющая с нами общего. И надо было еще ждать полгода, чтоб произошла другая, народная революция, которая все поставила на место.

Так или иначе, кулак Деев стал смеяться над моими словами. И он до того смеялся, что еле мог выкрикнуть Мишку и Антошку.

А когда те прибежали, то я удивилась, как они выросли за эти три года, что я провела в Киеве.

Они были все равно как здоровые жеребцы.

Деев им сказал:

— А нуте-ка, прогоните мне эту белокрысу халду, приехавшую с глупостями к нам из Киева.

Старший кулацкий сын Мишка не стал меня гнать. Он сказал: «Не надо этого делать». Но другой сын, Антошка, ринулся на меня, словно дикий бык.

Он начал меня бить ногами. И стал выталкивать меня со двора.

И мы с ним одновременно выбежали на улицу. И там друг против друга остановились.

И он, засмеявшись, мне сказал:

— Я тебя, Анютка, прогнал со двора, потому что мне папенька так велел. А если ты у нас хочешь получить работу, то наймись ко мне блох ловить.

И от этих его насмешливых слов у меня буквально свет померк в глазах. Души моей не стало от этой его дурацкой и нахальной фразы.

Я вдруг схватила коромысло, стоявшее у колодца, и ударила им кулацкого сына Антошку. Я два раза и больше его ударила. И потом я, кажется, даже стала молотить его этим коромыслом.

И он вдруг испугался, что увидел такую мою злобу, какую он не предполагал видеть в женщине.

И от страха он закричал:

— Ах, подойдите все сюда! Вот что она со мной делает!

Но потом вдруг побежал к дому, бросая горстями кровь с носу.

И я тогда пришла в себя и пошла обратно. И даже не обернулась назад, чтоб посмотреть, не бежит ли кто за мной. Мне в тот момент, как помнится, сделалось все равно.

И только я потом узнала, что сам старик Деев хотел выстрелить в меня из дробового ружья, но он испугался это сделать, потому что ему сказали, что я член горсовета.

Но я тогда не знала, о чем он замышлял, и бесстрашно шла, с тем чтобы никогда сюда не возвращаться.

Но я вернулась сюда через двенадцать лет. Через двенадцать лет я была в этом районе. И снова нарочно заехала в эту деревню.

Это был уже 1930 год.

И вот я заехала в эту деревню. И пошла на двор к Дееву.

Но оказалось, что старик Деев уже давно отправился путешествовать на тот свет. А его сыновья, Мишка и Антон, были раскулачены и высланы из этого района. И никого из их родственников я тут больше не нашла.

А в их помещении была изба-читальня.

Я зашла в эту избу.

И когда я зашла в эту избу-читальню, я вдруг рассмеялась, что так все случилось.

Я не обладала жестоким сердцем, и я всегда была внимательна к чужому страданию. Но тут я рассмеялась, когда вошла в избу.

Заведующая избой-читальней спросила меня: «Чего вы смеетесь?» Я ей ответила с той сердечной простотой и наивностью, которые у меня тогда были. Я ей сказала:

— Я смеюсь от радости, что произошла такая народная революция, которая оправдала мои надежды.

И тогда заведующая, не поняв, в чем тут дело, сказала:

— Может быть, вы хотите взять какую-нибудь книжку почитать, чтобы повысить свою культуру?

Не помню сейчас, но, кажется, я действительно взяла тогда какую-то книжку. Но в те дни я не стала ее читать, потому что у меня и без книг тогда слишком было переполнено сердце.

А что касается дореволюционного времени, то у этого кулака Деева я находилась почти что до шестнадцати лет.

А когда мне исполнилось шестнадцать лет, к нам в деревню прибыл из Киева один мой знакомый, ранее служивший на сахарном заводе.

Он мне симпатизировал.

Он мне сказал:

— Бросай, Аннушка, своего кулака Деева и давай поедем в Киев. И я там куда-нибудь определю тебя на работу. Сам я служу в Киеве в москательной лавке. И если ты захочешь, мы там будем с тобой встречаться по воскресеньям.

И вот я тогда бросила своего кулака и действительно поехала в Киев.

И я там в скором времени устроилась прислугой к одной барыне.

Собственно говоря, это была, так сказать, не чистой воды барыня. Ее муж служил в интендантстве по снабжению армии. И был все время в разъездах.

А супруга его содержала небольшую шляпную мастерскую, в которую она даже никогда не заглядывала по причине своего нездоровья. А просто там у нее кто-то работал, а прибыль получала она. Тогда это было в порядке вещей, что один работает, а другой за него барыши получает. Это не казалось чем-то особенным. Это было тогда повседневным делом — подобная эксплуатация.

А у этой барыни была дочка Оленька. И Оленька оставила по себе очень хорошее воспоминание. Она меня учила грамоте. Она сама была гимназистка выпускного класса. И была чересчур бойкая и развитая не по летам. За ней постоянно мужчины бегали. И даже какой-то юнкер хотел из-за нее застрелиться.

Но у нее хватало времени со мной заниматься. Она мне преподавала географию, чтение, арифметику и ботанику.

В общем, я ей очень благодарна за науку, потому что кое-как к моменту революции я была уже немного подкована в смысле грамотности, и я уже не была такой, что ли, чересчур темной особой.

Эта Оленька потом вышла замуж и уехала из Киева. И я не знаю, где она теперь.

Я у них служила около двух лет. И я тогда нигде почти не бывала. А моего знакомого, с которым я приехала в Киев, взяли на войну. Он был мобилизован.

Я его провожала на вокзал. И я не знаю, что с ним в дальнейшем стало. Наверное, он был убит на войне. Или он пропал без вести. Только я о нем никогда ничего не могла узнать.

А он очень страдал, что уезжает от меня. И мы с ним торжественно, как жених и невеста, поцеловались на вокзале.

Но я привыкла терять близких мне людей. И не имела от этой потери какого-нибудь отчаяния.

Я тогда стала больше работать, чтоб не скучать.

И я поступила даже на курсы поваров, чтобы повысить свою квалификацию.

Мне моя «барыня» разрешила это сделать. Ей самой смертельно хотелось, чтоб я у нее лучше готовила. И она мне позволяла по вечерам ходить на занятия.

Но от этого она, увы, не получила своего выигрыша, потому что я вскоре ушла от нее на более хорошее место, к одной генеральше.

7. Генеральша Дубасова

У нас рядом с нашим домом был отдельный особняк. И там жила генеральша Нина Викторовна Дубасова, урожденная баронесса Недлер.

Она была сравнительно молодая, довольно интересная особа. Ей было около тридцати лет.

А сам генерал Дубасов был постоянно на фронте. Он был боевой генерал. Фронтовик. А она тут жила все равно как в сказке.

Они были очень богаты, эти Дубасовы. У них было несколько имений на Украине. И к ним постоянно мужики привозили всякую снедь и продукты. И, кроме того, мужики привозили им деньги. И в довершение всего кланялись в пояс и целовали ручку. Причем они круглый год работали. А та за них отдыхала. И пользовалась всем на свете. Просто невероятно сейчас подумать, как это тогда было.

В общем, генеральша жила в полной роскоши, не зная никаких затруднений.

У нее, между прочим, было три денщика. А когда с фронта приезжал генерал, то он еще двух денщиков с собой привозил. Так что это было смешно видеть, что у них был такой личный штат.

Кроме того, у них было два кучера, два дворника, горничная, истопник и кухарка. А поскольку сам генерал был почти все время на фронте, то все эти услуги относились только к баронессе Нине Викторовне, которая прямо с ума сходила от своего безделья.

Она-меня видела несколько раз со своего балкона и велела мне сказать, чтоб я бросила служить у прежней барыни и чтоб я перешла к ней, поскольку я ей почему-то понравилась.

И она мне положила в два раза большее жалованье. Я получала шесть рублей, а она мне дала двенадцать рублей. А в то время это были порядочные деньги.

И тогда я к ней перешла. И вскоре я убедилась, что она была страшно сумасшедшая. Она была недотрога и истеричка в высшей степени.

Ее люди очень не любили. И она часто выгоняла то одного, то другого. Причем у нее была тенденция не платить. Она рассердится, например, на дворника, вышвырнет ему за дверь паспорт и велит сразу уходить. И никакой управы на нее нельзя было найти.

У нее было три денщика. Так она каждый день их лупила. Сейчас, конечно, трудно даже представить, как это можно ударить служащего человека. Но тогда это был не вопрос. Тогда это было вполне законное явление. И она за каждый пустяк била то одного, то другого.

Она била их по лицу. Причем у нее не было даже злости, а просто это была у нее привычка.

А на битые они, как военные, не имели права ничего сказать. Они даже не смели шелохнуться. Они стояли навтыжку, когда она их лупцевала.

И только один денщик, некто Боровский, поднял руку, чтоб защититься.

Он поднял руку, чтобы закрыть свое лицо от побоев. Он ей сказал: «Я, Нина Викторовна, весь в огне горю. Еще, — говорит, — один удар, и я, — говорит, — могу допустить крайность».

И он совершенно легко отодвинул ее от себя. Он отбросил ее от себя, чтоб не иметь соблазна пойти на крайний шаг. А она нарочно на пол упала. И такой она плач подняла, такие крики и такую истерику, что чуть не со всего района собрались люди на это сумасшествие.

И тогда Боровского арестовали и посадили в тюрьму.

8. Новая кужарка

Но интересно, что после этого случая она не стала тише себя вести и продолжала своих денщиков лупцевать.

Конечно, невоенных служащих она остерегалась бить, но весьма часто замахивалась.

Один раз она даже на меня замахнулась.

Но я ей сказала спокойно и просто:

— Имейте это в виду, Нина Викторовна: если вы меня тронете, то я сама за себя не отвечаю.

А я тогда была исключительно сильная и здоровая. Я была очень цветущая. У меня, например, был медальон. Так когда я его надевала, то он у меня не висел, как обыкновенно бывает висят медальоны. А он у меня горизонтально лежал. И я его даже могла видеть, не наклоняя головы. Он даже больше чем горизонтально лежал. И я даже отчасти не понимаю, как это тогда было.

Во всяком случае я отличалась тогда исключительным здоровьем. И если б я захотела, то эту самую Нину Викторовну я могла бы вышвырнуть из одной комнаты в другую. Тем более что она была маленькая и хрупкая. Она была красивая, но тонкая и худенькая брюнетка. И когда к нам гости приходили, то они всё больше смотрели на меня, чем на нее. А это ее очень бесило и расстраивало.

Конечно, я не скажу, что я отличалась в то время какой-нибудь удивительной красотой. Но я многим нравилась. И мое здоровье останавливало на себе внимание. Я была тогда до сумасшествия здоровая.

А если говорить о недостатках, то у меня были руки, которые мне принесли несчастье. И когда я в дальнейшем попала в Крым к белым, то мои руки меня выдали с головой. Белые сразу поняли, кто я такая. У меня были обыкновенные рабочие руки. У меня были большие

мужицкие руки, которые от постоянного кухонного жара пылали тогда краснотой. И с точки зрения дворянской жизни это был крупнейший недостаток. В те времена некоторые барыни, чтобы вызвать белизну и еще больше заморить свои ручки, ставили даже к ним пиявки и надевали на ночь лайковые перчатки. Потому что труд в том обществе считался большим позором. И нельзя было иметь то, что напоминало о принадлежности к трудовому классу.

Нет, конечно, вообще говоря, красиво иметь тонкую ручку. И я ничего бы не имела против этого. Но я тогда страдала не по этой причине. А просто у меня была такая бурная жизнь и среди этих людей, которые весьма подозрительно смотрели на мои руки. И это мне мешало.

Сейчас я физическим трудом не занимаюсь, и руки у меня стали нормальные, но тогда действительно было что-то особенное. И я тогда не раз досадовала, что для достижения моей цели я не имела белых дворянских ручек с голубыми жилками, для того чтобы ввести в заблуждение моих врагов.

9. Генеральшины гости

Итак, я поступила кухаркой к генеральше Нине Викторовне Дубасовой.

И она была этим очень довольна, потому что я была в то время интересная, а это ее очень устраивало. Она была из таких надменных барынь, которые любят, чтоб у них все было самое красивое, самое наилучшее. И она добивалась, чтоб у нее прислуга тоже отличалась какой-нибудь интересной внешностью.

Ей нравилось, когда гости поражались, что им открывает такая миловидная прислуга. И она этим удовлетворяла свою барскую спесь и свою дурацкую гордость.

Но поскольку я была кухаркой, то я к гостям не должна была выходить. У нас днем двери открывали денщики, а вечером горничная.

Но баронесса непременно захотела, чтоб и я открывала двери.

И я тогда в вечерние часы стала тоже подходить к дверям. Тем более что свою личную горничную Катю генеральша не любила к гостям выпускать, так как она и ростом и чернотой волос отчасти напоминала свою барыню. А это ее компрометировало и, вероятно, снижало в глазах знакомых.

Так или иначе, я по вечерам впускала гостей.

Но это не так долго продолжалось, потому что она сослепу приревновала меня к одному офицеру, который был ее любовником.

К ней каждый день заходил один молоденький офицерик, некто Юрий Анатольевич Бунаков. Он был хорошенький такой, как кукла.

И я раньше никогда таких не видела. Он был похож на херувима. У него на щеке была нарисована черная мушка. И губы свои он подкрашивал красной краской. И всегда ходил с маленькой коробочкой. Там у него была пудра. И он то и дело припудривался, потому что он любил, чтоб у него была матовая кожа.

Сначала он меня просто рассмешил своей кукольной наружностью. Я даже не знала, что бывают такие изнеженные мужчины. Я хохотала как сумасшедшая, когда в первый раз его увидела. Тем более что он вел себя как ребенок. Он капризничал, хныкал и с головной болью валялся на кушетке.

Но Нина Викторовна была в него сверх всякой меры влюблена. Она его обожала. И от него без ума находилась. Она могла глядеть на него круглые сутки. Она считала его удивительным и небывалым на земле красавцем.

Она с ним буквально нянчилась.

И когда генерал был на фронте, то Юрий Анатольевич каждый день к ней заходил.

Он играл песенки на рояле. И напевал их вполголоса. Причем весь репертуар у него был исключительно из грустных номеров. Он чаще всего пел «О, это только сон» и «Под чарующей лаской твоею».

Также он имел привычку твердить такие стихи (я их запомнила, потому что я их в свое время записала):

Все на свете, все на свете знают —
Счастья нет.
И который раз в руках сжимают
Пистолет.

И который раз, смеясь и плача,
Вновь живут.
Хоть для них и решена задача —
Все умрут.

И он при этом подкидывал в руках свой браунинг № 1, с которым никогда в жизни не расставался.

10. Веселая жизнь

Но, конечно, это была сплошная ерунда — то, что она меня к нему приревновала. Я на него просто никак не глядела. Вернее, мне было забавно видеть его поведение. Но он действительно иногда глаз с меня не сводил.

Он мне однажды сказал в передней:

— Это, — говорит, — Анюта, чересчур жалко, что среди нашего высшего общества не бывает таких, как ты. Среди нашего общества все больше высохшие мумии. И я бы, — говорит, — наверно, вполне исцелился от меланхолии, если б я сошелся с такой особой, как ты.

Но я рассмеялась ему в лицо и не велела ему об этом больше говорить.

А моей баронессе не понравилось, что он со мной то и дело заговаривал.

Она мне сказала:

— Я, — говорит, — Анюта, считаю ниже своего достоинства к вам ревновать, поскольку вы для меня человек, стоящий на нижней ступени общественной лестницы, но тем не менее двери я вам больше не позволю открывать.

Конечно, я не стала от этого горевать, потому что, откровенно говоря, в конце концов плевала на них обоих.

Кроме этого молоденького офицера, которого у нас на кухне называли попросту Юрочка, к нам очень часто заходил его ближайший друг, некто ротмистр Глеб Цветаев. Этот был уже в другом духе. Он тоже отличался изнеженной красотой. Только что против Юрочки он был более веселый и энергичный и отличался хорошим здоровьем. Он был не такой квелый, как тот. А в остальном он был вроде него. Он тоже пудрился, мазался, на щеке носил мушку и имел черные тонкие усики, как у французской кинознаменитости Адольфа Менжу.

В довершение всего он курил тончайшие дамские папироски, увлекался мужчинами и душился так, что мухи боялись к нему подлетать.

Нина Викторовна считала, что по своей небывалой красоте он может стоять на втором месте после Юрия Анатольевича. Она говорила, что даже розы могли бы распускаться под его чарующей улыбкой. И он благодаря этому то и дело улыбался. Но я в этой улыбке ничего особенного не видела. Это была деланная и фальшивая улыбка, которая исчезала, когда он отворачивался.

Интересно отметить, что впоследствии я в Крыму столкнулась с этим офицером. Он тогда был начальником контрразведки в Ялте. И он там тоже улыбался, когда глядел на мое разбитое лицо. Но об этом после.

Вместе с ротмистром Цветаевым у нас часто бывал его друг, граф Шидловский. Вот этот был большой пахал. Он ко мне часто приставал со всякой ерундой.

Но он мне был просто противен своей гладкой, сытой физиономией и своими дворянскими поворотами.

Но он, конечно, не представлял себе, что кому-нибудь он может не понравиться, в то время как я дрожала от отвращения, когда он иной раз ко мне прикасался своей рукой.

Все эти офицеры у нас почти что каждый день бывали. Они тут пили вино, танцевали, играли в карты и так далее.

Иногда у них всю ночь шло пьянство и стоял бешеный разгул. Но я даже затрудняюсь сказать, что у них там еще было. Прислуга не имела права входить без приглашения.

А что касается Нины Викторовны, то она буквально дня не могла прожить без этих вечеринок, после которых она ходила желтая, как шафран, и целый день освежалась гофманскими каплями.

Из гостей у нас также иногда бывали разного сорта знаменитости — артистка Вера Холодная, киноактер Рунич и другие. И даже как-то раз приехал к нам из Москвы артист Вертинский. Этот пел свои знаменитые песенки. И эти песенки хватали нашего Юрия Анатольевича прямо за самое сердце, до того, что он навзрыд плакал и просил их петь до бесконечности.

Эти песенки также исключительно сильно действовали на ротмистра Глеба Цветаева, который тоже про-

слезился и сказал, что у него такое ощущение, будто погибает весь мир и нельзя никого спасти.

Такое препровождение времени у нас было всю зиму, вплоть до Февральской революции,

11. Февральская революция

Я по-настоящему не понимала, что такое революция. Мне об этом мало приходилось слышать.

Я редко сталкивалась с людьми, которые могли бы меня на этот счет просветить. Что касается завода, то у нас там говорили об этом, но я была тогда слишком маленькая и не разбиралась. А у кулака Деева я тоже не могла ничего почерпнуть.

Я жила как в дремучем лесу.

И вот как-то утром я пошла на базар.

И вижу, что по улицам ходят студенты и обезоруживают полицию. У меня сразу екнуло сердце. Я подумала: «Наверно, что-нибудь особенное произошло?»

Я тогда пошла дальше и вижу, что на всех углах стоят уже студенческие посты, а полиция снята.

Тогда я спросила одного, почему так делается. И он мне сказал: «Это революция».

Но я тогда не знала, как это бывает, и решила пойти посмотреть.

И вот я пошла дальше со своей корзинкой и вдруг вижу — идет громадная толпа. Некоторые идут с винтовками, а некоторые держат красные знамена, а некоторые идут так.

И многие из них кричат: «Мы идем на Сенной базар освобождать заключенных! Все идемте с нами!»

А там у нас в Киеве на Сенном базаре была огромная тюрьма, в которой было много политических заключенных.

И вот я пошла вместе со всеми. И вдруг мы все (хотя я и не знала слов) в один голос запели революционную песню и с этой песней пришли на Сенной базар и увидели тюрьму.

И тогда народ с криками побежал к зданию и стал требовать выпуска всех заключенных.

А я и некоторые другие молодые женщины залезли на забор и там сидели, наблюдая, что будет. Причем я не

расставалась со своей корзинкой для провизии, потому что мне надо было кое-что закупить, чтобы к двенадцати часам дня начать готовку обеда.

И вот я сижу на заборе. И слышу страшные крики. Это народ велит открыть все двери в тюрьме.

Вдруг действительно открываются все двери и ворота, и в окнах показываются заключенные. И нам видать, что они недоумевают и не понимают, что это такое. И думают — нет ли тут провокации.

Мы видим, что двери и ворота открыты, часовых нету, но никто из заключенных на улице не появляется.

И тогда среди народа раздаются нетерпеливые возгласы: «Выходите же!.. Верьте нам, что произошла революция!»

И вот появляется первая партия заключенных. Они вышли из ворот и сразу поняли, что произошло. Один из них упал в обморок. А другой сразу же влез на забор и начал произносить речь. Он был большевик. Он долго говорил, а я сидела со своей корзинкой и слушала.

Он говорил, что в революции нужна прежде всего организация. Он сказал толпе: «Объединяйтесь в профсоюзы, и тогда вы можете бороться со своим главным врагом — с буржуазией, чтоб она вас не эксплуатировала».

И весь народ ему хлопал, хотя многие и не понимали, что это такое.

Тем временем из ворот тюрьмы вышли все заключенные. Некоторые были бледные и качались. А некоторые с криком радости бежали в толпу. И там они обнимались с родными и целовались со знакомыми.

Потом вышла целая партия уголовников. Но никакого нахальства среди них не наблюдалось. Они держали себя смиренно и возвышенно, но только все время у всех «стреляли» папироски.

12. Неожиданная встреча

И вдруг, сидя на заборе, я увидела, что из тюрьмы вышел наш денщик Боровский. Он полгода сидел в тюрьме за то, что он защитился от побоев генеральши Нины Викторовны.

И тут я увидела, что он прямо переродился за это время. Всегда молчаливый и сдержанный, он тут вдруг самостоятельно влез на подводу и произнес речь. И многие ему тоже хлопали.

И тогда я протискалась к нему и сказала: «Здравствуй, Паша Боровский!»

Он очень обрадовался, что увидел свою знакомую. И мы с ним решили находиться вместе.

В это время среди народа раздались крики: «Идемте все к Думе, там происходят исключительно важные события!»

И тут мы с Боровским побежали к Думе. И встали около самой трибуны.

Там было много произнесено пламенных речей. И Боровский произнес вторую речь. Он рассказал про свой случай с генеральшей и убеждал народ не доверяться буржуазии и дворянству.

Потом я посмотрела на часы и увидела, что уже четыре часа. То есть это был час, когда генеральша садилась за стол обедать. Она в смысле еды была исключительно аккуратная особа. И не любила запоздания даже в пять минут.

Тут я вспомнила, что я даже ничего к обеду не купила.

Но Боровский мне сказал:

— Сейчас безрезультатно что-нибудь покупать. Иди так домой. А если ты боишься неприятностей, то я могу с тобой пойти. И мы тогда посмотрим, что тебе Нина Викторовна скажет в моем присутствии. Хотел бы я это видеть.

Я сначала растерялась, и мной страх овладел, когда Боровский со мной пошел. Но потом мне от этого даже стало немного весело.

И мы с Боровским пришли домой. И наши денщики форменным образом обалдели, когда увидели нас вместе.

Они сказали:

— Ну, знаете ли, это уж слишком.

Но мы им объяснили в чем дело. И среди нас поднялся горячий разговор.

И вот мы все, домашние работники, сидим в кухне и разговариваем.

Вдруг открывается дверь, и на пороге показывается Нина Викторовна, такая грозная, как она редко когда бывает.

И она так говорит, задыхаясь от злости:

— Я не погляжу, что происходят революционные события. Мои права хозяйки остаются в полной силе. И эти права никем не могут быть нарушены. И я, — говорит, — всех вас в два счета к черту выгоню, если будет повторяться что-нибудь подобное.

Вот так она говорит и вдруг видит — сидит на стуле Боровский.

Тут она побелела как полотно, схватилась за дверь и прошептала: «Боже милосердный!».

Она, наверно, в этот момент поняла, что случилось. Она поняла, что произошло нечто небывалое в ее жизни.

И тут вдруг Паша Боровский встает со своего стула, и мы видим, что он нервничает. Он сильно волнуется.

Он встает со своего стула, отодвигает его тихонько в сторону и так говорит Нине Викторовне:

— Амба!

И если бы он сказал что-нибудь другое, она бы не так испугалась. Но то, что он сказал «амба» и при этом сделал рукой отрицательный жест, это ее устрасило до последней степени.

Она вскрикнула: «Ах!», задрожала, пошатнулась и, бледная как полотно, выскочила из кухни.

И тут все денщики рассмеялись и сказали:

— Вот, господа, что такое революция.

13. Первое крещение

Потом вдруг в кухню вошел ротмистр Глеб Цветаев. Он сказал Боровскому со своей улыбочкой:

— Если тебя, мой друг, революция освободила, то это еще не значит, что ты, как уголовный арестант и государственный злодей, можешь тут у баронессы находиться. Я прошу тебя, мой друг, немедленно удалиться, или будут самые печальные последствия.

Боровский сказал:

— Я уйду, так как я не хочу подвергать опасности моих товарищей. Потому что если мы, господин офицер,

с вами сейчас столкнемся, то они за меня заступятся. И тогда мне неизвестна их судьба. Вот почему, и только поэтому, я ухожу. Но с вами мы еще, господин офицер, встретимся. И тогда я вам преподнесу такую дулю, что вы пожалеете за свои чересчур нахальные слова.

Мы думали, что после этих слов произойдет нечто страшное. Но ротмистр Цветаев повернулся на каблуках и ушел, так хлопнув дверью, что кофейница упала с полки.

И тогда Боровский, попрощавшись с нами, тоже ушел. И он взял с меня слово, что я сегодня вечером приду в университет на митинг, который был назначен в девять часов.

Тогда я наспех из чего попало приготовила обед, и горничная Катя подала его господам. И те пожрали в охотку и никаких замечаний не сделали.

А я, приодевшись, пошла в университет на митинг, ничего не сказав об этом Нине Викторовне, что было в то время большим преступлением по службе.

И вот я пришла в университет. И там уже было полным-полно. Выступали главным образом студенты и курсистки. Тут подошел ко мне Боровский. Он сказал:

— Ну, Анюта, не подкачай. Ты сегодня непременно выступи. Ты будешь говорить от лица домашних работниц. Это произведет фурор. Ты скажи что-нибудь хорошенькое про эксплуатацию прислуги.

Тут я форменным образом задрожала, потому что речи я никогда не говорила и не знала, как это нужно.

Но Боровский не стал слушать моих возражений. Он подвел меня к трибуне и познакомил со всеми видными революционерами, какие там были.

И один из них, по фамилии Розенблюм, сказал мне как будто я была заправская ораторша:

— Ты, — говорит, — товарищ Касьянова, скажи что-нибудь о профсоюзном движении.

Тут я, скажу откровенно, совершенно сомлела, потому что я только сегодня днем впервые услышала об этом движении и еще не представляла себе, что можно об этом сказать что-нибудь определенное.

Но тут они меня привели на трибуну и представили публике.

Я не помню, о чем я начала говорить. Я только помню, что я дрожала как собака на этой трибуне. Но потом я совладала с собой и начала такую речь, что в зале произошла удивительная тишина. Все меня слушали и говорили: «Это нечто особенное, что она так говорит».

А я им развернула картину эксплуатации моего детства и сказала о теперешней жизни, которую я терплю у Нины Викторовны.

Тут я сказала, что среди нас находится еще одна ее жертва, денщик Боровский, побитый ею и посаженный в тюрьму. И тут все захотели увидеть этого Боровского.

И тогда Боровский вышел на трибуну и сказал: «Да, это так, как она сказала».

И тогда все в один голос закричали: «Скажи нам ее адрес, мы ее к черту в порошок сотрем, эту твою баронессу».

Но я сказала то, что слышала утром. Я сказала со своей трибуны:

— При чем тут адрес. Революцию надо организованно вести, надо создать профсоюзное движение и тогда планомерно вести борьбу с буржуазною знатью.

Тут раздались такие аплодисменты, что казалось, зал треснет пополам. Я как в чаду сошла с трибуны.

Тут сразу ко мне все подскочили. Боровский говорит:

— Это что-то особенное, настолько ты исключительно великолепно говорила.

Розенблюм мне сказал:

— Ты, Анюта Касьянова, пойдешь организатором в профсоюзы. Завтра приходи к Думе в оргбюро — получишь назначение.

Я как пьяная вернулась домой. И я по дороге сочиняла речи, чтобы произнести их как-нибудь в другой раз.

14. Новая жизнь

На другой день утром меня вызвала к себе барыня Нина Викторовна.

Она мне сказала:

— Если ты хочешь у меня служить, то прекрати это безобразие. Я тебе не позволю шляться по всяким митингам, где бог знает что говорится.

Но я сказала, что в таком случае я откажусь от места.

Она стала меня просить, чтоб я этого не делала. Она сказала, что в три раза прибавит мне жалованье и подарит несколько платьев, только чтоб у нас в доме наступили мир и тишина.

Я ей ответила:

— Вы из образованных слоев и говорите такие удивительные глупости. Ваши слова мне смешны и напрасны. Разве вы не видите, что делается с народом? Не от моего желания зависит прекратить то или другое.

Тут в этот момент происходит звонок, и к нам в столовую входит поручик Юрий Анатольевич Бунаков. И с ним вместе ротмистр Глеб Цветаев.

Бунаков, совершенно бледный и расстроенный, ложится на диван. А ротмистр говорит:

— Что делается на улице — это уму непостижимо. Хамя столько, что пройти нельзя. Как, — говорит, — ужасно, что в таких варварских руках будет судьба России. А к этому идет, потому что мы против них буквально маленькая горсточка. Стоит выйти на улицу, и вы в этом убедитесь.

Тут он увидел меня и закашлялся.

Нина Викторовна говорит:

— Я с этой представительницей народа целый час бьюсь. Но она уперлась на своем, как баран. Ей милей, видите ли, уличная шантрапа, чем порядочная жизнь в высшем обществе. И, главное, она еще осмеливается мне возражать и вступать со мной в пререкания, как будто мы с ней на одной ступени жизни.

Тут ротмистр Цветаев сказал фразу, которую я поняла только через десять лет. Он сказал:

— Вот когда нам приходит возмездие от народа. Наши деды ели виноград, а у нас оскомины.

Юра Бунаков вскочил со своего дивана, и я удивилась, что в нем может кипеть такая злоба. Он сказал:

— Но ведь мы же не отдадим свои права без борьбы?

А ротмистр воскликнул:

— Мы будем драться до последней капли крови! Никакое соглашение тут невозможно, потому что сталкиваются два мира между собой. И то, что сейчас происходит, — это пустяки по сравнению с тем, что будет.

Нина Викторовна мне сказала:

— Аннушка, уходите отсюда, нам не до вас.

И вот я в этот день, приготовив обед, поспешила в оргбюро.

В оргбюро уже слышали обо мне. Мне там сказали: — Ты, Касьянова, пойдешь у нас агитатором. Ты будешь ходить среди масс и агитировать за профсоюзы. Ты революцию поняла именно так, как следует.

И тогда я спросила, со своей наивностью:

— Можно ли мне от барыни уйти?

И тут все засмеялись и сказали:

— Можно, и даже нужно.

И вот я прибежала домой, сложила вещи и сказала:

— Я уйду.

Что было — это описать нет возможности. Но я выдержала бурю. И тогда баронесса, не заходя на кухню, швырнула мне паспорт. Но денег, почти за месяц, она мне не отдала.

Я хотела с ней об этом спорить, но как раз так случилось, что с фронта приехал сам генерал Дубасов. Я думала, что это здоровый, бородатый генерал, вроде бульдога. Но он оказался удивительно худеньким и маленьким. И он там в комнате все время что-то кудахтал. Он был недоволен и выражал свои взгляды на Юрочку Бунакова. Он приревновал Нину Викторовну. Но та вла себя удивительно нахально. Денщики мне сказали, что она нипочем не захотела отказать от дома Юрочке. И генералу, который обожал Нину Викторовну, пришлось смириться. В довершение всего пришедшие офицеры начали распространяться про революцию, и у них там поднялись горячие политические споры.

В общем, я не стала туда к ним соваться насчет своих денег. А просто пошла в оргбюро и получила там назначение. Мне там дали немного денег и отвели комнату. И мы условились относительно моей работы.

Я горячо принялась за эту работу. Тут мне все было интересно и занимательно. Новый мир стал открываться передо мной. Я только тогда поняла, как я жила и как весь народ жил. И как мы все находились в кабале и сами, по своей слепоте, не замечали этого.

И вот тут, как я уже говорила, движимая ненавистью, я и поехала в деревню для переговоров с кулаком Деевым. И эта поездка мне многое объяснила. Она мне объяснила, что, кроме этой революции, может быть еще

другая, народная революция, направленная против буржуазии и дворянства.

И я, вернувшись, еще с большей энергией стала работать для революции.

Я, как агитатор, ходила по домам и там устраивала общие собрания домашних работниц, сиделок, нянек и санитарок. Я им произносила пламенные речи и убеждала их вступить в профсоюз для планомерной борьбы со всякого сорта эксплуататорами, за грош выжимающими масло из трудящихся.

Почти всюду меня принимали хорошо, но в некоторых местах меня хотели даже побить за слишком левые слова.

А когда были выборы по рабочим кварталам, то меня как представительницу от домашней прислуги выбрали в горсовет.

А в горсовете в это время были и генералы, и большевики, и меньшевики — все вместе.

И когда я туда пришла, мне там сказали:

— Примиайте к какому-нибудь крылу. Вы кто будете?

Тут некоторые ребята из профсоюза мне говорят:

— Поскольку мы тебя, Аннушка, знаем, тебе больше всего к лицу подходит партия большевиков, — примиай к этому крылу.

И я так и сделала.

15. Октябрьские дни

И вот осенью у нас в Киеве начались выборы на съезд, который должен был состояться в Ленинграде.

Меня, как активную работницу, выбрали на этот съезд. И с киевской делегацией я выехала в Ленинград.

Я была этим очень горда. И больше, как об этом съезде, ничего не хотела знать.

Мне перед отъездом из Киева Боровский сделал предложение, но я ему отказала. Он хотел, чтоб я была его жена, он влюбился в меня.

Но мне было не до этого. В довершение всего, он мне не особенно нравился. Так что я со спокойной совестью уехала в Ленинград. Вернее сказать — в Петроград.

А он я не знаю куда делся. Я больше его никогда не встречала.

А в Петрограде нашу делегацию поместили в здании юнкерской школы.

В Петроград же мы приехали в самые решительные дни.

Это было дня за два до начала съезда.

Это были горячие и пламенные дни, когда решалась дальнейшая судьба революции. Это были торжественные и боевые дни для народа. Я в те дни слышала Ленина и близко видела многих замечательных революционеров. И это было для меня большое счастье. Это был праздник, на котором я присутствовала.

Мне удивительно об этом говорить. Но, если так можно сказать, я в то время не отдавала себе отчета в том, что тогда делалось.

Я кипела в котле революции, но я не сознавала полностью все значение тех событий. И это был мой минус. Это меня никогда не успокаивало. Я всегда завидовала тем людям, которые сознательно вступили в борьбу. И для меня это были великие люди. Что же касается меня, то я должна признаться — я жила в то время как в тумане.

И такую великую революцию, как Октябрьскую, я встретила горячо и даже пламенно, но я тогда еще не сознавала, какое это великое событие в жизни трудящегося народа.

И мне даже совестно вам признаться, что я гуляла с подругой по городу в то время, как начиналась последняя борьба против буржуазии.

Мы шли тогда с ней, с подружкой моей, по Садовой улице. И вдруг услышали выстрелы.

А мы с ней были тогда еще обыкновенные деревенские девчата, дурехи, не бывшие на фронте под обстрелом.

Мы сказали друг другу:

— Давай пойдем посмотрим на стрельбу.

Мы вышли на Невский проспект и увидели демонстрацию, которая направлялась от Думы к Зимнему дворцу. Это были меньшевики. Они несли плакаты: «Вся власть Временному правительству».

А наш лозунг — «Вся власть Советам». И в этом мы отлично разбирались. И поэтому мы не пошли за меньшевиками, а стали пробираться на площадь к Зимнему

дворцу, где, нам сказали, имеются наши отряды большевиков.

В это время мы увидели бегущих людей, которые кричали меньшевистской демонстрации:

— Господа, не идите дальше, потому что большевики вас могут встретить огнем, и тогда произойдет ненужное кровопролитие.

И вся колонна остановилась в недоумении, что им делать. В это время на площади снова раздались выстрелы.

И тогда несколько человек от меньшевиков пошли вперед узнать, что им предпринять.

Мы с подругой не могли пробраться к нашим и тогда пошли на площадь с другой стороны, где ходили еще трамваи, как ни в чем не бывало.

Мы дошли до самой площади, которая была, к нашему удивлению, почти пустая.

Все наши отряды были расположены на Миллионной улице и под аркой Главного штаба.

Мы непременно захотели соединиться со своими. Мы почувствовали, что наступает что-то решительное. Но тут началась такая сильная ружейная перестрелка, что толпа, за которой мы шли, бросилась бежать назад.

Тут, в довершение нашей беды, подруга моя упала и подвихнула себе ногу. И я, взяв ее под руку, пошла с ней домой.

И мы всю дорогу слышали выстрелы, которые все больше усиливались.

В тот же вечер мы были на съезде и узнали, что Зимний дворец был взят.

16. Снова Киев

На другой день к нам в общежитие явился Розенблюм, приехавший с нашей делегацией. Он был сильно взволнован. Он сказал, что нам следует немедленно ехать в Киев, так как там ожидаются события и захват власти большевиками. И что наше дело быть сейчас там.

В тот же день мы уехали из Петрограда.

Уже на вокзале в Киеве мы узнали, что в городе идет бой, большевики заняли несколько кварталов и продвигаются на Подол.

Розенблюм нам сказал:

— Хотя меня дома ожидают жена и сын и мое сердце так к ним рвется, как я даже никогда не представлял себе этого, тем не менее нам надо, не заходя домой, вступить в ряды бойцов. Кто хочет сражаться за большевизм и против Временного правительства — идемте.

И мы, оставив на вокзале вещи, пошли на Подол.

Действительно, там уже начинался жаркий бой. Юнкера, офицеры и часть гражданского населения встретили бешеным огнем киевский пролетариат.

Это сражение, как известно, решило дело в пользу Украинской рады против Временного правительства. Киевский пролетариат занял весь город, но советская власть была утверждена в Киеве только в январе, и то ненадолго, потому что тогда Киев заняли немецкие войска.

Итак, мы вступили в бой прямо с вокзала. Я тогда не стреляла, потому что я никогда не держала винтовки в руках. Но я помогала наступающим. Я подносила патроны и бинтовала раненых.

А когда кончился бой и весь город был в наших руках, Розенблюм мне сказал:

— Теперь ты выдержала такое большое испытание, что тебе надо вступить в ряды партии.

И вот он написал записку и послал меня в партийный комитет.

Там за столом сидела женщина и заполняла партийные билеты.

А к ней была порядочная очередь из рабочих, матросов и приехавших с фронта солдат.

Я стала в очередь и вскоре получила красную книжечку.

И с тех пор я стала партийной.

А тогда было для Киева исключительно трудное время.

Немецкие войска, гетман Скоропадский, Петлюра и Деникин вступали в Киев и устанавливали там свою власть.

И нам, большевикам, нельзя было сидеть сложа руки.

Только, может быть, месяца два или три до прихода немцев я жила сравнительно спокойно, не участвуя в походах и боях. Тогда был даже период в моей жизни, что я сошлась с одним человеком, и мы с ним поженились.

17. В походе

Дело в том, что я там была знакома с одним революционером-студентом. Его звали Аркадий Томилин. Он был сын чиновника, но он был всецело на стороне пролетариата, когда мы сражались в Киеве. Я к нему питала большое уважение. И он был тоже в меня влюблен. И у нас, вообще говоря, возникло большое чувство друг к другу.

Он не был в партии, но он весь горел, когда дело шло об интересах народа. Он ненавидел дворянство и купечество. И говорил, что каждый честный человек должен биться только за трудящихся. Он говорил, что сейчас наступил такой момент, когда народ может, наконец, сбросить со своих плеч всех эксплуататоров, с тем чтобы работать в дальнейшем для себя, а не для кучки паразитов. А как это будет в дальнейшем называться — коммунизм или как-нибудь иначе — это его пока не интересует. Там, в дальнейшем, разберутся и сделают именно так, как это будет полезно для трудящегося народа. А пока мы должны биться за эту ближайшую цель, хотя бы это нам стоило жизни.

Он был очень пламенный и честный человек. Он был студент-политехник. Но он курса не закончил. И мы с ним вместе вступили в партизанский отряд, когда Киев был под властью немцев и Скоропадского. А когда немцы оставили Киев (после революции в Германии), мы вступили с ним в ряды Красной гвардии.

Мы с ним вместе находились в Пластуновской дивизии на черниговском фронте.

Я была там в качестве разведчицы, а он состоял в пулеметном отряде.

Но в бою под Черниговом, когда мы брали город, он был убит белогвардейской пулей.

Я привыкла терять людей, и у меня всю жизнь были большие потери, но тут я не знаю, как я была ошеломлена. Я была растеряна и потрясена, и я так плакала, как никогда этого со мной не было и никогда, наверно, не будет в дальнейшем.

Я в то время прямо потерялась от горя: так я его любила.

А мне товарищи сказали:

— Ты, Анюта Касьянова, поклянись над его трупом отомстить за эту смерть и исполнить то, что ты наметила. И тогда тебе будет много легче, чем сейчас.

Я так и сделала.

И верно, мне тогда стало легче. Я дала себе торжественное обещание не выпускать винтовки из рук, пока не исполнятся все наши надежды.

Я тогда как с ума сошла от своего обещания. И все время была в первых рядах сражавшихся. Я шла напролом куда угодно. Я заходила в тыл к белым и производила там опустошения. Для меня ничего не составляло тогда зайти в тыл и бросить бомбу в какой-нибудь ихний штаб. Я тогда была удивительно смелая и решительная. Для меня тогда не существовало никаких преград.

За этот период я дважды получила награды от штаба армии. Первый раз мне подарили именной браунинг, а второй раз мне подарили золотые часы. Что касается боевого Красного Знамени, то я получила его в дальнейшем.

Но тут в эти два года были такие дела, что об этом следует написать отдельную книжку из эпизодов боевой жизни.

Тут были такие боевые дела, которые без сомнения будут описаны историей гражданской войны.

Тут были победы и поражения. Но были и очень тяжелые моменты, когда почти вся Украина была в руках белых и когда на Петроград наступал Юденич.

Тогда, бывало, зайдешь в штаб, чтоб посмотреть на сводки, и сердце упадет от тоски. Но зато потом мы в один месяц докатили белую армию до Крыма.

И когда мы гнали эту дворянскую Россию аж к самому Перекопу, мне тогда на ум приходили слова ротмистра Цветаева. Он тогда сказал, что приходит час расплаты и час возмездия за все то, что было. И это было действительно так.

Но в то время я еще не знала, где находится ротмистр Глеб Цветаев, и где его друг Юрочка Бунаков, и наша баронесса Нина Викторовна со своим генералом.

Я о них узнала только потом, когда встретилась с ними в Крыму, в Ялте. Это было перед самым их бегством за границу.

И это был незабываемый момент.

18. Поездка в Житомир

В общем, когда наши взяли Житомир и стали энергично продвигаться дальше, отбрасывая белую армию к Крыму, случилось обстоятельство, которое неожиданно выбросило меня из строя на несколько месяцев. Я тогда заболела и чуть не умерла.

Это случилось таким образом. Мне начальник нашей дивизии приказал сопровождать эшелон с больными. Он меня назначил комендантом эшелона. Мне дали это назначение, чтоб я имела некоторый отдых от боевой жизни. Все мои товарищи видели, что я прямо горела на фронте и совершенно не считалась с опасностями. Кроме того, я еще не остыла от потери моего мужа.

И вот решено было переключить мое внимание.

Начальник дивизии мне сказал:

— У нас создается сейчас опасное положение на транспорте. Нужно во что бы то ни стало продвинуть поезда с больными и ранеными внутрь. Мы тебе, Анюта Касьянова, поручаем доставить пять эшелонов в Житомир и назначаем тебя над ними старшим комендантом. И ты помни, что это дело чрезвычайно важное и почетное — везти раненых.

В трех эшелонах были действительно раненые, в двух же эшелонах оказались сыпнотифозные больные. И начальник дивизии сам, наверно, не знал, что мне подсудобили эти эшелоны.

Через несколько дней я уже вполне оценила всю трудность моей задачи.

Это у меня было совершенно невероятное путешествие. Санитары все к черту переболели. Уборщицы — и говорить нечего. У нас даже захворали сыпняком все тормозные кондуктора, так что раненые сами тормозили состав. Поездка этим очень осложнилась. Главное, что ухода за ранеными почти не было. И мне самой на спине пришлось таскать раненых и разгружать теплушки от умерших людей.

Вдобавок, чтоб продвинуться вперед, надо было всякий раз добиваться паровозов и тепловозов.

Тут я поняла, что в боевой обстановке мне было гораздо приятнее, чем здесь. Я тут нажила себе невроз сердца, и у меня даже началась бессонница.

А одного начальника станции я просто даже чуть не застрелила.

Я пришла к нему в кабинет, а он не дает паровоза.

А мы тут уже стоим день. И тут у меня в эшелонах особенно много умирает. И я чувствую, что мне надо двигаться.

Я ему показываю специальный мандат, но он небрежно откидывает его рукой.

Тогда я хочу его взять на темперамент и выхватываю наган.

Я говорю:

— Скажите — будет ли мне паровоз?

Но он, не растерявшись, хладнокровно говорит:

— Смотрите, она мне еще смеет угрожать. А ну-ка, спрячь свой пистолет за пазуху, или мы тебя с дежурным по станции выкинем в окно. Каждая, — говорит, — бабенка начнет мне пистолет в морду совать — что и будет. Вот именно за это я тебя проучу и не дам тебе паровоза.

Тогда я прихожу в такое страшное раздражение, что почти в упор стреляю в начальника станции. И пуля всаживается в стену буквально на расстоянии двух сантиметров от его лица.

И он вскакивает из-за стола и молча, без никакого крика, убегает из помещения.

Я кричу:

— Я вас всех тут к свиньям перестреляю.

Тут все забегали, засуетились.

Дежурный по станции говорит:

— Успокойтесь. Паровоз я вам дам во что бы то ни стало.

Действительно, минут через двадцать мне дают паровоз.

И начальник станции тоже вышел к прицепке. Но он не смотрел в мою сторону. И мне от этого было вдвойне совестно, что я так сильно погорячилась.

Я тогда перед самой отправкой велела ему отнести полбуханки хлеба. Он, поломавшись, принял этот хлеб с благодарностью и даже сделал мне приветствие ручкой.

В общем, я предпочла бы находиться на фронте, чем проталкивать поезда. Однако мне надо было исполнить задачу.

И я эту задачу с честью выполнила.

Правда, в пути у меня четверть людского состава перемерла, но могло быть и хуже.

Так или иначе, я доставила эшелоны в Житомир.

В Житомире я пошла в баню. Вымылась. Вышла на улицу. И на улице упала в обморок. И тут начался со мной страшный бред.

Меня отнесли в больницу. И оказалось, что у меня сыпной тиф в крайне опасной форме. Я вскакивала с кровати, разбивала к черту все стекла и так далее.

Я почти полтора месяца болела. Но потом поправилась. То есть я настолько плохо поправилась, что еле могла два шага сделать.

А в семидесяти километрах от Житомира жил дядя моей знакомой киевлянки Лели, с которой я тут неожиданно столкнулась в больнице.

Она мне предложила вместе с ней поехать в деревню к этому дяде отдохнуть немножко. И я так и сделала.

Мне в штабе дали отсрочку, дали немного денег, и я вместе с Лелей поехала в деревню, к ее дяде, который довольно мило и сердечно нас встретил.

И я там у него за две с половиной недели удивительно быстро поправилась, подкрепилась, расцвела и снова решила вступить в дело, так как гражданская война еще не была закончена.

19. Опасное назначение

Я тогда снова приехала в Житомир, но там мне в штабе сказали, что обо мне был запрос из Екатеринослава. И что я должна немедленно туда ехать, согласно полученной телефонограмме.

Я приехала в Екатеринослав и явилась в партийную организацию.

Один из работников губкома, мой однофамилец, Касьянов Петр Федорович, очень внимательно меня встретил. Он сказал, что у них до меня есть большое дело. Тут он познакомил меня с двумя военными, прибывшими с фронта из-под Перекопа. И сказал, что сейчас совершается исторический момент в судьбе пролетарского дви-

жения. Он сказал, что сейчас Советская Россия почти чиста от дворянских и буржуазных войск. Вся страна в руках народа, и расцвет страны — недалекое будущее. Но Крым пока еще в руках врага, в руках генерала Врангеля, в руках офицеров, дворян и помещиков. И пока это так, ни в коем случае нельзя складывать оружие.

— Этот фронт, — сказал один из военных, — надо ликвидировать к зиме во что бы то ни стало. Крым сейчас у нас — бельмо на глазу. Мы гнали барскую Россию аж по всему фронту. И не дело, что у нас тут случилось нечто вроде заминки. Пора опрокинуть в море белую армию, засевшую на полуострове.

Тогда Касьянов добавляет:

— И в связи с этим у нас есть очень ответственное до тебя дело. Нам известно твое славное прошлое, и нам хорошо известна твоя боевая готовность и преданность народной революции. Генерал Кутепов зверски разгромил рабочую организацию Симферополя и многих повесил на фонарях. И мы в настоящий момент потеряли связь с нашей подпольной организацией в Симферополе и Ялте. Туда надо каким-нибудь образом пробраться. Надо товарищам передать деньги и сообщить кое-какие инструкции о дальнейшем... Можешь ли ты это сделать? Мы наметили тебя, и никого больше, потому что сейчас в Крым можно пробраться только через линию фронта. А ты можешь в крайнем случае назваться супругой офицера или что-нибудь вроде этого. Одним словом, тут мужчина не годится, а годится женщина...

И он поглядел на меня и одобрительно добавил:

— Такой наружности, как твоя. И такой храбрости, какая нам известна за тобой.

Для меня был не вопрос, соглашаться или нет. И я сразу ответила:

— Хорошо, я перейду к белым и все сделаю так, как нужно.

Он сказал:

— Но мы не знаем, как они отнесутся к тебе, если они тебя поймают. Вернее, тогда они...

Тут он еще раз вскинул на меня свои глаза, и я вдруг увидела, что он вздрогнул. Он как бы в первый раз на меня посмотрел. И я вижу, что он посмотрел так нерав-

нодушно и с таким глубоким волнением, что я смутилась.

И тут я вижу, как может видеть женщина, что я так ему понравилась, как это редко случается. Тут я увидела, что у него в одно мгновение сгорело от меня сердце. Он положил свою пылающую ладонь на мою руку и так от этого застыдился, что не знал, что сказать. И тут все присутствующие увидели, что происходит что-то не то. Все закашлялись. И он тоже закашлялся, встал со стула и прошелся по комнате.

Мы все ждали, что он скажет. И я подумала: «Только бы он не сморозил какую-нибудь несообразность».

Но он сказал:

— А если твое здоровье, товарищ Анна Касьянова, не в порядке, то тебе ни в коем случае на это не надо идти. Мы тогда найдем еще кого-нибудь на этот предмет.

Я сказала:

— Здоровье мое теперь вполне порядочно. И то, что сказано, я исполню с большой охотой и радостью.

Один из военных сказал:

— Давайте так условимся: мы доставим вас завтра на передовые позиции, изучим с вами план, и потом уж можно будет перейти.

Касьянов пошел проводить меня до лестницы, и там он мне сказал:

— Когда ты вернешься из Крыма, то, если можно, я бы хотел тебя увидеть... Я, — говорит, — смущаюсь об этом говорить, но ты перед собой видишь человека, который, кажется, полюбил тебя с первого мгновения. Я сам удивляюсь, что это так произошло. Но ты именно такая женщина, какая отвечает моим представлениям. И для меня, — говорит, — была бы большая и непоправимая потеря в жизни, если б я тебя потерял из виду.

Если говорить откровенно, то я была взволнована его словами. Я не могу сказать, что он, этот сорокалетний мужчина, мне тогда понравился, но я тем не менее, сама не знаю почему, согласилась с ним увидеться после возвращения. Хотя это было не в моем принципе. Уж если человек мне предельно не понравился, так это было не в моем характере что-нибудь ему обещать.

В общем, мы с ним попрощались и дали друг другу, обещание не забывать сегодняшнего дня.

20. Ночной переход

В этот же вечер мне дали пояс с деньгами, которые я должна была передать подпольной симферопольской организации. Потом мне дали точные инструкции и велели наизусть запомнить два адреса — в Ялте и в Симферополе. По этим адресам я должна была явиться и передать инструкции и распоряжения о возможных стачках в Крыму.

Затем я потребовала, чтоб мне выдали самое лучшее шелковое белье, хорошее платье и все, что полагается к наилучшему гардеробу. Мне хотелось быть подкованной до мелочей. И на случай ареста я решила выдать себя за женщину, бежавшую из Советской России. Я решила сказать, что я жена офицера или что-нибудь вроде этого.

Мне выдали из конфискованных вещей такие дивные вещи, какие я только видела у баронессы Нины Викторовны.

Кроме того, мне дали для дворянского шика одно кольцо с розовым камешком и одну браслетку.

Но когда я стала эти украшения надевать на свои руки, загрубелые от кухни, то я поняла, что версия об офицерской жене, пожалуй, мне не пригодится.

Но я пока не стала обдумывать, за кого я себя выдам. Я почему-то надеялась на полный успех. Я надеялась, что я, пользуясь своим опытом разведчицы, проникну без ареста на территорию белых.

Я вызубрила два адреса. Надела пояс таким образом, что в случае чего я могла его в один момент сбросить.

Я еще хотела непременно надеть лорнетку с цепочкой, как это бывало у высшей аристократии, но лорнетку мне не нашли, и мне вместо этого дали хорошенький перламутровый бинокль, тоже дивной художественной работы.

На другой день меня доставили на позиции к самому Перекопскому перешейку.

Сначала я решила было переходить в районе железнодорожного моста, но начальник дивизии товарищ Грязнов отсоветовал мне это делать. Он сказал, что вся линия полотна особенно тщательно проверяется и что надо поискать иных ходов, потому что тут нет ни одного шанса пройти незамеченной.

И тогда, изучив план всего фронта, мы решили, что следует перейти в другом месте, около укреплений, которые, кажется, если я не забываю и не путаю, называются Юшуньскими.

Это место было до удивительности открыто. То есть тут было почти сплошное ровное место, вроде степи. Так что в смысле перехода тут, казалось, до поразительности трудно было что-нибудь сделать. Однако тут имелось болото. И местами оно было как бы даже скрыто от глаз. И я, как разведчица, сразу оценила это обстоятельство. Тут, видимо, и охраны было наименьше всего, и переход был отчасти возможен. Во всяком случае все другие места не выдерживали критики в сравнении с этим.

Интересно, что через четырнадцать лет, в 1935 году, в этом болоте были найдены остатки трупа красноармейца. Он был с большими почестями похоронен. Это одно говорило за то, что, несмотря на ровную позицию, тут были места, до некоторой степени укрытые от глаз.

Еще была возможность перейти по самому берегу Сивашского гнилого моря. Но это меня менее устраивало, потому что там надо было около двух километров шлепать по соленой воде.

Так что я со спокойной душой решила остановиться именно на выбранном болотистом месте.

Я два дня изучала план неприятельских позиций. Вся моя задача заключалась в том, чтобы под покровом ночи постараться незаметно пройти через неприятельскую укрепленную линию. Для этого мне надо было перерезать проволочные заграждения и пройти в том болотистом месте, которое наименьше всего охранялось. И если бы я в том месте попала, тогда мне пришлось бы начать свое вранье о бегстве от советского режима. Но это было бы уже плохо. Только дурак поверил бы, что я для этой цели могла пройти через красных. Тем не менее иного выхода для перехода к белым не было.

В общем, если я пройду в тыл незамеченной, то дальше было бы просто — у меня в поясе были такие документы, что сам барон Врангель ахнул бы от удивления.

Я много мучилась с костюмом. Я их переменяла несколько штук. Мне все хотелось, чтобы было естественно. Но особенно естественно не получалось. Тогда я остановилась на своем обыкновенном потрепанном платье. Но

зато под платье я надела шелковое белье. И теперь я была более похожа на тоскующую женщину, бежавшую от советской власти.

Но вот, наконец, все было готово, и в ночь на двадцать восьмое сентября, в одиннадцать часов ночи, я вышла из наших окопов.

Наш патруль провел меня шагов двести и оставил в поле с одним разведчиком, который в совершенстве знал всю эту местность.

Было ужасно темно. Луны не было. Неприятельские ракеты по временам ярко освещали поле. Сердце мое учащенно билось. Но страха я не чувствовала. Наоборот, был прилив энергии и желание поскорей и наилучшим образом все сделать.

Мой разведчик тронул меня за руку, и мы с ним медленно и осторожно пошли.

Наконец мы наткнулись на проволочные заграждения. Мы с разведчиком ножницами перерезали колючую проволоку и пошли дальше. Кое-где раздавались выстрелы. И снова кверху стали взвиваться ракеты.

Наконец, пройдя еще шагов сто, мой разведчик дал наставление, куда мне идти дальше, и, попрощавшись со мной, удалился.

Я осталась одна. Кругом меня было болото. Я шла страшно медленно и с таким трудом, что, казалось, теряла силы. Я шла по направлению звезды, указанной разведчиком.

В одном месте я лежала на кочках минут двадцать. Я так устала и утомилась, что мне вдруг захотелось тут заснуть. Я с трудом прогнала это сонное настроение и пошла дальше. Но тут вскоре я увидела, что ракеты взвиваются к небу позади меня. Значит, я миновала уже неприятельские позиции. Это был невероятный случай, но это был факт, и эта честь принадлежала нашему опытному разведчику.

21. Арест

Я шла теперь по ровному полю. Прошла немного более версты и вдруг наткнулась на какую-то деревянную будку.

Это было настолько неожиданно, что я чуть не вскрикнула.

Я шарахнулась в сторону. Но в этот момент кто-то закричал:

— Стой! Кто идет?

Я знала, что молчать нельзя. Я сказала:

— Вот что — я пробираюсь к белым.

Тут раздались быстрые шаги, ко мне подбежали двое.

К моему удивлению, это были офицеры. Я была готова к аресту, но я предполагала, что меня арестуют солдаты. Мне было бы с ними легче договориться. Но тут были офицеры в золотых погонах и с шашками. Это меня неприятно поразило.

В этот самый момент на небе появилась луна, и стало довольно светло.

Один из офицеров схватил меня за плечо и стал трясти. Он был, видать, испуган неожиданностью и взбешен. Он закричал:

— Ты кто такая? Ты как сюда попала?

Другой офицер сказал:

— Ясно, что это красная дрянь. Больше тут некому шляться.

Я спокойно ответила:

— Пойдемте, господа, в штаб. Я там скажу.

Мне хотелось выиграть время. И сама не знаю, на что я тогда надеялась.

Я сказала офицерам:

— Я пробираюсь, господа, в Симферополь по своим личным делам. Я бежала от красных.

Они засмеялись и сказали:

— Что-то непохоже. Пойдем, однако, в штаб дивизии.

Но они стали уже более вежливы.

И мы с ними пошли в штаб.

Моей усталости как не бывало. Я лихорадочно обдумывала план действий. Ни о каком бегстве не могло быть и речи. Офицеры с наганами шли плечо к плечу.

Прежде всего мне надо было освободиться от пояса.

Пояс находился у меня под платьем, и он был так устроен, что его легко можно было сбросить.

Я незаметно провела рукой по животу. Пояс скользнул по моему шелковому белью и по ногам и мягко упал на траву.

Офицеры не заметили.

Мне стало вдруг так жалко денег и документов, что

я чуть не расплакалась. Но делать было нечего. Надо было спасти шкуру для дальнейшего.

Тут я подумала, что надо бы, на случай, запомнить место, где упал пояс. Но как это, черт возьми, сделать?

Я стала считать шаги. Мне хотелось сосчитать шаги вплоть до какого-нибудь особенно характерного места, которое я могла бы запомнить.

Я сосчитала семьсот пятьдесят шагов, и вдруг мы вышли на полотно железной дороги. Я снова стала считать шаги. И до столба с номером семьдесят шесть я сосчитала сто шагов.

После чего я стала думать о своем предстоящем вранье.

Мне вдруг вспомнился интересный факт из моего недавнего боевого прошлого.

У нас на фронте под Черниговом был задержан белый офицер, некто полковник Калугин. Он был молодой, лет тридцати. И он нас удивил своим поведением.

Он держал себя очень смело и непринужденно, когда его привели в штаб.

Его спросили, для какой цели он перешел к нам.

Мы ожидали от него услышать всякое вранье, но он так сказал:

— Да, я по убеждению белый офицер. Я скрывать от вас не буду, что я с революцией ничего общего не имею. Но в данном случае я прошу поверить моему честному слову — я перешел к вам отнюдь не по делам военным или политическим. Я питаю большую любовь к одной женщине, которая осталась при отступлении в Орле. И у меня такое к ней неудержимое чувство, что я решил повидать ее. Если вы меня отпустите с ней назад, — я почеловечески вам буду исключительно благодарен и не буду с вами сражаться. Если нет, — я останусь тут с ней. Если вы, конечно, помилите меня и не расстреляете. Я знал, на что шел.

Эти речи нас всех привели в удивление, и мы не знали, что подумать.

На полевом суде этот полковник Калугин на все вопросы отвечал с достоинством, но настаивал на своей любовной версии.

Однако суд не нашел причин для помилования и приговорил полковника к высшей мере. Причем прокурор ему сказал:

— Мы хотели бы, полковник, уважить вашу последнюю просьбу. И если вы найдете нужным, мы передадим вашей любимой женщине то, что вы захотите, — карточки, вещи и последний привет. Это делает вам честь так любить. Но вы наш враг, и мы не имеем права поступить сейчас иначе.

На это полковник рассмеялся и сказал:

— Неужели вы могли думать, что в такой момент, когда решается судьба России, русский офицер мог прийтись к бабьей юбке?.. Никакой женщины нет... Это была моя выдумка, чтоб вас провести... Не удалось — не надо. Я готов умереть.

Это так нас всех удивило, что мы были ошеломлены. И мы тогда поняли, что поражение белых под Черниговом нельзя рассматривать слишком просто. Враги, несмотря на свою дряблость, имели сильных и весьма мужественных людей. И было бы политической ошибкой думать, что там были только сор и мусор.

И вот, когда меня офицеры ввели в штаб дивизии, я подумала об этом случае. И мне показалось, что было бы хорошо рассказать в штабе о какой-нибудь подобной любовной истории. И если мы поверили, то, может быть, и тут поверят.

И когда я пришла к решению рассказать в штабе что-нибудь из любовных приключений, мне сразу стало на душе легко, и я уже не сомневалась в успехе.

В это время один из офицеров грубо схватил меня за плечо и велел остановиться. Мы стояли теперь у какого-то домика. Вероятно, тут был штаб дивизии.

Было еще темно, но небо начинало немного проясняться. Вероятно, было около пяти часов утра.

22. Первый допрос

Меня почему-то не стали тут допрашивать. Меня только тут обыскали, в высшей степени грубо и нечутко. Но ничего не нашли.

А после обыска я полчаса сидела на ступеньках, а против меня стоял офицер с наганом и в упор меня разглядывал. А другой офицер куда-то ушел.

Наконец он явился и сказал:

— Генерал велел отвезти ее в Джанкой. Один из нас должен ехать. Если хотите, поручик, то поезжайте.

Мы прошли с этим поручиком несколько километров пешком и, наконец, сели в товарный состав, который и доставил нас в Джанкой.

Откровенно говоря, я была так утомлена ночной передрягой, что сразу, как камень, заснула на полу теплушки. И когда проснулась, мы стояли уже в Джанкое.

В общем, минут через десять я была уже на допросе. Меня допрашивал некто полковник Пирамидов, перед которым навтыяжку стоял приехавший со мною офицер.

По-видимому, этот полковник был начальником контрразведки или что-нибудь вроде этого.

Узнав от офицера подробности, он отпустил его и, оставшись со мной в кабинете, любезно начал беседовать. Но его любезность меня не успокоила. Я увидела, что он даже не посмотрел на меня сколько-нибудь внимательно. И это меня отчасти утешило. Это была игра без козырей. Наверно, после ночной передряги я выглядела ужасно. Я чувствовала, какая я была грязная и растрепанная как ведьма.

Полковник расспрашивал меня о том, о сем, и я ему на все отвечала, как находила нужным.

Я ему собиралась сказать что-нибудь правдивое, соответствующее моменту. Я хотела сказать, что я ищу офицера, которого люблю больше жизни, и благодаря этому перешла сюда. Но в последний момент, несколько растерявшись, не совсем так сказала. Я сказала, что я жена офицера, который тут, в Крыму.

Он спросил:

— А как его фамилия?

И я ответила:

— Он носит фамилию Бунаков, Юрий Анатольевич.

— А какой он воинской части? — спросил меня полковник. — Что-то мне знакомая фамилия.

Я сказала:

— Он поручик лейб-гвардии конной артиллерии.

Полковник Пирамидов, засмеявшись, сказал:

— Вы это хорошо изучили. Только извините меня — быть того не может, чтоб вы были его жена.

И он посмотрел на мои мужицкие руки.

Я сказала:

— Вернее, я его любовница. Он меня бросил. Но я его так люблю, что я решила его обязательно найти. Я с ним два года жила. И теперь так по нем тоскую, что места себе не нахожу.

Тут я увидела, что полковник Пирамидов мне не особенно верит. Он начал со мной шутить, задавать забавные вопросы и выпрашивать мое прошлое.

Потом он грубо сказал:

— Я тебя посажу в подвал. И ты подумай хорошенько, что именно тебе следует рассказать. А если ты, скотина, ответишь мне по-прежнему враньем, то это факт, что я тебя пошлю путешествовать на небо. Мне, наконец, надоела твоя наглая ложь. Уж за одно, что ты назвалась женой гвардейского офицера, тебе следует хорошенько всыпать.

Он позвал вестового. И тот отвел меня в соседний дом и там меня бросил в подвал.

А когда меня вели к подвалу, один какой-то белобрысый офицер с огромным любопытством посмотрел на меня. И я видела, что он хотел даже подойти ко мне, но конвойный не разрешил ему это сделать. Мне было тогда не до того, и я не обратила на это особого внимания.

Подвал, куда меня сунули, был с крошечным оконцем, в которое едва могла пройти кошка.

Я была ошеломлена и растеряна. Я понимала, что дело со мной исключительно плохо и все, вероятно, кончится расстрелом. Я себя ругала за нетвердые и дурацкие ответы. И за то, что не могла сочинить поскладнее любовную историю.

Однако надо было выпутываться. Я решила ни в коем случае не признаваться, так как тогда моя гибель была бы неизбежна. Я решила настаивать на любовной версии.

Я сидела в подвале на куче мусора и камней и обдумывала, как мне вести себя и что говорить при следующем допросе.

Вдруг я услышала музыку. Кто-то играл на баяне.

Я подошла к окну и увидела, что по двору гуляет сам полковник Пирамидов.

Он сентиментально гулял, заложив свои барские руки за спину. Он был очень такой, что ли, задумчивый и грустный.

Позади него шел солдат, который на ходу играл ему на баяне.

Солдат играл исключительно хорошо. Он играл народные песни.

Потом он заиграл такую песню, от которой я неожиданно заплакала. Я не знаю, что это за песня. Я ее раньше никогда не слышала. Она начиналась со слов:

В голове моей мозг иссыхает,
Сердце кровью мое облилось...

И так далее, что-то в этом духе.

Это было совершенно не в моем характере — плакать. Но у меня после допроса нервы были до того расшатаны, что я разрыдалась от этой песни. Очень уж она была какая-то особенная. И солдат пел таким тонким голосом, что у меня сердце переворачивалось.

Но поплавав, я снова взяла себя в руки. Эта моя минутная слабость сыграла даже хорошую роль. Я дала себе слово не падать духом ни при каких обстоятельствах. Что из того, что я буду плакать и убиваться. Лучше я сохраню силы на предстоящую борьбу. Лучше я буду бороться до самой последней возможности. И подороже и с пользой продам свою жизнь, которая принадлежит не мне, а революции.

Эти мысли меня успокоили. Мне снова стало легко и просто.

Поздно вечером за мной зашел какой-то молодой офицер. Он был со мной до неприятности вежлив. Он сказал:

— Сударыня, вас приглашает полковник Пирамидов. Идемте за мной.

23. Второй допрос

Полковник Пирамидов начал со мной говорить сначала весьма любезно. Он мне предложил сесть и велел подать чашку чая.

И я начала пить чай и слушала, что полковник мне говорит. Он говорил мне о слишком ответственном моменте, когда поставлена на карту судьба всей России, и сказал, что если им придется покинуть Крым, то страна будет растерзана на части другими государствами.

Я ему хотела возразить, но сдержалась. На этом он меня бы поймал.

Когда я кончила пить чай, полковник Пирамидов ударил кулаком по столу. Он вскричал:

— Ты обманщица и негодяйка! Теперь мне совершенно ясно, что ты подослана к нам. Я непременно тебя сегодня расстреляю.

Я сказала:

— Вы, полковник, опрометчиво решаете.

— Я тебе дал чай, — закричал полковник, — с тем чтобы тебя испытать. Это вранье, что ты была два года любовницей гвардейского офицера. Ты пила чай как мужичка. Я велел тебе подать сахарный песок вместо рафинаду. И ты его брала ложкой, вместо того чтобы положить в чай. Ты никогда не сидела за одним столом с порядочным человеком. Я даже не могу допустить, чтоб штаб-ротмистр Бунаков два месяца с тобой жил. Давай прекрати это бесстыдное вранье и скажи так, как есть. Ты зачем перешла позицию?

Я была ошеломлена до последней степени, потому что выводы полковника были абсолютно неправильны. Я сахар не положила в чай не потому, что я не знала этих великосветских правил. На это я достаточно насмотрелась в бытность свою у баронессы. А я не положила сахарный песок в чай потому, что я привыкла его экономить. Тогда был голод, и у нас вообще ни у кого не было привычки пить внакладку. Я ела сахар с ложечки и пила чай как бы вприкуску. И то, что полковник построил свои выводы на чепухе, это меня почему-то в особенности оскорбило. Я была до того этим ошеломлена, что буквально не нашлась что-либо сказать.

И мое молчание меня отчасти погубило.

Полковник Пирамидов закричал:

— Я тебя спрашиваю, нахалка, зачем ты перешла позицию?

И хотя я была ошеломлена, но сказала твердо:

— Я перешла позицию, чтобы встретиться с человеком, которого я люблю больше жизни.

Полковник закричал на меня страшным голосом:

— Ты врешь, негодяйка! Твои мужичкиные руки выдают тебя с головой. Ты этими грязными руками подбираешься схватить нас за горло. Ты такая некрещеная тварь, какой

свет не видел... А то, что ты мне позволяешь так с собой говорить, еще раз убеждает меня в моем подозрении. Ты большевичка. На тебе даже, я уверен, креста нет.

И он с такой силой рванул мое платье, что разорвал его до живота. И сам он был такой страшный, что я подумала — он меня убьет.

Но я сама почему-то была взбешена, когда он меня назвал некрещеною тварью, хотя мне это было в сущности решительно все равно и на это было в высшей степени смешно обижаться. Но мне надо было на чем-нибудь сорвать свою злобу. И поэтому я ему сказала:

— Меня крестили, а тебя, я вижу, в помойную яму опустили.

Он рванул меня за плечо и другой рукой со всей силы ударил по лицу. Кровь брызнула у меня из носа и изо рта. И я выплюнула два зуба.

— Боже мой! — закричал полковник.

Он упал в свое кресло и схватил свою голову руками.

Он сказал:

— Боже мой! Если бы пять лет назад кто-нибудь посмел сказать, что я ударю женщину, я бы застрелил такого негодяя... Слушай, ты... — сказал он мне, — ты своим наглым упорством довела меня до сумасшествия... Я не должен был тебя бить таким образом, как бьют мужчину. Вот за это я тебе никогда не прощу.

Я молчала.

Он снял со своей руки кольцо и с дикой злобой бросил куда-то в угол.

Он сказал:

— Негодяйка! На этом кольце я носил такой девиз, который воспрещал мне грубое физическое воздействие над женщиной. Я окончил Павловское военное училище, и этим все сказано. Ты меня толкнула поступить против девиза. И теперь я тебя во что бы то ни стало велю расстрелять.

В этот момент в дверь кто-то постучал.

— Нельзя! — диким голосом закричал полковник.

За дверью кто-то сказал:

— Слушай, Пирамидов. Одну минуту. Крайне важное сообщение.

Дверь открылась. И в комнату вошел офицер. И тут я увидела, что этот офицер — ротмистр Глеб Цветаев.

Он был в таком же виде, как и всегда. Он был краси-

вый и чудно одетый, и черные усики оттеняли его лицо. Он поморщился, когда меня увидел. Но он не узнал меня. Мое лицо было разбито и в крови, платье разсдрано, и вся я была грязная и выпачканная как черт.

Он сказал, улыбаясь:

— Фи, полковник. Ну, как можно так. Что за методы.

Он вытащил из кармана батистовый носовой платок и бросил мне, чтоб я вытерла лицо. Я не стала этого делать. Я боялась, что он меня узнает. И тогда мое вранье о Бунакове окончательно обнаружится. Я сидела на лавке, закрыв лицо руками.

Полковник сказал:

— Это красная. И я в этом совершенно уверен... Наше положение столь напряженно и тревожно, что я немного понервничал.

Ротмистр Цветаев сказал:

— Ты знаешь, меня назначили начальником контрразведки в Ялту. Сейчас еду... А что касается нашего положения, то оно хуже, чем ты думаешь... Я сейчас от Кутепова. Тот взбешен и в ужасном виде... Как страшно все это, Пирамидов! Какой жуткий исторический момент. Мы, крошечная кучка цивилизованных людей, отступаем под натиском мужицких войск... Мы пока держимся на маленьком полуострове... Но сколько это может продолжаться?..

Полковник сказал:

— Я тоже думаю, что наша судьба решена. Да, мы — последние римляне. Мы последний оплот цивилизации. Дальше — мрак и средневековье. Хорошенький момент, черт возьми!

— Кажется, пришло возмездие, — сказал ротмистр Цветаев.

И он снова повторил фразу, которую я слышала от него:

— Деды ели виноград, а у нас оскомина.

У меня вертелось на языке возразить этим офицерам. Мне хотелось сказать о новой, прекрасной цивилизации, которую несет трудящийся мир. Мне хотелось сказать: «Да, господа, пришло возмездие, пришел час расплаты за все беды, за все несчастья, которые терпел народ от своих притеснителей, от своих бар и помещиков».

И хотя я сама тогда была не слишком-то подкована

в этих вопросах, но мне захотелось им сказать, как они ошибаются в своих воззрениях.

Но я, конечно, не посмела ухудшить свое положение. Моя жизнь принадлежала не мне. И поэтому я молчала. Хотя меня раздирали слова и я еле сдерживалась, чтоб молчать.

Полковник Пирамидов крикнул вестового. Потом пришел какой-то офицер, которому Пирамидов шепотом отдавал длинные приказания.

Этот офицер сказал мне:

— Идемте!

И мы вышли из помещения.

24. Неожиданное избавление

Через полчаса они со мной разыграли весьма некрасивую комедию. Они разыграли сцену расстрела. Они хотели выпытать от меня то, что я от них скрывала. Они подумали, что перед дулом винтовки я непременно упаду духом и тогда им во всем покаюсь.

Они отвели меня в какой-то сад и там поставили к дереву. И скомандовали: «Пли!»

А перед этим они сказали, что помилуют, если я им признаюсь. Причем они били меня плетью и шомполом, чтоб я им все сказала. Они меня били по плечам и по спине. И я молча сносила эти удары.

Я рассчитывала, что если я сейчас признаюсь, то тогда-то уж непременно мне будет крышка. И поэтому, когда они задавали вопросы, я снова настаивала на своем, хотя под конец я уже теряла силы и сознание. Я еле стояла от боли, негодования и страха смерти.

Они мне сказали, наведя на меня винтовки:

— А ну, произноси свое последнее слово. Уж теперь-то тебе все равно крышка.

Я им ответила:

— Свое последнее слово я вам уже сказала. Но если тем не менее вы меня теперь все же решили пристрелить, то вы есть подлые негодяи. И это есть самое напоследнее мое слово, произнесенное в этом мире.

Они страшно поразились моему упорству. Я видела, как они пожимали плечами и недоумевали, и я уж не

знаю, что они подумали. Они выстрелили в меня поверх головы. И я упала. Я думала, что я убита или ранена. Но оказалось, что не то и не это. И они меня снова отвели в подвал и там бросили.

Первые два дня я, откровенно скажу, лежала почти без движения. Я не прикасалась даже к еде и только пила воду.

Но потом мне стало лучше. Я, сколько возможно, привела себя в порядок. И тогда почувствовала такой прилив энергии, что мне захотелось убежать.

Я попробовала раскачать камень у подвального окошечка. Он не поддавался моим усилиям. Но я не теряла надежды.

Вдруг я увидела, что кто-то на оконце положил ветку винограда.

Это меня удивило. И я подумала — неужели среди тигров нашлась мягкая душа?

Так или иначе, я скушала этот виноград. И снова стала готовиться к побегу.

Но вот кто-то из офицеров подошел к подвалу и мне сказал:

— Выйдите наверх, мне надо с вами поговорить... А если вы так слабы, что не можете подняться, то я вам помогу.

Меня рассмешили эти слова. И я, забывши о своем надуманном положении, сказала:

— Мерси, я не нуждаюсь в посторонней помощи. Это ваши офицерские дамы не могут обходиться без поддержки, а я, — говорю, — еще чувствую себя довольно порядочно.

Однако я слишком понадеялась на свои силы. И когда я вышла из подвала и очутилась в саду, у меня так голова закружилась, что я чуть не упала. Но я не хотела перед своим врагом показать свою слабость. Это было не в моих привычках. И чтобы скрыть свое головокружение, я нагнулась и сорвала два каких-то цветочка.

Офицер сказал:

— На вас приятно глядеть — какая вы здоровая, энергичная и сильная женщина. Другую совершенно бы подломила вся история, подобная вашей. А вы вышли из подвала и стали цветы собирать, как ни в чем не бывало. Эта живость меня восхищает до последней степени.

Я говорю:

— Если вы, господин офицер, решили мне тут делать комплименты, то я удивляюсь, что вы избрали такой момент. Лично, — говорю, — мне не до этого.

Офицер, засмеявшись, сказал:

— Мне и эти ваши резкие слова весьма нравятся, и они находят отклик в моем сердце. Они опять-таки показывают вашу большую моральную силу.

Тогда я с удивлением посмотрела на моего собеседника.

Я увидела перед собой офицера лет тридцати. Это был тот самый офицер, который хотел ко мне подойти, когда меня вели в подвал. Он был белобрысый и некрасивый. У него были маленькие свинячие глаза и физиономия одутловатая и нездоровая, со шрамом на щеке.

Он сказал:

— Если говорить откровенно, то я наблюдал за вами все эти дни. Я не скрою от вас, вы мне понравились с первого же момента. Вы мне напомнили мою жену, которая бросила меня в Киеве... Она была вроде вас, такая же сильная и непреклонная. И я единственно уважаю в жизни — это силу и здоровье. Все остальное меня не волнует... Я сам крестьянский сын, сын полей и природы... Но что вы видите в настоящий момент перед собой? Я дня не могу прожить, чтобы не заправиться кокаином. И без этого я весь развинченный и в таком виде, что вы бы удивились... Да, я где-то потерял свою силу, но я продолжаю восхищаться, когда это вижу у других.

Я сначала подумала, что этот человек что-то вроде провокатора и что он, наверно, подослан меня испытать. Но с каждым его новым словом я видела, что это вроде как одержимый. Не то чтобы это был ненормальный, нет, он был просто во власти своих психических представлений, занюханый кокаином и ослепленный своей идеей.

Он сказал:

— Я прошу вас, мадемуазель, не удивляться моим словам. Мне полковник Пирамидов обещал освободить вас в том случае, если вы...

И он, замявшись, добавил:

— Если вы... в общем, он освободит вас, если кто-нибудь из господ офицеров будет с вами жить... вместе... Он имеет к вам подозрение... Он хотел, чтобы вы были

под присмотром... И если вы согласитесь, чтоб мы были вместе, то все закончится к общему благополучию.

Я была так поражена этим предложением, что даже не сразу поняла, о чем идет речь.

Он снова повторил свои слова и добавил, что никакого принуждения он не хочет. Он мог бы, конечно, поступить иначе, но он хочет настоящих чувств, а не насилия.

Вероятно, в моем положении надо было на это согласиться, но я не могла. Мое сердце женщины разрывалось от чувства возмущения и досады. И я отклонила это странное предложение быть его любовницей.

Он сказал:

— Я не знаю, кто вы такая, и не хочу об этом знать. А что касается меня, то я не боевой офицер. Я благодаря ранению заведу хозяйственной частью. Я прапорщик и вот уже четвертый год нахожусь в этом чине без малейшего желания стать генералом.

Я спросила его:

— Что же, вы сами, что ли, обратились к полковнику, или он вам предложил меня?

Прапорщик сказал:

— Я чувствую, что я упал в ваших глазах, но если хотите знать правду, я просил его о вас. И он сказал: «Можете ее забирать, только чтоб она не наделала нам делов. Вы за нее ответите».

— И вы согласились?

— Да, я согласился...

Я сказала:

— А я все же не согласна. Я не продажная бабенка, которую вы, офицеры, привыкли покупать на улице. Передайте вашему полковнику, что он хам. И что пусть он поищет развлечений для своих подчиненных где-нибудь в другом месте.

Прапорщик был смущен до последней крайности. Он сказал:

— Хорошо. Я скажу полковнику, что я с вами договорился, а вы можете идти куда хотите.

Мне показалось это фальшью и показным благородством. Но я сказала:

— А если я этим воспользуюсь?

Он ответил:

— Хорошо. Воспользуйтесь. Только я прошу вас за-

помнить, где вы меня можете найти, если вы в Симферополе не найдете вашего любовника. Позвольте представиться — я прапорщик Василий Матвеевич Комаров, заведующий хозяйственной частью комендантского управления в Симферополе. Там вы меня можете очень легко найти... И, вероятно, вам придется это сделать. Вы без денег, без паспорта, без квартиры... Так что я вас отпускаю с полной уверенностью, что наши пути еще сойдутся... Я верю в судьбу и знаю, что вы мне посланы вместо моей первой жены, которая меня бросила ради какого-то негодяя... Она не понимала ни меня, ни моего сердца... Итак, вы свободны. Идите!

И прапорщик Комаров сделал рукой театральный жест.

Я не знала, что мне думать. Я снова стала предполагать, что нет ли тут провокации. Но, как бы то ни было, я была благодарна случаю, хотя и не могла верить в благополучный конец.

Я сказала:

— Значит, я могу вас так понять, что я свободна?

Он сказал:

— Да, вы свободны. Только если вас спросят, вы скажите, что вы договорились со мной.

От радости и счастья, что я свободна, я вскочила на ноги и почувствовала такой прилив сил, как в дни самого большого счастья.

25. В Симферополе

Вскоре я привела себя в порядок, вымылась и поправила разорванный туалет. Но когда я взглянула на себя в зеркало, я пришла в большое огорчение. Лицо было избито и в синяках. Только что мои голубые глаза по-прежнему сияли. Все остальное не было в порядке. И нужно было недели две, чтоб все пришло в свою норму.

Но все же я решила идти в Симферополь.

Я попрощалась с прапорщиком Комаровым. Я с удивлением на него глядела — зачем он меня отпускает неизвестно куда. Я ему сказала об этом. Он, засмеявшись, ответил, что он очень рад, если я оценила его благородство. Что не все женщины так чутки и не все женщины умеют разбираться в сердце мужчины.

— Кроме того, — добавил он, — я непременно вас найду. Я совершенно уверен, что далее Симферополя вам не уйти без моей помощи... Ну, а если уйдете, — значит, не судьба, и, значит, не вы предназначены заменить мою потерянную жену.

Тут я увидела, что мои шансы возросли, если он заговорил чуть ли не о женитьбе. Но все же я поспешила в Симферополь. Меня там ждали дела. И мне не к лицу было выходить замуж за своего врага, за этого белобрысого прапорщика из белой армии, ищущего, как в бреду, возвышенных чувств в стенах контрразведки.

Я добралась до Симферополя на другой день.

Симферополь был как осажденный город. На вокзале на фонаре висел повешенный. Всюду проходили войска и везли пушки. Я поняла, что положение мое будет печальным, если я не найду кого-нибудь из указанных мне лиц. Но вместе с тем я чувствовала, что вряд ли тут кого-нибудь можно найти.

И когда я подошла к нужному мне дому, я там увидела кавалерийских лошадей. И в саду стояла военная палатка.

Поэтому я, конечно, сразу не рискнула туда зайти. Это был бы номер, если бы меня там захватили как явившуюся в подпольную организацию.

По всему видно было, что конспиративная квартира тут была разгромлена. Однако надо было проверить.

Я стояла на улице недалеко от этого дома и вдруг увидела, что идет женщина — гонит корову. Я разговорилась с ней, и как-то так вышло, что женщина предложила мне пожить у нее — поработать.

Мое положение было ужасно. Без денег и без ничего — я могла просто пропасть. Вдобавок, изуродованное лицо мне не позволяло идти на дальнейшее. Я согласилась. И пошла с ней.

Оказывается, она жила через дом от нужной мне квартиры.

И вот я стала у нее жить. Я прожила у нее больше десяти дней. И за это время мое лицо пришло в себя. Я снова стала такая же, как прежде. И я подумала, что прапорщик Комаров вряд ли так легко отпустил бы меня, если б снова встретил.

Кроме того, за эти десять дней я узнала все подробности. Я узнала, что генерал Кутепов своими действиями навел прямо ужас на весь Симферополь. Тут еще недавно десятки повешенных висели на уличных фонарях. А что касается нужной мне квартиры, то там была какая-то целая история со стрельбой. И что там многие были арестованы и расстреляны.

Короче говоря, создавалось такое положение, что мне в Симферополе делать было нечего. Мне надо было пробраться в Ялту. Но как это сделать — это был большой вопрос. Туда попасть было нелегко, а в моем положении просто невозможно, так как я не имела никакого положения и никакого, хотя бы даже плохонького, удостоверения личности.

Вместе с тем я чувствовала, что мне надо действовать. Мне нужно было пробраться в Ялту и там завязать отношения. А между тем прошло уже три недели со дня моего перехода, и я ничего не сделала. Да еще вдобавок потеряла пояс с казенными деньгами. Все это меня приводило теперь в глубочайшую меланхолию. Я буквально не знала, с чего мне начать.

Был такой момент, что я даже хотела обратиться к прапорщику Комарову. Я хотела через него что-нибудь сделать. Но когда я подумала о нем, то я отложила эти мысли. Мне было бы очень нелегко сойтись с этим прапорщиком. Он меня раздражал своим показным фальшивым благородством и пьяным бредом.

Я решила обойтись без его помощи.

26. Рука и сердце

В расхлябанном состоянии я шла однажды от вокзала к своему дому.

И вдруг неожиданно столкнулась с прапорщиком Комаровым.

Я вскрикнула от удивления. Хотела быстро уйти. Но он догнал меня, схватил за руку. И я увидела, что он был как в бреду и занюханный кокаином.

Он сказал:

— Я от одиночества опять стал сильно нюхать кокаин. А у меня порок сердца, и мне это абсолютно нельзя... И я

знаю, что только вы, сильная и здоровая женщина, можете меня вполне спасти от ужасной гибели... И если я вас потеряю, то я пропаду, потому что тут у нас сейчас нету женщин, сколько-нибудь похожих на вас. У нас тут все сами нуждаются в поддержке... А вы такая, что когда я рядом с вами стою, то мне делается легко и весело. Ничего подобного я не испытывал с тех пор, как мы расстались с женой... Не оставляйте меня, потому что я без вас пропаду.

У меня вертелось на языке ему сказать: «Ну и пропадай к дьяволу, мне-то что!»

Но я, конечно, этого не сказала. Я попросила у него отсрочки для решения.

Я сказала:

— Через два дня я зайду к вам и скажу, что я думаю. Но сейчас я ничего не могу сказать. У меня еще в моем сердце осталась любовь к тому человеку, которого я разыскиваю. Но если за эти два дня я его не найду, тогда я на что-нибудь соглашусь.

Он ни за что не хотел меня отпускать. Однако я на своем настояла. Я только согласилась с ним немного посидеть в кафе. Там мы ели фрукты, и он болтал мне всякую чушь насчет своей любви, которая у него зародилась ко мне.

Но он мне был так неприятен, что я еле сдерживалась не наговорить ему обидных слов.

Наконец я встала и пошла и не позволила ему сопровождать себя.

Я сказала на прощанье, что я сама зайду к нему в комендантское управление.

Но между тем прошло два дня и еще два, и я не пошла. Я решила пробраться в Ялту без его помощи, под видом проститутки.

Я уже смастерила себе особое легкомысленное платьице и достала у одной девушки красный карандаш для губ. Я устроила себе эффектную прическу. И в таком наряде действительно стала похожа на уличную фею недурненькой наружности.

Своей хозяйке я сказала, что на несколько дней мне нужно съездить в Ялту. И та мне позволила. Она мной дорожила, потому что я все умела делать и даже стирала ей белье.

И вот я, приодевшись, верчусь перед маленьким зеркальцем и решаю проблему, как я буду вести себя в Ялте. В это время к нам в помещение входит прапорщик Комаров.

Он, оказывается, в прошлый раз пошел за мной и выследил, где я живу. И теперь, не дождавшись моего прихода, явился.

Он был в очень расстроенном и нервном состоянии. Но он был настолько занюханный, что не разобрался в моем туалете. Он даже сослепу нашел, что я в таком виде похожа отчасти на английскую леди.

Он вдруг упал передо мной на колени и стал умолять меня, чтоб я ответила на его чувство.

И тут в одно мгновение я оценила общее положение. Я подумала, что если он в таком размягченном состоянии, то я могу из него веревки вить, я могу очень много через него достигнуть.

Я только не знала — этично ли сойтись с ним для достижения нужной цели. Этот вопрос вообще меня мучил долгое время. И, главное, мне не у кого было спросить, допустим ли такой момент: сойтись со своим врагом и через него добиться нужной цели.

Вообще-то говоря, он не был в полной мере сознательным врагом. Он был недалекий субъект. Видимо, его просто захлестнули обстоятельства, и он механически очутился в рядах белой армии.

Так или иначе, у меня в одно мгновение созрел в голове план действий. И, главное, я подумала — почему же этично пойти под видом проститутки и неэтично сойтись с ним, тем более что я могу с ним фактически не сойтись, а просто постараюсь надуть его. И мне эта перспектива стала больше улыбаться, чем положение проститутки, которую ожидают всякие неожиданности и пьяные происшествия.

И когда прапорщик Василий Комаров снова повторил свои слова о том, что без меня он чувствует большую пустоту и что без меня он занюхается кокаином и окончательно пропадет, я спросила:

— А что же вы хотите?

Он схватил меня за плечи и от неудержимого чувства обнял меня.

Он сказал:

— Я предлагаю вам руку и сердце. И если хотите, то мы поженимся хоть завтра.

Мы с ним опять прошли в кафе и там стали есть фрукты.

Он таял от моих взглядов и поминутно целовал мои руки. И я удивлялась, как он в своем ослеплении не видит, какие загорбелые, мужицкие руки он целует.

В общем, я сразу поняла, что поступила правильно. Я могла с ним что угодно сделать. У меня даже мелькнула мысль о том, что надо будет заняться розысками пояса. Но пока — Ялта.

Я ему сказала:

— Только я ставлю условие поехать в Ялту. А потом я хотела бы немножко освежиться и попутешествовать по Крыму.

И он сразу согласился. Он сказал, что в Ялту он может в два счета перевестись, у него столько связей и знакомств, что это просто не вопрос. После чего мы можем поехать по всему берегу Крыма, пока он в наших руках.

Он сказал, что мы непременно послезавтра переждем в Ялту.

У меня упало сердце, когда он назвал меня своей женой. Мне показалось ужасным, что я согласилась на его предложение. Мне теперь показалось, что я и двух дней с ним не смогу провести.

Но игра была сделана, и отступать мне, казалось, не следовало.

27. Свадебное путешествие

По-моему, он был большой авантюрист, этот прапорщик Васька Комаров.

У него действительно кругом были большие связи и знакомства. Кроме того, он был сказочно богат. Наверное, он накрал денег со всех сторон. Для него деньги были не-вопрос.

Он моментально справил мне три платья и шляпу. И подарил браслетку и часы. И объявил, что он сделает мне сказочную жизнь.

Он меня познакомил со своей обозной бражкой. Это были раненые офицеры-инвалиды. Очень, большие пьяницы и, видать, себе на уме.

Двое из них были его близкие друзья.

Прапорщик Комаров торжественно меня им представил. Он сказал, что я та женщина, которая отныне заменит ему его бессердечную жену. Офицеры, соблюдая дворянские манеры, подходили к нам и, щелкая шпорами, от души нас поздравляли с новой жизнью.

Потом мы вчетвером отправились на квартиру, и там вскоре все, кроме меня, перепились. И пели песню, над которой они плакали. Там, в этой песне, были слова о том, что наступает последний момент, что близок враг со своей винтовкой и что их всех расстреляют. Там были удивительные слова:

Что-то солнышко не светит.
Над головошкой туман.
Либо пуля в сердце метит,
Либо близок коммунар...

И, напившись, эти офицеры пели эту песню не меньше десяти раз. И всякий раз навзрыд плакали. И говорили, что действительно близок конец крымской эпопеи. Что белые не удержат Крыма, хотя Перекопский перешеек сам по себе достаточно неприступен.

Я, конечно, не стала обсуждать с ними эти вопросы: Я уложила Комарова спать. И он как мертвый заснул от вина и кокаина, который он нюхал весь день, чтоб приободриться.

Он встал на другой день зеленый и больной. И ему снова надо было заправиться кокаином, чтобы прийти в норму.

Я с удивлением на него взирала. И я отчасти даже не понимала, как крестьянский сын, по природе своей здоровый и крепкий человек, мог за короткое время дойти до такого нервного, развинченного состояния. Но вскоре он мне признался, что он, «сын полей и природы», был вдобавок сыном сельского дьякона — ужасного алкоголика и не совсем нормального человека, повесившегося в церкви.

Со мной этот сын полей был исключительно вежлив и любезен. Но он чуть ли не силой заставил меня надеть шляпку, когда мы вышли на улицу. Он сказал, что иначе нельзя. Что этого требует этикет. Мне же со шляпкой было нелегко ходить. Я не имела привычки к этому и теперь страшно стеснялась, что шла как барыня.

Но он сказал, что в этом моем наряде он готов со мной пойти хоть в Академию наук, что я выгляжу хорошо, грациозно и именно так, как это вообще требуется в высшем обществе.

А это верно, я в то время страшно загорела. Мои руки сравнялись, и в них не было обычной красноты. И лицо мое было как у арапки — настолько я чудесно загорела. Так что действительно в моем новом туалете меня можно было принять за какую-нибудь там, может быть, бежавшую фон-баронессу.

И многие оборачивались на меня, когда мы с Комаровым проходили по улицам Симферополя. На мне было, помню, какое-то светленькое клетчатое дворянское платье исключительной красоты и плюшевая шляпа с эгреткой и с разной бузиной. И хотя был октябрь, но в тех местах было удивительно тепло. Все ходили без пальто.

И мой Комаров был от меня просто без ума. Он согласен был весь день водить меня по улице: так ему нравилось, что все смотрят на меня — какая я была нарядная и хорошенькая.

Но эта великосветская жизнь не заслонила моих интересов. Я не забывала о своей цели и только об этом и думала.

И я велела Комарову поскорей устроиться в Ялте.

Через два дня мы с ним поехали туда на машине.

И у нас было столько вещей, нагруженных на две подводы, что я рассмеялась, что он так много накрал. У него были шубы, картины, фарфоровая посуда, мебель и так далее.

Сами же мы поехали впереди на машине. И вскоре были в Ялте.

28. В Ялте

На меня Ялта произвела исключительно сильное впечатление.

Мне там понравилось голубое море, славные домики и набережная.

В те дни на море было большое волнение, и волны разбивались так, что заливали всю улицу.

Мы остановились с Комаровым в ялтинской гостинице «Франция». Сначала он хотел, при своих средствах,

остановиться в лучшей гостинице «Россия», но там стояла высшая знать и там все было занято.

В первый же день приезда я немного подпоила моего благоверного, и он, свалившись, уснул. А я тотчас пошла по нужному адресу.

Я буквально горела, когда шла. Мне казалось, что если и тут я потерплю поражение, то мне грош цена и, значит, я не оправдала возложенных на меня надежд.

Когда я шла по набережной, я поразилась, какая вокруг меня была толпа. Мне навстречу шли люди, о которых я позабыла и думать. Тут кипела жизнь иная, чем у нас.

Тут шли разного рода барыньки, которые раздражали меня своими кружевными зонтиками и невероятным кривлянием. Шли толстоватые потомственные помещики и генералы. Целая масса была офицеров, барышень и кокоток. Все гуляли по набережной, наслаждаясь чудным солнцем. И, казалось, никто и не помышлял о войне и не думал, что тут у них на пороге Красная Армия.

Я миновала базар и прошла на старую часть города. И там я без труда нашла то, что мне было нужно.

Правда, мне там долго не доверяли и водили меня из ворот в ворота, но потом мы договорились. У некоторых товарищей слезы выступили на глазах, когда они узнали, что я к ним послана. Они меня горячо расспрашивали и всем интересовались. Я передала им на словах то, что было нужно, а что касается денег, то я рассказала, в чем тут запятая. Но я обещала этот пояс непременно найти.

Они не советовали мне рисковать головой ради этого, но я уже в душе решила, что так будет.

Они мне поведали о своем трудном положении и о Кутепове, который разгромил весь рабочий Симферополь. Но мы пришли к мысли, что осталось ждать недолго. Они мне сказали, что белая армия страшно нервничает и уже не надеется на успех.

Это меня поразило и обрадовало, и в своем душевном подъеме я решила сделать попытку поискать мой пояс с деньгами. Хотя эта задача казалась бесплодной и обреченной на неудачу.

С этими мыслями я вернулась к себе в гостиницу.

Мой Комаров уже проснулся и тревожно меня ожидал. Но когда меня увидел, то позабыл обо всех своих треволнениях и так обрадовался, что снова начал одаривать

меня всякими драгоценностями, которые он понемножку вытаскивал из своего саквояжа. И я, конечно, делала вид, что радуюсь этим подаркам.

Мы с ним пошли погулять по набережной. И я ему сказала, что, может быть, завтра с утра я съезжу в Симферополь к своей знакомой хозяйке. Он вызвался меня проводить, так как сам в эти дни был свободен, не получив еще назначения. Но я отказалась, и он с подозрением на меня посмотрел.

Но тут я ему пожала руку, и он, как дурак, растаял от этой моей незначительной ласки. Он начал при всех меня обнимать и даже хотел поцеловать, но я уклонилась.

Мы шли теперь по набережной. Был чудный день, уже близкий к вечеру. Мы с Комаровым шли под руку и тихо беседовали.

Вдруг я вздрогнула и побледнела. Комаров сказал: «Что с тобой? На тебе лица нет...»

Но я не могла ничего сказать. Нам навстречу шла Нина Викторовна, и с ней рядом, подпрыгивая ножками, шел Юрий Анатольевич Бунаков. Позади них плелся генерал Дубасов и с ним какая-то перезрелая особа.

Я буквально не знала, куда деваться. Я заметалась и хотела свернуть в сторону, но Комаров меня удержал. В этот миг мы поравнялись, и они, своей компанией, проследовали мимо нас. Они не узнали меня. Мой прапорщик Комаров козырнул генералу, и мы пошли дальше.

Но я обернулась. В этот момент они тоже остановились у перил набережной и взглянули на море — там кувыркался дельфин.

А я посмотрела на Бунакова, — меня заинтересовало, какой он сейчас. Но он был такой же, как всегда. Только он стал немного смуглее, находясь под южным солнцем.

Я подумала об его песенке «Все на свете». И тут вдруг мои мысли странным образом ему передались. Он вдруг сказал:

Все на свете, все на свете знают —
Счастья нет,
И который раз в руках сжимают
Пистолет...

И я так засмеялась, когда он произнес эти стихи, что вышло прямо как-то неудобно с точки зрения ихних пра-

вил поведения. На меня все посмотрели, но я отвернулась. И они опять не узнали меня.

А мой дурак Вася Комаров почувствовал вдруг сильную ревность к тому, на кого я смотрела. Он подумал, что я в одно мгновение увлеклась этим хорошеньким офицером, похожим на куклу.

Он грубо дернул меня за руку, и мы снова пошли. Но мне не гулялось больше, и мы тогда зашли в кафешантан «Одеон», который находился у них в полуподвальном помещении. И там мы слушали пенье шансонеток. И смотрели, как они пляшут под лозунгом «Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет».

29. *Находка*

На другой день, поздно вечером, по моей инициативе мы устроили у себя дома торжественный ужин на двоих. Мне хотелось, чтоб мой Комаров нахлестался так, чтоб завтра он подольше не встал.

Он был до крайности тщеславный, и мне ничего не стоило его раззадорить. Я попросила показать, как нужно заниматься кокаином, и он при мне вынюхал целый порошок. Потом ночью мы с ним выпили большое количество вина. Я пила мало, а он тянул как лошадь. У него были какие-то сумасшедшие мысли. Он меня любил, но стоило ему немного выпить, как он терял себя, забывался и глядел на меня с изумлением.

В общем, мы с ним пили до утра. И под утро он свалился без чувств. А я взяла документы, оделась по-дорожному и, договорившись заранее с одним шофером, выехала в Джанкой.

По дороге ко мне несколько раз обращались патрули, но я показывала документ и говорила: «Еду к мужу». И меня беспрекословно пропускали, потому что на документе мужа стояла подпись «Врангель».

Шофер довез меня до Симферополя. Там я пересела на паровоз и доехала до семьдесят шестой версты. Потом пошла пешком.

Я там отсчитала такое количество шагов, как мне было нужно, но пояса, как ни странно, не нашла. Я несколько раз производила счет, но безрезультатно. Это меня взбе-

сило, потому что я была разведчица и такие вещи были непростительны.

А начинался уже вечер, и надо было поиски отложить, тем более что тут небезопасно было в смысле ареста.

Но когда я решила вернуться домой, я наткнулась в траве на мой пояс. Я задела его ногой. Я, кажется, даже закричала от радости.

Я вынула из пояса деньги (белогвардейского казначейства) и переложила их в карман. А пояс бросила.

Потом я с большим трудом добралась до Джанкоя. И там за очень крупную сумму я наняла себе подводу — арбу.

Только через день утром подвода привезла меня в Ялту.

Я с трепетом вошла в наш номер. Прапорщик Комаров спал. Вероятно, он, ожидая меня, все время пьянствовал. Всюду валялись бутылки, и стоял полный кавардак. Я спрятала деньги и легла спать.

Через несколько часов, после бурного объяснения, мы помирились.

У Комарова все же осталось подозрение, что я замешана в каких-то политических или любовных делах.

Но мое небольшое ласковое внимание снова обезоружило его.

Однако теперь он был осторожен и старался никуда меня больше не отпускать. Так что я с трудом ухитрилась сбежать в город и передать там деньги. И после этого я вздохнула с облегчением. Наконец-то моя миссия была исполнена. Наконец-то после таких передряг я полностью выполнила задание.

В тот вечер я была так довольна, что мой Комаров удивился и снова стал меня подозревать в подпольных делах.

Меня же этот человек снова стал ужасно раздражать своей глупой пустотой и самомнением. И я снова еле могла терпеть с ним вместе находиться.

Но чтоб уйти, надо было ждать подходящего момента.

30. Эвакуация

Между тем в Ялте становилось все более беспокойно.

Многие на улице открыто говорили, что белой армии не удержать Крыма.

Мой Комаров, пойдя однажды за назначением, вернулся бледный и расстроенный. Он сказал, что предстоит эвакуация, что некоторые учреждения должны незаметно покинуть Ялту уже сегодня.

Он не знал еще, что произошло на фронте, но, видимо, там дело было близко к катастрофе.

И действительно, в Ялту прибыло несколько пароходов, и началась посадка.

Нельзя сказать, что произошла большая паника. Многие и без того были готовы к этому. Но все же в городе наступил какой-то острый, напряженный момент. Кругом были напуганные и тревожные лица. Все спешили туда и сюда.

В порту образовалась большая толпа за билетами на пароход. Но еще никто в точности не знал, что именно произошло — пал ли Перекоп, или еще белые войска держатся. Только доходили слухи, что была страшная атака красных и был прорыв. Но насколько это опасно, никто не знал.

На другой день в Ялту прибыло еще несколько пароходов.

И снова в порт заспешила буржуазия и офицерство с чемоданами и саквояжами.

Ехали подводы с вещами учреждений, и шли разного сорта барыни, тяжело дыша от страха и волнения.

На молу стояла невообразимая путаница. Рассыпанное сено и мусор довершали картину суматохи и бегства.

Я с большим волнением наблюдала этот отъезд.

Я ко всякому пароходу приходила в порт и смотрела, как дворянская и купеческая Россия спешно покидала берега своей бывшей родины.

Чувство оскорбленного народа кипело во мне. Я видела расстроенные и плачущие лица. Я видела страх и смятение. Но не жалость, а восторг был у меня на сердце. Потому что я своими глазами видела час расплаты и наблюдала, как уходила прежняя жизнь, унижавшая народ во всех его чувствах.

Это было неповторимое зрелище.

Это был исторический момент — бегство барской России, бегство притеснителей народа. Это был момент бегства — когда им дальше и бежать было некуда! Они селились на пароход и ехали в Турцию.

И от этого зрелища меня охватывал восторг. Я все время стояла с улыбкой, так что все обращали на меня внимание. Но я нарочно махала платочком и бормотала: «До свиданья, милые друзья, до свиданья!»

Между тем на берегу происходили разные трагикомические сценки. Некоторых не пропускали на пароход с большим багажом. Те хорохорились, кричали, называли всякие светлейшие имена, но все это стоило теперь три копейки. И разные генералы и фон-бароны смиренно подчинялись правилам и, очутившись на пароходе, облегченно вздыхали.

Некоторые из них плакали, а некоторые говорили: «Через две недели вернемся». А один генерал громко кому-то крикнул:

— Они все равно нас позовут. Ведь у них, кроме мужичья, людей теперь не осталось.

Я очень хотела схватиться с этим типом, но, конечно, сдержалась. Между прочим, я непременно хотела увидеть, как отъезжала моя бывшая барыня, баронесса Нина Викторовна, но почему-то этот незабываемый момент пропустила. Я увидела их только тогда, когда пароход отчалил, и они стояли на палубе. Баронесса слиняла и, бледная как покойница, стояла, опираясь на генерала. Бунаков задумчиво смотрел вдаль. Я шутливо помахала им платочком. И мне кажется, что они меня узнали. Юрочка показал на меня пальцем, и они стали разглядывать меня в бинокль.

Но пароход уже отъезжал. И я пошла в гостиницу.

Вдруг в Ялту пришли белые войска. Это был, как нам сказали, Изюмский полк, отступивший от перекопской позиции. Некоторые из солдат шли без винтовок. Все были в растерзанном виде. И тогда стало ясно, что там, на фронте, произошло.

Волнение достигло наивысшего напряжения. Магазины закрылись, и на набережной моментально исчезли все гуляющие.

В довершение всего, прибывший Изюмский полк, не найдя в Ялте продовольствия, разбил в городе два магазина и разграбил их.

В порт прибыло еще несколько пароходов. Чувствовалось, что какая-то рука организует бегство.

31. Семейная драма

Между тем мой прапорщик Комаров предупредил меня, что мы едем с пароходом «Феодосия». Что это, по-видимому, вообще последний пароход. И что больше откладывать отъезд нельзя.

Я спросила:

— Куда мы едем?

Он сказал:

— Мы едем в Константинополь. О будущем не беспокойся. Я подумал о нашей судьбе.

И он побренчал по своим карманам, набитым всякой всячиной.

Тут наступил момент распутать узел. Но я поняла, что не к чему устраивать «семейные сцены». И поэтому я не сказала ему, что я не еду.

Я ему сказала:

— Ты, Комаров, пройди в порт, а я сейчас приду — прощаюсь кое с кем.

И он, по дурасти своей, так и сделал.

А я побежала в другую сторону.

Я вошла в какой-то открытый настежь и покинутый дом. Села в комнате у окна. И стала глядеть на море.

Я была довольна, что я так сделала. Мне хотелось избежать объяснений. Это было ни к чему. Этот человек — чужой. Он мой враг, которого я использовала, как мне было нужно. И пусть он теперь уезжает к черту в Константинополь без всяких со мной объяснений.

Я сидела в комнате больше получаса. Наконец я услышала два пароходных гудка. Значит, все в порядке. Мой Комаров, пометавшись, наверно успокоился и со своими драгоценностями сейчас уедет.

Но вдруг я услышала крики. Я взглянула в окно и, к ужасу, заметила Комарова, бежавшего к моему домику, на который ему пальцем показывала какая-то женщина.

Скажу откровенно — я так растерялась от неожиданности, что минуту не могла двинуться.

Комаров вбежал в дом и остановился на пороге. Он был страшен в своем диком волнении. Он тяжело дышал.

Увидя меня, он с грубой бранью выхватил револьвер

и выстрелил в меня. Но в одно мгновение я сообразила его намерение и присела на корточки, так что пуля ударила много выше моей головы.

Он хотел стрелять еще раз, но я ему сказала:

— Вася, зачем ты в меня стреляешь?

Он сказал:

— Я в тебя, негодяйка, стреляю не как в классового врага, которого я в тебе подозреваю, а как в женщину, которая предательски меня хочет бросить.

— Ты сам негодяй! — сказала я. И вдруг, в одно мгновение, я рванулась к нему и отняла от него револьвер.

И он почти без сопротивления отдал мне его.

Теперь я стояла у стены с револьвером, а он блуждающим взглядом смотрел на меня.

Но я не могла в него стрелять, потому что он был жалкий и растерянный.

— Слышишь ли ты, негодяй, — закричала я, — понимаешь ли ты своей дырявой головой — кого ты видишь перед собой?

— Боже мой! — сказал он. — Я теперь вижу, кто ты такая... И вы там, наверно, все такие же сильные и здоровые. И вот почему наша армия проигрывает сражения.

И он вдруг опустился передо мной на колени и сказал:

— Нет, я не боюсь, что ты меня застрелишь. Я боюсь, что ты меня покинешь, и что ты меня уже покинула, и нет ни одного шанса вернуть тебя.

— Ты такой слабый и разложившийся, — сказала я, — что мне в тебя и стрелять досадно.

Я с сердцем бросила на пол револьвер. И он вдруг от падения выстрелил.

Комаров сказал:

— Нет, я не такой слабый, как ты думаешь, но я оступился, и ты мне должна помочь.

— Нет, мой друг, — сказала я, — моя жизнь не предназначена для спасения людей. Моя жизнь принадлежит народу. И я послана исполнить дела, слишком далекие от душевспасительной деятельности. Ты можешь остаться тут, если хочешь, но я с тобой жить не буду, — это так же верно, как то, что ты, собака, в меня стрелял сегодня.

Его вдруг рассердили эти мои слова и то, что я назвала его собакой, и он, как человек неуравновешен-

ный, моментально перешел от тихого состояния к бешенству.

— Ты подлая большевичка! — закричал он. — Ты еще в моей власти. Я велю солдатам веревками скрутить тебя. Я слишком с тобой миндальничаю. Я велю тебя выдрать плетьюми.

И он с бешеной злобой потянулся к лежащему на полу револьверу.

Но в одно мгновение я ударила его ногой по руке, как по футбольному мячу. И он с воплем повалился на пол.

И тогда я спокойно подняла револьвер и направила его на прапорщика.

Я ему сказала:

— А ну, моментально ступай в порт и уезжай к чертовой матери в Константинополь. Или я тебя сейчас сама отправлю туда, но уже небесным маршрутом.

Комаров понял, что это далеко не шутка — мои слова. Он встал и как-то по-ребячески сказал:

— Пароход же, Аннушка, ушел. Куда же я пойду?.. Я сказала:

— Ты пойдешь в порт и посмотри — может быть, там еще что-нибудь будет. И тогда ты поезжай с богом.

Он сказал:

— Хорошо, я пойду посмотрю. Но если ничего не будет, то я вернусь и останусь тут с тобой. А если будет, то я уеду. Пусть за меня решит судьба.

И он, как ненормальный, побежал в порт, и я осталась сидеть, взволнованная происшествием.

Я не знаю в точности, что именно случилось в порту. Мне только потом сказали, что Комаров, идя по трапу на рыбацью шхуну, вдруг покачнулся и упал в воду. Причем, падая, ударился головой о камни. И его, сильно раненного, внесли на судно и увезли как будто бы в Феодосию.

Но что с ним было дальше, я так никогда и не узнала. Возможно, что его отправили в Константинополь, если он почему-либо не умер.

Мне не было жалко этого человека, потому что он и без меня был уже потерянный и погибший. И не мое дело было восстанавливать его на путь истины.

32. Эпизод

Мы ожидали, что Красная Армия войдет в Ялту в тот же день. Но этого не случилось. Первые красноармейцы вошли в город только через три дня.

Это был радостный и торжественный момент. Это был день торжества народа, освободившегося от рабства.

Мне, правда, омрачили этот день тем, что на меня кто-то донес, будто я жена белогвардейца, шпионка и контрразведчица. Конечно, это почти сразу было рассеяно, и все выяснилось. Но мне было неприятно, что я была на целые два часа арестована.

Меня привели в дом эмира бухарского, где происходил допрос арестованных, и там один из товарищей сгоряча наорал на меня, и он хотел даже пристрелить меня как врага. И был момент, когда я ужаснулась, что погибну от своей же пули. Но потом пришел один наш ялтинский товарищ, и все сразу разъяснилось.

И тогда все, узнав обо мне, приходили меня поздравлять, жали мне руки и с нежностью меня целовали и поздвляли с великой победой.



Что же касается моей дальнейшей жизни, то вкратце я могу вот что сказать. В том же году я вышла замуж за моего однофамильца товарища Касьянова, с которым я познакомилась в Екатеринославе. И мы с ним очень счастливо и задушевно жили вплоть до его смерти.

Мне было очень жаль потерять этого чудного человека — прекрасной души товарища. И я, кажется, так же сильно горевала, как и тогда, когда на фронте потеряла моего первого мужа.

Да, я действительно многих прекрасных людей потеряла в жизни за время революции. Но зато я нашла то, что каждый день составляет мое счастье и гордость.

Ах, как трудно и как оскорбительно представить себе иную жизнь, чем та, что у нас сейчас строится. Как ужасно представить иных людей и иные, буржуазные отношения — те, которые были у нас до революции. Как невыносимо было бы вдруг увидать купцов, шикарных

барынь, сиятельных князей, помещиков и бедный, нищий народ, угнетенный в своем достоинстве.

И меня нередко охватывает восторг, что мой народ сумел совершить великую народную революцию и сумел создать новую жизнь, которая с каждым годом будет все лучше и лучше.

И вот что я нашла вместо всех моих потерь.

А какой далекой и забытой страницей кажется сейчас прошлая жизнь. Вот, например, четыре года назад я случайно от одного знакомого, долго жившего за границей, узнала некоторые подробности о бежавшей эмигрантке баронессе Нине Викторовне. Она, оказывается, в Париже. открыла ателье мод, сильно разбогатела и стала там чем-то вроде модной портнихи. Со своим генералом она там разошлась. И он, несмотря на дряхлость, служит метрдотелем в одном заграничном кабаке.

Юрий же Анатольевич Бунаков застрелился, когда они еще были в Югославии. Он был действительно слабый и неприспособленный к жизни, как тепличный искусственный цветочек, неизвестно для чего выращенный в садах буржуазной жизни.

Что же касается ротмистра Глеба Цветаева, то он в Париже долгое время служил шофером, но потом женился на одной богатой семидесятилетней американке.

Заканчивая этим свой рассказ, А. Л. Касьянова сказала:

— Канула в вечность эта барская и купеческая Россия. И я была свидетельницей этой страницы истории. Вот почему я позволила себе рассказать о своей жизни несколько, может быть, больше, чем вы предполагали.

Керенский

1. Громкое имя

В 1917 году, во время Февральской революции, А. Ф. Керенскому было тридцать шесть лет.

Это был возраст государственного мужа. Это был тот счастливый возраст, который соединяет в себе молодость и опыт, зрелость и энергию, радость жизни и практическую философию.

В эти годы человек нередко пробует свои силы на государственном поприще. Ранее этого возраста греческая мудрость запрещала занимать высокие общественные должности.

История, впрочем, знает примеры, когда человек и в более молодые годы прославлял свое имя блестящими государственными делами. Но это имя обычно принадлежало гению.

Головокружительная карьера А. Ф. Керенского заставляет с любопытством присмотреться к этому человеку, чье имя так или иначе неразрывно связано с Февральской революцией и с попыткой вооруженного сопротивления Октябрю.

Это громкое имя в памяти современников еще более неразрывно связано с бумажными деньгами, которые в то время выпускало Временное правительство. Эти деньги повсеместно назывались «керенки». И они, видимо, еще в большей степени упрочили популярность главы правительства.

Многие поступки и государственные шаги премьера весьма давно позабыты, но деньги его до сего времени свежи еще в памяти.

Это были в самом деле до некоторой степени удивительные деньги. Это были громадные полотнища, на которых печатались крошечные дензнаки. Их надо было резать ножницами или отрывать пальцами, по усмотрению.

Уже один вид этих денег вызывал удивление и вселял недоверие к власти, выпустившей их. Видимо, крайняя спешка и миниатюрность дензнаков не позволяла резать их соответствующим образом.

Некоторый комический элемент присутствовал в этом немаловажном государственном акте.

Впрочем, помимо денег память о Керенском в народе осталась крайне прискорбная для него. Фигляр, позер, истерик — вот какие наименования давались ему его же собственными современниками.

Скорее забавные, чем трагические сценки, в которых он участвовал, зарисованы в воспоминаниях и мемуарах.

Но нам думается, что зря ничего не бывает. И если человек выдвинулся на столь высокую ступень жизни, то, вероятно, были еще какие-то весьма серьезные причины, коих можно сразу не увидеть.

Давайте посмотрим через головы современников, что это был за человек, который из скромного, незаметного присяжного поверенного и судебного оратора стал верховным главнокомандующим и первым государственным деятелем страны.

Нам кажется, что события будут видны более отчетливо, если мы познакомимся с верховным вождем армии, пожелавшим вести ее в бой против пролетарской революции.

2. А. Ф. Керенский

Александр Федорович Керенский — сын небогатого дворянина, учителя. Он окончил гимназию и получил высшее образование в университете. Он был адвокат, присяжный поверенный. Он вел главным образом политические процессы и считался весьма способным юристом и хорошим оратором.

Наружность он имел не совсем заурядную. Рыжеватые волосы он носил бобриком. Большая его голова при сред-

нем росте казалась слишком несоразмерна туловищу. И лицо он имел бледное, с нездоровой и дряблой кожей.

В своем физическом облике он был сын своего времени — типичный представитель дореволюционной интеллигенции: слабогрудый, обремененный болезнями, дурными нервами и неуравновешенной психикой.

Он был сын и брат дореволюционной мелкобуржуазной интеллигенции, которая в искусстве создала декадентство, а в политику внесла нервозность, скептицизм и двусмысленность.

Он был слабый и безвольный человек.

Изучая по материалам и документам его характер, видишь, что ему в сущности ничего не удавалось сделать из того, что он задумал. Его слабая воля не доводила до конца ни одно из начинаний.

Он хотел спасти Николая Второго и не спас его, хотя много старания приложил к этому. Он хотел вести войну до победного конца, но создал поражение. Хотел укрепить армию, но не мог это сделать и только разрушил ее. Хотел лично двинуть войска против большевиков, но не собрал даже и одного полка, хотя был верховным главнокомандующим. Он с горячими речами выступал против смертной казни, а сам ввел ее.

Все его шаги, все замыслы и начинания гибли, извращались им и не доводились до конца.

Несмотря на свой высокий пост, казалось, что он всего лишь бежал в хвосте событий. И это было именно так.

Он в сущности был крошечной пылинкой в круговороте революционных событий. Правда, за его спиной таились значительные силы контрреволюции. Но этими силами Керенский не располагал по своему усмотрению. Даже больше — эти силы, как мы увидим, сами стремились уничтожить его.

Его же личная воля ни в какой мере не могла противодействовать движению революции. Он ничего не сделал для того, чтобы остановить или задержать какое-нибудь событие. Он лишь ускорил собственную политическую гибель и гибель Временного правительства. И мы доподлинно увидим, как это произошло.

Просматривая материалы, иной раз удивляешься — каким же образом человек со столь слабой волей мог занять первое место в государстве.

Но надо знать среду, надо изучить характер этой среды.

Он был представитель мелкобуржуазной, весьма вялой интеллигентской прослойки, которая вообще не могла играть самостоятельной роли в революции. Она лишь могла служить буржуазии или пролетариату. Она выдвинула то, что было в ее ресурсах. Конечно, она могла иметь более сильного и более мужественного человека, но в пылу революции она выдвинула то, что в силу крикливости казалось наиболее энергичным и действенным. И это было заранее обречено на гибель.

Но если бы эта мелкобуржуазная прослойка и крупная буржуазия в целом выдвинули и более сильного человека, человека, предположим, с могучей волей, то результат был бы одинаковый, ибо и такому человеку не на что было бы опираться. Народ в огромном своем большинстве пошел за партией большевиков, которой руководил В. И. Ленин.

Каким же образом Керенский все же оказался во главе государства?

Керенский занял столь высокое место не по своим личным качествам. Представители крупной буржуазии — министры-капиталисты — сами «посторонились», чтоб дать ему первое место. Керенский, казалось, был выгодной фигурой, которая могла связать крупную и мелкую буржуазию. Он, казалось, мог повести за собой целый слой, представителем которого он был. Но этого как раз и не случилось.

Ставка на Керенского была сделана без учета всей сложности вопроса.

3. Государственный муж

Керенский был человек среднего ума. Про него нельзя сказать, что он вовсе неумен. Достаточная ясность мышления, подчас некоторая даже острота в суждениях говорили за то, что он неглупый человек.

Но вместе с тем удивительная недалекость, поверхностность, неглубокость и, пожалуй, наивность зачеркивали положительные качества его ума.

Он был в достаточной мере умен для своей основной профессии, но он был решительно неумен на посту руководителя страны.

Он был то, что называется человеком негосударственного ума. Это был не государственный муж.

Если позволительно сравнивать государственную деятельность с игрой в шахматы, то он был игрок, который более одного хода вперед не обдумывал.

Целый ряд его поступков был в этом смысле чрезвычайно характерен.

Он, получив, например, пост министра-председателя, тотчас переехал на жительство в Зимний дворец. Он поселился в покоях Николая Второго.

Раздираемый честолюбием, он не увидел в этом ничего особенного.

Он как неожиданно разбогатевший обыватель переехал на другую, более шикарную квартиру. Он не видел в этом политического шага. Но это был именно политический поступок, который тотчас был использован его врагами.

По рукам населения стали ходить сатирические стихи под названием «Александр IV». Эти стихи, размноженные на гектографе, проникли и в армию и произвели там должное впечатление.

Отношение Керенского к людям, все его поведение с людьми также было далеко не государственным.

Вознесясь столь высоко, он счел нужным иметь величественный тон. Он стал почти декламировать, разговаривая с простыми смертными.

Он торжественно, как в театре, выспренным тоном беседовал со своими подданными.

— Генерал, подойдите сюда. Доложите мне, как ваши дела! — величественно приказывал он кому-нибудь из своих военных специалистов.

Все отлично понимали, что тон неестественен и фальшив, что этому штатскому человеку более было прилично держаться обыкновенного тона, какой он имел, будучи адвокатом. Все видели в этом нечто комическое и неумное. Тем более что он и сам не выдерживал долго своей роли и, срываясь, не раз заканчивал беседу обыкновенным, бытовым голосом.

Подобная фальшивая величественность была одной из причин, наложивших некоторую, что ли, опереточную тень на фигуру министра-председателя и верховного главнокомандующего.

Даже такая в сущности мелочь — его обычная поза — имела в своей основе также нечто юмористическое и непростительное для государственного человека.

Его правая рука обычно лежала за бортом френча, левая рука помещалась сзади. То есть это была классическая поза Наполеона, слишком всем знакомая.

Но у Наполеона это было весьма естественно — его левая рука помещалась иной раз в заднем кармане, или же этой рукой он держал свою треугольную шляпу. И это было, вероятно, до некоторой степени удобно. Наш же несчастный Керенский сзади своего френча кармана не имел, шляпы не носил, и рука его неестественным образом без всякого почти упора болталась в воздухе.

Тут были слишком очевидны — рисовка и позирование под Наполеона, возможно даже не в полной мере осознанные. «Несчастный», может быть, даже не понимал, что с ним и куда его влекут неведомые силы.

У него не было того основного, что делает человека вождем или хотя бы руководителем. У него не было умения видеть события, умения философски обобщать их, не было даже элементарного знания людской психологии. Он принимал за чистую монету все изъявления восторга при встрече с его особой. И вел государственные дела как нервный и крикливый председатель жакта ведет дела своего дома.

История знала более недалеких правителей, но он выгодно отличался от них тем, что весьма недолго стоял у государственного руля.

Что касается недалёковидности Керенского, то, возможно, что мы тут несколько преувеличиваем. После бегства Керенского за границу на его текущем счету в Международном банке была обнаружена сумма в триста пятьдесят тысяч золотом. Все-таки он предвидел свою дальнейшую судьбу. И, заняв первое место в государстве, не замедлил «кое-что» отложить на черный день. Надо полагать, что эту кругленькую сумму скопил он не из жалованья. А достиг он этих денег каким-нибудь иным путем.

4. Головокружительная карьера

Итак, слабый, нездоровый и безвольный человек, человек вовсе не государственного ума, становится во главе армии и правительства.

Начало его неслыханной карьеры нужно отнести к его адвокатской деятельности.

Ведя главным образом политические процессы, он судебными речами сумел создать себе некоторую популярность в общественных кругах. Он был выбран в 1912 году в члены Государственной думы. И там его красноречие было вполне замечено.

В 1917 году, после Февральской революции, он получил портфель министра юстиции.

Спустя два месяца он стал военным и морским министром. А в августе того же года он достиг высшей власти, сделавшись министром-председателем и верховным главнокомандующим.

Все это дало ему его судебное красноречие, его умение говорить речи.

Просматривая его речи, мы не можем сказать, что он тут был на недосыгаемой высоте. Его речи далеко не были шедеврами красноречия. Стертые образы и шаблонное построение не делали его речи литературными произведениями.

Но некоторая смелость по тогдашнему времени выдвигала его на передовые позиции.

Впрочем, секрет его речей был не только в этом. Речи произносились, так сказать, «от всей души». Он вкладывал в них тот нервный подъем, который обычно зажигает слушателей. При этом он, как артист, прибегал к театральным приемам. То доводил речь до шепота, то, напротив, выкрикивал отрывистые фразы, эффектно жестикулируя.

Эта его театральность и вместе с тем некоторая, что ли, горячность создали ему успех и, несомненно, незаслуженно выдвинули в ряды первых ораторов.

Эти его речи и были главным и, пожалуй, единственным козырем, с которым он занял первое место в стране.

Любопытно и показательно отметить, что именно при помощи этого адвокатского умения, при помощи своей

профессии присяжного поверенного он и пытался управлять страной.

Это был беспрецедентный случай в истории, когда человек управлял страной с помощью своего судебного красноречия. Это было таким же абсурдом, как если бы врач с помощью своих медицинских познаний, не зная нот, пытался бы играть на рояле.

Но это было именно так. Он всюду, где только можно было, выступал с речами, уговаривал, призывал, требовал и умолял.

Он буквально затопил страну своими речами. Буржуазная аудитория встречала его овациями. Дамы закидывали его цветами. Восторженные крики не смолкали, когда он появлялся на сцене или в зале заседания.

Совет республики и члены Временного правительства не раз стоя приветствовали его.

Он имел огромный успех, но этот успех до некоторой степени был успех артиста, а не государственного деятеля, это был успех человека, тем или иным путем занявшего первое место и овладевшего всеобщим вниманием.

Но он плохо разбирался в психологии и ничего не понял в своем успехе.

Он без стеснения говорил уже: «мой народ». И с горечью отмечал, кто именно во время овации не встал его приветствовать.

Даже спустя год он с досадой писал в своих записках («Гатчина»):

«В минуту этого национального взрыва (его стоя приветствовали) некоторые вожди не могли преодолеть в себе жгучей ненависти к правительству Мартовской революции: они продолжали сидеть, когда все собрание поднималось как один человек. Эти непримиримые были — с.-д. интернационалист Мартов, к.-д. Милоков и два-три корниловских казака».

Конечно, это, наверно, было крайне досадно, что два-три казака и Милоков не встали. Наверно, он свирепо на них глядел и рыскал глазами по задним рядам, отыскивая еще еретиков и нахалов.

Прохожие на улицах с любопытством глазели и приветствовали его, когда он проезжал в своем открытом автомобиле.

Он писал с чувством нескрываемого самодовольства о своей поездке по городу:

«Улица — прохожие и солдаты — тотчас узнали меня. Военные вытягивались... Я отдавал честь, как всегда, немало небрежно и слегка улыбаясь...»

Уже эти строчки до некоторой степени рисуют нам характер этого человека, внимание которого столь было приковано к внешнему успеху, к шуму, к славе и к почестям.

В этом уличном шуме он, не имея на то никаких оснований, видел трогательную любовь народа, преданность армии и восторженное поклонение уличной толпы. Но он жестоко заблуждался.

История знает противоположный пример скептического отношения к уличному успеху. Человек огромного ума, с судьбой трагической и великой — Кромвель — сказал, улыбаясь, когда ему показали на восторженную толпу: «Их было бы еще больше, если б меня вели вешать».

Керенский грелся в лучах славы и не слишком задумывался о своей судьбе.

Он был потрясен своей неожиданной карьерой. Несомненно, он ничего подобного не ожидал в своей жизни.

Получив портфель военного и морского министра, а потом пост верховного главнокомандующего, он и тут ринулся управлять военным ведомством с помощью своего красноречия. Дальше ему некуда было идти. Дальше можно было лишь падать.

Но его недальновидность и тут спасала его от мрачных предчувствий.

5. Военный и морской министр

Пребывание на посту министра юстиции не в полной мере удовлетворяло его честолюбие.

Настоящая жизнь началась лишь со дня получения портфеля главы армии и флота.

Но тут начались некоторые трудности.

Будучи министром юстиции, он не ощущал особых тягот в управлении страной. Это было ему нечто знакомое по судебным выступлениям. Но, став военным министром,

а потом верховным главнокомандующим, он увидел, что его профессия присяжного поверенного не столь универсальна, как он предполагал.

Он стал выступать с речами в казармах и на фронте, призывая армию к повиновению, к дисциплине и к наступлению.

Но солдаты не хотели жертвовать жизнью ради чуждых им интересов. Пышное красноречие Керенского не затрагивало тех вопросов, которые волновали солдатские массы. Цветистые фразы военного министра пропадали впустую.

Профессией присяжного поверенного тут ничего нельзя было сделать.

Он издавал приказы и потом отменял их. Он, расшатав дисциплину, стал яростно подтягивать всех и требовать еще более строгой дисциплины. Он кричал о мире, потом повел в наступление.

Своим красноречием и неуравновешенностью он еще больше способствовал разрушению армии.

Военная наука — одна из наиболее трудных наук. Она требует особых свойств характера — соединения воли, твердости духа, расчета и ума. Этого всего не было у Керенского.

Он с первых же шагов выказал себя в этом деле не только как профан, но как человек, просто неизвестно на что рассчитывающий.

То, что он, абсолютно штатский человек, никогда не видевший в глаза пулемета и винтовки, принял сразу два военных портфеля, показывает удивительную самоуверенность и, пожалуй, что ли, хлестаковщину.

Армия весьма скептически отнеслась к этому назначению.

Офицерство открыто иронизировало и подсмеивалось над ним. Высшее военное командование было оскорблено и унижено.

Пылкие речи военного министра не производили должного впечатления. Солдаты фронта хотели слышать простые слова о мире, о земле, о возвращении домой, о конце войны. Интеллигентское красноречие их не устраивало. Пышные слова приводили в раздражение.

К тому же вид верховного главнокомандующего, несмотря на наполеоновские замашки, не внушал армии доверия.

Этот штатский, болезненного вида человек производил странное впечатление, когда во время его речей адъютант почтительно держал над ним черный дождевой зонтик, укрывая главу правительства от солнца и непогоды.

Это производило комическое впечатление. И войска с улыбкой смотрели на это глубоко штатское зрелище.

Но и тут, как всегда, Керенский не понял всей глубины дела, потому что аплодисменты и крики «ура» уводили его на более приятный путь размышлений.

В довершение всего речи, произнесенные много раз, потеряли свою привлекательность. Слова стерлись и опошлелись. Пафос казался фальшивым и театральным. Выкрики — «нож в спину революции», «родина в опасности» и т. д. — надоели и никого больше не удивляли.

Уже все чаще после его речей солдаты выступали с резкой критикой. Уже не раз его речь прерывали криками и возгласами недовольных.

Солдаты бежали с фронта, дезертировали и отказывались наступать.

Большевистские агитаторы открыто разъезжали по фронту, разъясняя смысл событий и показывая истинную роль буржуазного Временного правительства.

Успешная борьба большевиков за беспредельное влияние в массовых организациях и, наконец, апрельская демонстрация рабочих под руководством большевистской партии нанесли сокрушительный удар по Временному правительству и создали кризис власти. Массы, и в том числе солдаты фронта, явно сочувствовали большевикам, а не правительству.

И, конечно, столь незначительный человек, как Керенский, тут решительно ничего не мог сделать.

Керенский настоял перед правительством о введении смертной казни за воинские преступления. Но и этим он не укрепил армию. Распад, в котором, впрочем, повинен был не только Керенский, оказался слишком глубоким. Влияние большевиков на массы было слишком значительно. И эта решительная мера не привела к желательным результатам.

Военный и морской министр, начиная понимать, что дело идет не гладко, хотел опереться на офицерство, но не сумел этого сделать. Он слишком повелительно и величественно беседовал с генералами и заносчиво, прене-

брежительно относился к маленьким чинам. И, благодаря этой своей нетактичности, ему не удавалось привлечь к себе даже хотя бы небольшую группу верных ему людей. В ответственный момент он, не считая адъютанта, остался решительно один.

Это был поразительный случай в истории, как человек — верховный главнокомандующий и глава правительства — остался не только без армии, но остался без кучки верных ему людей, пожелавших защищать его до конца.

Еще в первый месяц своего назначения он получил солидный урок, но не сделал из него никаких выводов.

Он выступал в Мариинском театре перед военной аудиторией. Он вышел на сцену с двумя адъютантами, которые замерли в неподвижных и почтительных позах, когда он начал свою речь.

Все шло как и полагалось. Бурные аплодисменты услаждали сердце военного министра. Но вот на сцену была брошена записка, которую Керенский сгоряча огласил, думая, что там комплименты. Группа офицеров писала, что адъютанты Керенского «марают честь мундира» тем, что, как фокстерьеры, делают стойку перед штатским человеком.

Взрыв смеха потряс здание театра. Никто не пожелал возмутиться или защитить честь военного министра. Веселость была всеобщая.

Уверенность, что, несмотря на отдельные происки врагов, вся армия и народ идет за ним, не покидала его почти до последнего дня, до последних часов его пребывания в России. Эта счастливая уверенность придавала ему силу ездить по фронту, где он увещевал армию продолжать наступление на немцев.

6. Сто десять дней

Уверенность Керенского в нерушимости своего положения была так велика, что он накануне июльских дней, в момент напряженной политической борьбы, выехал на фронт со своими речами.

Но июльские дни смутили все же душевный покой военного и морского министра. Он бросил все и срочно

вернулся в Петроград. Уже на вокзале, только что сойдя с поезда, он «распушил» командующего округом генерала Половцева и, накричав, тут же отстранил его за бездеятельность, хотя в сущности «бездеятельности» не было, так как демонстрация большевиков была расстреляна войсками и генерал Половцев сделал все возможное для «восстановления порядка».

В первые же дни своего приезда Керенский настоял перед правительством о немедленном аресте всех большевистских вождей.

Об этом был отдан приказ с обещанием высокой денежной награды за арест В. И. Ленина.

Буржуазия в союзе с эсерами и меньшевиками повела теперь яростную борьбу против дальнейшего развития пролетарской революции.

Нервная решительность Керенского заставила членов правительства с надеждой обратиться к нему, как к спасителю от большевиков. И тогда он имел смелость принять на себя пост министра-председателя и верховного главнокомандующего.

Он отказывался, правда, от высокого поста и приводил всякие резоны, но улыбка радости не сходила с его лица.

И, приняв этот пост, он стал еще более надменен, еще более величественным тоном вел беседы и еще более высокомерно отдавал приказания, не желая слушать никаких советов и возражений.

Между тем над головой премьера стали явственно сгущаться тучи.

Заручившись согласием ставки и самого Керенского, генерал Корнилов двинул на Петроград 3-й конный корпус. Он послал этот корпус для усмирения большевиков, но вместе с тем он хотел свергнуть и Временное правительство.

25 августа Конный казачий корпус во главе с Дикой дивизией стал подходить к Петрограду. Но большевики организовали оборону Петрограда, и их агитаторы, выехавшие навстречу корпусу, разъяснили казакам их роль. И казаки отказались идти дальше.

Керенский продолжал оставаться у власти. И он не без торжественности нес бремя этой власти вплоть до 25 октября. Он нес это бремя всего сто десять дней, пере-

щеголяв в этом смысле на десять дней самого Наполеона, вернувшегося с Эльбы.

Вероятно, больше этого срока он и не сумел бы вынести тяжести власти.

Он чрезвычайно устал и задержался.

Он был всегда вспыльчивым, нервным и неуравновешенным, теперь же, находясь на вершине государства, он стал терять самообладание. Его дурные нервы не могли долго выдерживать большого напряжения. Еще будучи министром юстиции, он не раз по окончании речи падал без чувств и прибегал к разным лекарствам, чтобы поддержать себя. Он, не стесняясь зрителей, пил валерьяновые капли прямо из пузырька. Это было весьма жалкое и, собственно говоря, даже нелепое зрелище.

Но это слабенькое средство не помогало ему после двух месяцев пребывания на ответственном посту. Он наливал эфир на платок и жадно подносил к своему лицу. Это его поддерживало и придавало ему силы для очередного выступления.

Конечно, так долго не могло продолжаться, и нет сомнения, что верховный правитель бесславно закончил бы свои дни, даже если бы дела сложились иначе.

Собственно, закат Керенского начался тогда же, когда начался восход.

Он как ракета, по законам пиротехники, взвился в небо, засверкал фантастическими искусственными огнями и, моментально сгорев, стал стремительно падать. И все, находящиеся вблизи, разбежались, боясь, как бы он, падая, не придавил их своей высокой особой.

Уже в сентябре 1917 года все было запутано и разрушено. Армии не существовало. Большевицкий фронт ширился.

Подготовка вооруженного восстания шла у большевиков весьма энергично и успешно, и об этом почти открыто говорили на улицах и в казармах.

21 октября Временное правительство поручило министру-председателю Керенскому принять меры к ликвидации ожидаемого восстания.

Керенский приказал своему командующему округом полковнику Полковникову разработать план ликвидации мятежа.

Полковников, не сделав ничего, доложил, что правительство может быть уверено — Петроградский гарнизон окажет сопротивление большевикам.

Керенский сообщил правительству, что меры приняты и восстание, если оно случится, будет подавлено.

Однако 23 октября Керенский стал терять некоторую свою уверенность относительно войск Петроградского гарнизона и отдал приказ главнокомандующему Северного фронта — подтянуть войска к Петрограду.

Но главнокомандующий генерал Черемисов не исполнил приказ.

В 11 часов утра 24 октября Керенский явился в Мариинский дворец и, ввиду чрезвычайного положения, потребовал в своем слове всей меры доверия и содействия. Совет республики устроил Керенскому овацию и стоя приветствовал его. Премьер, счастливый и взволнованный, не дождавшись резолюции, поспешил в штаб, чтобы заняться военными делами и оправдать высокое доверие.

Между тем в Совете начались длинные дебаты о тексте резолюции.

Этот текст резолюции выработан был только к ночи. Целый день пропал на бесцельные споры и крики.

Большевики тем временем энергично вели подготовку восстания и в ночь на 25 октября стали занимать правительственные здания.

7. Ночь на 25 октября

В двенадцатом часу ночи резолюция Совета республики еще не была готова.

Встревоженный Керенский направился из штаба в Зимний дворец на совещание Совета министров.

Наконец в Зимний прибыла делегация с долгожданной резолюцией. Причем резолюция была далеко не такая, какую ожидал Керенский. Левое большинство Совета республики отделяло себя от правительства и его борьбы. Другими словами, резолюция не выражала доверия правительству. После овации, устроенной Керенскому, это было неожиданно в высшей степени.

Совещание членов Временного правительства происходило в Малахитовом зале. Керенский, выйдя к делегатам

и зачитав резолюцию, с возмущением заявил, что после такой оскорбительной для самолюбия резолюции кабинет министров завтра же подаст в отставку.

Делегаты стали разъяснять, что резолюция в основном полезна, так как есть вероятность, что большевики посчитаются с ней и, может быть, даже откажутся от вооруженного восстания.

Делегаты стали настаивать, чтобы Совет министров принял их и выслушал их мнение.

Керенский ответил, что ни он, ни правительство не нуждаются в советах и что революция будет спасена и без помощи посторонних.

Делегация отбыла, и в Совете министров снова начались обсуждения, как реагировать на резолюцию и какие меры принять против действия большевиков.

Именно во время этого исторического словопрения большевики начали занимать правительственные здания одно за другим.

Правительственное совещание закончилось около двух часов ночи, и утомленные министры стали расходиться по домам, поручив Керенскому «организовать надлежащее военное командование».

Один из членов правительства, министр исповеданий Карташев, по выходе на улицу был арестован вблизи Зимнего дворца и отведен в Смольный.

Следует сказать, что во время совещания к Керенскому явилась делегация от казаков и уверила его (как он сам пишет), что по его особому личному приказу казаки поддержат Временное правительство.

Однако Керенский не знал, что мнение делегации не выражало мнения большинства казаков. Напротив того, совет казачьих войск решил не вмешиваться в борьбу, которую вело правительство с большевиками. Керенский, как и всегда, совершил тут изрядную ошибку — он слишком доверчиво отнесся к словам преданности и к изъяснению восторга при встрече с его особой.

Он настолько был уверен, что казаки в его распоряжении, что восторженно сообщил министрам о своем замечательном разговоре с казаками.

Явившись в два часа ночи в штаб, Керенский потребовал, чтобы казаки срочно прибыли для защиты правительственных зданий. Однако казаки уклончиво ответили,

что сейчас кончат обсуждение и в скором времени начнут седлать лошадей.

Но время шло, казаки не появлялись.

Поняв наконец, что казаки не выступят в защиту Временного правительства, Керенский стал выяснять, какие войска, находящиеся вне Петрограда, можно использовать. Но точных сведений в штабе не имелось. Как будто бы к Гатчине двигался казачий корпус генерала Краснова. Но пока никакой связи наладить не представлялось возможным. Тогда Керенский стал по прямому проводу беседовать со ставкой главнокомандующего Северного фронта. Керенский потребовал, чтоб войска с фронта были немедленно подтянуты к Петрограду.

Главнокомандующий уверил его, что он сделает все, что в его силах.

Между тем в штаб приходили тревожные сведения. Отряды восставших заняли Николаевский мост, и суда Балтийского флота входили теперь в Неву.

Керенский стал буквально метаться по штабу.

Перебегая от телефона к телефону, он в промежутках между двумя разговорами диктовал телеграммы, отдавал распоряжения и делал перемещения среди командного состава.

Весть о маневре Балтийского флота наполнила его гневом и бешенством. С криком: «Немедленно топить корабли!» — он стал лично писать радиogramму.

Эта его не совсем толковая радиogramма сохранилась для истории. Она весьма красочно говорит о душевном состоянии «главковерха».

«Всем судам, идущим в Петроград без разрешения Временного правительства. Приказываю: командирам подводных лодок топить суда, не повинующиеся Временному правительству».

Но так как в радиogramме не было указано, какие именно суда не повинуются Временному правительству и какие суда самовольно вошли в Неву, то при всех обстоятельствах эта радиogramма была пустым звуком.

Между тем в штабе стало известно, что здание Главного почтамта и телеграфа уже в течение двух часов находится в руках большевиков.

Среди офицеров штаба началось замешательство. ;

Вторично отдав приказ об аресте всех большевистских вождей и облегчив этим свою душу, Керенский стал на карте высчитывать, каким образом окружить Смольный, чтобы изолировать его и пресечь действия восставших. Нужны были казаки.

Но казаки по-прежнему отсиживались в казармах и на все просьбы и мольбы снова неизменно отвечали: «Сейчас начнем седлать лошадей».

Часть, верная Керенскому, — команда блиндированных автомобилей — стала волноваться. Офицеры штаба вели себя вызывающе.

Полковник Полковников продолжал вести двойную игру и, уверяя Керенского в верности, агитировал офицеров тотчас арестовать премьера.

Тогда Керенский, видя измену Полковникова, принял на себя все командование. Однако дело ни на йоту не изменилось, так как, в сущности говоря, не над чем было командовать.

В шесть часов утра Керенский вторично стал беседовать со ставкой главнокомандующего Северным фронтом, чтоб ускорить присылку войск в Петроград. Но толку не мог добиться, так как главнокомандующий уверял, что его действия контролируются революционным комитетом и он сам войсками не распоряжается, но что он постарается сделать все, что от него зависит. В общем, дипломатические слова не принесли делу никакой пользы.

Положение создавалось критическое. Оставалась надежда, что генерал Краснов успеет подтянуть свой казачий корпус к столице.

В седьмом часу утра, так и не дождавшись известий о движении войск к Петрограду, Керенский, разбитый и потрясенный, с мыслью: «утро вечера мудреней» — направился в Зимний дворец, чтобы хоть немного вздремнуть.

8. 25 октября

Юнкера, охранявшие Зимний дворец, заволновались при виде премьера. Нарушая дисциплину, они группами подходили к Керенскому и, окружив его тесным ксьцом, взволнованно спрашивали о положении дел и о дальнейших возможностях.

Керенский, подтянувшись и приняв соответствующую позу, бодрым голосом успокаивал их, говоря, что он с минуты на минуту ожидает прибытия в Петроград свежих воинских частей, верных ему и Временному правительству.

Это несколько успокоило юнкеров, и они расступились перед премьером, который развинченной походкой проследовал в свои покои.

Он вошел в свой кабинет и, не раздеваясь, бросился на оттоманку. Но заснуть не мог.

Нервное возбуждение было столь велико, что он ни минуты не мог оставаться в спокойном положении. Он налил эфиру на носовой платок и жадно поднес его к своему лицу.

Он не заснул, но какое-то оцепенение охватило его.

В восемь часов утра в кабинет премьера почти вбежал фельдъегерь.

Керенский, бледный, без кровинки в лице, открыв глаза, продолжал лежать, ожидая слов фельдъегеря как приговора.

— Центральная телефонная станция, господин верховный главнокомандующий, — сказал фельдъегерь, — в руках большевиков... Штаб потерял связь с городом... Что прикажете доложить командующему?

В одно мгновение, вскочив с оттоманки, Керенский подбежал к окну.

У Дворцового моста он увидел пикеты матросов.

Невольно закрыв лицо рукой, Керенский сказал фельдъегерю:

— Ступайте... Доложите, что я сейчас буду... Велите разбудить моих адъютантов...

Фельдъегерь вышел из кабинета, и Керенский, подойдя к столу, стал судорожно рвать документы и бумаги. Потом, оставив это, бросился в покои, выходящие на Дворцовую площадь.

Он, не обращая внимания на солдат караула, спавших и лежащих на полу, подбежал к окну и взглянул на площадь.

Площадь была безлюдна. Большевистских отрядов нигде не было видно.

Керенский снова бросился в свой кабинет, куда через минуту явились два адъютанта и министр торговли и промышленности, ночевавший во дворце.

Они вчетвером, почти бегом, дошли до штаба. В штабе были развал и суматоха. Охраны не было. Какие-то офицеры, солдаты и штатские бегали по лестнице, не обращая внимания на верховного главнокомандующего.

Узнав от начальника штаба, что блиндированные машины неизвестно кем испорчены и что никаких сведений нет об эшелонах, идущих к Петрограду, Керенский растерянно взглянул на своих адъютантов и на двух министров — Кишкина и Коновалова, неподвижно стоявших у окна.

Но вдруг огонь решимости зажегся в глазах премьера.

— Я сам приведу войска! — закричал Керенский. — Это вздор и ересь... Большевистские агитаторы разложили мне войска Петроградского гарнизона. Но я знаю настроение фронта. И к тому я имею любые доказательства.

Керенский показал рукой на письменный стол, на котором в беспорядке лежали полученные вчера телеграммы с изъявлением верноподданнических чувств.

Министр торговли и промышленности Коновалов, плотный, бритый человек, с внешностью русского купца, получившего образование за границей и одетого по-английски, сказал, пожав плечами:

— Эти бумажки, Александр Федорович, сейчас не имеют значения. Это, конечно, очень хорошо, если вы сами поедете за армией, но как это сделать? Почти весь город в руках большевиков.

Все посмотрели в окно, но ничего страшного не увидели. Прохожие спешили, как обычно, и к Невскому шли трамваи с висящими на подножках людьми.

— Прикажите тотчас подать мою дорожную машину! — закричал Керенский, обращаясь к адъютанту.

Первый адъютант Керенского, юный, девятнадцатилетний прапорщик Миллер, бросился исполнять приказание.

— Это вздор и ересь! — снова вскричал Керенский. — Я допускаю, что генералы Духонин и Черемисов против меня, но за солдатскую массу я отвечаю... Я сам поведу войска к Петрограду... И это большевистское отребье как дым исчезнет при виде двух-трех свежих рот!

В коридоре, за дверью кабинета, раздался вдруг шум и топот солдатских ног. Керенский побледнел и вопросительно взглянул на адъютантов.

Группа юнкеров вошла в кабинет. Один из них, отдавая честь, сказал, обращаясь к Керенскому:

— Господин верховный главнокомандующий! Большевики только что прислали нам ультиматум — очистить здание Зимнего дворца. В противном случае они грозят расправиться с нами без пощады... Как прикажете поступить? Свой долг мы согласны выполнить до конца, но если...

Воинская речь юнкера осеклась, и он, мямля и подыскивая слова, тихо добавил:

— Но если у вас... если войска... если нет подкрепления, то юнкера считают... Может быть, это и не нужно... оборонять дворец...

— Юнкера, — торжественно сказал Керенский, — вы — гордость моей армии. От вас ли я слышу эти слова? Ступайте и скажите всем, что положение далеко не безнадежное. И что мы каждую секунду ожидаем подкрепления. Ступайте, господа, и выполните ваш долг перед родиной, согласно вашей присяге.

Адъютант, прапорщик Миллер, явившись, доложил, что машина подана.

Юнкера понуро ушли выполнять свой долг перед Временным правительством.

Прапорщик Миллер, доложив о машине, сказал, что сейчас в ставку отправляется американская машина и было бы безопасней выехать вместе с ней под защитой американского флага.

Изъявив на это согласие, просветленный Керенский стал прощаться с министрами.

Оставив своим заместителем Коновалова, он сказал, обратившись к нему:

— Кроме того, Александр Иванович, я оставляю вас своим заместителем и по обороне Петрограда.

Министр торговли и промышленности, молча пожав плечами, отвернулся к окну.

9. Путешествие на край ночи

Верховный главнокомандующий, два его адъютанта и помощник командующего армией капитан Кузьмин поместились в открытой машине. Офицер для поручений Виннер и штаб-офицер сели в американскую машину.

Процессия благополучно тронулась в путь. Было около десяти часов утра 25 октября.

Никто не пытался их задержать. Прохожие, узнав Керенского, останавливались и приветствовали его.

Самодовольная улыбка снова появилась на измученном лице премьера.

Они проехали по Морской мимо патрулей красногвардейцев, стоявших у телефонной станции, и, развив скорость, вышли за черту города.

Выйдя на шоссе к Гатчине, они столкнулись с большим отрядом красногвардейцев, которые, подняв винтовки, приказывали остановиться. Но, развив бешеную скорость, машина скрылась из виду.

Американский флаг, видимо, помог, — выстрелов не было.

Через полтора часа машины подъезжали к Гатчине.

От тряски, бессонной ночи и волнений Керенский, почти теряя сознание, сидел зеленый и почти бездыханный.

Капитан Кузьмин сказал, что в Гатчину не имеет смысла заезжать, — на путях не видно никаких эшелонов, и было бы правильно сразу направиться в ставку Северного фронта.

Адъютант, прапорщик Миллер, показав глазами на полумертвого Керенского, тихо сказал, что он не беретса дальше везти его и что следует в Гатчине немного отдохнуть.

Керенский, прибодрившись, сказал, что стакан горячего чая снова придал бы ему силы.

Машина остановилась у подъезда Гатчинского дворца.

Выбежавший комендант, неприятно пораженный неожиданным и небезопасным для него посещением, повел высоких гостей в свои комнаты.

Весть о прибытии премьера стала быстро распространяться по Гатчине. Ко дворцу спешили солдаты и жители.

Комендант вел себя подозрительно. И Керенскому вдруг показалось, что комендант, подойдя к окну, делал какие-то знаки.

Тотчас был забыт чай, и Керенский приказал занять места в машинах.

Это было своевременно. Около дворца стояла теперь возбужденная толпа солдат.

Толпа заволновалась, увидев Керенского. Но быстрота действий спасла и на этот раз премьера.

Машины моментально двинулись в путь. Солдаты, потрясая винтовками, бросились за ними.

Машина Керенского быстро ушла вперед. Но американская машина, колеся по улицам Гатчины, подверглась обстрелу. Был ранен шофер и пробита шина.

Автомобиль остановился, и сидящие в нем скрылись в парке.

Теперь Керенский поехал в Псков, в ставку главнокомандующего Северным фронтом.

Ничего хорошего Керенский не ожидал от этой поездки — он не верил генералу Черемисову и боялся его. Но он надеялся встретить в Пскове генерала Краснова с его донцами и неясно надеялся на генерала Духонина, своего заместителя, со ставкой которого он никак не мог связаться. Ставка бездействовала. Она была парализована, или сам Духонин держался выжидательной политики.

Машина прибыла в Псков, и Керенский, не заезжая к Черемисову, решил остановиться в более надежном месте — у своего родственника генерал-квартирмейстера Барановского.

Керенский был самым неприятным образом поражен суматохой в доме: чемоданы и корзины нагружались вещами, — генерал Барановский, видимо, спешил покинуть Псков.

Вероятно, положение было действительно критическое, если его близкий родственник, брат его жены, спешно собирался бежать.

Сведения, сообщенные Барановским, были самые отчаянные. В Пскове действовал большевистский военно-революционный комитет. Всего час назад на имя комитета пришла телеграмма об аресте Керенского. Генерал Черемисов никаких эшелонов не посылал к Петрограду и даже отменил ранее данный приказ о посылке 3-го конного корпуса.

Тогда Керенский сказал, что ему необходимо срочно лицом к лицу встретиться хотя бы с какой-нибудь воинской частью, и тогда он ручается за успех — он сам поведет солдат на Петроград.

Вызванный к Керенскому генерал Черемисов тотчас явился, но вид его ничего хорошего не сулил.

Небрежно разговаривая, зевая, усмехаясь и пожимая плечами, генерал стал советовать Керенскому оставить эту военную затею — идти на Петроград.

Керенский возмущенным тоном стал кричать «на бывшего свой долг генерала», но тот весьма откровенно сказал, что он, собственно говоря, не желает связывать свою судьбу с судьбой уже обреченного правительства.

Пораженный такой откровенностью, Керенский вдруг осел, завял и стал бормотать:

— Ну, это уже слишком, генерал... Вы ответите мне...

— Я солдат, — сказал генерал Черемисов, — и привык говорить правду. Если вы хотите слышать слова человека, разбирающегося в обстановке, то я вам скажу: бегите. Если желаете, мои офицеры нынче же ночью помогут вам пройти через фронт...

Керенский, несвязно бормоча, спросил:

— А генерал Краснов? Неужели и генерал Краснов разделяет вашу точку зрения... Где он?

— Генерал Краснов в Острове, и с минуты на минуту я жду его здесь. Об его намерениях я не знаю, но если желаете, я направлю его к вам.

Генерал ушел, и Керенский буквально рухнул на диван. Он лежал в каком-то оцепенении, почти в обмороке.

Адъютанты на цыпочках ходили вокруг него, боясь потревожить покой гибнущего главнокомандующего.

Между тем генерал Черемисов, вернувшись в штаб, позвонил главнокомандующему Западным фронтом генералу Балувеву и посоветовал ему ни в каком случае не оказывать помощи правительству, даже если он получит угрожающий приказ Керенского.

10. Положение меняется

В 12 часов ночи Керенский очнулся от своей дремоты. Перед ним стоял Краснов — красивый пятидесятилетний генерал, весьма еще бравый и франтоватый. Это был в свое время верный царский слуга, ярый монархист,

человек жестокий, неглупый и крайне деятельный. Это был командир 3-го конного казачьего корпуса, того знаменитого корпуса, который в августе во главе с Дикой дивизией был брошен Корниловым на Петроград. Теперь все части этого корпуса были разбросаны по всему Северному фронту.

Несмотря на уговоры Черемисова, Краснов явился к Керенскому, которого он заочно презирал и ненавидел, но в лице которого видел прежнюю помещичью Россию.

Он явился к Керенскому, преодолевая отвращение к этому штатскому «главковерху». Но его ненависть к большевикам, ненависть к рабочим была сильнее этого отвращения. И вот теперь он стоял перед своим верховным вождем, желая с ним столкнуться о совместном действии против пролетарского фронта.

Керенский вскочил с дивана. Тотчас лицо премьера стало надменным, суровым и повелительным.

Почти заносчивым тоном он произнес:

— Где ваш корпус, генерал? Я надеялся встретить его под Лугой. Почему вы так медлите? Вы же знаете, что нам каждая минута дорога.

Краснов сказал, что все части его 3-го корпуса самим Керенским были в свое время разбросаны по Северо-западному фронту, что здесь, в Острове, имеются всего лишь два неполных полка и что он сам не знает, удастся ли в скором времени собрать все эти части воедино. Ему, например, известно, что части Уссурийской дивизии под влиянием революционного комитета отказались следовать дальше, хотя находились уже в походе.

— Пустяки. Не может быть, — сказал Керенский. — Я знаю, что в основном вся армия стоит за Временное правительство. Большевизм далек духу нашей армии. Я должен сам встретить эти части и их повести. И тогда я не сомневаюсь, что все пойдут за мной. Вы слышите, генерал, что я вам говорю?!

Краснов впервые имел счастье видеть верховного правителя. Он теперь с нескрываемым любопытством и удивлением взирал на него. Изможденное, больное, усталое лицо премьера горело огнем вдохновения. Повелительность тона и жестов была слишком невероятна для обычного комнатного разговора. Приподнятый и театральный

тон изумил генерала. Ему казалось, что он видит перед собой сумасшедшего.

Краснов впоследствии писал в своих записках, что ему казалось, что несвязная повелительная речь Керенского каждую минуту может закончиться безумным смехом, истерикой и криками: «Все васильки, васильки, красные, синие всюду».

— Необходимо собрать все наши части, — продолжал Керенский. — Уссурийскую дивизию я вам верну! Кроме того, вы получите Тридцать седьмую пехотную дивизию и Семнадцатый армейский корпус. Я уже отдал распоряжение. Ну как, вы довольны, генерал?

— Если все это соберется, — сказал Краснов, — тогда можно будет идти на Петроград.

— Отлично. Начинайте действовать. Я назначу вас командующим армией...

Генерал стал прощаться. Керенский, как бы очнувшись, спросил его простым, повседневным тоном:

— Куда же вы, генерал? Посидите еще немного...

— Я еду в Остров, — ответил Краснов. — Я полагаю нужным завтра выступить с тем, что мы имеем, и идти к Гатчине.

— Я вполне одобряю ваш план, генерал! Именно идти к Гатчине. Эти негодяи, представьте себе, сегодня открыли там пальбу по нашему автомобилю. Но я уверен, что в основном гатчинские солдаты далеки от большевистской заразы.

Генерал направился к выходу.

— Постойте, генерал, — остановил его Керенский, — я решил ехать с вами.

Он приказал подать свой автомобиль и в сопровождении своего штаба выехал в Остров.

В три часа ночи Краснов и верховный главнокомандующий были в Острове.

К 11 часам утра Керенский приказал разбудить его и к тому времени собрать полки, так как он хотел выступить перед ними.

Краснов считал это лишним, но, вспомнив о природном даре премьера, согласился. Но он просил, чтоб Керенский выступил только перед комитетом, считая, что выступление перед всеми казаками не будет полезным. Керенский нехотя согласился.

Утром огромная толпа любопытных стояла около дома, где спал Керенский. Какие-то дамы с цветами и гимназисты с волнением ожидали премьера.

Комитеты тоже готовились к встрече.

Краснов пошел за Керенским. Тот спал, сидя за столом в отведенной ему комнате.

Он вздрогнул и тотчас проснулся, когда генерал вошел в комнату.

Необычайно оживившись и просветлев, Керенский пошел за Красновым.

Как и ожидал Краснов, речь Керенского не произвела хорошего впечатления на казаков. Избитые фразы: «завоевания революции в опасности», «русский народ — самый свободный народ в мире», «безумцы большевики ведут страну к гибели» — не тронули станичников.

Раздались возгласы: «Довольно нам слушать эту болтовню! Товарищи, он врет, большевики не этого хотят! Перед нами новая корниловщина!.. Капиталисты и помещики снова желают схватить народ за горло!..»

Керенский был ошеломлен приемом. Он неуверенно продолжал говорить. Краснов делал ему знаки окончить речь.

Профессиональное умение премьера не спасло его на этот раз, и он закончил речь при тягостном молчании собравшихся.

Два-три жидких хлопка только подчеркнули неприятность момента.

Краснов поправил положение. Он коротко, но жестко и повелительно сказал:

— Казаки, сегодня в час дня будет посадка на эшелоны. Приготовиться.

Керенский, смущенный и подавленный, в сопровождении Краснова и адъютантов собирался выйти из помещения комитета.

Подошедшие к Краснову офицеры доложили, что Керенского без охраны не следует отпускать, так как настроение казаков и местных солдат не в его пользу.

В самом деле, собравшаяся восторженная толпа предела. Дамы с цветами неожиданно исчезли, и теперь перед домом стояли возбужденные группы казаков и солдат. Слышались крики, угрозы и гул недовольства.

В час дня 26 октября началась погрузка в эшелоны,

Керенский и Краснов прибыли на вокзал, как пишет сам премьер, «под гневный рев разнузданной солдатчины».

Краснов побоялся озлоблять массы и ограничился только тем, что, по его приказанию, казаки, размахивая нагайками, оттеснили собравшихся.

Через два часа эшелоны были готовы к отправке. Однако пришедший офицер доложил, что машинист исчез и состав некому вести.

Один из офицеров конвоя предложил свои услуги.

В четвертом часу дня эшелоны двинулись через Псков к Гатчине.

В этих эшелонах был весь наличный состав сил Краснова — несколько сотен 9-го конного полка и четыре сотни 10-го полка. Причем сотни были неполного состава. И генерал Краснов полагал, что в случае, если придется спешиться, то он будет иметь не более пятисот человек боевых сил.

Но Керенский был доволен. После полного безлюдья это была значительная сила, к которой, он полагал, будут присоединяться все встреченные воинские части.

Итак, эшелон направился через Псков к Гатчине. Причем, зная настроение псковского гарнизона, решено было в Пскове не делать остановки.

Началось наступление на столицу.

Но прежде чем подойти к столице, надо было захватить Гатчину и Царское Село.

Сидя в своем купе, верховный главнокомандующий внимательно изучал десятиверстную карту, полученную им от генерала Краснова.

11. Снова Гатчина

В пути Керенский назначил Краснова командующим армией, идущей на Петроград.

Краснов, пожав плечами, принял назначение.

Командующий армией, у которого всего две роты военного состава!

— Это игра в солдатики, — сказал сквозь зубы Краснов своим офицерам. — Этот господин Керенский противен мне в высшей степени. И будь не столь острое поло-

жение, я бы приказал эшелону вернуться. Но нам, господа, нужно помнить о родине, которая действительно в смертельной опасности. И когда эта опасность минует, мы покажем место этому революционному господину.

На станции Чарская эшелон остановился. Из встречного поезда сошли несколько офицеров, бегущих из Петрограда. Они просили Краснова взять их с собой. И теперь они докладывали генералу о событиях в Петрограде. Зимний дворец пал. В Петрограде образовался Комитет спасения родины и революции.

Керенский подошел к купе, где сидели офицеры, и с любопытством стал слушать. Потом, обращаясь к сотнику Карташеву, просил рассказать о падении Зимнего дворца.

— Это очень интересно, то, что вы говорите, — сказал Керенский, протягивая офицеру руку. — Доложите мне, поручик, более подробно.

Сотник Карташев (по словам Краснова) вытянулся перед верховным правителем, но руки ему не подал.

— Поручик, я подаю вам свою руку! — с особенным ударением сказал Керенский.

— Виноват, господин верховный главнокомандующий, — ответил офицер, — я не могу подать вам руки. Я — корниловец.

Краска залила лицо Керенского. Он круто повернулся на каблуках и быстро пошел к себе, на ходу бросив Краснову фразу:

— Взыщите с этого офицера.

Между тем поезд, развивая большую скорость, шел к Гатчине.

Наступала ночь.

Решено было выгрузиться в пяти километрах от Гатчины и на рассвете захватить город врасплох.

Посланная разведка донесла, что воинских частей в Гатчине не видно, но что на Балтийском вокзале выгружается рота, только что прибывшая из Петрограда.

Краснов окружил станцию, и прибывшая рота, не ожидавшая нападения, сдалась. Это была рота лейб-гвардии Измайловского полка.

В плен брать Краснов не имел возможности и, разоружив солдат, отпустил их.

Между тем казаки донесли, что на Варшавской станции взяты в плен еще одна рота и пулеметная команда.

Местный гарнизон не проявлял признаков жизни. Гатчина была в руках Краснова. Все это заняло не более трех часов.

В десять часов утра Краснов хватился Керенского, но его нигде не было, и никто не знал, где он. Казаки, впрочем, сказали, что он как будто пошел разыскивать какой-нибудь трактир, чтобы выпить стакан чаю.

Краснов направился к Гатчинскому дворцу и там нашел премьеры в одной из квартир запасной половины.

Керенский буквально ликовал. Он преобразился. Улыбка не сходила с его лица. Он встретил Краснова словами:

— Вот видите, генерал, я же вам говорил. Мы нигде не встретим сопротивления. Армия с нами, и в этом я так же уверен, как в самом себе.

Керенский пригласил Краснова к столу, за которым уже сидели адъютанты и две красивые нарядные дамы. Там шла оживленная беседа, слышались шутки и смех.

Краснов отказался от общества, говоря, что ему нужно сделать распоряжения, так как в Гатчину сейчас прибыл из Новгорода новый эшелон с частями 10-го донского полка при двух орудиях.

Керенский, не скрывая своей радости, сказал:

— То, что у нас есть, уже достаточно, чтоб идти на Петроград. По пути мы буквально обрастем войсками. Я приказываю вам, генерал, сегодня же выступить дальше. Как вы думаете — возможно ли это?

— Я полагаю, — сказал Краснов, — что мы здесь должны подождать хотя бы сутки. Я надеюсь, что подкрепление будет подходить. Тем временем я пошлю разведку к Царскому Селу.

— Я одобряю ваш план, генерал, — торжественно сказал Керенский. — И, поверьте, я не забуду ваше мужество и героизм в такие трудные часы для России.

Краснов, побагровев от злости, молча вышел из помещения.

12. На Петроград

Разведка донесла Краснову, что в Царском Селе спокойно, но что там имеется значительный гарнизон, насчитывающий до пятнадцати тысяч солдат.

И Краснов считал рискованным идти туда со своими силами.

Необходимо было ждать подкрепления. Но подкрепление не шло. Прибыла лишь одна сотня 13-го донского полка и несколько конных орудий. Подходили также небольшие группы юнкеров и офицеров, бежавших из Петрограда.

Кроме того, был случайно захвачен застрявший в грязи броневик «Непобедимый».

Краснов сообщил Керенскому о положении дел, и Керенский снова приуныл. Его приказы и категорические распоряжения странным образом не выполнялись.

Стало окончательно известно, что генерал Черемисов вмешивается в эти распоряжения. Им задержан был Нерчинский полк, идущий через Псков в Гатчину, и также задержаны были разрозненные части донских полков.

Ставка Духонина не проявляла признаков жизни. Западный фронт бездействовал. И посланный приказ в Ревель о высылке войск не был выполнен. Начальник ревельского гарнизона весьма откровенно сообщил, что «впредь до выяснения политической обстановки» он не даст распоряжения о погрузке.

Десятка полтора телеграмм извещало Керенского о движении эшелонов. Но одни, вероятно по примеру ревельцев, ожидали прояснения горизонта, других задерживали большевистские агитаторы, третьим мешали враждебные Керенскому генералы.

Так или иначе, надежды на подкрепление рушились.

Надо было брать Царское Село теми силами, которые имелись.

Несмотря на некоторый риск, Краснов считал это возможным. Стрелки царскосельского гарнизона были мало боеспособны. Весь день они гуляли по трактирам и кинематографам. Ложились поздно, караульную службу несли плохо. И утром, на рассвете, имелась возможность захватить Царское врасплох.

Однако неожиданности все же могли быть. И поэтому Краснов медлил принять окончательное решение. Керенский, послав Духонину телеграмму с категорическим требованием помощи, снова впал в проstration — он, вялый и безучастный, сидел в Гатчинском дворце, мало интересуясь окружающим.

Между тем из Петрограда поступали катастрофические сведения. Бежавшие офицеры рассказывали, что петроградский гарнизон окончательно и почти полностью перешел на сторону большевиков. Вооруженные рабочие, матросы и красногвардейцы настроены чрезвычайно воинственно и отлично организованы. Их силы — не менее ста тысяч штыков. Большевистские вожди распоряжаются с огромной энергией и организуют все новые полки. Комитет спасения родины и революции бездействует. Полковник Полковников и высшее военное начальство находятся в полной растерянности и лавируют так, чтобы сохранить свое положение при всяком правительстве.

В два часа дня из Петрограда на имя главковерха неожиданно пришла телеграмма, весьма взволновавшая Керенского:

«Комитету спасения родины и революции крайне необходимо знать, когда ваши войска будут в Петрограде. Положение крайне тяжелое. Отвечайте. Член совета Марьянов».

Снова признаки жизни появились на истомленном лице Керенского. Он вызвал к себе Краснова и стал говорить, что он не может больше оставаться в бездействии, что он обещал лично повести войска на столицу и что нужно, наконец, что-то предпринять.

Краснов сказал, что, прежде чем идти на столицу, необходимо взять Царское Село. Но если ему с его силами не удастся это сделать, то все дело можно считать погибшим.

— Генерал, — сказал Керенский, — я приказываю вам идти с вашими силами на Царское Село. Можете быть уверены — гарнизон Царского Села перейдет на нашу сторону... Я прошу вас немедленно дать телеграмму Комитету спасения о том, что мы переходим в наступление. Это морально поддержит их и войска, верные присяге.

Краснов согласился с этим. Он послал телеграмму в Петроград за своей подписью:

«Комитету спасения родины и революции. Завтра в 11 часов выступаю в Петроград. Буду идти, сбивая и уничтожая мятежников. Буду занимать позиции по рубежам.

Прибытие в Петроград зависит от активности верных при-
сяге войск гарнизона».

Снова нервный подъем охватил Керенского. Он бегал из угла в угол, крича:

— Нужно, не медля ни часу, идти на столицу! Нужно доставить сюда хоть какие-нибудь эшелоны. Они в пути. Мы имеем сведения. Это не может быть, чтобы они все были задержаны большевиками.

В три часа дня 27 октября пришла, наконец, телеграмма из Могилева от заместителя верховного главнокомандующего генерала Духонина.

Дрожащими руками Керенский взял телеграмму и стал читать. Вдруг лицо его смертельно побледнело. Он зашатался и, пробормотав: «все пропало», потерял сознание. Подхваченный под руки адъютантами, он упал в кресло и остался в нем без движения.

Тотчас адъютанты забегали и засуетились. Прапорщик Миллер бросился за водой. Лейтенант Кованько поднес к носу командующего пузырек с нашатырным спиртом.

Керенский тяжело вздохнул, но сознание к нему не возвращалось.

Рассказывающий об этом факте свидетель (офицер Керенского) сообщает, что Керенский, прочитав телеграмму Духонина, неправильно понял ее смысл. Духонин, напротив того, давал свое согласие на поддержку Временного правительства. Керенскому же почему-то показалось, что Духонин отказывает ему в поддержке.

Офицер Керенского поручик Виннер, пробежав глазами телеграмму, огласил ее всему обществу, и тогда Керенского с новыми силами стали приводить в чувство.

Наконец он открыл глаза, мутным взором обвел окружающих и снова взялся за телеграмму. В самом деле, Духонин обещал свою помощь. Правда, дипломатично, но все же давал обещание сделать все, что в его силах.

Керенский вновь оживился. Он приказал приготовить на станции состав, и сам со всем штабом перешел в вагон.

Несмотря на дождь, огромная толпа любопытных окружила вагон Керенского. Все желали взглянуть на «сказочного» премьера. Однако Краснов распорядился разогнать собравшихся. И казаки, размахивая нагайками, лихо врзались в толпу. Станция стала пустынной.

Началась походная жизнь. Правда, состав без движения стоял на станции, но каждую минуту все были готовы к отправлению на Петроград.

Краснов энергично готовился к наступлению. Он решил захватить Царское таким же образом, как он захватил Гатчину. Он назначил наступление в ночь с 27 на 28 октября. На рассвете казаки должны были занять Царское Село врасплох.

Между тем в Гатчине появились большевистские агитаторы. Посланные из Петрограда со специальной целью разложить войска Керенского, они, под видом представителей военных комитетов, беседовали с казаками, разъясняя им положение дел.

13. Наступление

В третьем часу ночи казачьи отряды Краснова двинулись к Царскому Селу.

Девятьсот казаков, шестнадцать конных пушек и восемь пулеметов — это было немного, но все же достаточно для неожиданного захвата спящего города.

В предутреннем тумане казаки наткнулись на стрелковые заставы. Разоружив их, двинулись дальше.

Показалось Царское Село. И дорогу неожиданно преградила стрелковая цепь.

Раздались выстрелы. Затрещал пулемет.

Краснов отдал приказание артиллерии — открыть огонь.

Шрапнель бьет по стрелковой цепи, но стрелки не отходят.

Краснов посылает в обход сотню енисейцев.

Стрелки бегут назад.

Теперь у Царкосельского парка собрался почти весь гарнизон. Но никто из них не стреляет.

Там происходит митинг и решается вопрос — что делать.

Казаки подъезжают ближе. У стрелков видна готовность сдать без боя. Но часть стрелков неожиданно отдалается и, рассыпавшись в цепь, снова встречает казаков огнем. Посланная во фланг сотня топчет стрелков.

Многие втыкают винтовки в землю.

Казачи начинают разоружать солдат.

К Краснову подходит элeгантный, стройный человек, одетый как спортсмен.

Это — Савинков.

Он спрашивает, есть ли возможность у Краснова тотчас двигаться на Петроград.

Краснов говорит, что отступление назад равносильно гибели и что он решил продвинуться вперед, несмотря на свои незначительные силы.

Савинков считает это правильным. Он говорит:

— Было бы разумно, генерал, если бы вы немедленно устранили Керенского и все командование взяли в свои руки. Прикажете арестовать его. Дела он не поправит, но повредить может.

Краснов обещал обдумать этот шаг.

Между тем казаки отпускают по домам разоруженных стрелков. Часть стрелков все же колеблется и не отдает винтовки. Казаки начинают разоружать силой. Слышится свист нагаек, крики и стоны.

И тут неожиданно появляется автомобиль.

Это на фронт прибыл Керенский. Он три часа просидел на вышке метеорологической обсерватории, что на полдороге к Царскому. Ничего особенного там он не увидел. И теперь лично приехал посмотреть, что тут происходит.

В автомобиле — адъютанты Керенского и две шикарные дамы, с которыми премьер завтракал во дворце.

Появление с дамами вызывает возмущение и улыбки. Всем кажется страшно неуместным этот роскошный открытый автомобиль с пассажирами, выехавшими как на утреннюю прогулку.

Казаки негодуют. Здесь, на поле, еще лежат раненые. К чему этот эффектный выезд?

Кто-то из казаков кричит:

— Глядите, прибыла штатская куртка!

Краснов, соблюдая воинские правила, подходит к главнокомандующему.

Керенский крайне недоволен. Увидев Савинкова, он тихо, но веско говорит Краснову:

— Весьма странно, генерал. Все-таки я верховный главнокомандующий. Почему вы мне не донесли о взятии

Царского Села? Я сижу на этой дурацкой вышке и решительно ничего не знаю.

Краснов говорит, что Царское еще не взято, что стрелки оказывают сопротивление и казакам приходится силой разоружать их.

— Пустяки, — говорит Керенский. — Где эти стрелки?

Машина Керенского врзается в толпу вооруженных стрелков, окруженных казаками.

Керенский встает на сиденье автомобиля и начинает говорить. Слышатся отрывистые, истерические фразы.

Стрелки ошеломлены и слушают его с диким любопытством, не понимая, что он, собственно, от них хочет. Дамы и адъютанты начинают аллодировать премьеру.

Тотчас по окончании речи казаки отбирают винтовки, которые стрелки теперь отдают безропотно, ошеломленные неожиданностью.

Краснов говорит своим офицерам:

— Вы знаете, господа, эта штафирка мне буквально на нервы действует. Савинков мне предложил его арестовать, и, кажется, в самом деле этим кончится.

Между тем Керенский объезжает теперь ряды казаков. Он здоровается с ними и поздравляет с победой русского оружия над большевиками.

Казаки сердито смотрят на верховного вождя. Кто-то из казаков снова громко кричит почти в лицо премьеру:

— Эй, штатская куртка!

Керенский останавливает свою машину у рядов казачьей артиллерии. Он это видит в первый раз. И теперь, поздоровавшись с казаками, намеревается произнести речь.

Но Краснов, побагровев, упрасивает его не делать этого. Видя, что уговоры бесплодны и Керенский снова порывается встать на сиденье автомобиля, Краснов грубо говорит ему:

— Никаких речей я не могу тут допустить, Александр Федорович... Вы — верховный главнокомандующий, но тут, на поле брани, я хозяин. Тут, знаете, война, а не судебная палата по бракоразводным делам.

Вдруг справа, со стороны Павловска, показываются цепи, которые сткрывают ружейный и пулеметный огонь.

Пленные стрелки разбегаются. Дамы взвизгивают. Машина Керенского исчезает.

Краснов приказывает своей артиллерии открыть огонь по наступающим.

Происходит перестрелка. Сотня казаков, рассыпавшись лавой, заходит в тыл.

Павловская цепь отходит, отстреливаясь.

К вечеру 28 октября Краснов полностью занял Царское Село, с огромной жестокостью расправился с большевиками и сочувствующими.

Уехав с фронта по настоянию Краснова, Керенский не пожелал бездействовать в Гатчине. Он снова после ружейного обстрела расположился на вышке метеорологической станции и отсюда до вечера наблюдал в бинокль за батальными сценами и вообще за тем, что вокруг делается.

Ночью Керенский отбыл в Гатчинский дворец, а утром 29 октября снова появился в Царском Селе.

В его руках теперь мощная сила — царскосельская радиостанция.

Всюду и во все концы страны Керенский стал рассылать радиотелеграммы с повелением бороться до конца.

Вот одна из радиограмм, пущенных в пространство:

«Идите спасти Петроград от анархии, насилия и голода и Россию от несмываемого позора, выброшенного темной кучкой невежественных людей, руководимых волей и деньгами императора Вильгельма».

К войскам петроградского гарнизона он обратился со следующим повелительным, но отвлеченным воззванием:

«Всем частям Петроградского военного округа, по недоразумению и заблуждению примкнувшим к шайке, вернуться, не медля ни часу, к исполнению своего долга».

14. Сражение под Пулковом

Почти сутки Керенский провел на радиостанции. Реальных результатов, впрочем, от этого никаких не было.

За сутки силы Краснова несколько увеличились лишь за счет захваченного блиндированного поезда и нескольких орудий.

Итак, к вечеру 29 октября Краснов имел девять сотен казаков, восемнадцать конных орудий и блиндированный поезд.

Казаки стали отказываться идти в столицу без поддержки пехоты.

Но тут из Луги пришло сообщение, что 1-й осадный полк погрузился на эшелоны и направился к Царскому Селу для поддержки Временного правительства.

Казаки, узнав об этом, решили продолжать наступление.

Однако в пути 1-й осадный полк, обстрелянный небольшим отрядом матросов, разбежался. И к Краснову подошли лишь незначительные группы солдат.

Поздно вечером 29 октября Краснов все же двинул свои войска по направлению к Пулкову.

Всю ночь казачьи заставы перестреливались с матросами у станции Александровской.

Ранним утром 30 октября с точностью определилась боевая обстановка.

На окраине деревни Редкое Кузьмино залегли казаки. Матросы же и красногвардейцы окопались на склоне Пулковской горы — красногвардейцы в центре, матросы по флангам. Справа от них — Красное Село.

Между позициями — глубокий овраг, по дну которого течет река Славянка. Эта река отделяет казаков от большевиков.

Краснов посылает сотню казаков на деревню Большое Кузьмино с целью обойти матросов. Другую сотню направляет на Красное Село, на деревню Сузи. Но силы казаков слишком малы, и посланные отряды возвращаются.

Краснов отдает приказ артиллерии открыть частый огонь по окопам большевиков.

Но большевики стойко держатся и не отступают. Особенно мужественно ведут себя кронштадтские матросы.

Керенский, узнав о начавшемся сражении, собрался уже выехать из Гатчины на позиции, чтобы своим личным присутствием вдохновлять войска, но к нему неожиданно явилась делегация во главе с Савинковым и просила его не появляться на фронте, так как это (как сам не без наивности пишет Керенский) «может нежелательно отразиться на психологии линейных казаков».

Другими словами, Керенского попросили ни во что не вмешиваться, так как даже один вид премьера раздражал казаков.

Керенский начинал сознавать свое положение.

Еще вчера неприятным образом его поразил резкий и даже грубый тон Краснова. Керенский не без горечи пишет: «Вчерашнее поведение Краснова и его штаба создали во мне убеждение, что я здесь совсем лишний».

Слова Савинкова и его делегации еще в большей степени убедили премьера, что ему тут делать нечего.

Но он, склонный к поверхностным суждениям, сосчитал это «корниловщиной», офицерскими происками и, может быть, даже завистью Краснова к его популярности.

Так или иначе, он остался в Гатчине, переходя из дворца в поезд и обратно.

Между тем бой на реке Славянке разгорался все сильнее.

Три броневика красногвардейцев вышли на шоссе и стали обстреливать деревню Редкое Кузьмино.

Матросы перешли в наступление.

Штаб Краснова находился на передовой линии позиции, в деревне Редкое Кузьмино. Туда же прибыл Савинков и, как пишет Краснов, «рисовался своим нахождением в цепях».

Краснов понял, что одной артиллерией невозможно заставить большевиков отступить.

Он послал пулеметчиков в наступление на левый фланг и стал теснить большевиков к деревне Сузи.

Броневой поезд Краснова медленно продвигался по Варшавской ветке в направлении к Петрограду.

Сотня казаков Оренбургского полка, развернувшись лавой, ринулась на деревню Сузи, занятую матросами.

Матросы продолжали стойко держаться, осыпая конницу градом пуль.

Вдруг казаки, не достигнув деревни, неожиданно наткнулись на болото. Лошади стали вязнуть. Атака приостановилась. Сотня, спешившись, бросилась назад под пулеметным огнем матросов.

Поражение было очевидным.

Этот эпизод отразился на всем ходе сражения. Казаки пали духом. А матросы, установив на Пулковской

горе дальнoбойное морское орудие, стали энергично бить по тылу.

Их снаряды ложились вдоль шоссе по коноводам, которые начали создавать в тылу панику.

Царскосельский гарнизон, державший до сего времени нейтралитет, снова пришел в волнение и вынес резолюцию — тотчас прекратить бой, иначе гарнизон выйдет казакам в тыл.

Между тем у Краснова снаряды подходили к концу, и он не смог даже заставить замолчать морское орудие.

Артиллерийский бой стал затихать. Наступал вечер.

Батарея Краснова, без приказа, стала отходить назад.

Матросы снова перешли в наступление. Они, как пишет сам Краснов, с большим искусством стали накапливаться на обоих флангах и стремительным натиском бросились к Царскому Селу, заходя в тыл Краснову.

Краснов спешно стал оттягивать своих казаков к полотну Варшавской дороги.

Матросы теснили отступающие казачьи цепи.

Надвигалась ночь, стало темно, и большевики, заняв деревню Редкое Кузьмино и подойдя к станции Александровской, прекратили наступление.

Поражение Краснова было полным.

15. У разбитого корыта

Краснов, оставив цепь казаков охранять Гатчину, привел туда остатки своего отряда.

Штаб Краснова стал обсуждать, каким образом заключить перемирие с большевиками. Необходимо было выиграть время, так как новая пачка телеграмм извещала о движении эшелонов к Гатчине для поддержки правительства.

Но шли они медленно и, видимо, в пути задерживались.

Керенский был взволнован и потрясен. Не скрывая своего огорчения, он спросил Краснова — что тот намерен делать.

Краснов сказал, что в случае наступления большевиков он будет с боем отступать на Дон.

Керенский стал умолять Краснова продержаться хотя бы два дня в Гатчине.

Он сказал:

— Генерал, если ожидаемые эшелоны не подойдут, я обращусь за помощью к полякам. Вчера командир польского корпуса Довбор-Мусницкий мне лично обещал поддержку.

Во время этого разговора к Краснову подошел взволнованный его адъютант и доложил, что казаки больше не охраняют Гатчину. Их цепь самовольно ушла в казармы. И посланные заставы отказались взять с собой патроны, говоря, что по своим они стрелять больше не будут.

Тогда Краснов послал на заставы только что прибывшую свежую казачью сотню, которая еще не ознакомилась с настроением здешнего отряда.

Эти казаки перекопали шоссе, чтобы броневые автомобили матросов не могли подойти, и выслали вперед заставы.

Савинков был назначен начальником обороны Гатчины.

Наступало утро 31 октября.

Всюду — в аллеях парка, на улицах и у ворот казарм — шли митинги.

Казаки были взволнованы и возбуждены. Слышались крики и угрозы по адресу Керенского, который «заварил кашу».

Большевистские агитаторы почти открыто вели пропаганду, разъясняя обстановку и общее положение. Раздавались возгласы:

— Помещики снова хотят вернуть свою власть... Генералы превращают вас в жандармов...

Встав утром и подойдя к окну, Керенский был ошеломлен картинами развала красновского отряда. Дисциплина была забыта. С папахами, лихо сдвинутыми на затылок, с трубками в зубах казаки тут же, перед дворцом, оживленно беседовали, крича, бранясь и жестикулируя.

Бледный, в полном душевном смятении, Керенский вызвал к себе адъютантов и четырех офицеров своего штаба.

Подойдя к окну и показав рукой на казаков, он сказал, что большевики, кажется, и тут испортили ему дело, и если это так, то положение следует считать почти безнадежным. И если сегодня не придут свежие войска, то

пусть каждый из офицеров сам позаботится о своей судьбе.

Офицеры ответили, что они разделяют его точку зрения и при первом удобном случае покинут дворец.

Керенский остался с одним адъютантом, который не пожелал его покинуть.

Вспомнив о поляках, Керенский велел адъютанту спешно пригласить к себе Краснова.

Явился Краснов, видимо с большой неохотой. Он застал верховного главнокомандующего в мрачном и ослабленном состоянии.

— Генерал, — сказал Керенский, — как дела? Как поляки — согласны?

Краснов сквозь зубы доложил, что командир польского корпуса действительно подтвердил свое согласие прислать в помощь несколько полков. Но так как приход поляков может произойти только не ранее вечера завтрашнего дня, то он, Краснов, считает положение крайне тяжелым — казаки больше, чем он думал, поддаются большевистской пропаганде. И поэтому необходимо срочно заключить перемирие с большевиками, чтобы оттянуть время до прихода эшелонов.

— Ну, а если эти эшелоны придут, — добавил Краснов, — то мы, Александр Федорович, это перемирие побоку и, извините за грубое слово, покажем им кузькину мать. В сущности наше перемирие — маленькая военная хитрость.

Керенский выдавил на своем лице улыбку.

— Я бы не хотел, — сказал он, — заключать перемирие с большевиками. Нельзя ли, генерал, без этого хотя бы два дня как-нибудь продержаться?

Краснов неожиданно вспылил.

— Извините меня, — сказал он, еле сдерживаясь, — но вы рассуждаете как профан в военном деле. Чем продержаться? Вашими молитвами?.. Вы главноверх. Дайте мне армию, и я продержусь хоть два года. А сейчас, когда у вас один дым, а не армия, — то слуга покорный... Да и придут ли еще ваши эшелоны — это большой вопрос. Что вы в них так уверены?

— Что значит «уверен», — ответил Керенский. — А вы, генерал, уверены в своих казаках, которые на ваших глазах цацкаются с большевиками?

Генерал побагровел.

— Причем тут мои казаки? — сказал он. — Мои казаки благодаря вашей революционной фантазии были разбросаны по всему фронту. Ваша революция растлила их. И в этом менее всего я повинен, Александр Федорович.

— Это намек, генерал? — надменно спросил Керенский.

— Намек, если хотите, — ответил Краснов, — намек на то, что вы перед Россией в ответе за содеянное вами и вашими прочими анархистами.

Керенский встал, желая показать, что беседа кончена. Краснов сказал:

— Прикажите созвать военный совет. В конце концов, не время нам тут с вами пикироваться. Мне пятьдесят семь лет, и вы меня не переубедите, Александр Федорович, своим революционным красноречием.

Теперь два командарма стояли друг против друга, пылая ненавистью. Краснов был умней и значительней Керенского. Он вдруг понял свою мизерную роль во всем ходе событий. И теперь, не скрывая бешеной злобы, смотрел на этого штатского человека, на которого он имел глупость понадеяться.

Созвав военный совет, Керенский доложил собравшимся офицерам о критической обстановке.

Большинство высказалось за немедленное перемирие.

Керенский и Савинков остались с меньшинством.

Керенский, не глядя в сторону Краснова, заявил, что он против перемирия, что перемирие с большевиками создаст в дальнейшем новое правительство, в которое, несомненно, войдут большевики. Но это равносильно краху, так как содружество с большевиками он считает невыносимым и ни под каким видом не стал бы с ними работать. Он считает более правильным поторопить командира польского корпуса, уже обещавшего поддержку.

Савинков настаивал на продолжении военных действий.

Однако пришлось подчиниться решению большинства.

Краснов составил текст мирного предложения, в котором говорилось, что большевики должны тотчас прекратить военные действия и дать полную амнистию всем офицерам и юнкерам. Лигово и Пулково должны быть ней-

тральными, и ни та, ни другая сторона не может перейти эту линию впредь до окончания соглашения между правительствами.

Керенский, не согласившись с этим текстом, выработал свой особый текст, оставшийся неизвестным истории.

Снова начались обсуждения.

Явившиеся казаки сообщили, что если перемирие не будет сегодня же заключено, то они сами, помимо господ офицеров, войдут в переговоры с большевиками.

Тотчас делегация казаков была послана к большевикам с текстом мирного предложения, выработанным Красновым.

Свой текст Керенский послал отдельно.

Независимо от этого, казаки, как стало в дальнейшем известно, послали к большевикам собственную делегацию.

Тревожный день подходил к концу.

Об эшелонах ничего не было слышно. Поляки также молчали.

Неожиданно пришло сообщение, что эшелоны, отправленные через Лугу в Гатчину, задержаны в пути.

Вечером Савинков выехал на место происшествия, с тем чтобы лично привести эшелоны. При этом Савинков сказал, что если ему не удастся это сделать, то он тотчас отправится за помощью к командиру польского корпуса.

В восемь часов из ставки прибыл французский генерал Ниссель. После короткой «вдохновенной» речи Керенского и сообщения Краснова он, ничего не сказав, поспешно отбыл в ставку.

Вечер в комнатах Керенского прошел неожиданно спокойно и даже мирно.

Обстановка изменилась, и офицеры, кроме лейтенанта Кованько, остались во дворце.

Посланное большевикам мирное предложение как будто бы сулило отдых и передышку.

Четыре офицера, адъютант и сам Керенский собрались за чаем. И, по словам свидетелей, они, как сговорившись, за весь вечер не произнесли ни слова о создавшемся положении.

Весь вечер, как сообщает тот же свидетель, Керенский вспоминал о своем счастливом прошлом присяжного поверенного.

Он весьма оживился, шутил и передавал офицерам содержание своих речей, рассказывал о том сильном впечатлении, которое они производили на судей.

Офицеры никогда еще не видели премьеры в таком веселом и шутливом настроении. И это свое душевное равновесие Керенский не потерял вплоть до другого дня.

16. В плену

Между тем все обитатели Гатчинского дворца, кроме Керенского, были настроены в ту ночь весьма тревожно и даже панически. Никто не знал, как большевики отнесутся к мирному предложению, и никто не был уверен, что завтра придут свежие подкрепления, которые позволят говорить с большевиками иным тоном.

Спали не раздеваясь. Казаки, находясь в коридорах дворца, следили за офицерами. Офицеры не были уверены в казаках и каждую минуту ожидали какой-либо вспышки.

Всюду громко и открыто раздавались угрозы и брань по адресу Керенского.

Рано утром 1 ноября в Гатчину вернулись посланные к большевикам парламентары с подписанным мирным договором. Вместе с парламентарями прибыли два матроса — представители большевиков.

Узнав, что Керенский здесь, матросы приказали поставить у входа усиленный караул и никого из дворца не выпускать.

Дежурный офицер хотел было арестовать прибывших, но матросы сказали:

— Если вы послали вашу делегацию для того, чтобы захватить нас как заложников, то вы за это дорого заплатите и не достигнете своей цели.

Подошедшая группа казаков попросила господина офицера не препятствовать представителю большевиков.

Матросы обошли дворец и, приказав в еще большей степени усилить караул, пошли в казармы, чтобы разъяснить казакам истинную обстановку.

Офицер для поручений поручик Виннер, разбудив Керенского, доложил ему, что казаки никого из дворца не выпускают.

Действительно, у подъезда вместо караула стояла теперь толпа казаков, которые возбужденно обсуждали события. Некоторые из офицеров пробовали покинуть дворец, но казаки преградили им путь, сказав, что выпускать никого не велено.

Во дворце началось замешательство. Начали искать иных выходов. Но дворец, построенный в виде замкнутого прямоугольника, имел всего лишь один выход, занятый казаками.

Поручик Виннер, обежав дворец по круглому коридору, вернулся с грустным известием, что выхода нет.

Началась паника.

На счастье, шофер Керенского находился еще во дворце. И Керенский отдал ему распоряжение приготовить машину и ждать его за парком.

Однако никто не был уверен, что шоферу удастся это сделать. Но шофер благополучно миновал охрану и вывел свою машину со двора.

Керенский и офицеры стали снова обдумывать, каким образом им покинуть дворец. Но выхода действительно не было.

Один из служащих дворца сказал, что тут имеется потайной ход, построенный еще Павлом Первым.

Этот подземный коридор выходит в парк за стенами дворца-крепости. Но входную дверь этого тайника нельзя сейчас открыть, так как поблизости в коридорах находятся казаки. И это будет тотчас замечено. Служащий сказал, что раньше наступления темноты он не берется открыть тайник.

Обитатели Гатчинского дворца оказались в плену.

Керенский послал своего адъютанта к Краснову с просьбой заменить казачий караул юнкерами, с тем чтобы дать возможность офицерам Керенского и ему самому уйти.

Краснов резко ответил, что это теперь не в его власти, что казаки под давлением большевистских агитаторов крайне возбуждены и в особенности возбуждены против самого Керенского, которого они считают виновником всех дел.

В казармах между тем шел митинг. Казаки весьма слабо разбирались в событиях. Напичканные всякими вздорными слухами и неверными сведениями, они теперь,

в особенности после вчерашних агитаторов, слушали слова матросов с огромным вниманием. Один из матросов, взобравшись на нары, стал говорить о предательстве Временного правительства, которое согласно даже сдать страну немцам, лишь бы сам народ не оказался у власти. Временное правительство гонит на фронт тысячи молодых крестьян и рабочих ради интересов помещиков и фабрикантов. Советская же власть ставит перед собой задачу добиться справедливого мира, прекращения войны, передачи земли крестьянам, отмены смертной казни на фронте и полного уничтожения эксплуатации. Керенский — враг народа, потому что он выражает интересы буржуазии. Казаков же он мечтает превратить в жандармов и тем самым возбудить против них всеобщую народную ненависть и преследование.

Митинг затягивается. Офицеры и юнкера, находящиеся в казарме, начинают выступать против, требуя, чтобы казаки выгнали большевистских агитаторов.

Наступает критический момент. Часть казаков поддерживает офицеров. Но большая часть казаков переходит на сторону большевиков.

Представитель большевиков предлагает прекратить войну и арестовать Керенского, после чего казаки могут свободно возвратиться к себе на Дон.

Казаки согласны арестовать Керенского, но просят согласовать арест Керенского с казачьим комитетом.

Матросы идут во дворец, где помещается казачий комитет, почти целиком состоящий из офицеров и юнкеров. Площадь дворца забита казаками. Матросы начинают с ними беседовать. Казачий комитет выходит на площадь, и тут происходит сцена весьма удивительная.

Матросы предлагают казакам переизбрать казачий комитет, так как, по их мнению, в комитет должны входить на равных основаниях и казаки.

Раздаются крики: «Правильно!» Тут же казаки называют своих кандидатов. И вскоре комитет переизбран.

Пользуясь невниманием караула, несколько офицеров Керенского пытаются бежать из дворца, но задерживаются впредь до выяснения обстановки.

Вместе с комитетом матросы идут во дворец.

Офицеры с нескрываемым удивлением взирают на непрошенных гостей. Все ожидали увидеть сумрачных боль-

шевиков, глядящих исподлобья, — суровых и грубых представителей «черни». Но перед ними были веселые и смеющиеся люди, бесстрашно пришедшие в стан врагов.

Начинается между тем заседание вновь избранного казачьего комитета, на котором большевики снова ставят вопрос о выдаче и аресте Керенского.

Казачьи согласны выдать Керенского, но юнкера и часть офицеров — решительно возражают. Заседание затягивается.

17. Исторический разговор

Тем временем казаки по собственной инициативе поставили многочисленный караул у дверей квартиры Керенского.

Керенский, бегающий из угла в угол комнаты, был поражен и взволнован этим «новым актом насилия».

Смертельно бледный и взволнованный, он попросил к себе генерала Краснова. Он гневно сказал ему:

— Генерал, вы предали меня. Тут ваши казаки определенно говорят, что они меня арестуют и выдадут большевикам.

— Да, — ответил генерал Краснов, — разговоры об этом идут. И я удивляюсь, что вы об этом только сейчас узнали.

— Но неужели и ваши офицеры — предатели? Неужели же небольшая кучка матросов (а их было всего два матроса) может им навязывать свои приказы?

— Мои офицеры, — ответил Краснов, — еще в большей степени, чем казаки, настроены против вас.

— Что же мне делать, генерал? Может быть, покончить с собой... Как вы думаете?

— Я думаю, — ответил Краснов, — что вы, как глава правительства, должны поехать в Петроград и там явиться в этот самый ваш Революционный комитет. Там в кругу своих революционеров и побеседуйте на ваши темы. Вы; сударь, вели большую игру — вот и извольте теперь отвечать.

Керенский был крайне смущен этим предложением и этими жесткими словами.

— Как же это сделать? — бормотал он. — Сами посудите... я не знаю... Но ведь на улице... может быть даже

самосуд... Чернь не знает, что такое благородство... Как же я поеду?

— Я вам дам надежную охрану, — сказал Краснов. — Возьмите в крайнем случае белый флаг. Может быть, тогда они вас и не тронут.

— Ну да разве что белый флаг... Тогда дайте мне надежней охрану... Иначе я не поеду...

— Если хотите, — ответил Краснов, — я попрошу матросов поехать с вами.

— Нет, не надо! — воскликнул Керенский. — Я с матросами категорически не поеду...

Керенский задумался.

— Нет, — сказал он вдруг решительно, — я не могу сдать большевикам... Я предпочту что угодно... Я прошу вас, генерал, увести хотя бы казаков от моих дверей. Их разговоры и топот ног меня нервируют... Я должен обдумать...

Краснов открыл дверь и, выйдя в коридор, сказал казакам:

— Казаки, пусть большевики сами как хотят поступают с этим Керенским. Не нам судить его и не нам его караулить. Я надеюсь, что он со временем даст ответ царю и России.

Керенский, полуоткрыв дверь, слушал слова Краснова.

— Станичники... — глухим и дрожащим голосом сказал он, шагнув в коридор.

Казаки, увидев Керенского, заволновались. Краснов махнул рукой, чтоб тот удалился. И когда Керенский ушел, Краснов снова обратился к казакам, говоря, что поставленный у самых дверей караул оскорбляет этого господина, что он еще не арестован и самочинный арест во всех отношениях незаконен и неправилен.

Казаки нехотя удалились от дверей и, спустившись вниз, расположились у входа.

Керенский стоял теперь у окна. Вся площадь перед дворцом кишела казаками. Решительно не было никакой возможности отсюда уйти. Глава правительства и верховный главнокомандующий, «вождь революционной России», кумир толпы и вчерашний властелин был обречен, и каждая секунда приближала его к последнему ответу.

Смерть или позорный плен — вот, кажется, неизбежный конец...

Вялость и безразличие сковали премьера, и он, почти безучастно, стоял теперь у окна.

Прапорщик Миллер со слезами смотрел на своего господина.

Офицер для поручений поручик Виннер спросил — пришло ли время застрелиться.

Вдруг глаза Керенского зажглись гневом и бешенством.

— Надо бежать, — сказал он глухо. — Машина ждет меня за парком... Надо найти выход... Ни о каком плене не может быть и речи. Ах, если бы можно было, господа, достать сейчас хоть какой-нибудь костюм!

Поручик Виннер подал Керенскому дорожные очки, взятые им на всякий случай у шофера.

Оставалось дело за небольшим — надо было найти какой-нибудь костюм.

— Если бы можно было достать костюм матроса, — сказал Керенский, бегая по комнате.

Но как это сделать? Нет сомнения, что тут матросского костюма не достать. Да и спасет ли он Керенского?

Напротив, все обратят внимание на вышедшего из дворца матроса. Очки вряд ли помогут делу.

Офицеры выбежали из комнаты, с тем чтобы подыскать что-нибудь подходящее.

18. Бегство

Они вскоре вернулись с костюмом сестры милосердия.

Прапорщик Миллер, захлебываясь от волнения и бега, сказал, что этот костюм дала им сейчас проживающая тут, во дворце, старуха, великая княгиня. Сейчас у нее сидит неизвестная им молодая особа, которая сама вызвалась выйти с Керенским из дворца и проводить его до машины. Выйдя вдвоем, они, без сомнения, не вызовут подозрения у стражи.

Дрожащими руками Керенский стал напяливать на себя серое длинное платье, косынку и белый передник с красным крестом.

Он стал теперь походить на старую, рыхлую бабу с отвисшей челюстью.

Несмотря на трагизм момента, офицеры не могли удержаться от приступов истерического смеха — до того фигура сестры была страшна и неказиста.

Действительно, плохо выбритое бледное, зеленоватое лицо с рыжеватой щетиной, маленькие сверкающие глаза и чересчур крупная, далеко не женская голова придавали сестре милосердия устрашающий вид.

Керенский, поглядевши в зеркало, со стоном отпрянул назад.

Он молча стал срывать с себя тряпки, с ожесточением бросая их в угол комнаты.

Раздевшись, он тяжело опустился в кресло. Голова его склонилась на грудь. Быть может, в эти минуты он думал о Наполеоне, который отказался бежать с острова св. Елены только потому, что его хотели перенести на корабль в бельево́й корзине. Император не пожелал до этого унизиться.

Полураздетый и неподвижный сидел Керенский в кресле. Сознание почти покидало его.

Офицеры стали уговаривать Керенского надеть это платье, так как ничего другого не оставалось. И, кроме того, нельзя было медлить — незнакомка ожидала его в коридоре.

Снова дрожащими руками Керенский, с помощью офицеров, стал надевать на себя этот дамский убор и, побольше закрыв лицо косынкой, неуверенной, расхлябанной походкой вышел из комнаты, путаясь в длинных юбках.

В коридоре его ждала незнакомая ему молодая женщина в костюме сестры милосердия.

Взяв его под руку, она спустилась с ним по лестнице. И они вдвоем, беспрепятственно пройдя мимо охраны, вышли на двор, полный казаков. Казаки посторонились, давая дорогу взволнованной молоденькой сестрице, волочившей под руку свою, быть может разбитую параличом, мамашу, у которой заметно подгибались ноги.¹

Инсценировка как нельзя лучше удалась, потому что игра была, видимо, близка к реальности и ничуть не за-

¹ Отметим кстати, что сам Керенский, рассказывая о своем бегстве, не счел удобным для истории написать, как он исчез из дворца. Он только глухо пишет: «Нелепо переодетый, я прошел мимо караулов...» И это понятно: комический и нелепый нряд как-то неважно выглядит на страницах истории.

трудняла актеров. В самом деле, тут было от чего подгибаться ногам — игра была ва-банк. И если бы в таком виде обнаружили Керенского — ему, несомненно, было бы несдобровать.

Пройдя через парк и крепко пожав руку своей спутнице, Керенский, никем не замеченный, доплелся до своего автомобиля и плюхнулся в него.

Свидетелей не было, и мы не знаем, как шофер реагировал на появление Керенского в этом наряде. Возможно, что он его сразу не узнал, и очень возможно, что между ними произошел какой-нибудь исторический разговор.

Все это было неизвестно. Известно только, что машина с бешеной скоростью помчалась к Пскову.

Когда выехали на шоссе, Керенский с полным отчаянием увидел вдруг подходившие к Гатчине эшелоны. Сердце его замерло, и он хотел вернуться. Но нелепый наряд не позволил ему это сделать.

Надо сказать, что Керенский не ошибся. Это действительно из Луги шел эшелон с ударниками, за которыми выехал Савинков.

Но еще до этого от Савинкова пришла телеграмма, которая и была оглашена на казачьем комитете. В телеграмме говорилось, что из Луги отправлено двенадцать эшелонов.

Телеграмма эта вызвала среди казаков некоторое замешательство. Казачий комитет, давший уже согласие на арест Керенского, снова стал обсуждать положение.

И Керенский, которого должны были арестовать, получил благодаря этому время и возможность бежать.

Эта телеграмма, помогшая Керенскому уйти, сыграла, впрочем, положительную роль в деле боевой подготовки. Подходившие отряды матросов успели подготовиться к встрече ударных батальонов.

Между тем казаки, пришедшие арестовать Керенского, не нашли его в комнатах. Слух о бегстве тотчас повсюду распространился. Стали обыскивать дворец, но премьера нигде не было.

Поручик Виннер и часть офицеров Керенского, воспользовавшись замешательством и суматохой, бежали, сорвав с себя погоны и кокарды.

Адъютант Керенского, прапорщик Миллер, замешкавшись во дворце, был арестован.

Вскоре в Гатчину вступили Финляндский полк и первый отряд матросов.

Через два часа все юнкера и казаки были обезоружены.

Когда пришли к Краснову, он спросил:

— Вы меня расстреляете?

— Нет. Мы вас отправим в Петроград.¹

Между тем отряд матросов выехал навстречу эшелонам ударников, которые выгружались теперь в пяти километрах от Гатчины. И энергичный Савинков лично собирался их вести.

Несколько матросов направились к отрядам Савинкова и предложили им сдать.

Савинковцы (которых было около трех тысяч) стали обсуждать положение и после кратких переговоров перешли на сторону большевиков.

Группа офицеров, во главе с Савинковым, бросилась бежать, отстреливаясь.

Сами солдаты, установив свои пулеметы, стали расстреливать бежавших.

Последняя попытка подавить оружием пролетарскую революцию снова бесславно рухнула.

19. Издалека

В костюме сестры милосердия Керенский, приехав в Псков, снова явился к своему родственнику, и тот сообщил ему о разосланной повсюду телеграмме от имени 3-го казачьего корпуса:

«Керенский позорно бежал, предательски бросив нас на произвол судьбы. Каждый, кто встретит его, где бы он ни появился, должен его арестовать, как труса и предателя».

¹ Отправленный в Петроград Краснов был арестован, но вскоре выпущен под честное слово (с тем чтобы он никуда не убежал); но генерал, охотно дав слово, не выполнил его. И при первом удобном случае бежал на Дон. На Дону он был выбран атаманом «Все-великого войска Донского» и вскоре повел казаков в наступление против советских войск. Он стал одним из опаснейших врагов Советского Союза.

Переодевшись в гусарскую шинель, Керенский не без трепета явился к Черемисову.

В точности неизвестно, что там было и какие унижения вынес Керенский. Генерал Черемисов остался верен своему слову и ночью с помощью офицеров перебросил Керенского через линию фронта.

В общем, Керенский бежал за границу. Первые шаги его истории неизвестны, но месяца через два он появляется в Праге и читает там лекции о судьбах России.

На одной из лекций, кажется год спустя, к нему подошел один из русских эмигрантов и ударил его по лицу, сказав, что он бьет человека, который погубил Россию.

Керенский покинул Прагу и вскоре обосновался в Париже, где, помимо политических дел, занялся журналистикой и докладами.

Он стал ездить с разного сорта докладами и по другим странам. И несколько раз не без успеха посетил Америку и Англию.

В двадцать третьем году он выпустил в Париже книгу, названную им «Издадека».

В этой книге собраны его статьи, доклады и фельетоны.

Мы просматривали эту книгу. Весьма слабые, бесцветные фельетоны не создали бы ему даже и посредственное имя среди журналистов.

Совершенно слабенькие фельетоны полны крикливыми и шаблонными выражениями: «Свершилось»... «Горе маловаерам»... «Руки прочь»... «Ужасы жизни»... «Геростраты наших дней»... и т. д.

Следует отметить, что желание принести благо человечеству с помощью своей особы не оставляет его и тут. И он оплакивает «несчастных, ни в чем не повинных братьев наших», брошенных им на произвол судьбы.

В общем, судя по его книге, он действительно ничего не понял, что с ним было и какую жалкую роль он сыграл двадцать лет назад.

В настоящее время Керенскому пятьдесят шесть лет. Он живет в Париже. И говорят, что он еще сравнительно ничего себя чувствует.

Шестая повесть Белкина

ОТ АВТОРА

В дни моей литературной юности я испытывал нечто вроде зависти к тем писателям, которые имели счастье находить замечательные сюжеты для своих работ.

В классической литературе было несколько излюбленных сюжетов, на которые мне чрезвычайно хотелось бы написать. И я не переставал жалеть, что не я придумал их.

Да и сейчас имеется порядочное количество таких чужих сюжетов, к которым я беспокоен.

Мне бы, например, хотелось написать на тему Л. Толстого — «Сколько человеку земли нужно». Это удивительная тема, и она выполнена Толстым с колоссальной силой. Тем не менее мне хотелось бы еще раз заново и по-своему подойти к ней.

Мне хотелось бы написать на некоторые сюжеты Мопассана, Мериме и т. д.

Но относительно Пушкина у меня всегда был особый счет. Не только некоторые сюжеты Пушкина, но и его манера, форма, стиль, композиция были всегда для меня показательны.

Иной раз мне даже казалось, что вместе с Пушкиным погибла та настоящая народная линия в русской литературе, которая была начата с таким удивительным блеском и которая (во второй половине прошлого столетия) была заменена психологической прозой, чуждой в сущности духу нашего народа.

Мне казалось (и сейчас кажется), что проза Пушкина — драгоценный образчик, на котором следует учиться писателям нашего времени.

Занимательность, краткость и четкость изложения, предельная изящность формы, ирония — вот чем так привлекательна проза Пушкина.

Конечно, в наши дни не должно быть слепого подражания Пушкину. Ибо получится безжизненная копия, оторванная от нашего времени. Но иногда полезно сделать и копию, чтоб увидеть, каким секретом в своем мастерстве обладал великий поэт и какими красками он пользовался, чтоб достичь наибольшей силы.

У живописцев в отношении копии дело обстоит проще. Там достаточно «списать» картину, чтобы многое понять. Но копия в литературе значительно сложнее. Простая переписка ровным счетом ничего не покажет. Необходимо взять сколько-нибудь равноценный сюжет и, воспользовавшись формой мастера, изложить тему в его манере.

Поэтому сделать сносную копию с отличного произведения не есть ученическое дело, а есть мастерство, и весьма нелегкое.

Во всяком случае в моей литературной юности подобную копию мне никак не удавалось сделать. Я не понимал всей сложности мастерства и не умел владеть красками, как это следовало.

И вот теперь, после семнадцати лет моей литературной работы, я не без робости приступаю к копии с пушкинской прозы. И для данного случая я принял за образец «Повести Белкина». Я надумал написать шестую повесть в той манере и в той «маске», как это сделано Пушкиным.

Сложность такой копии тем более велика, что все пять повестей Пушкина написаны как бы от разных рассказчиков. Поэтому мне не пришлось подражать общей манере (что было бы легче), а пришлось ввести по-настоящему новый рассказ, такой рассказ, который бы мог существовать в ряду повестей Белкина.

Это усложнило мою работу. А еще более усложнило то, что мне не хотелось быть слишком слепым подражателем. И я взял тему совершенно самостоятельную, не такую, которая была у Пушкина, а такую, которая могла быть, по моему разумению.

Наверно, и даже конечно, я сделал в своей копии погрешности против стиля и главным образом против обри-

совки характеров, но я не мог в своей копии кое-что оставить в вековой неподвижности.

Было бы правильнее каждую черточку прозы Пушкина передать в том виде, как она есть, но чувства писателя моего времени, вероятно, дали некоторый иной оттенок, хотя я и старался этого избежать.

Итак, я предлагаю вниманию читателя копию с прозы Пушкина — шестую повесть Белкина, названную мною «Талисман».

А. С. Пушкин был велик в своей работе и смеясь писал (Плетневу), что некоторые литераторы уже промышляют именем Белкина и что он этому рад, но вместе с тем хотел бы объявить, что настоящий Белкин умер и не принимает на свою долю чужих грехов...

Прошло сто лет, и вот я «промышляю» Белкиным с иной целью — из уважения к великому мастерству, на котором следует поучиться. И пусть теперь читатель судит, какие новые грехи возложены мной на Белкина.

В заключение мне хочется сказать, что в основу моей повести положен подлинный факт, благодаря чему взыскательный читатель может прочитать мою работу и без проекции на произведения Пушкина.

1936

ТАЛИСМАН

Не титла славу нам сплетают,
Не предков наших имена.

Херасков.

I

В бытность мою в*** армейском полку служил у нас переведенный из гвардии гусарский поручик Б.

Офицеры весьма недоверчиво отнеслись к нему, полагая, что на совести его лежат многие не слишком славные поступки, приведшие его в наше унылое местечко.

Простреленная и изуродованная его рука нас еще более убедила в том, что жизнь этого офицера была затемнена многими облаками.

Но гусарский этот поручик прехладнокровно отнесся к нашему афронту; он дружества ни с кем не искал

и держался с нами сухо и независимо; надменность была отличительной чертой его характера.

Полковой командир на все наши вопросы отзывался незнанием; он отвечал, что поручик добрый малый, но буйан и весьма несдержан в своем злоречии; он не ладил со своим командиром и после одного несчастного случая был из гвардии переведен сюда; но каков именно был этот случай, полковник не знал и не почитал удобным узнавать стороною.

Итак, мы видели перед собою человека, закинутого случайными и несчастными обстоятельствами в наше глухое местечко и не пожелавшего в равной степени разделить с нами свою участь.

Мы сразу невзлюбили его и искали повода задеть его надменность или даже вызвать на столкновение.

Случай помог нам выполнить наше недоброе намерение.

Полагая, что простреленная и изуродованная его рука есть результат случайного происшествия или несчастный конец его поединка, один из офицеров спросил его:

— Не в рукопашной ли схватке с французами вы получили, поручик, сие ранение?

— Мне приходилось быть в походе противу французов, — сухо отвечал поручик, — но я на поле сражения в рукопашном бою не был.

Мы не унимались; его ответ показался нам смелым и забавным; один из офицеров, дерзко глядя ему в лицо, сказал:

— Где же в таком случае вы накололи свою руку, сударь?

Поручик, поняв наши намерения, страшно побледнел; была секунда, когда собеседники хотели схватиться за сабли; но потом, сдержавшись, поручик сказал:

— Извольте, ротмистр, выбирать более достойные слова для своих вопросов. Отдаленность от столицы, сколь вижу я, приводит вас к дикости.

И с этими словами он, повернувшись на каблуках, пошел к выходу.

Ротмистр хотел было броситься к нему, но мы его удержали.

Положение было крайне щекотливое. Нельзя сказать, что повод для дуэли был весьма обстоятельный, тем не

менее ротмистр почел себя крайне обиженным и решил драться. И с каждым стаканом вина он все более приходил к мысли, что полученное оскорбление можно лишь смыть кровью.

Он упрямил меня и двоих офицеров быть его секундантами. Мы согласились. И утром должны были передать поручику вызов. Однако несчастный случай прервал эти намерения.

Мы поздно разошлись из офицерского собрания, и ротмистр, вернувшись к себе домой, стал приводить в порядок свои дуэльные пистолеты. И, разряжая один из них, нечаянным образом выстрелил и убил себя наповал. Пуля ударила ему в подбородок и засела в мозгу; смерть была мгновенна и ужасна.

Смерть бедного ротмистра весьма нас смутила, но мы не могли не признать, что поручик был всего менее в этом повинен. И, погоревав о несчастном нашем ротмистре, мы стали забывать об этом глупом и жалком столкновении, закончившемся столь трагическим образом.

II

Прошло два месяца. Натянутые наши отношения с новым офицером постепенно перешли если и не в дружество, то в добрые и короткие отношения.

Он и в самом деле оказался на редкость славным малым. И, пожалуй, он из нас сильнее всех жалел о несчастной судьбе погибшего ротмистра. Он нам сказал, что не может себе простить ту мальчишескую вспыльчивость, которая не отвратила столкновения.

Эта его сердечность послужила первой причиной нашего сближения. И, видя его истинное и трогательное огорчение, мы даже стали его однажды утешать, говоря, что нельзя в нем видеть причину несчастья, что он поступил так, как на его месте поступил бы всякий воспитанный человек; и, вероятно, такова уж печальная судьба у нашего бедного ротмистра, если даже его жизнь не была сбережена талисманом, носимым постоянно им на груди.

Поручик с благодарностью стал пожимать наши руки и с непонятным для нас волнением спросил:

— Каков, однако, был талисман у него?

Но мы не много знали об этом предмете. Ротмистр привез талисман из Персии и, будучи суеверным человеком, никогда с ним не расставался, считая его средством против дурного глаза и несчастного случая. Однако ж, как мы видим, жизнь судила иначе.

— В таком случае, господа, — сказал поручик, — я расскажу вам еще об одном талисмани, и ваша воля думать об этом как угодно.

И тут мы с величайшим интересом услышали следующий рассказ:

— В начале тысяча восемьсот двенадцатого года, в эпоху, как известно, столь бурную военными событиями, служил в нашем гвардейском полку сын отставного генерала и помещика К.

Прекрасно обеспеченный и избалованный с нежного возраста, молодой наш гусар, очутившись в блестящем гвардейском полку, предался кутежам и веселию. Буйства, картежная игра и шалости наполнили все дни молодого человека. Нередко он после ночного разгула являлся на ученье прямо во фраке и с цилиндром в руках, чем приводил славного полкового командира в ужасный гнев и раздражение.

Жалобы со всех сторон усиливали гнев командира, и он не раз обещал сообщить его родителю о всех невозможных проказах, кои вполне могли закончиться печально. Но молодой наш гусар, как говорится, и в ус не дул и со смехом выслушивал нотации своего полкового командира.

Скорее из шалости и озорства, чем из сердечных побуждений, он вступил в связь с женой своего полкового командира, еще в достаточной степени молодой и на редкость красивой женщиной, Варенькой Л., на которой полковник два года назад женился после осемилетнего вдовства.

Эта связь нашего гусара с Варенькой Л. была скандальной в высшей степени, и она вскоре стала известной решительно всем, кроме мужа. Влюбленная дама, забыв всякую осторожность, открыто стала всюду появляться в сопровождении нашего поручика.

Громадные его проигрыши и скандальные происшествия служили неизменной темой во всех светских гостиных. Но это, казалось, еще более возвышало офицера в его собственных глазах.

Полковой командир наш, предвидя несчастья, снесся письмами с отцом шалолая, но это отнюдь не послужило спасением; сей престарелый родитель, получив достойное письмо, возымел намерение почти всякий день писать полковому командиру наставительные письма, давая в них по пунктам и параграфам советы и указания, как ладить с молодыми современными людьми, вступившими в светский путь.

На всякое письмо бедный наш командир, памятуя славное имя родителя, считал своей обязанностью исправно ответить; но ежедневная бессмысленная переписка вызвала обратное действие, и вскоре получатель сей возвышенной словесности проклинал себя за неосторожное намерение и даже стал приходить в содрогание от звуков ненавистной ему фамилии.

Нечаянное происшествие изменило все.

Поручик по весьма ничтожному поводу послал вызов молодому семнадцатилетнему графу Р. и тяжело ранил его пулей в грудь навывлет.

Семья графа Р. подала жалобу государю, и впредь до высочайшего повеления поручик был посажен под арест.

Полученные от полка сведения были неблагоприятны для судьбы поручика; полковой командир не нашел причин сколько-нибудь порядочно аттестовать его и, полагая, что этот случай избавит его, наконец, от буяна, дал о нем самые убийственные сведения.

Но в ту пору начавшаяся война с Наполеоном задержала решение государя. Полчища французов быстро подходили к сердцу нашего любезного отечества.

Наше войско было двинуто противу французов, но оно не имело сил сдержать их натиска.

Гвардейские полки стали принимать боевую готовность, и нам вскоре было велено выступить в поход.

Энтузиазм в столице был в ту пору всеобщий. Престарелый родитель поручика К., благороднейшая и возвышенная душа которого пылала ненавистью к узурпатору, прислал полковому нашему командиру наставление, что сделать с Наполеоном, буде он попадет к нам в плен.

«Наполеонишку, — писал старый воин, — заставьте самого себя съесть. Посадите в отдельное надежное помещение и, отрезав от злодея одну ногу, кормите его этим

в течение одного месяца, покуда он все не съест. Засим то же сделать с остальными членами, и тогда господь бог приберет его в том виде, какого он вполне заслужил перед лицом всего мира».

Освобожденный из-под ареста поручик отправился в поход вместе со своим полком. Но каково было всех удивление, когда в пути нас нагнал фельдъегерь с высочайшим приказом разжаловать поручика К. в нижние чины.

Мы все не ожидали подобного жестокого осуждения.

Между тем полковой командир, не скрывая своего удовольствия, запросил главнокомандующего, куда ему девать разжалованного в солдаты, но главнокомандующий не сосчитал возможным до конца боевой обстановки сделать перевод в другую часть. И разжалованный поручик К. продолжал совершать поход вместе с нами. Полковой командир был открыто этим раздосадован и не скрывал своего раздражения противу К., который и теперь не терял расположения духа и насмешливостью отвечал на все сердитые взгляды командира.

Однако ж события наступали с решительной быстротой; наш полк дважды уже имел жаркое столкновение с французским войском и выходил из этого с честью.

Отведенный для пополнения в местечко С***, наш полк собирался вскоре выступить в поход, как вдруг произошли события, по своей важности исключительные.

Без меры влюбленная жена полковника, потеряв всякую осторожность, приехала сюда для свидания с мужем, но все отлично видели в этом желание встретиться с К., которого, по ее мнению, разжаловали стараниями мужа.

Скандал был страшный и необыкновенный по своим последствиям; Варенька дважды падала в обморок, объясняясь с мужем, и несчастный наш полковой командир, устранившись дальнейшего, пообещал ей похлопотать перед государем о восстановлении разжалованного.

Свидание с К. было трогательным и печальным. Варенька, обливаясь слезами, надела на его шею металлическую цепочку с головой дракона, сказав, что не раз этот талисман сохранял жизнь ее отцу и не раз из несчастия выводил его на путь радости; и что пусть этот талисман отвратит теперь от поручика все беды.

Несчастнейший наш командир и муж этой забывшей свой долг женщины прервал это свидание, явившись сообщить офицерам, что сюда ждут приезда великого князя Константина Павловича.

Командир, не имея сил разорвать свои отношения с неверной женой, был бледен и раздражен в высшей степени; была минута, когда мы ждали, что он ударит хлыстом своего соперника. Но он имел мужество подать руку своей жене и увел ее, плачущую и дрожащую, к подъехавшей коляске.

Тотчас полк стал готовиться к приезду царственной особы; и не прошло и часу, как полку было велено построиться в поле в пешем строю. Прибывший великий князь обратился к полку с благодарностью, лестно хваля офицеров и солдат за доблестное сражение.

— Государь, — сказал он, — по заслугам наградит господ офицеров, списки коих будут представлены; что же касается нижних чинов, то мы просим полкового командира назвать имена наиболее отличившихся на поле сражения.

Тотчас же к великому князю подошел адъютант, держа на шелковой подушке некоторое количество георгиевских крестов, недавно введенных для раздачи нижним чинам.

Тут трудно сказать что-нибудь вразумительное, но полковой наш командир в ответ на слова великого князя, быть может разгоряченный недавним семейным скандалом и полагая, должно быть, что речь зашла как раз о тех обидчиках, кои отравляли ему жизнь, назвал ненавистную фамилию своего разжалованного в солдаты соперника.

Произнеся это имя, полковой командир сделался блее своего платка, который он судорожно поднес к своему рту.

Мы все в одно мгновение замерли, полагая, что он поправится в своей ошибке, хотя это было бы в высшей степени неприлично и чудовищно, но старый воин, воспитанный на традициях покойного государя, произнеся эту фамилию, не сосчитал возможным в присутствии царской особы признаться в совершенной ошибке и, назвав еще четыре фамилии, смолк, безумно глядя на всех нас.

Тотчас адъютант повторил эти пять фамилий, и из рядов вышли пять нижних чинов, коим великий князь лично к шинелям приколот высокие награды.

Положение было тем более неприлично и скандально, что бедный наш разжалованный офицер не был участником в сражении, находясь в ту пору в прикрытии к обозу.

Между тем великий князь, попросившись с войском, удалился под несмолкаемые крики «ура»; всем было велено разойтись, и офицеры, оживленно обсуждая событие, направились к палаткам.

Бедный разжалованный поручик с приколотым крестом смущенно стоял, не зная, что ему сделать и как поступить. Слезы выступили у него на глазах, и лицо пылало от стыда и досады. «Так вот оно, немедленное действие талисмана», — подумал поручик и хотел было сорвать с себя амулет, чтобы счастье не было к нему столь сразу благосклонным и бурным в своем проявлении.

Подошел к офицерам, он сказал, что их улыбки и смех были бы для него тягостны, но, как честный и порядочный человек, он признает, что невозможно оставить сей крест, так случайно и ошибочно им полученный. Между тем нету способа отказаться от него, не поставив себя и командира в ужасное и комическое положение.

— Но я нашел выход в моем отчаянном положении, — сказал он, — и в самое ближайшее время я непременно постараюсь сделать какой-либо поступок, который оправдает столь высокую награду, случайно полученную мной.

Офицерам чрезвычайно понравилась его смелая мысль заслужить таким путем полученное уже награждение.

И вот в течение нескольких дней весь полк с волнением видел, как несчастный поручик искал способа заслужить то, что он уже имел; он проявлял свою храбрость решительно всюду, где это было возможно, он выезжал в разведки и бешеным аллюром скакал на лошади под градом французских пуль, однако настоящего дела у него еще не было.

Но вот, наконец, получен был приказ из штаба нашей армии узнать расположение врага к югу от местечка Н.

Тотчас разжалованный поручик вызвался это сделать и, вскочив на лошадь, отправился на линию наших дозоров. Проехав версты три, он оставил лошадь в поле и, подойдя к одному селению, стал набрасывать на бумаге расположение французской пехоты, беря во внимание дым костров и далекое движение военных частей.

Выстрел один и другой прогремели над ним; он упал на землю и пополз, чтобы скрыться из виду заметивших его французов. Но едва он залег в ложине, как трое всадников, подскакав к нему, в одно мгновение схватили его и, как он ни сопротивлялся, обезоружили и связали ему руки. Положение было отчаянное.

Не признавшись в знании языка, пленник на все вопросы молчал, и тогда его повели в селение; но он и там перед французскими офицерами держался как человек, впервые слышавший французскую речь.

Сердце упало у поручика, и он стал мысленно прощаться с миром, когда французы, обыскав его, сняли с него талисман. Поручик протянул было свои связанные руки, чтобы взять талисман назад, но французы не разрешили ему это сделать и, сложивши вместе отобранные вещи, передали его одному из двух конвоиров, коим было повелено строжайшим образом следить за пленным, говоря, что это шпион и его следовало бы застрелить на месте, если бы штаб армии не приказал доставить сегодня нескольких русских для ознакомления с намерениями противника.

Два француза-конвоира, подталкивая прикладами, повели связанного по рукам шпиона.

Было раннее утро. На полях лежал иней, и лужи были подернуты тонким льдом. Конвоиры в легких мундирах, дрожа от утреннего холода, торопили пленника, побуждая его идти быстрее.

Пройдя не более двух верст, они остановились около угасавшего костра, кем-то оставленного. Потирая руки, они присели на корточки, чтобы немного согреться; пленник сделал то же самое. Один из конвоиров, желая положить хворосту в угасший костер, пошел поискать у опушки леса сухих сучьев.

В одно мгновение в голове К. созрел план действия. Надо было тотчас бежать, убив оставшегося француза.

Но связанные веревкой кисти рук делали его поистине беспомощным. Тогда, протянув связанные руки к костру, поручик захотел было огнем пережечь веревки. Ужасающая боль ожога заставила его оставить это намерение. Тогда, выбрав несколько пылающих углей, поручик незаметно положил на них свои руки, чтобы угли пережгли его пути. Еле сдерживаясь, чтоб не закричать от адской боли, К. бешеным усилием воли подавил невероятную боль. Раскаленные угли постепенно пережгли веревку, опалив ему ладони и пальцы рук.

Засим, почувствовав, что веревка больше не сдерживает его рук, поручик, как тигр, одним прыжком бросился на сидевшего на корточках француза и схватил его за горло. Несчастный француз захрипел, и ружье его выпало из рук.

В одно мгновение поручик, обшарив убитого, схватил его бумаги и, найдя среди них талисман, вздохнул с облегчением. Теперь, казалось ему, победа будет за ним. Мысль, что талисман у него, придала ему необычайное мужество и уверенность.

В этот момент другой француз, заметивши недоброе, бежал что есть силы к костру. Поручик схватил ружье, чтобы в него выстрелить, но обожженные и изуродованные борьбой руки не слушались его. Взяв все же с собой ружье, поручик бросился бежать, но, увидев это, француз стал стрелять по нем. Еле преодолевая боль, поручик тоже выстрелил и первым же выстрелом ранил француза. Несчастный упал и пополз в сторону.

К. бросился бежать, боясь, что громкие выстрелы всполошат недалекие лагеря. И действительно, пробежав несколько сот шагов, поручик заметил, что к костру спешили французы. Надо было торопиться. Едва переводя дух, К., не останавливаясь, бежал все быстрее. Сознание, что с ним талисман и снятый план расположения врага, придало ему неслыханную силу.

Но погоня была уже близка. Уже видны были всадники в красных эполетах, ехавшие по его следам. Положение снова создалось отчаянное. Но тут поручик увидел оставленную им в поле лошадь. Она смиренно стояла на том месте, где он ее оставил. Она тихо заржала, как бы приветствуя своего хозяина.

Поручик вскочил в седло и, как баба, обняв доброго коня за шею, вихрем понесся вперед. Раздались выстрелы.

Несколько пуль весьма близко прожужжало над его головой. Одна из пуль обожгла его плечо. И поручик почувствовал, что он ранен. Но добрый конь с лихостью рванулся вперед, и вскоре французы, увидя близкое расположение русских, оставили свое намерение.

Лошадь на бешеном скаку влетела в наше селение. И как вкопанная остановилась около наших палаток. Поручик, разжав руки, без чувств свалился с коня; и, упав плашмя на землю, остался недвижим.

Тотчас все его обступили. Кровь тихо струилась из его раны. И все подумали, что он умер. Побежали за врачом. Оказалось, что беглец жив, но в глубоком обмороке.

Поручик Б. замолчал. Видно было, что волнение его душило. Офицеры, его окружавшие, не прерывали этого молчания.

Наконец один из нас сказал:

— Но что же было дальше?

— Раненого отнесли в лазарет, — сказал поручик. — Офицеры обступили его койку; пришел полковой командир; поручик, увидев его, сорвал с себя крест и бросил его к ногам полковника. Он сказал: «Возьмите назад то, что я получил случайно».

Все ахнули, когда он так сделал. Это было большое преступление. Но в ту же минуту все увидели, что поручик решительно был без памяти; и действительно, нервная горячка держала его при смерти в течение двух недель.

III

Поручик Б. снова замолчал. Казалось, он не находил слов для дальнейшего.

Я спросил его:

— Он получил новый орден?

— Нет, — сказал поручик, — военное командование признало случай исключительным, ему вернули чин, но ранее полученный орден заменен другим не был. Однако поручик, не желая носить случайный крест, снова возоб-

новил свои ходатайства, но вот третий год, как нету результата.

— А где ж теперь этот храбрый офицер? — спросили мы.

— Он, сказывают, служит в армейской части.

— А его руки? Полностью ли они зажили, или же он навсегда остался калекой?

Была лишь одна секунда, когда поручик взглянул на свои изуродованные руки, и они у него дрогнули; мы все в одно мгновение поняли, что славный поручик К. и есть наш рассказчик.

Мы стали пожимать его руки, и он, страшно смущаясь и краснея как барышня, признался нам, что он и был действующим лицом во всей этой истории.

— А талисман?.. — спросил один из нас. И тут мы все в одно мгновение подумали, что наш бедный ротмистр, погибший столь нечаянным образом перед дуэлью, не есть ли жертва таинственной силы этого талисмана, который, как мы сейчас видели, многократно оберегал поручика от случайных бед. Не есть ли смерть несчастного ротмистра еще один случай одного и того же дела?

Мы стали просить, чтобы поручик нам показал этот талисман, столь ревностно оберегавший его судьбу.

Поручик, засмеявшись, сказал:

— Я потерял его, господа. В тот момент, когда я вскочил на лошадь, чтобы бежать от французов, он выпал у меня из кармана; я хотел было остановить коня, чтобы поднять его, но точно рассчитал, что потерянные при этом две минуты создадут мне более сильную опасность, нежели потерянный амулет. Соображение это было правильным, и я остался, как видите, жив. И вот уже третий год моя судьба, увы, никем не оберегается. И нету оснований признавать, что талисман, быть может, явился причиной смерти бедного нашего ротмистра.

Мы разочарованно переглянулись, увидев, что это и в самом деле так. Мы ожидали услышать иной конец, который еще более показал бы могущество талисмана. Но этого, увы, не было.

Мне хотелось узнать, куда же подевалась Варенька Л., но я не смел спросить. Поручик как бы понял мои мысли; он сказал, вздохнувши:

— Варенька Л., видя мое к ней равнодушие, разлюбила меня. Она вскоре после смерти полковника вышла замуж за Н. Сказывают, что она теперь безмерно счастлива.

Прошло полгода после этого рассказа. Поручик Б. был вызван к своему отцу, который находился при смерти. Он уехал и после этого к нам в полк не вернулся. Сказывают, что он бросил военную службу и стал заниматься хозяйством. И еще сказывают, что через год он все же получил заслуженный им георгиевский крест, с которым он никогда более не расставался, даже нося гражданское платье. И, женившись впоследствии на любимой им особе, всегда при случае называл ее кавалерственной дамой.

История одной жизни

На строительстве Беломорского канала (в августе 1933 года) меня заинтересовали не те люди, которые в силу случайности (или, как сказал один заключенный — в силу «мусорных обстоятельств») стали правонарушителями.

Меня заинтересовали люди, которые сознательно строили свою жизнь на праздности, воровстве, обмане, грабежах и убийствах.

Вот к этим правонарушителям, к их перевоспитанию я стал присматриваться со всей внимательностью. Мне не хотелось тут ошибиться. Мне хотелось увидеть подлинные, но, может быть, скрытые чувства, желания и намерения этих людей.

В самом деле. А что подумали эти люди, когда после праздной жизни столкнулись с тяжелым, повседневным трудом?

Что они подумали, когда им стали говорить о новой жизни, о перевоспитании, о социализме?

И что они подумали о своей будущей карьере и о возможностях этой карьеры в нашей стране, где нет крупных собственников и богатств и нет тех «блестящих» капиталистических отношений, которые создают, так сказать, изнанку жизни — грабежи, воровство и убийства — с тем, чтобы завладеть деньгами другого?

* *
*

Скажу правду, я скептически подошел к вопросу перевоспитания. Я полагал, что эта знаменитая перековка

людей возникла на единственном мотиве — на желании выслужиться, на желании получить волю, блага и льготы.

Должен сказать, что в общем счете я все-таки ошибся. Я на самом деле увидел перестройку сознания, гордость строителей и горячее желание жить иначе, чем прежде.

Да, конечно, мне пришлось увидеть и более слабые стороны этого дела. Например, я долго разговаривал с одним профессионалом — карманным воров. Он, наговорив мне кучу пышных фраз о своей подлинной перестройке, под конец, жалко улыбнувшись, сказал, что по выходе на волю за ним, конечно, следует присмотреть, чтоб он не свихнулся снова.

Мне пришлось также увидеть у некоторых заключенных излишнюю суету перед начальством, подхалимство и лишние восторженные слова и восклицания перед силой власти, которая, «как в сказке», переделывает людей и природу. За всем этим стояло лишь желание равнодушных в сущности людей выслужиться, желание быть замеченным, желание сделать карьеру. Человеческие свойства, достойные изучения не только в пределах лагеря.

* *
*

В те дни, когда я был на Беломорском канале, в одном из лагерей был устроен слет ударников этого строительства.

Это был самый удивительный митинг из всех, которые я когда-либо видел.

На эстраду выходили бывшие бандиты, воры, фармазоны и авантюристы и докладывали собранию о произведенных ими работах.

Но эти доклады не были сухими цифровыми отчетами. Это были красочные речи не только о своей теперешней работе, но и о своей прежней жизни, о прежних мытарствах и преступлениях.

Это были речи о перестройке всей своей жизни и о желании жить и работать по-новому.

Эти речи, при всей своей часто неграмотности и наивности, звучали как торжественные поэтические произведения. В них, мне думается, не было фальши, или выдумки, или желания ослепить начальство силой своей перестройки.

Я запомнил фразу, которую несколько раз не без гордости и самолюбования повторял один бывший бандит: «И теперь вы все берите с меня пример».

Нет, тут не может быть и речи (в общем счете) о той хитрости и коварстве, на которые идут иной раз люди для достижения своих намерений. Я не увидел тут ни подневольности, ни даже преднамеренности. Тут было почти все подлинное и полноценное.

* *
*

И вот среди этих удивительных ораторов и докладчиков выступил человек лет сорока, с темным, обветренным лицом, невысокий, крепкий, несколько лысый и, как мне показалось, необычайно мужественный и энергичный.

Он произнес речь о своей прошлой жизни, о заграничных скитаниях, о тюрьмах, в которых он сидел. И о том, что он тут сделал, и что с ним тут сделали, и что он намерен делать в дальнейшем.

Одна его фраза меня необычайно удивила. Он сказал: «Буржуазный профессор Ломброзо говорит, что мы, преступники, уже рождены преступниками. Мой отец, честный труженик, до сих пор работает. Моя мать — честная работница. А то, что случилось со мной, — я в этом раскаиваюсь и от этого окончательно ухожу».

Этот человек был известный международный вор, фармазон и авантюрист, ныне получивший почетный значок за свою отличную и даже героическую работу на строительстве.

Этого человека звали — Абрам Исаакович Р.

Этот человек за несколько дней до своего выхода на волю написал свою биографию. И эту биографию дали мне для литературной обработки.

* *
*

Его удивительная жизнь, описанная им самим, необычайна.

В самом деле — он вор и авантюрист. Он в течение двадцати лет ежедневно рискует своей головой.

Он шесть лет живет за границей. За ним охотятся европейские сыщики. Он бежит из России в Грецию, из Греции в Египет, из Египта в Болгарию. Его воровская карьера необычайна. Но еще более необычайна перемена его жизни.

Его биографию, написанную небрежно и неумело, со многими литературными погрешностями, длиннотами и повторениями, нельзя было, к сожалению, печатать без больших исправлений. Исправлять же такого рода вещи, за которыми стоит подлинная жизнь, яркий язык улицы, непридуманные характеры и наивность человека, далекого от литературы, — задача необычайной трудности.

Есть такая замечательная старинная книга — «Жизнь Бенвенуто Челлини».

Эта книга очень хороша. А между тем она написана неумелой рукой и решительно без всякого знания литературных правил. Быть может, этим она особенно хороша.

Когда эту книгу Бенвенуто Челлини дали в свое время одному умному человеку для того, чтобы он подправил ее для печати, он сказал: «Я отказываюсь «причесывать» эту книгу. Этим ее можно только испортить».

И эта замечательная книга, наивная и непрамотная, была напечатана без исправлений.

Нет, я не хочу сказать, что именно то же самое можно сделать с биографией Р — а.

Тут несколько иное дело. Тут композиция вещи сложна и запутана, и читателю было бы трудно следить за событиями. Тут была мертвая ткань, которую надо было оживить дыханием литературного мастерства.

Я «причесал» эту рукопись. Я вдохнул в нее жизнь. И все поправки сделал как бы рукой самого автора. Я сохранил его язык, его стиль, его незнание литературы и собственный его характер. Это была почти что ювелирная работа.

Такого рода работы мне приходилось и раньше делать. Это всегда требовало опытной руки и особого, почти актерского, умения чувствовать все свойства автора.

Итак, вот эта удивительная история жизни человека, написанная им самим и, так сказать, «обведенная» моей рукой.

1. Детство

Я, Абрам Исаакович, родился в Тифлисе. Мне сейчас сорок лет.

Мой отец служил рабочим у своего брата. Брат был богатый человек, а отец ничего не имел и почтительно величал своего младшего брата — Давид Исаакович.

У отца было пять сыновей и две дочери. А самый старший был я.

Мать отдала меня в Еврейское благотворительное общество, где учили бесплатно. Это было в своем роде шикарное училище, где давали ученикам на завтрак пирожки, кипяченое молоко, булки и даже по временам сосиски.

А когда я приходил домой, то дома часто не было никакой еды.

Мой отец, игрок по натуре, все дни проводил за домино и вдребезги проигрывался. А у матери были мелкие детишки, ей было тяжело жить. И она страдала от такой жизни, видя полуголодную семью.

А брат отца, то есть мой дядя, не знал никаких лишней и забот, и его дети ежедневно жрали виноград и яблоки.

А я на них смотрел и облизывался.

Тогда, чувствуя себя обиженным судьбой, я стал в школе таскать книги и учебники и продавал их букинисту. А на эти деньги тоже покупал себе лакомства. И, делая так, я думал: не беспокойтесь, я свое возьму.

Но вот меня заметили в этом некрасивом деле. Позвали мою мать и так сказали ей:

— Нехорошими делами занимается ваш сын. Возьмите его из нашей школы.

После этого отец бил меня палкой, а мать кричала: «Он больше не будет».

И вот я перестал ходить в школу. Я стал ходить по базарам. И видел там все, что можно было видеть: и как занимаются аферами, и как продают краденые вещи, и что делают люди, чтобы себе заработать на пропитание и на лучшую жизнь, чем они имели.

2. Первые аферы

И вот мальчишкой лет четырнадцати я пошел по торной дорожке.

Там, на базаре, я сблизился с одним человеком. Его звали Акоп. Он мне дал позолоченные часы и такой же браслет и велел это продать — будто это краденое. А сам он сделал вид, что хочет купить то, что я продаю. И даже нарочно стал со мной торговаться. Но тут какой-то жадный дурак распалился и купил у меня эти вещи кастрюльного золота.

После этой удачи мне стали поручать такие же аферы. И я это делал, но в награду получал пустяки. Мне говорили: «Молчи, или мы тебя побьем, а то и попросту умертвим».

Один раз меня арестовали, но, зная дядину фирму, никто не поверил, что я занимаюсь такими делами. А мировой судья, князь Церетелли, поверил, но посмеялся надо мной, говоря, что я такой маленький и уже так нахально и смело обманываю людей. И тогда меня отпустили.

Но потом меня вскоре поймали на другом деле.

Я одному полковнику продал «золотые» часы за сорок рублей. Он мне сказал: «Если будет еще — приноси всякий раз».

Но когда увидел, что это за часы, ужасно рассердился и заявил в полицию.

И вот тогда меня поймали и дали полтора месяца тюремного заключения.

Отец не ходил ко мне на свидания, а мать ходила. Она меня очень любила и страдала, что я сижу.

А когда меня выпустили, случилось так, что я сразу опять попался. Мне дали опять полтора месяца.

А когда по выходе я в третий раз попался, меня по закону, как рецидивиста, отвели в окружной суд.

И там мне дали шесть месяцев тюрьмы.

Я думал, что мне не повезло, что я так часто попадаюсь, но мне сказали — это вполне нормальное явление для тех, кто занимается таким делом.

3. Первая любовь

В тюрьме я быстро освоился и там не имел излишних огорчений.

В те годы я был очень энергичный молодой человек, очень расторопный и всегда многим нравился. И меня в тюрьме взяли в аптеку — разносить лекарства.

А когда я разносил по камерам лекарства, я познакомился с одной интересной девушкой, красавицей.

Она там же в тюрьме сидела по таким же приблизительно делам, как и я.

Она была воровка. Она работала по магазинам. Она была «городушница».

Она в меня влюбилась с первого взгляда и написала мне записочку о своей любви.

Она была казачка. Из Кубани. Ее звали Мария Корниенко. И она была так хороша собой, что все на нее глядели и все удивлялись, какие бывают женщины.

У нас завязался роман, но мне оставалось сроку до выхода месяц, а ей четыре месяца.

И мы с ней условились, что я буду ее ожидать во что бы то ни стало.

И вот я вышел на свободу и снова стал заниматься этими делами.

Я очень любил Марию. И зарабатывал больше, чем всегда. Я ей накупал такие передачи на двадцать и тридцать рублей, что вез все это ей в тюрьму на фаэтоне. И все удивлялись, как это я так много ей вожу.

Я одевался очень хорошо, был очень интересный, денег имел много, и передачи были такие, что она незаметно мною сильно увлеклась и страшно боялась, что я ее обману и не буду ее ждать.

Но я ее так полюбил, что ждал целых три месяца.

И вот она освободилась, вышла на свободу, и мы с ней стали жить как муж и жена.

4. Расплата

Но я тогда скрывался от военной службы (была германская война) и жил на «нелегальном» положении.

А мой отец, этот странный человек, пошедший против своего сына, заявил в полицию, где я.

Меня схватили, но я убежал. И жил с Марией, платя бешеные деньги за то, чтоб нас скрывали.

И, несмотря на это, мы с Марией занимались теми же аферами, что и всегда.

Но меня поймали с делом и отправили в Кутаис. Я снова убежал. И мы стали гастролировать с Марией и зарабатывать большие деньги.

А я тогда ходил в солдатской шинели, и все думали, что если я продаю, то, вероятно, продаю краденое. Все покупали, и мы с Марией жили очень хорошо. Я помогал своей матери. Я не отказывал своей матери ни в чем. И Марии тоже ни в чем не отказывал.

Но я попался на пустом деле. Я ходил в солдатской форме и не отдал чести одному фельдфебелю. Он меня так ударил, что я закачался на своих ногах.

Потом он меня арестовал и отправил к коменданту. А там выяснилось, кто такой я, и почему в форме, и чем занимаюсь.

Меня отдали военно-полевому суду. И я одиннадцать месяцев сидел до суда в заключении.

Одиннадцать месяцев я просидел в тюрьме и не знал, какая участь мне готовится.

Тут Мария, страдая за меня и вспоминая мои передачи, стала мне носить много всего. Нет, она, конечно, меня в этом не перекрыла, но я тогда оценил ее достоинство.

Она была магазинная воровка. И теперь, любя меня, шла на всякое преступление, только бы снабжать меня всем, что я хотел.

Но вот состоялся суд. И меня присудили к каторжным работам на восемь лет.

Моя мать упала на суде в обморок, а Мария так рыдала, что у меня буквально останавливалось сердце.

Меня отвели в отдельную комнату и привели туда этих двух дам, чтобы я с ними попрощался в последний раз.

И туда же почему-то пришел поп, и уговаривал мою мать не плакать, и дал мне несколько бутербродов, чтоб я закусил. Но я не взял эти бутерброды, потому что какие там могут быть бутерброды в такое время.

5. Избавление

Тогда Мария, уверенная в своей красоте, пошла к одному кавалерийскому генералу. Она встала перед ним на колени и сказала, кто она, и кто я, и что ей хотелось бы.

Она сказала:

— Он пойдет на позицию и искупит свою вину. Он снова заслужит свою честь.

Генерал ей сказал:

— Я на тебя удивляюсь. Ты казачка, а так удивительно просишь за жида. Хорошо, я постараюсь для тебя что-нибудь сделать.

Но он не сделал ничего, а на меня надели кандалы, и я стал дожидаться отправки и своей горькой участи.

Но тут вдруг наступил переворот.

Наступила Февральская революция.

Я вдруг слышу — ломают цепи и все кричат.

Нас выпустили всех на двор. И все кричали и бросали цепи на забор.

И тогда я взял топор, разрубил к черту свои кандалы и тоже повесил их на забор.

И тогда пришел какой-то человек в форме и сказал:

— Что вы делаете? Почему вы тут сидите? Даже кто сидел в городской тюрьме двадцать лет — и то все уже ушли.

Мы тоже захотели уйти, но вдруг приехал председатель исполкома и сказал:

— Подождите. Я отправил телеграмму Керенскому. Он завтра даст ответ, что с вами делать.

Тогда мы устроили митинг.

Мы дали Временному правительству обещание — не заниматься больше этими делами. Мы сказали:

— Нас, может, на это толкал царизм. Но раз теперь этого нету, то мы согласны заняться мирным трудом. И мы заверяем Временное правительство, что мы не вернемся больше к своему прошлому, которое мы клеймим позором и от него отказываемся.

Тут, как нарочно, снова приезжает председатель исполкома и говорит:

— Вот телеграмма от Керенского. Вы все свободны. Можете уходить. А я в вас уверен, как в самом себе.

И мы ему сказали: постараемся.

А когда я пришел домой, то вы можете себе представить, сколько было радости. Моя мама упала в обморок от счастья, и я боялся, что она умрет. А Мария и все друзья собрались как на свадьбу. Были нежные речи. На столе стоял самовар. И мы все сидели и удивлялись превратностям жизни.

6. Все по-старому

Нет, революция не произвела на меня впечатления. И я к своему делу не остыл.

Да, конечно, я дал Временному правительству обещание не возвращаться к старому — но что ж из того? Мне надо было самому о себе заботиться.

И я снова стал продавать камни за бриллианты и медь за золото.

Я стал большим мастером в этом деле и сам удивлялся, как это случилось и как чисто я веду свою работу.

Я стал иметь большие деньги, стал поигрывать в карты и так далее. Стал выпивать и не чуждался никаких земных удовольствий. А моя жена Мария была все равно как пьяная — так она меня любила и так она не замечала ничего.

А у нас в это время были в Грузии меньшевики.

Жена моя чудесно одевалась, и мы жили на Армянском базаре.

А в нее влюбился один национальный гвардеец Вассо.

Он ей так сказал:

— Знаешь, я решил твоего афериста убить во что бы то ни стало. И тогда ты непременно будешь моей. Я положу конец твоей прежней жизни.

И вот я сижу как-то в ресторане, и вдруг прибегает Мария.

Я вижу — она до крайности встревожена. Она взволнована, и боится, и так мне отвечает:

— Пойдем скорее, душка. Вассо сегодня хочет тебя непременно убить. Он тебя ищет. Он мне поклялся тебя застрелить.

Я говорю:

— Иди домой, а я вслед за тобой приду.

Она говорит:

— Только поскорей. Я имею тревожное предчувствие.

И сама уходит.

И вот я собираюсь вслед за ней уйти, как вдруг входит Вассо.

У него тут винтовка, тут маузер и тут холодное оружие. И он лицо имеет такое неприятное, что я содрогаюсь от своей участи.

Он садится напротив меня. Он кладет свой маузер на стол. И вешает винтовку на спинку стула. И он так мне говорит:

— А вчера мы до черта расстреливали вашего брата.

А тогда мне случилось все равно. Я был подвыпивши. Я был немного под мухой. Меня вдруг оскорбили его слова. Я ударяю кулаком по столу и так ему отвечаю:

— Вы черти, палачи — вот кто вы есть такие! Вы любите людей убивать. Вы есть гады своей страны и своего времени.

Вот он страшно закричал, схватил свой маузер и выстрелил в меня, но я вдруг вскочил на окно и прыгнул вниз.

И вот я прибежал домой.

Мы взяли поскорей с Марией кое-что и шли две станции пешком. Потом мы взяли билеты и поехали в Батум.

А Вассо, как я узнал после, прибежал на вокзал и там от бешенства стрелял в мирных жителей.

А в Батуме у нас была большая работа. Там у меня были подкуплены агенты уголовного розыска — товарищ Риза и армянин Самсон и, кроме того, начальник уголовного розыска Тоненберг. А также я был в контакте с начальником милиции и делился с ним деньгами. И я еще платил кое-что участковым приставам.

Я безнаказанно делал преступления, всем им хорошо платил и никогда не сидел, и они передо мной заискивали.

А жил я тогда у своего маленького брата, и там же была крошечная сестра, которая сейчас врач. Она сейчас доктор медицины.

Я жил тогда очень хорошо. Вся комната у меня была в коврах, и стояли цветы, и лучшая еда у меня не сходила со стола. И чего-чего у меня тогда не было.

7. Поездка за границу

В это время англичане решили передать Батум грузинам.

А мне знакомые сказали, что Вассо меня ищет, он разгромил к черту всю мою квартиру в Тифлисе и сейчас хочет приехать в Батум, чтобы со мной рассчитаться.

Вот тогда я пришел в английское управление к оккупационному командованию, взял паспорт для себя и для Марии, и вскоре мы отбыли в Турцию, в Константинополь.

Но там у нас, за границей, дела пошли сложней. Денег у меня не было, только были ковры. И в смысле заработков произошла заминка. А моя жена Мария была магазинная воровка, и в это время она меня сильно выручила своим международным делом.

Она ходила по магазинам и воровала материи. Она чудно одевалась, была очень красивая собой, и ей никто не решался ничего сказать, даже если видели что-нибудь похожее. Она была удивительно красивая — трудно даже описать — что ротик, что глазки, что ножки. На нее турки глядели и говорили: «О!»

Но вот вскоре приехали в Константинополь наши ребята из Тифлиса и Кутаиса.

И тогда мы решили снова продавать камни за бриллианты.

Я сказал:

— Они подумают, что мы награбили в России, и нам все поверят.

И вот мы стали прилично зарабатывать.

Я снова стал заниматься алкоголем, стал посещать шантаны, играть в карты и трепаться с шансонетками. Меня увлекла заграничная жизнь, которой я раньше не видел. А Мария плакала от этих дел и сказала, что она от меня уйдет, если я буду вести себя по-прежнему.

Но я не обращал на нее внимания. Я все равно как с ума сошел от новой, заграничной жизни.

8. Новые аферы

Мы тогда очень хорошо зарабатывали. Их агенты уголовного розыска нас отлично знали. Мы им порядочно платили, и они нас не трогали. Они были большие взяточники и любители денег.

Но их шеф полиции про это узнал. Он арестовал одного агента. А нас велел поймать во что бы то ни стало.

И вот нас, меня и двоих моих приятелей, Мишку Антошвили и Пашку Казанцева, вскоре поймали и отвели в мудриет, то есть в их уголовный розыск.

Но мы сумели откупиться на этот раз. Мы дали следователю денег и брильянтов.

А этот следователь был из греков. Ужасный арап и очень жадный до удовольствий человек.

Мы этому прохвосту дали брильянты, но ему все было мало.

Он вдруг захотел, чтоб мы еще познакомили его с нашими женами.

А у Пашки Казанцева жена была действительно ничего себе. И моя — уж и говорить нечего.

А следователю люди сказали, что наши жены очень хороши. Особенно Мария. Вот он и решил с ними познакомиться.

Он сказал:

— Брильянты — это брильянты, а это само собой.

Но мы сказали:

— Вы нас прежде выпустите, а там мы посмотрим и, наверное, познакомим.

На это он сказал:

— Вы забудете. А мне надо сейчас.

Тогда мы через одного нашего друга познакомили его с двумя хорошенькими шансонетками. Мы их подкупили и сказали греку:

— Вот это наши жены.

И хотя у грека явились сомнения (тем более он два раза видел Марию), но, как жадный до удовольствий человек, он загорелся погулять с ними. Ему было, конечно, безразлично, с кем. Он только справлял свое самолюбие и потому велел знакомить себя только с женами.

И вот после этого нас выпустили из тюрьмы.

И тогда мы снова стали заниматься брильянтами.

Но тут вскоре произошел с нами неудачный случай.

Мы тогда сделали аферу. Мы взяли у одного турка настоящие брильянты как бы посмотреть, а дали ему поддельные.

Дурак турок стал кричать, и нас арестовали и передали в Крокер-отель — в их оккупационный суд.

Этот дурак турок сам пришел туда и своими безобразными криками поднял на ноги все высшее командование.

Он кричал, что мы взяли у него настоящие камни и что он ничего подобного не видел в своей жизни. И он требовал, чтоб мы отдали взятое. (А камней у нас уже не было.)

Судьи прямо со смеху умирали. Они говорили турку:

— Так зачем же ты, дурак, отдал им свои брильянты? Вот чего мы никак не поймем.

Турок говорит:

— Они попросили полюбоваться игрой этих камней. А мне это было приятно. И я им дал эти камешки подержать.

Судьи до того смеялись над ним, что некоторые прямо со стульев падали. И даже, довольные таким смехом, решили нас отпустить.

Но тут как назло оказалось, что мы здесь зарегистрированы.

Они очень рассердились, когда из бумаг узнали, что я такой аферист. Они на меня кричали и топали ногами. И не стали больше смеяться над турком, а сразу присудили нас к шести месяцам каторжных работ и к четверемстам лир штрафа. А кто не заплатит штраф, тот пусть еще сидит полгода.

Но потом судьи опять стали смеяться, и я даже подумал, что они пошутили насчет каторжных работ. Но оказалось совсем иначе.

9. В английской тюрьме

Меня одного отправили на Багдадскую железную дорогу, на станцию Бостанжик, там была их оккупационная тюрьма.

И вот в этой тюрьме я просидел больше чем полгода.

Я был отрезан от всего мира. С Марией я виделся в последний раз перед судом. Она мне сказала:

— Если бы ты слушался меня, ничего подобного не случилось бы.

Я спросил ее:

— А будешь ли ты меня дожидаться?

Она сказала:

— Да, вероятно. Но не знаю в точности.

И вот я больше чем полгода сижу в английской тюрьме. И ни про кого ничего не знаю.

Мне было там очень тяжело сидеть.

Говорить, конечно, нельзя, курить нельзя. Камера одиночная. И во всем такая строгость, что вы, наверное, удивитесь.

Все делалось по команде. А если что не сделал — бьют боксом и в рыло и в живот и лишают завтрака, или там кофе, или варенья, или еще чего-нибудь.

Сразу, как меня привели в тюрьму, мне дали такой листочек, как меню. Там были написаны все правила тюрьмы. И переводчик мне эти правила прочел. Хотя я и сам понимал по-английски.

Мне дали жестянку с номером и сказали, что фамилии у меня теперь нету и нету имени, а есть номер, вроде как у собаки; — 1028.

И посадили в одиночку.

А до звонка там садиться нельзя было. Надо было стоять.

А когда был звонок, то надо было ложиться, а стоять уже не разрешалось. И я до сих пор не понимаю, как это у них бывает.

Еды давали мало, но она была довольно приличная на вкус. Но прикупить нельзя было, как, например, у нас. И вообще там хоть миллион имейте — никто передачи не дает. У них почему-то этого нету. И мне от этого было скучно сидеть. Я не видал ничьей заботы.

К работе они относились строго. Им надо было катить вал по дорожкам — утрамбовывать. Или бить щебенку. А если кто плохо делал — сержант подходил и давал хорошего бокса.

Но потом мне переменяли работу. Я понравился англичанам, и меня назначили шефом прачечной.

Вот там, в прачечной, я имел большой авторитет среди англичан. Я был хорошим исполнителем, и англичане удивлялись, какое отличное белье им выдают после

стирки. Нет, я сам не стирал, но я распоряжался этим делом.

Капралы и сержанты приносили в стирку белье и за это иной раз давали нам бутерброды. Это несколько скрашивало нашу жизнь.

Но вот на воле товарищи узнали, где я сижу, заплатили за меня штраф (иначе мне пришлось бы сидеть еще четыре месяца), и меня, наконец, выпустили.

Да, я вздохнул свободно, когда вышел из тюрьмы. Я удивился, какой хороший мир вокруг, и как мне все нравится, и какие надежды я еще имею.

10. Большая беда

Я вышел на свободу, но решил пока в Константинополь не ехать.

Мне хотелось заработать получше, чтоб явиться к Марии не с пустыми руками.

А я тогда стал уже о ней сильно тосковать. И мне захотелось ее удивить чем-нибудь особенным. Каким-нибудь драгоценным подарком.

Я тогда смотался ненадолго в Болгарию. Там подходяще заработал и поехал обратно в Турцию, в Константинополь.

Вот я туда приехал. Являюсь домой. И хочу Марию увидеть. Но хозяйка говорит:

— Ваша комната заперта на замок. И где ключ — я не знаю.

У меня буквально задохнулось сердце, и я отвечаю:

— А скажите, где же Мария?

Хозяйка говорит:

— Ваша жена уехала.

Тогда я чем попало открываю свою комнату. Я вхожу туда. Я вижу — на столе лежит письмо. Я беру это письмо. И вижу — это мне пишет Мария.

Она пишет мне письмо:

«Душка, я сегодня уезжаю на пароходе «Сицилия». А ты меня не ищи — все равно безрезультатно, не найдешь. Я из-за тебя много страдала, и теперь я уезжаю неизвестно куда. А к старому возврата нет».

Тут я начинаю понимать, что она меня обокрала.

Тогда я сразу раскрываю шкафы, гардеробы и мои чемоданы. Меня интересует знать, что именно она у меня украла.

Но вот я вижу — все лежит на месте и все не тронуту. Все лежит как лежало, и это было так удивительно, что я содрогнулся от своих мыслей.

Я тогда все перерыл. Нет, я вижу — она взяла только свое, а моего она ничего не тронула. И только она взяла себе часть денег, а часть денег она мне оставила. И на пачку этих денег в шкафу она положила пресс-папье. Она этим хотела сказать, что эти деньги она оставила не случайно, не позабыла о них, а, напротив, она мне их оставила на тот случай, когда я вернусь из тюрьмы.

И тогда я снова удивился, как она меня любит. Она едет на пароходе и в последний раз так обо мне заботится. Это меня тронуло до глубины слез. У меня слезы появились на глазах. И я только и мог сказать:

— Казачка... Мария Корниенко...

Потом я подумал: «Вот какая бывает женская любовь».

Ведь другая на ее месте непременно взяла бы все без остатка. А эта оставила мое. Все-таки она сильно меня любила.

И для меня это была очень большая потеря и большое сострадание, что Мария от меня уехала. Она бросила меня. Но она меня так бросила, как я желаю всем мужчинам, чтоб их так бросали.

У нас это бывает в преступном мире.

11. Поездка в Болгарию

Я тогда начал пьянствовать. Я сильно пил тогда. Я ходил по кабаре. Но ничего меня тогда не трогало и не увлекало.

Днем я работал по своим делам, а ночью пил и слушал пенью и пляски шансонеток.

И тогда моя любимая песня была: «Мы сегодня расстались с тобою без ненужных рыданий и слез».

И когда я входил в ресторан — все знакомые пели мне хором эту песню, и у меня слезы показывались на глазах.

Эту песню я и сейчас не могу слушать без содрогания.

А я тогда был интересный, и все женщины на меня глядели и делали мне предложения.

Но я шансонеток почему-то не любил и ни с кем не сходил.

И вот я прогулял все деньги и вскоре с одним близким другом поехал в Болгарию, в Софию.

Тут много было разных дел. Были большие продажи и аферы. Были разные немыслимые дела, от которых вы, наверное, удивитесь, если вам рассказать. Там меня как-то раз приняли за большевика. Меня избили и посадили в тюрьму. Но я откупился.

Там меня несколько раз арестовывали, но я освобождался. За мной ходили по пятам сыщики, но я ускользал от них.

Один раз меня после одного дела поймали и даже надели мне наручники. Но я сказал конвоиру:

— Подумаешь, преступление! Грабим буржуев, а не бедноту. Ведь мы эмигранты, и нам надо жить. Войдите в наше положение.

В общем, я уговорил его снять с меня наручники. А когда он снял, я взял и убежал.

После многих дел я порядочно заработал, но у меня не было интереса копить большие деньги, и я однажды все проиграл в казино. И не имел от этого сожаления. Со мной не было теперь Марии. На что мне было много иметь? А на себя я всегда мог заработать.

12. На гастролях

И вот тут начались мои странствования по разным странам.

Это было в 1925 году. Душа у меня в то время была беспокойна, и я не мог подолгу сидеть на одном месте. Но, может быть, я хотел где-нибудь встретить Марию и поэтому ездил.

В памяти моей мелькают разные страны и города.

Я приезжаю туда и сюда. Везде делаю деньги.

Снова уезжаю. А за мной сыщики ходят. И вся полиция в смятении следит за моими действиями.

Но я теперь ловко веду свои дела и всякий раз смело откупаюсь, если меня берут.

Я уезжаю из Софии. Приезжаю в Грецию. Там гастролирую. Затем еду в Яффу. И там занимаюсь разными темными делами.

Потом, в одно прекрасное утро, я неожиданно еду в Египет, в прекрасный город Александрию. Тем более мне давно про этот город говорили, будто там могут завариться хорошие дела.

И вот я на пароходе приезжаю в Александрию.

Это город красивый, но пыльный. И хотя это Египет, но там я не нахожу ничего египетского. Это город душный и малоинтересный. И там шантаны не очень хороши. Это кабачки.

Но там у меня происходят большие дела. И как может быть иначе? Я уже говорю на восьми языках и знаю такие обстоятельства, какие никому не известны из людей моего круга.

Но я не задумываюсь, что я делаю. Моя совесть была чиста и спокойна. Меня толкала жизнь на все эти аферы. И я ничуть не страдал душой, что я вор и грабитель.

Об этом я думаю теперь, а тогда я об этом не имел никаких мыслей. Встречая людей, я думал — что бы мне у них украсть. И мне тогда не было дела до мировой солидарности.

И вот, в этом городе Александрии, я случайно встречаю одного своего близкого друга.

Он мне говорит:

— А знаешь, я видел твою жену в Каире. Она пила твоё здоровье. Она была с другим. Поезжай туда, если хочешь.

У меня сердце остановилось от этих слов.

Я спрашиваю друга:

— А где этот Каир?

Он говорит:

— Этот город Каир совсем близко, рядом. Не более двух часов по железной дороге.

Сердце мое еще более задохнулось, и я отвечаю другу:

— Я сейчас в Каир не поеду. Я туда поеду, когда несколько успокоюсь от твоих слов. А если я сейчас поеду в Каир — я могу ее поранить. Я без нее не могу жить, а она может не согласиться ко мне вернуться. И тогда

будут тяжелые последствия. Нет уж лучше я сейчас на короткое время съезжу в Грецию. А когда совсем остыну, то поеду в Каир. И там побеседую с Марией.

Мой друг говорит:

— Да, сгоряча не надо беседовать. Ты уже и сейчас белый как бумага. Поезжай пока в Грецию.

И вот в одно прекрасное утро я поехал в Грецию, хотя мне и хотелось поехать в Каир. И у меня буквально грудь разрывалась от этого желанья. Тем не менее я сел на паром и поехал в Грецию.

13. Неудача

И вот я еду в Грецию и думаю, что я хорошо делаю, что еду в Грецию, — пройдет не больше месяца, я остыну и тогда из Греции махну в Каир.

А у меня тогда, после многих дел, нервы были натянуты до черта. Я тогда весь кипел негодованием, и у меня на сердце было не очень спокойно. В таком виде были бы ужасные последствия, если бы я встретил Марию.

И вот я приехал в Грецию, в Афины.

Там я с одним другом сделал крупное дело. Я с ним обворовал один магазин в обеденный перерыв. Я взял фورد, и мы с моим другом на глазах у всех проходивших открыли магазин, нагрузили наш фورد шелком и безнаказанно уехали.

Мы разделили нашу добычу. Друг остался в Афинах, а я уехал в Пирей.

Я думал, что я пробуду в Пирее две недели и поеду в Каир, но я пробыл там меньше. Там случилось такое дело, которое перевернуло мою жизнь.

Там я встретился с одним прохвостом. Это был отвратительный человек, подлец. Он был грузинский еврей. И я таких мерзавцев давно не видел. Я вообще не видал таких подлецов.

Он вообще славился тем, что не отдает деньги за товар.

Но я подумал: что за чушь, как это он мне может не отдать, хотел бы я посмотреть.

И тогда я дал ему три куска крепдешина.

А он мне действительно денег не принес.

Тогда я пошел его искать. А нервы у меня были натянуты до черта.

Я нашел его в одном ресторане.

Он, мерзавец, играл в домино.

Он пил пиво и играл в домино.

Он играл с каким-то вроде него прохвостом. Они оба два мне сразу показались омерзительны.

Но я ему честно сказал, хотя меня разрывала злоба.

Я ему сказал:

— Я пришел за деньгами. Как ты на это смотришь?

Он сказал:

— Насчет денег ты лучше не тревожься. Я тебе денег решил не давать. А ты ко мне не подходи с наскоком. Ты такой павлин, что если крикнешь, то полиция обрадуется твоему крику. Лучше уходи, а то тебя тут арестуют. И ты будешь сам не рад, что требуешь от меня деньги.

Но меня эти слова ударили по больному месту. И я был выпивши.

Я вдруг схватил наргиле и этим курительным прибором рассек ему к черту голову.

Он упал, и все закричали.

А я бросился на лестницу. И когда снизу бежали люди, чтоб увидеть, что случилось и кого задержать, — я шел удивительно спокойно. И никто на меня не подумал.

Я вышел на улицу. И уж тут побежал в свою гостиницу.

Но там вдруг вижу полицейских. Это приехали за мной. Им дали знать, чтоб меня арестовали и что я чуть не убил человека.

Тогда я, не заходя в гостиницу, где у меня были все вещи, бросился назад.

Я пошел в порт, чтоб сесть на любой пароход и куда-нибудь уехать из этих мест.

А у меня с собой были небольшие деньги и документы. Что касается вещей, то какие могут быть вещи в таком положении?

Я спрашиваю про один пароход:

— Куда он идет?

А мне говорят:

— Он сейчас уходит в Яффу.

И вот я незаметным образом (а была ночь) взбираюсь через корму на этот пароход и прячусь за ящики.

И вот я слышу — гудок. Пароход отходит. И тогда я спокойно выхожу и прогуливаюсь между публикой.

И вдруг я слышу русские речи! Что такое? Я слышу русский язык. Я слышу наши слова. И от этих слов у меня сердце останавливается. И вдруг я вижу — я еду на советском пароходе.

Я спрашиваю одного, что за пароход, на котором я еду. И он говорит:

— Это советский пароход «Тобольск». Он едет в Яффу.

Тогда у меня отлегло от сердца. В Яффе, думаю, я непременно сойду.

14. Непредвиденное путешествие

Я думаю — доеду в крайнем случае до Яффы, раз он едет в Яффу, и там сойду.

Мы приезжаем в Яффу. Я хочу сойти, но меня полиция не пускает на берег.

Я показываю свой паспорт, но мне не верят.

— Раз, — говорят, — ты едешь на советском судне, значит, ты непременно сам советский. А нам, может быть, показываешь какую-нибудь там липу. Нас этими делами не удивишь.

Я говорю:

— Как это может быть?

Но мне говорят:

— Не надо слов. Поезжайте дальше.

Я говорю им по-английски:

— Войдите в положение. Я буквально не могу ехать на этом пароходе. Ведь этот пароход завезет меня в Советский Союз. А у меня тут дела, а не там. Помимо того, я непременно должен встретиться с одной женщиной — с моей женой. Она сейчас проживает в Каире. Прошу и умоляю пустить меня на берег.

Но они смеются и ни под каким видом меня не пускают.

Я тогда спрашиваю:

— А какая следующая пристань?

Мне говорят:

— Из Яффы мы поедем прямым ходом в Одессу.

И я тогда вижу, что создается такое положение, благодаря чему мне приходится ехать в СССР.

Нет, я тогда мало знал, что это за страна Советов и с чем это, как говорится, кушают.

Я не задумывался о политике. Я делал свои дела, которые есть обыкновенные дела в других странах.

И совесть моя была чиста перед моей страной. И поэтому я взял и поехал в СССР.

Я опытный вор и мастер своего дела. Я думал — я ни в какой стране, где есть люди, не пропаду со своим мастерством.

И вот из Яффы мы поехали прямым ходом в Одессу.

Мы поехали в ту страну, где произошла социальная революция. Но я еще не знаю, что это такое. Я не знаю, как это бывает. Но мне раньше другие говорили, что нашему брату там находиться как будто не так уж хорошо.

Мы поехали в Одессу. И, можете представить, какие у меня были чувства и настроения.

Нет, я был даже рад и счастлив, что, наконец, увижу свою родину и поздороваюсь с друзьями, но неизвестность меня страшила.

Я тогда отдался в руки командованию на пароходе и сказал, кто я такой. Тем более что я не люблю туману напускать.

Мне сказали:

— Поезжай в Одессу. Мы тебя передадим в ГПУ. А там разберутся, что ты за птица.

А в то время, можете себе представить, я не знал даже, что такое ГПУ.

И вот 9 января 1926 года мы приехали в Одессу.

15. Гастроли в СССР

В Одессе меня передали в ГПУ. Там мне сказали:

— Может быть, ты шпион. Мы тебе дадим пятьдесят восьмую статью, пункт шесть.

Тогда я им рассказываю все как есть. Я им рассказываю почти абсолютно все, чтоб не иметь пятьдесят восьмую статью.

И тогда меня везут в Тифлис для выяснения личности.

Там, в Тифлисе, коллегия ГПУ дает мне три года вольной высылки в Барабинский округ в Сибири.

Я туда приезжаю и там живу.

Я там живу у портного.

И там чуть не женюсь на одной комсомолке В. Она мне понравилась. И я ей понравился.

А за ней ухаживал секретарь комсомольской ячейки.

Он пошел к прокурору и сказал: это не дело, чтобы такие личности ухаживали за комсомолками. (Он думал, что я банкир, а не вор.)

Тогда прокурор отправил меня в Туруханский край, в Енисейский район, в село Назимово.

А секретаря ячейки тоже куда-то отправили. Я, впрочем, не знаю куда. Но он там не остался. И он не увидел этой В. как своих ушей.

Меня через год освободили. Я хотел поехать к этой В. Но мне стало известно, что она мне изменила.

И тогда я поехал на Кавказ. Я не поехал к ней. У нас, в преступном мире, — если не наша, так уж не наша.

Я приехал в Тифлис и стал заниматься старыми гешфтами.

А из Тифлиса, где мне не понравились мои дела, я отбыл в Батум.

Но и в Батуме я терпел неудачи. Я уже подумал, что счастье мне изменило, но увидел, что дело не в счастье, а в другом. Я не увидел прежних покупателей. И я не увидел такого прежнего рвення что-нибудь у меня купить. Нет, зарабатывать было можно: доверчивые дураки находились, но все это было не то и не то.

Я тогда из Батума уехал в Потти.

В Потти меня взяли за одно дело, и я там отбыл шестимесячное заключение.

После того я вернулся обратно в Тифлис и работал там год и ни разу не был арестован.

Однако работа шла довольно вяло. И особенно крупных дел я сделать не сумел.

16. Последнее дело

И вот наступил 1929 год.

Я живу в Тифлисе. И живет в Тифлисе такая одна дама, я вижу, весьма интеллигентная и культурная. И она занимается проституцией. А я об этом не знаю. И она мне об этом, конечно, не говорит.

И вот я знакомлюсь с ней. И у нас с ней завязывается роман. Я отношусь к ней как к честной и порядочной даме, а между тем она оказывается не то. А по виду никак про нее это не скажешь.

Но это была такая дрянь, такая, как бы сказать, непревзойденная личность, что вы удивитесь, если все это описать.

Это была в полной мере дрянь. Это была потерявшая свою совесть и свое достоинство дрянь, которой не место в нашем Союзе и в нашем будущем.

А я об этом ничего не знаю и живу с ней. И она делает вид, что меня любит. А ей нужны мои деньги и больше ничего. И у нее есть возлюбленный, или, говоря на нашем уголовном языке, — кот.

Но я и об этом ничего не знаю и доверчиво попадаю на ее удочку.

Она узнает от меня разные сведения обо мне и такие мои грешки, какие я бы и своей матери не сказал.

И вот тут я попадаю в исправительную тюрьму. Я попадаю за одно дело, и мне дают год.

Но я там, в тюрьме, жил довольно прилично. Я имел свободное хождение. Носил посылки и делал поручения. Мне платили деньги, и я не мог особенно жаловаться.

А Полина (ее звали Полиной) часто приходила ко мне, брала у меня деньги. И я ей не отказывал.

Наконец приходит моя мать и говорит:

— Твоя Полина такая дрянь, что это удивительно. Она занимается проституцией. Ты ввел в наш дом разврат.

И мне товарищи стали говорить:

— Как тебе не стыдно? Она давно уже проститутка. Или ты ослеп, что ничего не видишь?

И вот вскоре меня освободили. Мне зачли все рабочие дни, и я, немного побыв в тюрьме, освободился.

Я вернулся домой и говорю Полине:

— Я тебе дам половину моих вещей и все деньги — только уезжай из Тифлиса. Я с тобой не могу жить под одним небом.

А она взяла деньги, отдала их своему коту и говорит: — Я не уеду, мне и тут хорошо.

Тогда я беру ее за руку и говорю:

— Мы сейчас пойдем купим билеты, и ты уедешь.

Она говорит:

— Ладно, я поеду, если ты настаиваешь.

Я иду ей покупать билет, подхожу к вокзалу, и вдруг она начинает кричать:

— Вот идет бандит и вор. Вот, смотрите, идет международный аферист и жулик, которого надо расстрелять во что бы то ни стало.

Тут собирается толпа. Я говорю толпе:

— Расходитесь! Абсолютно ничего интересного нету. Это небольшая семейная ссора между мужем и женой.

Но она кричит:

— Это такой бандит, и у него такие жуткие дела, что вы не можете себе представить. Мне, — говорит, — дурно делается от одного его вида. Все держите его, он сейчас убежит.

Тут приходят чекисты и забирают нас обоих с собой.

Она рассказывает все мои дела и все, чего она знает, и меня тогда отправляют в тюрьму. А ее освобождают.

И вот коллегия ЗакГПУ дает мне три года. А это было 29 апреля 1932 года.

17. На Беломорском канале

В апреле 1932 года я был отправлен на строительство Беломорско-Балтийского канала.

Я с ужасом приехал в эти места. Мне казалось, что моя жизнь закончилась, что я тут пропаду и потеряюсь. И никогда не вернусь в Тифлис.

Мне тут очень не понравилось. И хотя была весна, но тут лежал снег. И природа была чахлая, и так мне было тут удивительно тяжело, что я не предвидел конца. И три года этой ссылки для меня казались тяжелей, чем все остальное на свете.

Меня отправили в седьмое отделение на разъезд Сосновицы. Это был первый лагерный пункт.

И я приехал на этот пункт как на кладбище. И тогда шел дождь, и деревья тут были маленькие, и даже травы не было, и только торчали камни, и я думал, что я на этих камнях помру, не дождавшись новой участи.

И в таком моем огорчении меня отправили на скальные работы на шлюз номер четырнадцать.

Там дробили и взрывали скалы, и работа была очень тяжелая. И тем более — я никогда не работал и считал работу за преступление и за позор.

Я ковырялся первые дни и давал всего тридцать, а то и двадцать процентов.

А тут у нас был десятник Буфиус. Он немец. Он говорит:

— Ты до чего здоровый парень, а работать не можешь. Фу, как стыдно!

Но мне показалось это смешно, и я ему хорошо сказал. Я ему сказал:

— Работают дураки и лошади, а я не то и не это. А если ты настолько любишь работу, вот и поработай за меня. А я погляжу, какой ты дурак. А еще немец!

Вот он об этом сказал Тряскову. Такой был у нас прораб. Довольно энергичный человек.

Тот со мной поговорил, но все напрасно. Я его заругал и велел ему отойти от меня.

И вот так и шло дело. Я выбивал еле тридцать процентов, чтобы не заснуть, и думал про Грецию и про свое прошлое, которое мне казалось волшебной сказкой.

Но тут как-то проходил наш начальник Сапронов. Вот десятник к нему подскочил и ему рассказал про меня. Он мне говорит:

— Это странно. У нас все работают. У нас редко бывают такие отказы. У нас крайне спешное дело, и это удивительно, что ты отказываешься. Наверное, ты чего-нибудь не понимаешь.

Вот он со мной говорит, а мне мало интереса слушать его разговоры. Я ему говорю:

— Я привык видеть сразу результаты своей работы. Я всегда работал для себя и за это видел улучшение своего быта. А тут кого я порадую — я и сам не знаю. А что касается вас, то вы есть казенное начальство, и вы говорите мне, что вам велят.

Вот он до крайности удивился моим словам и пошел к себе.

18. Разговор за чашкой чаю

Вскоре приходит воспитатель Варламов. Он мне говорит:

— После работы зайди к Сапронову. Он с тобой хочет поговорить. Он удивляется на тебя.

Вот я прихожу к Сапронову. А у него приготовлен чай, лежат печенье, карамель, хорошие папиросы.

Я прихожу и про себя улыбаюсь. Думаю — принимает за маленького — на что хочет приобрести мое доверие.

Вот он садится со мной на стулья. Мы с ним много разговариваем. Он интересуется моим прошлым. И я ему все рассказываю. И он снова до крайности удивляется построению моей жизни.

И мы с ним пьем чай и едим печенье, и я вижу, что это приличный человек, с которым можно побеседовать.

Он мне сказал:

— Вот ты везде побывал и везде видел, какая за границей воспитательная политика. Тебя крошили дубинками и били в морду. Но мы не за приличное отношение требуем работы. Да, конечно, у нас не рай. У нас трудно. И даже очень трудно. Но если бы у нас был рай — к нам бы все стремились и делали бы преступления. Но мы этого не хотим. А мы требуем работы — мы работаем для себя, а не для капитала. И мы хотим, чтобы наша страна процветала.

Он мне дал папирос, и я пошел в свой барак и по дороге удивлялся новой моде в местах заключения.

На другой день, скорее из симпатии к нему, чем из чего другого, я выбил восемьдесят семь процентов.

19. Слово и дело

А на другой день проходит мимо нас начальник отделения Прохорский совместно с Сапроновым.

Прохорский говорит:

— Я тебя решительно не понимаю. Почему ты не хочешь работать? Разве мы для кого-нибудь постороннего стараемся? Мы работаем, чтоб в стране было лучше. А если будет лучше — и тебе будет лучше. Мы работаем для блага народа. Это общий интерес. Разве ты контре-

волюционер? По-моему, ты нам социально близкий. Иди нам навстречу, а мы о тебе позаботимся. Будешь хорошо работать — и мы тебя досрочно освободим и дадим тебе такую специальность, которая лучше твоей, и такую квалификацию, что все двери откроются перед тобой, когда выйдешь на волю.

Вот он так поговорил со мной, попрощался и ушел.

И я подумал: «Это прямо удивительно, пристали ко мне как банные листья. Из вора хотят рабочего сделать».

Но вот вскоре, дня через три, прибегает воспитатель Варламов и говорит:

— Тебя снова просят Прохорский и Сапронов.

Вот я прихожу к ним. Разговариваем. Беседуем. Чай пьем. Кушаем печенье. Они стали мне говорить о новом государстве, где нету капиталистов и собственников. Они мне развернули картину труда и такой жизни, какая нам и во сне не снилась.

И тогда я им говорю:

— Интересно, что воров не будет. Вот это интересно.

— Воров, — они говорят, — конечно, не будет, поскольку никому не надо будет красть. И у кого красть? Вор — это изнанка капитализма.

Мы много говорили тогда о том и о сем. Прохорский мне говорил, что я неправ, что теперь наступила другая жизнь и что ворам придется переквалифицироваться.

Это меня очень рассмешило, и я подумал, что если это так, то действительно надо поработать. Тем более что я еще в Тифлисе чувствовал что-то не то. Там не завязывались дела, как прежде.

Я ушел к себе и на другой день дал сто сорок процентов.

А кто работал на скальных работах, тот поймет, что это значит. Это значит черт знает что.

А на другой день я дал опять сто сорок.

Я начал работать. И потом думал о своей прежней жизни и о том, что я представляю из себя.

Нет, мне не было совестно, что я вор. Ну, я вор. Меня так направила жизнь. И Прохорский мне сам сказал — это изнанка жизни. Значит, я не виноват. И, значит, я буду виноват, если другая жизнь, а я ворую.

И постепенно совесть меня подтачивала. Мне самому хотелось работать без понукания. И я однажды дал сто пятьдесят процентов.

И вся наша бригада стала давать больше ста процентов. И мы были рады, когда это случилось. Мы ходили и радовались. И нам тогда стали в ларьке отпускать все, что нужно. И мне выписали хорошую одежду и сапоги.

И, увидев такое приятное, заботливое отношение к себе, я прямо готов был разбиться в лепешку, но все сделать, что нужно.

Я в бригаде тогда сказал:

— Давайте постараемся.

И все сказали:

— Да, конечно, попробуем, поглядим, что будет.

И мы работали как черти. Нам некогда было подумать ни о чем. Но я иногда думал про Марию Корниенко. И тогда у меня сердце останавливалось.

20. За работой

Да, мы тогда работали на совесть. Нам нельзя было не работать. Тут появились приказы, в которых говорилось, что к тридцатипятиникам¹ должен быть наилучший, гуманный подход.

Нас не только ударить — нас за руки не смели потянуть. На нас замахнуться не имели права.

И если б кто увидел, что это не так, — горе тому начальнику, который не выполнил приказания.

И мы от этих заботливых и любовных слов дошли до крайней степени настроения.

Да, мы тогда дали рекордные показатели. Мы дошли до ста пятидесяти процентов.

Вы можете не поверить, но мы тачки бегом возили. Мы бежали с тачкой. Мы такие дела производили, что трудно описать. Тут каждый из нас наперерыв старался.

¹ Тридцатипятиники — осужденные за воровство по 35-й статье.

Мы увидели — это большое дело. Мы увидели, что это работа, а не бездушное дело, вроде как дробить щебенку в оккупационной тюрьме.

Нас теперь цель преследовала. Мы желали цель поскорей увидеть. И при этом нас видели, замечали, и мы имели заботу и уход.

Мы стали брать на буксир отстающих. Мы вели общественную работу.

А я стал членом производственной тройки.

И вот наша бригада оказалась лучшей, и нас перебросили на бетон. Нам там хотели дать хорошую квалификацию. И мы там это получили.

Мы там давали по ста восьмидесяти замесов. И начальник Сапронов и Прохорский говорили:

— Правильно делаешь. Мы на тебя пришли полюбоваться.

21. Философия нищеты

В одно прекрасное утро пришли до меня эти начальники, Сапронов и Прохорский.

Они мне так любовно сказали:

— У нас произошел отказ со стороны тридцатипятников. Надо тебе пойти туда поговорить с ними. Надо, чтоб они вышли на работу. Там идет буза. У тех, которые не получили льготы к Октябрю.

Я пошел туда. Пошел к своим, как говорится, братьям.

Там были в бараке собравшись тридцатипятники. Это были все головорезы, опытные воры, фармазоны и городушники.

Они меня на смех подняли, когда я к ним пришел.

Они сказали:

— Ты сперва сам филонил, а теперь с начальством ссучился. Валяй уходи!

Я тогда им сказал:

— Дозвольте сказать два слова.

И некоторые сказали:

— Ну, говори. Только поскорей — нам спать надо.
(А был день.)

И они лежали на нарах, задравши головы, и было видать, что их ничем не возьмешь. И тем более не возьмешь словами.

Тем не менее я им сказал:

— Господа, надо видеть социальные сдвиги. Мы есть воры, но оказывается, этого вскоре у нас не будет.

И тогда многие засмеялись и сказали:

— Как это так?

И я тогда встал на нары. (И они все заинтересовались.) И так им сказал:

— Мы тут собрались с вами одной семьей. Мы с вами делали одно многолетнее общее дело — мы грабили и воровали. И нас неразрывно связывало это кровное дело, а что касается меня, то я ни с кем не ссучился. Только я вижу такие перемены, благодаря чему я работаю и даже пришел сюда.

Они спросили:

— Какие перемены?

И тогда я сказал:

— Господа, нашему преступному миру, кажется, приходит крах. Это надо видеть и понимать. Которые новички в этом деле — те пусть плавают в своих надеждах, а которые как и я — те бесконечно много понимают и это чувствуют. В нашем преступном мире дела ухудшились. Я не скажу за другие страны, но у нас, господа, это, без сомнения, так.

И тогда некоторые сказали:

— Похоже на то. Дела у нас, это верно, не веселят. За гроши рискуем и трудимся.

Однако некоторые сказали:

— Нет, до краха все-таки далеко. Проживем помалу.

Но тогда я им развернул такую картину труда, что они ахнули.

— У кого же красть, — я сказал, — если богачей не будет и не будет у нас собственников.

И тогда они сказали:

— Если будет только беднота, а богачей не будет, тогда тем не менее будут воровать. А если будут все сравнительно богаты, а бедноты не будет — тогда, скорей всего, наступит в нашем преступном мире крах.

И тогда я сказал:

— Наверно, так и будет. И мы на всякий случай должны иметь другую квалификацию. Мы обязаны поработать, чтобы жизнь нас не застала врасплох.

Нет, они в тот день на работу не пошли. Они пошумели, покричали и легли спать.

А на другой день я опять с ними имел разговор. Я им сказал:

— Конечно, может вы и правы, что до краха далеко, однако в нашем воровском деле уже произошли некоторые сдвиги. И клиентура у нас уже не та. И результаты не те. И надежды у нас вовсе теперь не такие, как были прежде. Нет, господа, не хочу агитировать вас, но скажу по совести: пришел момент, когда мы должны поработать.

На это они мне сказали:

— А как это делается?

На третий день я хотел попросить, чтобы нам дали чаю с печеньем, чтоб разговаривать, но до этого не дошло.

Они все вышли на работу, и все захотели получить какую-нибудь квалификацию.

Наибольше всего люди стремились занять квалификацию бетонщика. Они видели в этом будущее.

22. Повышение

И тогда меня назначили у них младшим воспитателем.

Я у них организовал шесть трудовых коллективов.

Мы работали на славу. И один мой коллектив в штурмовые дни давал двести двадцать процентов. А другие меньше ста двадцати тоже не давали. И теперь они почти все досрочно освобождены.

И я в изоляторах стал иметь большой авторитет. Меня стали уважать массы.

Мне доверили смотреть за питанием лагерников. И я проводил работу среди нацменов и на кухнях прекратил блат.

Мы читали газеты. Мы устроили кружок безбожников и занимались ликвидацией неграмотности.

Потом я был назначен комиссаром пятого участка и старшим воспитателем.

И всюду у меня люди работали как львы, и ни до кого я пальцем не дотронулся.

В настоящий момент, когда я пишу, мне осталось несколько дней до выхода.

Я пробыл в лагере полтора года. И я выхожу отсюда с таким сознанием, как будто у меня не было прошлого, а есть светлое будущее.

23. Последние известия

На этом заканчивается описание жизни Р.

Осенью 1933 года он был награжден почетным значком строителя канала. И свободным гражданином выехал на строительство Волга — Москва.

Он пробыл месяц на этом строительстве и, как я на днях узнал, выехал в свой родной Тифлис.

Ему хотелось поскорее повидать свою мать, которой он доставил так много огорчений.

И я представляю его чувства, с какими он ехал на родину. Я представляю, какая была радость, когда он открыл дверь в свою комнату и сказал родным: «Здравствуйте!»

Должно быть, в тот вечер собрались все друзья. Снова, вероятно, были нежные речи. На столе стоял самовар. И все, вероятно, снова удивлялись превратностям жизни.

И я представляю, с каким настроением пошел на другой день прогуляться по улицам Тифлиса. Быть может, в первый раз за двадцать лет он шел по улице со спокойным сердцем.

И я желаю вам, дорогой товарищ, успеха в новой вашей жизни и оправдания всех надежд.

А этот рассказ вы непременно пошлите в Каир зачке Марии Корниенко.

* * *

*

Итак, наш занимательный рассказ окончен.

Теперь попробуем ножом хирурга, так сказать, разрезать ткань поверхности,

Три предположения могут возникнуть у скептика, который привык сомневаться в человеческих чувствах.

Либо Р., прошедший огонь, воду и медные трубы, действительно перестроил свою психику и стал человеком труда.

Либо он сделал новую «аферу».

Либо он, рассудив все, решил, что преступному миру приходит крах и сейчас вору надо переквалифицироваться. Причем, если это так, то он сделал это не по моральным соображениям, а по соображениям необходимости.

Я кладу на весы своего профессионального умения разбираться в людях эти три предположения. И голосую за первое предположение.

Вот за новую жизнь этого человека я бы поручился. Но я оговорюсь: я бы поручился при наших, некапиталистических условиях.

* *
*

Как славно будет жить в такой стране, где двери не станут закрывать на замки и где люди позабудут печальные слова повседневной жизни: вор, кража, грабеж и убийство.

1933

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ И ФЕЛЬЕТОНЫ

1922 — 1929

| | |
|---------------------------------------|----|
| Игра природы | 5 |
| Столичная штучка | 7 |
| Исповедь | 9 |
| Не надо иметь родственников | 11 |
| На живца | 13 |
| Аристократка | 15 |
| Не ври | 18 |
| Баня | 20 |
| Нервные люди | 22 |
| Пациентка | 24 |
| Бедность | 27 |
| Лимонад | 29 |
| Человека обидели | 31 |
| Калоша | 33 |
| Святочная история | 36 |
| Режим экономии | 38 |
| Царские сапоги | 40 |
| Монтер | 42 |
| Пушкин | 44 |
| Баретки | 46 |
| Встреча | 48 |
| Письмо | 50 |
| Пожар | 53 |
| Сильнее смерти | 55 |
| Качество продукции | 58 |
| Шапка | 60 |
| Расписка | 61 |

1930 — 1939

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Именинница | 65 |
| Слабая тара | 68 |
| Землетрясение | 71 |
| Не надо спекулировать | 74 |
| Няня | 78 |
| Происшествие | 81 |
| Страдание Вертера | 84 |
| Водяная феерия | 87 |
| Романтическая история | 91 |
| Порицание Крыму | 95 |
| Сказка жизни | 98 |
| Ночь в деревне | 100 |
| Облака | 103 |
| Огни большого города | 106 |
| Об уважении к людям | 110 |
| Браки заключаются в небесах | 114 |
| Поминки | 117 |
| Вынужденная посадка | 120 |
| В пушкинские дни | 124 |
| Людоед | 128 |
| Дома и люди | 131 |
| Роза-Мария | 133 |
| История моей болезни | 137 |
| Веселая игра | 141 |
| Уголовное дело | 145 |
| Валя | 148 |
| Последняя неприятность | 151 |
| Поучительная история | 155 |
| Король золота | 158 |
| Двадцать лет спустя | 164 |
| Тншина | 175 |
| Леля и Минька | 185 |

1940 — 1956

| | |
|-------------------------------|-----|
| Рассказы о Ленине | 218 |
| Сынок и пасынок | 251 |
| Ночное происшествие | 254 |
| Кочерга | 256 |
| Испытание | 260 |
| Пчелы и люди | 263 |

| | |
|---|-----|
| Святая ночь | 269 |
| Чингис-хан с самолетом | 273 |
| Рогулька | 275 |
| Рассказы партизан | 278 |
| Два письма | 294 |
| По следам войны | 297 |
| Хорошая игра | 300 |
| О маленьких для больших | 302 |
| Страшная месть | 305 |
| Душевный конфликт | 308 |
| Двадцать три и восемь десятых | 313 |
| Похвала старости | 318 |
| Чрезвычайное происшествие | 323 |
| В бане | 328 |
| Сентиментальное путешествие | 337 |

ПОВЕСТИ

| | |
|----------------------------------|-----|
| Возмездие | 349 |
| Керенский | 418 |
| Шестая повесть Белкина | 472 |
| История одной жизни | 487 |

*Михаил Михайлович
З О Щ Е Н К О*

РАССКАЗЫ. ФЕЛЬЕТОНЫ. ПОВЕСТИ

*Редактор П. Быстров. Художник Т. Цинберг.
Технический редактор Л. Чалова. Корректор Л. Лапшина.*

Сдано в набор 4/X 1957 г. Подписано к печати 7/1 1958 г. Тираж 30 000 экз.
Бумага 84 × 108¹/₃₂ = 16,375 печ. л. 26,86 усл. печ. л. Учетно изд. л. 26,35.
Заказ № 912. Цена ████████ 9 р. 50 к.

Гослитиздат. Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28.

Ленинградский Совет народного хозяйства.
Управление полиграфической промышленности.
Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.

